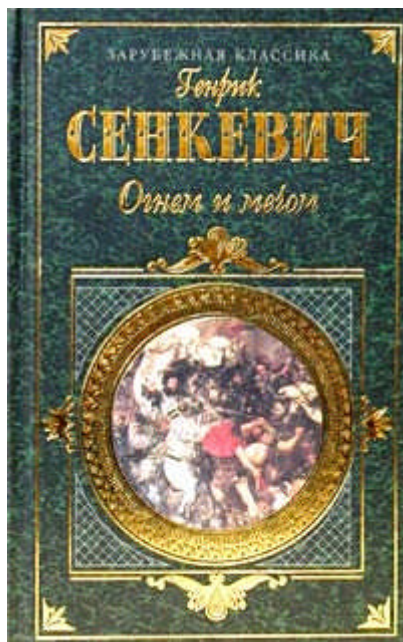


Генрик Сенкевич Огнем и мечом. Часть 2

Огнем и мечом – 1



Аннотация

Роман «Огнем и мечом» посвящен польскому феодальному прошлому и охватывает время с конца 40-х до 70-х годов XVII столетия. Действие романа происходит на Украине в годы всенародного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. Это увлекательный рассказ о далеких и красочных временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах.

Сюжет романа основан на историческом материале, автор не допускает домыслов, возможных в литературных произведениях. Но по занимательности оригинальному повороту событий его роман не уступает произведениям Александра Дюма.

Генрик Сенкевич Огнем и мечом. Часть вторая

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Погожей летней ночью по правому берегу Валадынки спускались к Днестру двенадцать всадников.

Двигались медленно, можно сказать, нога за ногу. Впереди, шагов на пятьдесят опережая остальных, как бы передовым охранением, ехали двое, но, не находя, видно, причин остерегаться, не по сторонам смотрели, а меж собою переговаривались, причем то и дело придерживали коней, оглядываясь на спутников, и тогда один из этих двоих покрикивал:

– Полегче там! Полегче!

И отряд еще больше замедлял шаг, разве что не стоял на месте.

Наконец, обогнув холм, укрывавший всадников своею тенью, отряд вышел на открытое место, залитое лунным светом, и сразу стала понятна осторожность: посреди вереницы

всадников две лошади, идущие рядом, несли привязанную к седлам люльку, а в люльке кто-то лежал.

Серебряные лучи освещали бледное лицо и сомкнутые веки.

За люлькой следовали десятеро вооруженных верховых. По пикам без прапорцев можно было узнать, что это казаки. Одни вели в поводу выючных лошадей, другие ехали налегке, но если двоих, что были впереди, казалось, ничего вокруг не интересовало, эти поглядывали по сторонам с явной опаскою и тревогой.

Окрестность, однако, выглядела совершенною пустыней.

Тишину нарушали только удары копыт да восклицания одного из передовых всадников, то и дело повторявшего:

– Полегче там! Осторожней!

Наконец он обратился к своему спутнику и спросил:

– Горпына, далеко еще?

Спутник, звавшийся Горпыною и на самом деле бывший одетой в казацкое платье здоровенной девахой, поглядел на звездное небо и ответил:

– Не так чтобы. До полуночи доберемся. Проедем Вражье урочище, потом Татарский Разлог, а там до Чертова яра рукой подать. После полуночи и до вторых петухов лучше туда не соваться. Мне-то ничего, а вам плохо может быть, ой плохо.

Тот, кто спрашивал, пожал плечами.

– Знаю, – сказал он, – тебе сам черт брат, да только и с чертом сладить можно.

– Пока еще никто не сладил, – ответила Горпына. – А лучшего укывища для своей княжны, соколик, ты во всем свете не сыщешь. И здесь-то ночью никто не пройдет, разве что со мной, а в яру и вовсе живой души не бывало. Кто за ворожкой придет, тот станет поодаль и меня поджидает. Ни одна собака не доберется туда: ни лях, ни татарин, никто, никто. Страшно в Чертовом яру, сам увидишь.

– Страшно не страшно, а захочу – приду.

– Днем, конечно, придешь.

– Хоть днем, хоть когда. А черт дорогу заступит, рога обломаю.

– Эх, Богун, Богун!

– Ой, Горпына, Горпына! За меня не бойся. Приберет меня дьявол, не приберет – не твоя забота, тебе же я одно скажу: водись сколько влезет со своими чертями, лишь бы княжна горя не знала; если с нею что случится, ни черти, ни дьяволы тебе не помогут.

– Однажды уже топили меня, еще когда мы с братом на Дону жили, в другой раз заплечный мастер в Ямполье голову обрил – так что мне теперь все трын-трава. Но здесь дело иное. Не в службу, а в дружбу я ее от нечистой силы стеречь буду, волоску не дам с головы упасть, а люди ей у меня не страшны. Твоя будет, никуда не денется.

– Ах ты, сова! Коли так, зачем мне беду наворожила, какого черта прожужжала все уши: «Лях при ней! Лях при ней!»?

– Духи так говорят, не я. Но, может, что и переменялось. Завтра на мельничном колесе погадаю. Вода все скажет, только глядеть нужно долго. Сам увидишь. Но ведь ты пес бешеный: скажешь тебе правду – тотчас гневаешься и за чекан...

Разговор оборвался, слышно было цоканье копыт по камням, да какие-то звуки доносились со стороны реки, словно там кузнечики стрекотали.

Богун даже ухом не повел, хотя среди ночи подобные звуки могли озадачить. Он обратился к луне и задумался.

– Горпына!.. – сказал он несколько погодя.

– Чего?

– Ты колдунья, должна знать: правда ли, такое зелье есть, от которого и постылых любят? Любисток, что ли?

– Любисток. Только он твоей беде не поможет. Глоточка бы княжне хватило, не люби она другого, но раз любит, знаешь, что будет?

– Что?

– Еще сильнее прилучится к тому, другому.

– Пропади ты со своим любистком! Каркать умеешь, а помочь не хочешь.

– Послушай: я другое былье, что в земле растет, знаю. Кто его отвару выпьет, два дня и две ночи лежмя пролежит, про все позабудет. Дам я ей этого зелья – а ты...

Казак дернулся в седле и уставил на колдунью свои горящие во тьме очи.

– Чего-чего?

– Тай годі! – выкрикнула ведьма и залилась зычным смехом – точно кобылица заржала.

Смех этот зловещим эхом прокатился по оврагам.

– Сука! – сказал атаман.

Глаза его стали постепенно меркнуть, и он снова глубоко задумался, а потом заговорил словно бы сам с собою:

– Нет, нет! Когда мы Бар брали, я первым в монастырь ворвался, чтоб от сброда пьяного ее уберечь, снести башку каждому, кто хоть пальцем ее коснется, а она себя ножом и теперь божьего свету не видит... А тронь я ее, опять схватится за нож или в речку прыгнет – не уберечь ее тебе, несчастный!

– Лях ты душой, не казак – девку по-казацки приневолить не хочешь...

– Кабы я лях был! – воскликнул Богун. – О, если бы я был лях!

И, пронзенный болью, за голову обеими руками схватился.

– Причаровала, гляжу, тебя эта полячка, – пробормотала Горпына.

– Ой, причаровала! – печально ответил казак. – Чтоб мне от шальной пули пасть, на колу собачью жизнь окончить... Одна она нужна мне, и больше никто, а я ей не нужен!

– Дурной! Она ж твоя! – сердито воскликнула Горпына.

– Замолчи! – вскричал казак в ярости. – А если она на себя руки наложит? Да я тебя разорву, себя искалечу, башку разобью об камень, на людей кидаться, как пес, буду. Я бы душу за нее отдал, славу казацкую отдал, за Ягорлык убежал, людей бы своих бросил! Хоть на край света, лишь бы с ней... С ней хочу жить, возле нее подохнуть... Вот оно как! А она себя ножом! И из-за кого? Из-за меня! Ножом себя, понимаешь?

– Ничего ей не станется. Не помрет.

– Помрет – я тебя к двери приколочу.

– Нету над ней твоей воли.

– Нету, нету. Пусть бы уж меня ножом пырнула, хоть бы убила, и то лучше.

– Глупая ляшка. Нет бы ей прилепиться к тебе по доброй воле! Где она краше сыщет?

– Помоги ты мне, а я тебе дукатов горшок насыплю и в придачу еще один

– жемчугу. Мы в Баре много чего взяли, да и прежде брали.

– Богат ты, как князь Ярема, и славен. Говорят, тебя сам Кривонос боится.

Казак махнул рукой.

– Что с того, коли сердце болить...

И снова настало молчанье. Берег реки делался все более дик и пустынен. Белый свет луны причудливо искажал очертания скал и деревьев. Наконец Горпына сказала:

– Вот оно, Вражье урочище. Дальше всем бы рядом лучше быть.

– Почему?

– Гиблое место.

Они придержали коней, и минуту спустя едущие позади их догнали.

Богун привстал в стременах и заглянул в люльку.

– Спать? – спросил он.

– Спать, – ответил старый казак, – солодко, як дитина.

– Я ей сон-травы дала, – сказала ведьма.

– Полегче, осторожно, – повторял Богун, не сводя глаз со спящей, – щоб ви не розбудили. Місяць ...й просто в личко заглядаѣ, серденьку мойому.

– Тихо світить, не розбудить, – шепнул один из казаков.

И отряд двинулся дальше. Вскоре подъехали к Вражьему урочищу. Это был холм над самой рекой, невысокий и облытый, точно круглый, лежащий на земле щит. Луна заливала его светом, озаряя белые, разбросанные повсюду камни. Кое-где они лежали поврозь, кое-где кучами, словно развалины каких-то строений, остатки разрушенных храмов и замков. Кое-где из земли, наподобие кладбищенских надгробий, торчали каменные плиты. Весь холм представлялся одной гигантской руиной. Быть может, когда-то встарь, во времена Ягеллы,

здесь и кипела жизнь, но сейчас холм этот и вся окрестность, до самого Рашкова, были глухой пустыней, в которой селился лишь дикий зверь да по ночам водила свои хороводы нечистая сила.

И впрямь, едва путники одолели половину склона, легкий до сих пор ветерок превратился в настоящий вихрь, который с мрачным, зловещим свистом пронесся над взгорьем, и почудилось молодцам, будто слышались из развалин словно вырывающиеся из сгнетенных грудей тяжкие вздохи, смех, рыдания, детский плач и жалобные стоны. Холм стал оживать, перекликаться разными голосами. Из-за камней, казалось, выглядывали высокие темные фигуры: диковинных очертаний тени беззвучно скользили меж валунов, вдали мерцали во мраке, точно волчьи глаза, какие-то огоньки, ко всему еще с другого конца взгорья, где теснее всего громоздились камни, донесся низкий горловой вой, которому другие голоса тотчас стали вторить.

– Сіромахи? – прошептал молодой казак, обращаясь к старому есаулу.

– Упыри, – ответил есаул еще тише.

– О! Господи помилуй! – вскричали в страхе остальные, сдергивая шапки и истово крестясь.

Лошади начали храпеть и прятать ушами. Горпына, ехавшая впереди всех, вполголоса бормотала непонятные слова, будто сатанинскую молитву читала. Лишь когда достигли противоположной оконечности взгорья, она обернулась и сказала:

– Ну, все. Здесь уже тихо. Заклятьем пришлось отгонять, а то они голодные больно.

Все облегченно вздохнули. Богун с Горпыной снова поехали вперед, а казаки, минуту назад боявшиеся даже перевести дух, зашептались. Каждый стал вспоминать разные встречи с духами либо с упырями.

– Когда б не Горпына, не прошли бы, – сказал один.

– Сильна відьма.

– А наш атаман и дідька не боится. Ухом не повел, глазом не моргнул, только на свою зазнобу оглядывался.

– Приключись с ним, что со мною было, не больно бы хорохорился, – сказал старый есаул.

– А что же с вами, отец Овсивой, приключилось?

– Ехал я раз из Рейментаровки в Гуляйполе, а дело было ночью. Еду мимо кладбища, вдруг бачу, что-то сзади с могилы прыг на кульбаку. Оборачиваюсь: дите, бледное-бледное, аж синее!.. Видать, татары в полон вели с матерью и помер младенец неокрещенным. Глазенки, как свечки, горят, и плачет тихонечко, плачет! Перескочил с седла ко мне на спину и, чую, кусает за ухом. О господи! Упырь, не иначе. Только недаром я в Валахии долго служил – там упырей куда больше даже, чем людей, и каждый с ними управляться умеет. Спрыгнул я с коня и кинжалом в землю. «Сгинь! Пропادي!» – а он охнул, ухватился за рукоять кинжала и по острою под дернину утек. Начертил я на земле крест и поехал.

– Неужто в Валахии упырей столько?

– Считаю, каждый второй валах как помрет – в упыря обращается, и валашские самые из всех вредные. Их там бруколаками зовут.

– А кто сильнее: дідько или упырь?

– Дідько сильней, а упырь злее. Дідька одолеешь, он тебе служить будет, а от упырей проку никакого – только и глядят, где бы крови напиться. Но дідько завсегда атаман над ними.

– А Горпына дідьками верховодит.

– Это точно. Покуда жива – верховодит. Не имей она над ними силы, атаман бы ей своей зозули не отдал, бруколаки девичью кровушку страсть как любят.

– А я слышал, им к невинной душе доступа нету.

– К душе нету, а к телу – очень даже есть.

– Ой, упаси господь! Она же раскрасавица прямо! Кровь с молоком! Знал наш батько, что брать в Баре.

Овсивой прищелкнул языком.

– Чего и говорить. Чисто золото ляшка...

– А мне эту ляшку жалко, – сказал молодой казак. – Когда мы ее в люльку клали, она белы рученьки свои сложила и так просила, так просила: «Убий, каже, не губи, каже, несчастливо ...!»

– Не будет ей плохо.

Тут подъехала Горпына, и разговор оборвался.

– Эй, молодцы, – сказала ведьма, – вот и Татарский Разлог. Да не бойтесь вы, здесь только одна ночь в году страшная, а Чертов яр и мой хутор уже близко.

И вправду, скоро послышался собачий лай. Отряд вступил в горловину яра, идущего от реки под прямым углом и такого узкого, что четверо конных едва могли ехать рядом. По дну яра, словно змея, переливчато блестя в лунном свете, быстро бежал к реке ручеек. По мере того как всадники продвигались вперед, крутые, обрывистые склоны расступались, образуя полого поднимающуюся, довольно большую долину, с боков замкнутую скалами. Кое-где росли высокие деревья. Ветра здесь не было. Долгие черные тени от деревьев ложились на землю, а на прогалинах, залитых лунным светом, сверкали какие-то белые округлые и продолговатые предметы, в которых казаки, к ужасу своему, распознали людские черепа и кости. Молодцы, то и дело крестясь, пугливо озирались. Внезапно вдалеке блеснул за деревьями огонек, и тотчас прибежали две собаки, огромные, черные, страшные, с горящими как угли глазами; увидев людей и лошадей, они начали громко лаять. Лишь услышав голос Горпыны, они унялись и, тяжело дыша и хрипя, стали бегать вокруг всадников.

– Жуть какая, – шептали казаки.

– Это не псы, – уверенно пробормотал старый Овсивой.

Тем временем из-за деревьев показалась хата, за нею конюшня и дальше, на пригорке, еще какое-то строенье. Хата выглядела добротной и просторной, окошки ее светились.

– Вот и мой двор, – сказала Богуну Горпына, – а там мельница, что зерна, кроме нашего, не мелет, да я ворожиха, на воде ворожу. Поворожу и тебе. Молодица в горнице жить будет. Может, захочешь стены прибрать – тогда лучше ее пока на другую половину перенести. Стой! Слезай с коней!

Всадники остановились, а Горпына крикнула:

– Черемис! Угу! Угу! Черемис!

Какая-то фигура с пучком горящих лучин в руке появилась на пороге хаты и, поднявши вверх огонь, молча уставилась на казаков.

Это был уродливый старик, маленький, почти карлик, с плоским квадратным лицом и раскосыми, узкими, как щелки, глазами.

– Ты что за дьявол? – спросил Богун.

– Без толку спрашиваешь – у него язык отрезан, – сказала великанша.

– А ну, подойди поближе.

– Слушай, – продолжала девка, – а если княжну на мельницу отнести пока? Молодцы твои будут горницу прибирать да гвозди заколачивать, как бы не разбудили.

Казаки, спешившись, стали осторожно отвязывать люльку. Богун сам заботливо за всем присматривал и сам, вставши в головы, поддерживал люльку, когда ее переносили на мельницу. Карлик шел впереди и светил лучиной. Княжна, напоенная Горпыниным сонным зельем, не пробудилась, только веки ее от света лучины легонько вздрагивали. Лицо в красных отблесках уже не казалось мертвенно-бледным. А возможно, девушку баюкали чудные сны, ибо она улыбалась сладко во время странного этого шествия, похожего на похороны. Богун смотрел на нее, и казалось ему, сердце вот-вот выскочит у него из груди. «Миленька моя, пташка моя!» – шептал атаман тихо и грозно, хотя прекрасные черты его лица смягчились, тронутые пламенем любви, которая, вспыхнув, разгоралась в его душе все сильнее, – так огонь, забытый путником, разгораясь, охватывает дикие степи.

Идущая рядом Горпына говорила:

– Проспится – здоровой станет. Рана заживет, будет здоровая...

– Слава богу! Слава богу! – отвечал атаман.

Между тем возле хаты казаки стали снимать с шести лошадей огромные выюки и выгружать ковры, парчу и прочие ценности, награбленные в Баре. В горнице развели жаркий огонь; одни приносили ткани, другие обивали этими тканями бревенчатые стены. Богун не только позаботился о безопасной клетке для своей пташки, но и решил эту клетку украсить, чтобы неволя не показалась пташке невыносимой. Вернувшись с мельницы, он сам приглядывал за работой. Ночь уже близилась к концу, и бледный свет луны померк на

скалистых краях оврага, а в доме все еще приглушенно стучали молотки. Простая горница преображалась в богатый покой. Наконец, когда стены были завешены, а глинобитный пол устлан коврами, спящую княжну принесли и положили на мягкую постель.

Потом все стихло. Только в конюшне какое-то время раздавались еще взрывы смеха, похожего на лошадиное ржанье: это молодая ведьма, балуясь на сене с казаками, оделяла их тумачами и поцелуями.

Глава II

Солнце уже высоко стояло в небе, когда на следующий день княжна, пробудившись ото сна, открыла очи.

Взгляд ее сперва упал на бревенчатый потолок и надолго там задержался, а затем обежал стены. Возвращающееся сознание еще боролось с остатками сонных грез. На лице девушки отразились недоумение и тревога. Где она? Как сюда попала и в чьей пребывает власти? Сон это еще или явь? Что означает роскошь, которая ее окружает? Что с ней до сих пор творилось? В эту секунду страшные сцены взятия Бара вдруг представились ей как бы вживе. Она вспомнила все: резню, когда тысячами уничтожали шляхтичей, мещан, детей, ксендзов и монахинь; измазанные кровью лица черного люда, шеи и головы, обмотанные дымящимися еще кишками, пьяные вопли – судный день города, обреченного на гибель; наконец, появление Богуна и похищение. Припомнилось ей и то, как в минуту отчаяния бросилась она на подставленный собственной рукой нож, – и чело ее оросилось холодным потом. Видно, нож только скользнул по руке: она ощущает лишь слабую боль, но чувствует, что жива, что к ней возвращаются здоровье и силы; еще княжна вспоминает, что ее долго-долго куда-то везли в люльке. Но где она сейчас? В замке ли каком, спасена ли, отбита, укрыта ль надежно? И снова окидывает комнату взглядом. Окошки в ней маленькие, квадратные, словно в деревенской хате, и света за ними не видно, потому что вместо стекол они затянуты беловатым мутным пузырем. Неужто в самом деле крестьянская хата? Нет, не может быть, против этого говорит несказанно пышное ее убранство. Бревенчатый потолок затянут широченным платом пурпурного шелка в золотых полумесяцах и звездах; стены невысоки, но сплошь обиты парчой; на полу узорчатый ковер, словно устланный живыми цветами. На колпак над очагом наброшен персидский чепрак, кругом, начиная с потолочин и кончая подушками, на которых покоится ее голова, – золотая бахрама, шелк, бархат. Яркий дневной свет просачивается сквозь пузырьные окошки, но пурпурные, темно-фиолетовые и синие аксамиты вбирают его в себя, отчего внутри царит мягкий радужный полумрак. Дивится княжна, глазам не верит. Чародейство, что ль, это какое, а может, люди князя Иеремии отбили ее у казаков и спрятали в одном из княжеских замков?

Девушка сложила руки.

– Пресвятая богородица! Сделай так, чтобы первое лицо, какое покажется из двери, было лицом заступника и друга.

Вдруг сквозь тяжелую парчовую завесу слуха ее достигли плывущие издалека звуки торбана, и чей-то голос, вторя мелодии, завел знакомую песню:

Ой, ці... любості Гірші од слабості!

Слабість перебуду, Здоровше я буду, Вірного кохання Повік не забуду.

Княжна приподнялась на ложе, прислушалась, глаза ее расширились от ужаса, наконец, страшно вскрикнув, она упала замертво на подушки.

Елена узнала голос Богуна.

Крик ее, видно, проник за стены светлицы, потому что не прошло и минуты, как тяжелая завеса зашелестела и сам атаман появился на пороге.

Княжна закрыла глаза руками, а побелевшие и дрожащие ее губы повторяли как в лихорадке:

– Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!

Однако зрелище, столь ее напугавшее, не одной юной деве потешило бы взор, ибо прямо-таки сияние излучалось от атаманова лица и наряда. Алмазные пуговицы его жупана мерцали точно звезды, нож и сабля искрились от самоцветных камней, жупан из серебристой парчи и красный кунтуш подчеркивали необыкновенную красоту Богуна – статного,

чернобрового, горделивого, самого пригожего изо всех молодцев, украинской рожденных землею.

Только глаза его затуманены были, словно подернутые дымкой светочи небесные, и смотрел он на Елену с покорностью, видя же, что страх не покидает ее лица, заговорил голосом низким и печальным:

– Не бойся, княжна!

– Где я? Где я? – спросила она, глядя на него сквозь неплотно сомкнутые пальцы.

– В безопасном месте, война далеко осталась. Не бойся, душа моя. Я тебя сюда из Бара привез, чтоб ни от людей, ни от войны тебе не сотворилось обиды. Никого в Баре не пощадили казаки, одна ты жива осталась.

– А ты что здесь делаешь, сударь? Почему преследуешь меня неотступно?

– Я тебя преследую! Боже правый! – И атаман развел руками и закачал головою, как человек, которому причинили великую несправедливость.

– Я тебя, сударь, боюсь ужасно.

– Отчего ж ты боишься? Прикажешь, шагу не сделаю: я раб твой. Мне бы сидеть у порога да в очи твои глядеть, и только. За что ненавидишь? Я тебе зла не желаю. О боже! Ты в Баре при одном виде моем себя ножом ударила, а ведь давно меня знаешь, могла б догадаться, что я спасти тебя примчался, как на крыльях. Не чужой я тебе – друг верный, а ты, княжна, за нож схватилась!

К бледным щекам княжны вдруг прихлынула кровь.

– По мне, лучше смерть, чем позор, – сказала она. – Ежели ты меня обесчестишь, клянусь, наложу на себя руки, хоть бы и душу этим сгублю.

Очи девушки полыхнули огнем – и понял атаман, что плохи шутки с курцевичской княжеской кровью: сгоряча Елена исполнит свою угрозу и в другой раз уже не промахнется.

Потому он ничего не ответил, только, шагнув вперед, сел у окна на лавку, застланную золотой парчою, и голову повесил.

Несколько минут продолжалось молчанье.

– Будь покойна, – сказал наконец Богун. – Пока я не пьян, покуда горелка-матушка в голове не забродит, ты для меня как икона в церкви. А пить я с той поры, что тебя в Баре нашел, перестал вовсе. До того пил, ох, пил, беду свою заливал горелкой. Что еще было делать? Но теперь в рот не возьму ни сладкого вина, ни сивухи.

Княжна молчала.

– Погляжу на тебя, – продолжал он, – взор ясным личиком натешу, тай пойду.

– Верни мне свободу, – сказала девушка.

– Разве же ты в неволе? Ты здесь хозяйка. А куда возвращаться хочешь? Курцевичи все погибли, огонь пожрал города и веси, князя в Лубнах нет, он с Хмельницким, а Хмельницкий с ним встречи ищет, кругом война, кровь рекой льется, везде казаки, солдатня да ордынцы. Кто тебя уважит, кроме меня? Кто защитит, кто пожалеет?

Княжна подняла к небу очи, вспомнив, что есть на свете человек, который бы и приветил, и пожалел, и дал защиту, но не хотелось ей произносить его имя, дабы не дразнить свирепого зверя, – и мгновенно горькая печаль сдавила ей сердце. Жив ли еще тот, по которому ее душа тоскует? Будучи в Баре, она знала, что жив, так как вскоре после отъезда Заглобы до нее дошел слух о Скшетуском вместе с вестями о победах грозного князя. Но сколько уже с той поры дней и ночей пролетело, сколько могло случиться сражений, сколько опасностей повстречаться! Сказать что-либо о нем мог теперь только Богун, которого спрашивать она не хотела, да и не осмелилась бы, наверно.

И голова ее упала на подушки.

– Ужель мне здесь узницей оставаться? – проговорила она со стоном. – Что я тебе, сударь, сделала, отчего ходишь за мной, будто судьба злая?

Казак поднял голову и заговорил тихо, голосом едва слышным:

– Что ты мне сделала, не знаю, зато знаю одно: коли я злая твоя судьба, то и ты для меня беда лихая. Не полюби я тебя, был бы свободен, как ветер в поле, и сердцем свободен, и душою волен, и прославлен, как сам Конашевич Сагайдачный. Личико твое – моя беда, очи твои – моя беда; ни воля, ни слава казачья мне не милы! На самых красавиц не смотрел: ждал, пока ты

вырастешь и панною станешь! Раз взяли мы галеру с молодницами одна другой лучше – самому султану их везли, – и ни одна не тронула сердце. Потешились с ними братья казаки, а потом я каждой камень на шею и в воду. Никого не боялся, ни на что не оглядывался – с басурманами воевал, брал добычу, был в степи, точно князь в замке. А сейчас что? Вот сижу здесь, твой раб, вымаливаю доброе слово и вымолить не могу – да и прежде не слыхивал, даже в те времена, когда тебя братья и тетка отдать за меня хотели. Ой, девушка, будь ты ко мне иной, не сталось бы того, что случилось, не перебил бы я родню твою, не связался с мужиками да с бунтарями, но из-за тебя я напрочь потерял разум. За тобой бы пошел, куда ни позвала, душу б свою подарил, кровь по капле отдал. А теперь вон оно как: сам с головы до ног шляхетской обгажен кровью, но раньше-то я одну татарву бил, а тебе привозил добычу – чтоб ты в золоте ходила да жемчугах, как херувим божий. Почему ж ты меня тогда не полюбила? Ой, тяжело, тяжело! Сердце на куски рвется. Ни с тобой жизни нет, ни без тебя, ни вдали, ни рядом, ни на горе, ни в долине, голубка ты моя, серденько! Прости, что я за тобой в Разлоги по-казацки пришел, с огнем и саблей, но пьян я был гневом на князей, да и горелку хлестал всю дорогу, тать несчастный. А потом, когда ты от меня сбежала, как пес выл, от еды отказывался, раны вскрылись – я только и знал, смерть-матушку просил сжалиться и прибрать меня. А ты хочешь, чтобы я теперь тебя отдал, чтобы сызнова потерял, голубка моя, мое серденько!

Атаман умолк, голос его пресекся, и только стон вырвался из груди, а Еленино лицо то заливалось краскою, то бледнело. Чем больше безмерной любви слышалось княжне в словах Богуна, тем шире разверзалась перед нею пропасть – без дна, без надежды на избавление.

А казак, переведя дух, овладел собою и так продолжал:

– Проси, чего пожелаешь. Вон, гляди, как горница убрана, – все мое! Это добыча из Бара, на шести лошадях для тебя привез – проси, чего хочешь: злата желтого, дорогих нарядов, камней чистой воды, слуг покорных. Богат я, своего хватает, да и Кривонос не пожалеет добра, и Хмельницкий не поскупится, будешь не хуже княгини Вишневецкой. Замков, сколько захочешь, возьму, положу к ногам пол-Украины – хоть и казак я, не шляхтич, а как-никак атаман бунчужный, у меня десять тысяч молодцев под началом, поболее, чем под князем Яремой. Проси, чего угодно, только не убегай, только захоти быть со мною и полюбить меня, моя голубка!

Княжна приподнялась на подушках, бледней полотна, но нежное, чудное ее лицо такую несокрушимую выражало волю, такую гордость и силу, что голубка в ту минуту более походила на орлицу.

– Коли ты, сударь, ответа от меня ждешь, – промолвила она, – знай: хоть бы мне век пришлось лить слезы в твоей неволе, я никогда, никогда тебя не полюблю, и да поможет мне всевышний!

Богун несколько времени боролся с собою.

– Ты мне таких слов не говори! – хриплым голосом произнес он.

– Это ты мне не говори о своей любви – стыд меня берет, гнев и обида. Не про тебя я!

Атаман встал.

– А про кого же, княжна Курцевич? Кабы не я, чья б ты была в Баре?

– Кто мою жизнь спас, чтобы потом опозорить да свободы лишить, тот не друг мне, а враг лютей.

– А если бы тебя мужики убили? Подумать страшно!

– Нож бы меня убил, это ты его у меня вырвал!

– И ни за что не отдам! Ты должна быть моею, – пылко вскричал казак.

– Никогда! Лучше смерть.

– Должна быть и будешь.

– Никогда.

– Эх, кабы не твоя рана, после слов таких я б сегодня же послал молодцев в Рашков и монаха велел силой пригнать, а к завтраму был бы твоим мужем. Тай что? Мужа грех не любить, не голубить! Эко, вельможная панна, для тебя казацкая любовь – стыд и обида! А кто ты такая, чтобы меня считать холопом? Где твои замки, войска, бояре? Почему стыд? Отчего обида? Я тебя на войне взял, ты полонянка. Ой, был бы я простой мужлан, нагайкой бы тебя по белой спине уму-разуму поучил и без ксендза красой твоей наслаждался – если б мужик был, не

рыцарь!

– Ангелы небесные, спасите! – прошептала княжна.

Меж тем ярость все явственнее обозначалась на лице атамана – гнев его рвался наружу.

– Знаю я, – продолжал он, – почему ты противишься мне, почему моя любовь тебе обидна! Для другого свою девичью честь бережешь – но не бывать тому, не будь я казак, клянусь жизнью! Голь перекатная шляхтич твой! Пустобрех! Лях лукавый! Пропади он пропадом! Едва глянул, едва покружил в танце, и уже она, вся как есть, его, а ты, казак, терпи, колотись лбом об стенку! Ничего, я до него доберусь – шкуру прикажу содрать да распялить. Знай же: Хмельницкий войною идет на ляхов, а я с ним – и голубка твоего разыщу хоть под землею, а ворочусь, вражью его голову под ноги тебе кину.

Елена не услышала последних слов атамана. Боль, гнев, раны, волнение, страх лишили ее сил – ужасная слабость разлилась по телу, свет в глазах померк, сознание помутилось, и она упала без чувств на подушки.

Атаман все стоял, белый от ярости, с пеною на губах; вдруг он заметил эту неживую, бессильно запрокинутую голову, и из уст его вырвался рык почти нечеловеческий:

– Уже по не...! Горпына! Горпына! Горпына!

И Богун грянулся оземь.

Исполинка опрометью влетела в горницу.

– Що з тобою?

– Спаси! Помогі! – кричал Богун. – Убил я ее, душеньку мою, світло моє!

– Що ти, здурів?

– Убил, убил! – стонал атаман, ломая над головой руки.

Но Горпына, подойдя к княжне, вмиг поняла, что не смерть это, а лишь глубокий обморок, и, вытолкав Богуна за дверь, начала приводить девушку в чувство.

Минуту спустя княжна открыла глаза.

– Ну, доню, ничего тебе не случилось, – приговаривала колдунья. – Видать, напугалась его и свет в очах помрачился, но помраченье пройдет, а здоровье вернется. Ты ж у нас как орех девка, тебе еще жить да жить, не ведая горя.

– Ты кто такая? – слабым голосом спросила Елена.

– Я? Слуга твоя – как атаман повелел.

– Где я?

– В Чертовом яре. Пустыня глухая окрест, никого, кроме его, не увидишь.

– А ты тоже живешь здесь?

– Это наш хутор. Донцы мы, мой брат полковничает у Богуна, добрыми молодцами верховодит, а мое место тут – теперь вот тебя караулить буду в золоченом твоём покое. Замест хаты терем! Глазам смотреть больно... Это он для тебя постарался.

Елена глянула на пригожее лицо девки, и показалось ей оно прямодушным.

– А будешь ко мне добра?

Белые зубы молодой ведьмы сверкнули в усмешке.

– Буду. Отчего не быть! – сказала она. – Но и ты будь добра к атаману. Эвон какой молодец, сокол ясный! Да он тебе...

Тут ведьма, наклонившись к Елене, принялась ей что-то нашептывать на ухо, а под конец разразилась громким смехом.

– Вон! – крикнула княжна.

Глава III

Утром по прошествии двух дней Горпына с Богуном сидели под вербой возле мельничного колеса и смотрели на вспененную воду.

– Гляди за ней, стереги, глаз не спускай, чтоб из яру ни ногой, – говорил Богун.

– В яру возле речки горловина узкая, а здесь места хватит. Вели горловину камнями засыпать, и будем мы как на дне горшка, а я для себя, коли понадобится, найду выход.

– Чем же вы здесь кормитесь?

– Черемис меж валунов кукурузу сажит, виноград растит, птиц в силки ловит. И привез ты

немало, ни в чем твоя пташка нужды знать не будет, разве что птичьего молока захочет. Не бойся, не выйдет она из яра, и никто о ней не прознает, лишь бы молодцы твои не проболтались.

– Я им поклясться приказал. Ребята верные: хоть ремни из спины крои, слова не скажут. Но ты ж сама говорила, к тебе люди за ворожбаю приходят.

– Из Рашкова, часом, приходят, а иной раз кто прослышит, то и бог весть откуда. Но дальше реки не идут, в яр никто не суется, страшно. Ты видел кости. Были такие, что попробовали, – ихние это косточки лежат.

– Твоих рук дело?

– А тебе не один черт?! Кому поворожить, тот на краю ждет, а я к колесу. Чего увижу в воде, с тем приду и рассказываю. Сейчас и тебе погляжу, да не знаю, покажется ли что, не всякий раз видно.

– Лишь бы худого не углядела.

– Выйдет худое, не поедешь. И без того лучше б не ехал.

– Не могу. Хмельницкий в Бар письмо писал, чтобы я возвращался, да и Кривонос велел. Ляхи против нас идут с преболюшою силой, стало быть, и нам надо держаться вместе.

– А когда воротишься?

– Не знаю. Великая будет битва, какой еще не бывало. Либо нам карачун, либо ляхам. Побьют они нас, схоронюсь здесь, а мы их – вернусь за своей зозулей и повезу в Киев.

– А коли погибнешь?

– На то ты и ворожиха, чтобы мне наперед знать.

– А коли погибнешь?

– Раз мати родила!

– Ба! А что мне тогда с девкою делать? Шею ей свернуть, что ли?

– Только тронь – к волам прикажу привязать да на кол.

Атаман угрюмо задумался.

– Ежели я погібну, скажи ей, чтоб меня простила.

– Эх, невдячна твоя полячка: за такую любовь и не любит. Я б на ее месте кобениться не стала, ха!

Говоря так, Горпына дважды ткнула атамана кулаком в бок и ощерила в усмешке зубы.

– Поди к черту! – отмахнулся казак.

– Ну, ну! Знаю, не про меня ты.

Богун засмотрелся на kloкочущую под колесом воду, будто сам хотел прочитать свою судьбу в пене.

– Горпына! – сказал он немного погодя.

– Чего?

– Станет она обо мне тужить, как я поеду?

– Коль не хочешь по-казацки ее приневолить, может, оно и лучше, что поедешь.

– Не хочу, не могу, не смію! Она руки на себя наложит, знаю.

– Может, и впрямь лучше уехать. Она, пока ты здесь, знать тебя не желает, а посидит месяц-другой со мной да с Черемисом – куда как мил станешь.

– Будь она здорова, я бы знал, что делать. Привел бы попа из Рашкова да велел обвенчать нас, но теперь, боюсь, она со страху отдаст богу душу. Сама видала.

– Вот заладил! На кой ляд тебе поп да венчанье? Нет, худой ты казак! Мне здесь ни попа, ни ксендза не нужно. В Рашкове добруджские татары стоят, еще навлечешь на нашу голову басурман, а придут – только ты свою княжну и видел. И что тебе взбрело на ум? Езжай себе и возвращайся.

– Ты лучше в воду гляди и говори, чего видишь. Правду говори, не обманывай, даже если не жилец я.

Горпына подошла к мельничному желобу и подняла перекрывающую водоспуск заставку; тотчас резвый поток побежал по желобу вдвое скорее, и колесо стало поворачиваться живей, пока не скрылось совершенно за водяной пылью; густая пена под колесом так и закипела.

Ведьма устала черные свои глазищи в эту кипень и, схватившись за косы над ушами, принялась выкликать:

– Уху! Уху! Покажись! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, злой ли, добрый ли, покажись!

Богун подошел поближе и сел с нею рядом. На лице его страх мешался с неудержимым любопытством.

– Вижу! – крикнула ведьма.

– Что видишь?

– Смерть брата. Два вола Донца на кол тащат.

– Черт с ним, с твоим братом! – пробормотал Богун, которому не терпелось узнать совсем другое.

С минуту слышен был только грохот бешено вертящегося колеса.

– Синяя у моего брата головушка, синенька, вороны его клюют! – сказала ведьма.

– Еще что видишь?

– Ничего... Ой, какой синий! Уху! Уху! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, покажись... Вижу.

– Что?

– Битва! Ляхи бегут от казаков.

– А я за ними?

– И тебя вижу. Ты с маленьким рыцарем схватился. Эгей! Берегись маленького рыцаря.

– А княжна?

– Нету ее. А вон снова ты, а рядом тот, что тебя обманет лукаво. Друг твой неверный.

Богун то на пенные разводы глядел, то Горпыну пожирал глазами и напрягался мыслью, чтобы ворожбе поспособить.

– Какой друг?

– Не вижу. Не разберу даже, молодой или старый.

– Старый! Вестимо старый!

– Может, и старый.

– Тогда я знаю, кто это. Он меня уже раз предал. Старый шляхтич, борода седая и на глазу бельмо. Чтоб ему сдохнуть! Только он мне не друг вовсе!

– Подстерегает тебя – опять показался. Погоди! Вот и княжна! Вона! В рутовом венке, в белом платье, а над нею ястреб.

– Это я.

– Может, и ты. Ястреб... Али сокол? Ястреб!

– Я это.

– Погоди. Ничего не видать больше... В колесе дубовом, в пене белой... Ого! Много войска, много казаков, ой, много, как деревьев в лесу, как в степи бодяка, а ты надо всеми, три бунчука перед тобою несут.

– А княжна при мне?

– Нету ее, ты в военном стане.

Снова наступило молчанье. От грохота колеса вся мельница содрогалась.

– Эка, крови-то сколько, крови! Трупов не счесть, волки над ними, вороны! Мор пришел страшный! Куда ни глянь, одни трупы! Трупы и трупы, ничего не видать, все кровью залито.

Внезапно порыв ветра смахнул туман с колеса, и тут же на пригорке над мельницей появился с вязанкою дров на плечах уродище Черемис.

– Черемис, опусти заставку! – крикнула девка.

И, сказавши так, пошла умыть лицо и руки, а карлик меж тем усмирив воду.

Богун сидел задумавшись. Очнулся только, когда подошла Горпына.

– Больше ничего не видала? – спросил он ее.

– Что показалось, то показалось, дальше и глядеть не надо.

– А не врешь?

– Головой брата клянусь, правду сказала. На кол Донца посадят – за ноги привяжут к волам и потащат. Эх, жаль мне тебя, братец. Да не одному ему написана смерть-то! Экая показалась тьма трупов! Отродясь не видела столько! Быть великой войне на свете.

– А у нее, говоришь, ястреб над головою?

– Ну.

– И сама в венке была?

– В веночке и в белом платье.

– А откуда ты знаешь, что я – этот ястреб? Может, тот лях молодой, шляхтич, о котором ты от меня слыхала?

Девка насупила брови и задумалась.

– Нет, – сказала она, тряхнув головою, – коли б був лях, то би був орел.

– Слава богу! Слава богу! Ладно, пойду к ребятам, велю лошадей готовить в дорогу. Стемнеется, и поедем.

– Беспременно, значит, решил ехать?

– Хмель приказывал, и Кривонос тоже. Сама видела: быть великой войне, да и в Баре я про то ж прочитал в письме от Хмеля.

Богун на самом деле читать не умел, но стыдился этого – слыть простецом атаману не хотелось.

– Ну и езжай! – сказала ведьма. – Счастливый ты – гетманом станешь: три бунчука над тобой как свои пять пальцев видала!

– И гетманом стану, и княжну за жінку возьму – не мужичку брать же.

– С мужичкой ты б не так разговаривал – а с этой робеешь. Ляхом бы тебе уродиться.

– Я же не гірший.

Сказавши так, Богун пошел к своим молодцам в конюшню, а Горпына – к плите, стряпать.

К вечеру лошади были готовы в дорогу, но атаман не спешил с отъездом. Он сидел на груди ковров в светлице с торбаном в руке и глядел на свою княжну, которая уже поднялась с постели, но, забывшись в дальний угол, шептала молитву, нисколько не обращая внимания на атамана, будто его и не было вовсе. Он же со своего места следил за каждым ее движеньем, каждый вздох ловил – и сам не знал, что с собою делать. Всякую минуту открывал рот, намереваясь завести разговор, но слова застревали в горле. Смущало атамана бледное, немое лицо суровостью своею, что затаилась в бровях и устах. Таким его Богун не видывал прежде. И невольно припомнились ему былые вечера в Разлогах, словно въяве в памяти встали. Вот сидят они с Курцевичами за дубовым столом. Старая княгиня подсолнухи лушит, князя кидают кости из чарки, он же, все равно как сейчас, с прекрасной княжны глаз не сводит. Но в те времена и он бывал счастлив – в те времена, когда он рассказывал, как ходил с сечевиками в походы, она слушала, а порой и взор черных своих очей на его лицо обращала, и малиновые ее уста приоткрывались, и видно было, что рассказы эти ей интересны. Теперь же и не взглянет. Тогда, бывало, когда он на торбане играл, она и слушала, и глядела, а у него аж таяло сердце. И вот ведь чудеса какие: невольница, его полонянка, – приказывай, что пожелаешь! – но тогда он, казалось, ближе ей был, чуть ли не ровней! Курцевичи были ему братья, стало быть, и она, ихняя сестра, не только зозулей, горлицей, милушкой чернобровой для него была, но и сродственницей как бы. А нынче сидит перед ним гордая, пасмурная, безмолвная, немилосердная панна. Ой, закипает в нем гнев, закипает! Показать бы ей, как казаком гнушаться, но он жестокосердную эту панну любит, кровь за нее готов отдать, и сколько б ни вздымалась в груди ярость, всякий раз невидимая рука за чуб схватит, неведомый голос гаркнет «стой!» в самое ухо. А если и вспыхивал, как пламень, потом бился головой о землю. Тем и кончалось. Вот и не находит себе казачина места – чует его сердце: тяжело ей с ним под одною крышей. Ну что б улыбнулась, молвила доброе слово – он бы ей в ноги кинулся и к черту в пасть поехал, лишь бы кручину свою, гнев, унижение в ляшской крови утопить бесследно. А здесь, перед этой княжною, он раба хуже. Кабы ее не знал прежде, кабы то была взятая в какой-нибудь шляхетской усадьбе полячка, он бы куда был смелее, но это княжна Елена, за которую он челом Курцевичам бил, за которую и Разлоги, и все, чем богат, отдать рад. Тем зазорнее холопом при ней себя чувствовать, тем пуще он подле нее робеет.

Время идет, за дверями хаты слышны голоса казаков, которые, верно, уже в кульбаках сидят и ждут атамана, а атаман муку терпит. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш, на торбан, а она хоть бы взглянула! Горько атаману, злоба душит, и тоскливо, и стыдно. Хочется попрощаться ласково, да страшно, боится он, что не будет это прощанье таким, какого душа желает, что уедет он с досадой, с болью, со гневом в сердце.

Эх, кабы то был кто другой, а не княжна Елена, не княжна Елена, ударившая себя ножом,

руки на себя грозящая наложить... Да только мила она ему, и чем безжалостней и надменнее, тем милее!

Вдруг конь заржал под окошком.

Атаман собрался с духом.

– Княжна, – сказал он, – мне пора ехать.

Елена молчала.

– Не скажешь мне: с богом?

– Езжай, сударь, с богом! – ровным голосом проговорила Елена.

У казака сжалось сердце: этих слов он ждал, но сказаны они должны были быть по-иному!

– Знаю я, – молвил он, – гневаешься ты на меня, ненавидишь, но, поверь, другой был бы к себе во сто крат злее. Привез я тебя сюда, потому как не мог иначе, но скажи: что я тебе худого сделал? Вроде обходился по чести, ровно с королевной... Неужто такой я злодей, что словом добрым подарить не хочешь? А ведь ты в моей власти.

– В божьей я власти, – сказала она с той же, что и прежде, серьезностью, – а за то, что ты, сударь, при мне сдерживаешь себя, благодарствуй.

– Ладно, и на том спасибо. Поеду. Может, пожалеешь еще, затоскуешь!

Елена молчала.

– Тяжко мне тебя здесь одну оставлять, – продолжал Богун, – тяжело уезжать, но дело не терпит. Легче было бы, когда бы ты улыбнулась, благословила от чистого сердца. Что сделать, чем заслужить прощенье?

– Верни мне свободу, а господь тебе все простит, и я прощу, и всяческого добра пожелаю.

– Что ж, может, так оно еще и случится, – сказал казак, – может, еще пожалеешь, что ко мне была столь сурова.

Богун попытался купить прощальную минуту хотя бы ценой неопределенного обещанья, сдерживать которое он и не думал, – и своего добился: огонек надежды сверкнул в очах Елены, и лицо ее немного смягчилось. Она сложила на груди руки и устремила свой ясный взор на атамана.

– Если б ты...

– Ну, не знаю... – проговорил казак едва слышно, потому что горло его стеснили разом и стыд, и жалость. – Пока не могу, не могу – орда стоит в Диком Поле, чамбулы повсюду рыщут, от Рашкова добруджские татары идут – не могу, страшно, погоди, ворочусь вот... Я подле тебя дитина. Ты со мной что захочешь можешь сделать. Не знаю!.. Не знаю!..

– Да поможет тебе господь, да не оставит тебя пресвятая дева... Езжай с богом!

И протянула ему руку. Богун подскочил и прильнул к ней губами, когда же поднял внезапно голову, встретил холодный взгляд – и выпустил руку. Однако, пятась к двери, кланялся в пояс, по-казацки, на пороге еще бил поклоны, пока за занавесью не скрылся.

Вскоре говор за окном сделался громче, послышалось бряцанье оружия, а потом и подхваченная десятком голосов песня:

Буде слава славна Поміж козаками, Поміж друзями, На довгі... літа, До кінця віка...

Голоса и конский топот все более отдалялись и затихали.

Глава IV

– Чудо господь однажды над нею уже явил, – рассуждал Заглоба, сидя на квартире Скшетуского с Володи,,вским и Подбипяткой. – Сущее, говорю, сотворил чудо, дозволив мне из вражьих рук ее вырвать и на пути опасностей избежать; будем же уповать, что и далее ей и нам свою милость окажет. Лишь бы жива осталась. А что-то мне как подшептывает, будто Богун ее снова похитил. Судите сами: языки сказывали, он после Полуяна сделался Кривоносу первый пособник, – чтоб ему черти в ад попасть пособили! – стало быть, во взятии Бара участвовал всенепременно.

– Да нашел ли он ее в толпе несчастных? Там ведь тысяч двадцать порешили, – заметил Володи,,вский.

– Ты его, сударь, не знаешь. А я поклясться готов: он проведаль, что княжна в Баре. Да-да, иначе и быть не может: он ее от резни спас и увез куда-то.

– Не больно ты нас порадовал, ваша милость, я бы на месте Скшетуского предпочел, чтоб она погибла, нежели попала в поганные атамановы руки.

– А это еще хуже: если погибла, то обесчещенной...

– Беда! – промолвил Володы,вский.

– Ох, беда! – повторил пан Лонгинус.

Заглоба принялся теребить ус и бороду и вдруг взорвался:

– Чтоб их от мала до велика короста изъела, сучье племя, чтоб из ихних жил понаделали тетив басурманы! Бог создал все народы, но этот – не иначе, как сатаны творенье, содомиты, дьявольское отродье! Да оскудеют чрева у матерей их, всех до единой!

– Не знал я прелестней сей панны, – печально проговорил Володы,вский,

– но уж лучше б меня самого беда постигла.

– Я ее только раз в жизни и видел, но как вспомню, такая жалость берет – прямо жить несладко! – сказал пан Лонгинус.

– Это вам! – воскликнул Заглоба. – А каково мне, когда я отеческим чувством к ней проникся и, можно сказать, вытащил на своих плечах из бездны?.. Мне-то каково?

– А каково Скшетускому? – спросил Володы,вский.

Долго так сокрушались рыцари, а потом надолго умолкли.

Первым опамятовался Заглоба.

– Неужто, – спросил он, – ничего нельзя сделать?

– Если ничего нельзя сделать, долг наш – отмстить, – ответил Володы,вский.

– Скорей бы господь послал сраженье! – вздохнул пан Лонгинус. – Говорят, будто татары уже переправились и в полях кошом стали.

На что Заглоба:

– Нет, не можно так бедняжку оставить, ничего не предприняв для ее спасенья. Довольно я старые свои кости наломал, таскаясь по свету, мне б теперь боковать в тепле да в покое, но ради бедняжки этой... Да я хоть в Стамбул опять побреду, хоть наново в мужицкую обряжусь сермягу и торбан возьму, на который глядеть не могу без омерзенья.

– Ваша милость у нас на всяческие горазд затеи, измысли что-нибудь, – сказал Подбиятка.

– Да мне не счесть, сколько разных уловов на ум приходит. Знай князь Доминик половину, Хмельницкий давно бы со вспоротым брюхом на виселице болтался. Я и со Скшетуским говорил, только с ним сейчас толковать бесполезно. Болеть сердечная в нем угнездилась и грызет пуще хворобы. Вы за ним приглядывайте: как бы рассудком не повредился. Подчас от большого горя *mens*¹ начинает бродить, как вино, покамест совсем не прокиснет.

– Бывает такое, бывает! – промолвил пан Лонгинус.

Володы,вский заерзал нетерпеливо на месте и спросил:

– Так что же ты, сударь, придумал?

– Что придумал? А вот что: первым долгом надлежит узнать, жива ли еще бедняжка наша, – да хранят ее ангелы ото всякого зла! – а узнать это можно двояко: либо отыскать среди княжых казаков надежных и верных людей, которые согласятся, выдав себя за перебежчиков, пристать к Богуновым молодцам и чего-нибудь от них дознаться...

– У меня есть среди драгун русины! – перебил его Володы,вский. – Я найду нужных людей.

– Погоди, сударь... Либо взять языка из тех супостатов, что злодействовали в Баре: вдруг им чего известно. Эти все в Богуне души не чают, люб им его сатанинский нрав; песни о нем поют – чтоб им глотки позатыкало! – да о подвигах его, какие были и каких не было, балбонят. Если он бедняжку нашу похитил, они наверняка об этом слыхали.

– Так можно и людей послать, и насчет языка постараться, одно другому не мешает, – заметил пан Лонгинус.

– В самую точку попал, сударь. Узнаем, что она жива, – почитай, полдела сделано. А вы,

¹ дух (лат.).

друзья любезные, коли впрямь Скшетускому помочь хотите, извольте следовать моему указу, ибо у меня опыта побольше вашего. Переоденемся мужиками и попродадем разнюхать, где он ее прячет, а доберемся до места – наша будет, об этом уж я позабочусь. Одно только плохо – нас со Скшетуским Богун помнит; не приведи господь узнает – матери родные потом узнать не смогут, зато вас, судари мои, ни того, ни другого он в глаза не видел.

– Меня видел, – сказал Подбиятка, – но это дела не меняет.

– Может, даст бог, сам попадется к нам в руки! – воскликнул Володы,вский.

– А я на него и глядеть не желаю, – продолжал Заглоба, – пускай любитесь заплечных дел мастер! Но действовать надо осторожно, дабы всего предприятия не испортить. Не может такого быть, что ему одному известно, где княжна, а что безопаснее спрашивать у кого другого, за это я вам, любезные господа, ручаюсь.

– Возможно, и наши посланцы кое-чего прознают. Если только князь даст позволение, я отберу надежных людей и хоть завтра отправлю.

– Князь позволит, но узнают ли они что, сомневаюсь. Послушайте-ка, милостивые государи, меня совсем иная мысль осенила: чем людей посылать да охотиться за языками, давайте сами наденем мужицкое платье и двинемся в путь, не медля.

– Нет, это никак невозможно! – вскричал Володы,вский.

– Почему же?

– Видно, ты, сударь, военной службы не знаешь. Когда хоругви собираются *perine excepto*², это святое дело. Рыцарь, хоть бы у него отец с матерью на смертном одре лежали, перед решающей битвой не станет в отпуск проситься – нет большего для солдата позора. После сражения, когда неприятель разгромлен, – ради бога, но никак не прежде. И заметь, сударь: Скшетускому не меньше тебя хотелось сорваться и лететь на розыски милой, но он об этом и не заикнулся даже. Кажется, добрую славу уже стяжал, князь его любит, а ведь словом не обмолвился, потому что долг свой знает. Это, понимаешь ли, общее дело, а то – приватное. Не знаю, как где, хотя полагаю, везде одно и то же, но чтоб у князя нашего воеводы кто-нибудь, а тем паче офицер, увольнения перед битвой просил – такого еще не бывало! Да рвись у Скшетуского душа на части, он с этим не пойдет к князю.

– Римлянин он и ригорист, знаю, – сказал Заглоба, – но если бы кто князю шепнул словечко, может, он бы и его, и вас, любезные судари, отпустил безо всякой просьбы.

– Князю и на ум не придет такое! У него вся Речь Посполитая на плечах. Неужто, полагаешь, теперь, когда делам величайшей важности, поистине всенародным, предстоит решаться, он чьими-то личными интересами займется? А даже если бы, в чем сомневаюсь, по своему почину дал увольнение, ни один из нас, как бог свят, лагеря бы сейчас не покинул: мы тоже первой всего не себе обязаны служить, а отчизне нашей несчастной.

– Понимаю я все прекрасно, сударь мой, и не первый день состою на службе, потому и сказал, что мысль эта лишь мелькнула в голове – но не сказал, что она там засела. К тому же, если подумать, покуда разбойничья рать стоит нерушима, многого нам все равно не сделать, а вот когда неприятель будет разбит и, преследуемый по пятам, только о спасении своей шкуры заботиться станет, тогда смело можно в его ряды затесаться – и у них языки развяжутся легче. Скорей бы только остальные войска подтянулись, не то мы под этим Чолганским Камнем вконец изведемся. Будь нашего князя воля, мы бы уже давно в пути находились, а князя Доминика нескоро дождешься, он, видать, привалы устраивает по пять раз на дню.

– Его в ближайшие три дня ожидают.

– Дай-то бог поскорее! А коронный подचाший сегодня, кажется, подойти должен?

– Сегодня.

В эту минуту дверь отворилась и вошел Скшетуский.

Черты его как будто страдание высекло из камня – таким от них веяло холодом и спокойствием.

Странно было глядеть на юное это лицо, столь суровое и серьезное, что казалось, на нем никогда не являлась улыбка; вряд ли даже бы смерть, коснувшись его, что-либо в этих чертах

² в полном составе (лат.).

изменила. Борода у пана Яна отросла до половины груди, и середь волоса, черного как вороново крыло, кое-где вились серебряные нити.

Соратники и верные его сотоварищи лишь догадывались о страданиях друга – по нему самому ничего нельзя было сказать. Был он ровен и с виду спокоен, солдатскую службу нес едва ли не ревностнее обычного и казался полностью поглощен предстоящей войною.

– Мы тут, сударь, о твоей беде говорили, каковую в равной мере своей считаем, – сказал Заглоба. – Ничто нам не в радость, бог свидетель. Однако бесплодны были б чувства наши, кабы мы тебе единственно слезы лить помогали, – вот и решили кровь пролить, а бедняжку, ежели она еще по земле ходит, из неволи вырвать.

– Да вознаградит вас господь, – промолвил Скшетуский.

– Хоть к Хмельницкому в лагерь с тобой поедем, – добавил Володы,вский, с тревогой поглядывая на друга.

– Да вознаградит вас господь, – повторил тот.

– Мы знаем, – продолжал Заглоба, – что ты поклялся отыскать ее живой или мертвой, и готовы хоть сей же час...

Скшетуский, присев на лавку, уставился в землю и не проронил в ответ ни слова – Заглобу аж зло взяло. «Неужто забыть ее хочет? – подумал старый шляхтич. – Если так, вразуми его всевышний! Нету, видать, ни благодарности, ни памяти на свете. Но ничего, найдутся такие, что ей на выручку поспешат, – я первый, пока таскаю ноги...»

В комнате воцарилось молчание, нарушаемое только вздохами Подбипятки. Наконец маленький Володы,вский приблизился к Скшетускому и потряс за плечо.

– Ты откуда? – спросил он.

– От князя.

– И что?

– В ночь выхожу с разъездом.

– Далеко?

– Под Ярмолинцы, если дорога свободна.

Володы,вский поглядел на Заглобу, и они без слов поняли друг друга.

– Это в сторону Бара? – пробормотал Заглоба.

– Мы пойдем с тобою.

– Прежде за разрешением сходи и узнай, не предназначил ли тебе князь иного дела.

– Пошли вместе. Мне еще кое о чем его спросить надо.

– И мы с вами, – сказал Заглоба.

Все поднялись и вышли. Княжеская квартира была неблизко, на другом конце лагеря. В передней комнате толпились офицеры из разных хоругвей: войска отовсюду стекались к Чолганскому Камню, всяк спешил под знамена князя. Володы,вскому пришлось подождать порядком, прежде чем они с паном Лонгином были допущены к его светлости, зато князь сразу позволил и им самим ехать, и нескольких драгун-русинов послать, чтобы те, выдав себя за перебежчиков, пристали к Богуновым казакам и о княжне разузнать постарались. Володы,вскому же он сказал:

– Я сам разные дела выискиваю для твоего друга, ибо вижу, тоска в нем засела и душу точит, а жаль мне его несказанно. Не говорил он с вами о княжне?

– Можно считать, нет. В первую минуту чуть было не помчался очертя голову к казакам, но припомнил, что сейчас хоругви собираются *perire exseperto* и спасение отчизны – первая наша обязанность, потому и к твоей светлости не является. Господь один только знает, что в его душе творится.

– И тяжкие шлет испытанья. Вижу, ты ему верный друг – береги же его, сударь.

Володы,вский низко поклонился и вышел, так как в эту минуту в комнату вошли киевский воевода со старостой стобницким, с паном Денхофом, старостой сокальским, и еще несколько высших офицеров.

– Ну что? – спросил его Скшетуский.

– Еду с тобой, только загляну к своим: надо двух-трех человек кое-куда отправить.

– Идем вместе.

Они вышли, а с ними Подбипятка, Заглоба и старик Зацвилюховский, который

направлялся в свою хоругвь. Невдалеке от палаток драгунской хоругви Володы,вского друзьям встретился пан Лащ в сопровождении десяти или пятнадцати шляхтичей; рыцарь сей не столько продвигался вперед, сколько выписывал кренделя: и он, и спутники его были совершенно пьяны. Заглоба, увидя такую картину, не сдержал вздоха. Они с коронным стражником сдружились еще под Староконстантиновом, ибо в некотором отношении натуры их были схожи как две капли воды. Пан Лащ, бесстрашный воин, сущая гроза басурман, был при том отъявленнейший гуляка, игрок и бражник, более всего любивший свободное от сражений, молитв, набегов и потасовок время проводить в кругу таких людей, как Заглоба, пить горькую и балагурства слушать. Будучи великим смутьяном, он один учинил столько беспорядков, столько раз нарушал закон, что в любом другом государстве давно поплатился бы головою. Не одна висела на нем кондезната, но он даже в мирное время не придавал этому никакого значения, а во время войны его прегрешения и вовсе забылись. С князем Лащ соединился еще в Росоловцах и немалую помощь под Староконстантиновом оказал, но с той поры, как расположился в Збараже на отдых, сделался невыносим из-за вечно затеваемых им скандалов. А уж сколько у него Заглоба вина выпил, сколько понарасказывал басен к великому удовольствию хозяина, который его к себе приглашал ежедневно, того и не сочтешь, и пером не опишешь.

Но когда пришло известие о взятии Бара, Заглоба приуныл, помрачнел, утратил былой задор и более у стражника не появлялся. Тот думал даже, что развеселый шляхтич оставил службу в войске, а тут вдруг увидел его пред собою.

Протянув руку, он промолвил:

– Приветствую тебя, любезный сударь. Что поделываешь? Отчего ко мне не заглянешь?

– Да вот, сопровождаю пана Скшетуского, – угрюмо отвечал Заглоба.

Стражник не любил Скшетуского за степенный нрав и прозвал разумником, хотя о несчастье его знал прекрасно, так как присутствовал на том самом пиршестве в Збараже, когда разнеслась весть о взятии Бара. Однако, будучи по природе своей несдержан, а в ту минуту вдобавок пьян, не пожелал чужое горе уважить и, ухвативши наместника за пуговицу жупана, спросил:

– Что, брат, все по девке плачешь?.. А хороша была, признайся?

– Пусти меня, милостивый сударь, – сказал Скшетуский.

– Погоди.

– На службе находясь, не волен я с исполнением приказа его светлости ясновельможного князя мешкать.

– Погоди! – повторил Лащ с упорством пьяного человека. – Ты на службе, не я. Мне здесь никто приказывать не смеет.

После чего, понизив голос, повторил вопрос:

– Хороша была, а?

Брови поручика сошлись на переносье.

– Мой тебе совет, сударь: не касайся больного места.

– Больного места не касаться? Да ты зря горюешь. Хороша была – жива, значит.

Лицо Скшетуского покрылось смертельной бледностью, но он сдержал себя и молвил:

– Сударь... как бы мне не забыть, с кем честь имею..

Лащ вытаращил глаза.

– Ты что? Грозишься? Мне?.. Из-за какой-то потаскушки?

– Иди-ка, пан стражник, своей дорогой! – гаркнул, дрожа от злости, старый Зацвилюховский.

– Ах вы, голодранцы, сермяжники, холуи! – завопил стражник. – За сабли, господа!

И, выхватив свою, бросился на Скшетуского, но в то же мгновение в руке пана Яна засвистело железо и сабля стражника птицею взмыла в воздух, сам же он пошатнулся и с размаху грянулся во весь рост на землю.

Скшетуский не стал его добивать; он застыл в каком-то дурмане, белый как полотно, а вокруг меж тем закипела буча. С одной стороны подскочили спутники стражника, с другой, точно пчелы из улья, налетели драгуны Володы,вского. Раздались возгласы: «Бей их, бей!» Подбежали еще какие-то люди, даже и не зная, в чем дело. Зазвенели сабли, стычка грозила

превратиться во всеобщее побоище. К счастью, дружки Лаща, видя, что людей Вишневецкого все прибывает, протрезвев со страху, подхватили стражника и обратились в бегство.

По всей вероятности, имей стражник дело с другими солдатами, менее приученными к дисциплине, его бы в куски изрубили, но старый Зацвилюховский, опомнясь, только крикнул: «Стой!» – и сабли попрыгали в ножны.

Тем не менее весь лагерь пришел в волнение: слух о схватке достиг княжских ушей. Кушель, несший караульную службу, вбежал в комнату, где князь совещался с киевским воеводой, старостой стобницким и Денхофом, и крикнул:

– Ваша светлость, солдаты на саблях дерутся!

Следом за ним пулей влетел бледный, обеспамятевший от бешенства, но уже протрезвевший коронный стражник.

– Ваша светлость, я требую справедливости! – кричал он. – В этом лагере хуже, чем у Хмельницкого, – ни к родовитости почтения нету, ни к сану! Саблями сановников рубят! Ежели ты, ясновельможный князь, справедливости мне не окажешь и не повелишь обидчиков предать смерти, я сам с ними расправлюсь.

Князь стремительно встал из-за стола.

– Что случилось? Кто на тебя напал, сударь?

– Твой офицер – Скшетуский.

На лице князя изобразилось неподдельное изумление.

– Скшетуский?

Внезапно дверь отворилась и вошел Зацвилюховский.

– Твоя светлость, я был всему свидетель! – сказал он.

– Я сюда не объясняться пришел, а требовать наказания! – вопил Лаш.

Князь повернулся к стражнику и смерил его взглядом.

– Спокойней, спокойней! – негромко, но твердо проговорил он.

Было что-то страшное в его глазах и приглушенном голосе, отчего стражник, хоть и славившийся своею дерзостью, вмиг умолк, точно потерял дар речи, а прочие побледнели.

– Говори, сударь! – обратился князь к Зацвилюховскому.

Зацвилюховский рассказал во всех подробностях, как стражник, движимый неблагородными и не только человека знатного, но и простого шляхтича недостойными побуждениями, стал глумиться над бедой Скшетуского, а затем бросился на него с саблей; рассказал и какую сдержанность, поистине несвойственную его годам, проявил наместник, ограничась лишь тем, что выбил из руки зачинщика оружие. В заключение старик сказал:

– Ваша светлость меня не первый день знает: доживши до семидесяти лет, я ложью своих уст не осквернил и не оскверню, пока буду жив, посему и под присягой в своей реляции не изменю ни слова.

Князю известно было, что Зацвилюховский слов на ветер не бросает, да и Лаща он чересчур хорошо знал. Но ответа сразу не дал, лишь взял перо и начал писать.

Закончив, он взглянул на стражника и молвил:

– Будет тебе, сударь, оказана справедливость.

Стражник разинул было рот с намереньем ответить, но почему-то не нашел, что сказать, только упер руку в бок, поклонился и гордо вышел.

– Желенский! – приказал князь. – Отнесешь письмо пану Скшетускому.

Володы, вский, ни на минуту не оставлявший наместника, несколько встревожился, завидев входящего княжеского слугу, ибо уверен был, что их немедля призовут к князю. Однако слуга лишь вручил письмо и, ни слова не говоря, вышел, а Скшетуский, прочитав послание, подал его другу.

– Читай, – сказал он.

Володы, вский глянул и воскликнул:

– Назначение в поручики!

И, обхвативши Скшетуского за шею, расцеловал в обе щеки.

Поручик в гусарских хоругвях считался почти высшим военным чином. В той хоругви, где служил Скшетуский, ротмистром был сам князь Иеремия, а номинальным поручиком – пан Суффчинский из Сенчи, который, будучи в преклонных летах, действительную службу давно

оставил. Пан Ян долгое время исполнял обязанности того и другого, что, впрочем, в подобных хоругвях, где старшие два чина зачастую были лишь почетными титулами, случалось сплошь и рядом. Ротмистром королевской хоругви бывал сам король, примасовской – примас, поручиками – высшие придворные вельможи, а на деле командовали хоругвями наместники, которых оттого чаще всего называли поручиками и полковниками. Таким поручиком, то бишь полковником, и был по сути Скшетуский. Но лица, только исполнявшие эти должности, в меньшем были почете: между званием, утвердившимся в обиходе, и присвоенным по всей форме существовала немалая разница. Отныне же, в силу княжеского приказа, Скшетуский становился одним из первых офицеров князя воеводы русского.

Однако в то время как приятели, поздравляя Скшетуского с оказанной ему честью, от радости так и сияли, его лицо ни на секунду не переменило выраженья и по-прежнему оставалось застывшей суровой маской: не было на свете таких почестей и чинов, от которых бы оно просветлело.

Все же он встал и отправился благодарить князя, а маленький Володы,,вский тем часом расхаживал по его квартире, потирая руки.

– Ну и ну! – приговаривал он. – Поручик гусарской хоругви! Кто еще в столь молодые лета такого бывал удостоен?

– Лишь бы только господь возвратил ему счастье! – сказал Заглоба.

– То-то и оно! Вы заметили, у него ни единый мускул не дрогнул.

– Он бы предпочел отказаться, – сказал пан Лонгинус.

– И не диво! – вздохнул Заглоба. – Я бы сам за нее вот эту руку, которой знамя захватил, отдал.

– Воистину!

– А что, пан Суффчинский, должно быть, скончался? – заметил Володы,,вский.

– Видать, скончался.

– Кто же наместником будет? У хорунжего молоко на губах не обсохло, да и в должности он без году неделя.

Вопрос остался нерешенным. Ответ на него принес, воротясь, сам поручик Скшетуский.

– Досточтимый сударь, – сказал он Подбипытке, – князь наместником твою милость назначил.

– О боже! – простонал пан Лонгинус, молитвенно складывая руки.

– С тем же успехом можно назначить и его лифляндскую кобылу, – пробормотал Заглоба.

– Ну, а что с разездом? – спросил Володы,,вский.

– Выезжаем без промедленья, – ответил Скшетуский.

– Людей много приказано взять?

– Одну казацкую хоругвь и одну валашскую, разом пятьсот человек будет.

– Э, да это целая экспедиция – не разезд! Что ж, коли так, пора в дорогу.

– В дорогу, в дорогу! – повторил Заглоба. – Может, с божьей помощью какую весточку раздобудем.

По прошествии двух часов, когда солнце уже клонилось к закату, четверо друзей выезжали из Чолганского Камня в направлении на юг; почти одновременно покидал лагерь коронный стражник со своими людьми. За их отъездом, не скупясь на восклицания и злые насмешки, наблюдало множество рыцарей из разных хоругвей; офицеры обступили Кушеля, который рассказывал, по какой причине был изгнан стражник и как это происходило.

– Я к нему был послан с приказом князя, – говорил Кушель, – и, поверьте, миссия эта оказалась весьма *periculosa*;³ он, едва прочитал, взревел точно вол, клейменный железом. И на меня с чеканом – чудом не ударил, должно быть, увидел за окном немцев Корицкого и моих драгун с пищалями на изготовку. А потом как заорет: «Ладно! Пускай! Гоните? Я уйду! К князю Доминику поеду, он меня любезнее примет! И без того, говорит, омерзело служить с голью, а за себя, кричит, отомщу, не будь я Лашем! И от юнца этого потребую удовлетворения!» Я думал, его желчь зальет – весь стол чеканом изрубил от злости. Боязно мне,

³ опасна (лат.).

признаться: как бы с паном Скшетуским не случилось чего худого. Со стражником шутки плохи: горд, злонравен, оскорблений спускать не привык, да и сам не из робких, к тому же высокого звания...

– Да что Скшетускому может сделаться *sub tutela*⁴ самого князя! – возразил один из офицеров. – И стражник, сколько бы ни куражился, вряд ли рискнет связываться с такою персоной.

Тем временем поручик, ничего не ведая об угрозах стражника, отдалялся со своим отрядом от лагеря, держа путь к Ожиговцам, в сторону Южного Буга и Медведовки. Хотя сентябрь позолотил уже листья деревьев, ночь настала теплая и погожая, будто в июле; такой выдался тот год: зимы как бы и не было, а весною все зацвело в ту пору, когда в прошлые годы в степях еще глубокие снега лежали. Дождливое лето сменилось осенью сухой и мягкой, с тусклыми днями и ясными лунными ночами. Отряд подвигался по ровной дороге, особенно не сторожась, – вблизи лагеря ждать нападения не приходилось; лошади бежали резво, впереди ехал наместник с десятком всадников, за ним Володы,вский, Заглоба и пан Лонгинус.

– Гляньте-ка, братцы, как освещен луною тот взгорок, – шептал Заглоба, – словно в белый день, ей-богу. Говорят, только в войну бывают такие ночи, чтобы души, отлетая от тел, не разбивали в потемках лбы о деревья, как воробьи об стропила в овине, и легче находили дорогу. Вдобавок нынче пятница, спасов день: ядовитым испареньям из земли выхода нету, и нечистая сила к человеку доступа не имеет. Чувствую, полегчало мне, и надежда в душу вступает.

– Главное, мы стронулись с места и хоть что-нибудь для спасенья княжны предпринять можем! – заметил Володы,вский.

– Хуже нет горевать, сиднем сидя, – продолжал Заглоба, – а на лошади тебя протрясет – глядь, отчаяние спустится в пятки, а там и высыплется вовсе.

– Не верю я, – прошептал Володы,вский, – что так легко от всего избавиться можно. Чувство, *exemplum*⁵, будто клещ впивается в сердце.

– Ежели чувство подлинное, – изрек пан Лонгинус, – хоть ты с ним схватись, как с медведем, все равно одолеет.

Сказавши так, литвин вздохнул – вздох вырвался из его переполненной сладкими чувствами груди, как из кузнечного меха, – маленький же Володы,вский возвел очи к небу, словно желая отыскать среди звезд ту, что светила княжне Барбаре.

Лошади вдруг дружно зафыркали, всадники хором ответили: «На здоровье, на здоровье!» – и все стихло, покуда чей-то печальный голос не затянул в задних рядах песню:

Едешь на войну, бедняга, Едешь воевать, Будешь днем рубить казака И под небом спать.

– Старые солдаты сказывают: лошадь фыркает к добру, и отец мой покойный, помнится, говорил так же, – промолвил Володы,вский.

– Что-то мне подсказывает: не напрасно мы едем, – ответил Заглоба.

– Ниспошли, господи, и поручику бодрости душевной, – вздохнул пан Лонгинус.

Заглоба же вдруг затряс головою, как человек, который не может отделаться от назойливой мысли, и, не выдержав, заговорил:

– Меня другая точит забота: поделюсь-ка я, пожалуй, с вами, а то уже невоготу стало. Не заметили ли вы, любезные судари, что с некоторых пор Скшетуский – если, конечно, не напускает виду – держится так, будто меньше всех нас спасеньем княжны озабочен?

– Где там! – возразил Володы,вский. – Это у него нрав такой: по себе показывать ничего не любит. Никогда он другим и не был.

– Так-то оно так, однако припомни, сударь: как бы мы его ни ободряли надеждой, он и мне, и тебе отвечал столь *negligenter*⁶, точно речь шла о пустячном деле, а, видит бог, черная бы

⁴ под покровительством (лат.).

⁵ к примеру (лат.).

⁶ небрежно, равнодушно (лат.).

то была с его стороны неблагодарность: бедняжка столько по нем слез пролила, так исстрадалась, что и пером не описать. Своими глазами видел.

Володы,вский покачал головою.

– Не может такого быть, что он от нее отступился. Хотя, верно, в первый раз, когда дьявол этот ее увез из Разлогов, сокрушался так, что мы за его men опасались, а теперь куда более сдержан. Но если ему господь даровал душевный покой и сил прибавил – оно к лучшему. Мы, как истинные друзья, радоваться должны.

Сказав так, Володы,вский пришпорил коня и поскакал вперед к Скшетускому, а Заглоба некоторое время ехал в молчании подле Подбипятки.

– Надеюсь, сударь, ты разделяешь мое мнение, что, если б не амуры, куда меньше зла творилось на свете?

– Что всевышним предначертано, того не избежешь, – ответил литвин.

– Никогда ты впопад не ответишь. Где Крым, а где Рим! Из-за чего была разрушена Троя, скажи на милость? А нынешняя война разве не из-за рыжей косы? То ли Хмельницкий Чаплинскую возжелал, то ли Чаплинский Хмельницкую, а нам за их греховные страсти платить головою!

– Это любовь нечистая, но есть и высокие чувства, приумножающие господню славу.

– Вот теперь ваша милость в самую точку попал. А скоро ли сам на сладкой сей ниве начнешь трудиться? Я слышал, тебя перед походом опоясали шарфом.

– Ох, братушка!.. Братушка!..

– В трех головах, что ль, загвоздка?

– Ах! В том-то и дело!

– Тогда послушай меня: размахнись хорошенько да снеси разом башку Хмельницкому, хану и Богуну.

– Кабы они пожелали в ряд стать! – мечтательно произнес литвин, возводя очи к небу.

Меж тем Володы,вский долго ехал рядом со Скшетуским, молча поглядывая из-под шлема на безжизненное лицо друга, а потом его стремени своим коснулся.

– Ян, – сказал он, – понапрасну ты размышлениями себя терзаешь.

– Не размышляю я, молюсь, – ответил Скшетуский.

– Святое это и премного похвальное дело, но ты ж не монах, чтоб довольствоваться одной молитвой.

Пан Ян медленно повернул страдальческое свое лицо к Володы,вскому и спросил глухим, полным смертной тоски голосом:

– Скажи, Михал, что мне осталось иного, как не постричься в монахи?..

– Тебе осталось ее спасти, – ответил Володы,вский.

– К чему я и буду стремиться до последнего вздоха. Но даже если отыщу живой, не будет ли поздно? Помогите мне, господа! Обо всем могу думать, только не об этом. Сохрани, боже, мой разум! Нет у меня иных желаний, кроме как вырвать ее из окаянных рук, а потом да обрящет она такой приют, каковой и я для себя найти постараюсь. Видно, не захотел господь... Дай мне помолиться, Михал, а кровоточащей раны не трогай...

У Володы,вского сжалось сердце; хотелось ему утешить приятеля, ободрить надеждой, но слова застревали в горле, и ехали они дальше в глухом молчании, только губы Скшетуского шевелились быстро, шепча молитву, которой он, видно, ужасные мысли отогнать стремился, маленького же рыцаря, когда он глянул на высвеченное луною лицо друга, страх объял, ибо почудилось ему: перед ним лицо монаха – суровое, изнуренное обузданием плоти и постами.

И тут прежний голос снова запел в задних шеренгах:

А придешь с войны, бедняга, Кончишь воевать, Будешь раны, бедолага, В нищете считать.

Глава V

Скшетуский вел свой отряд с таким расчетом, чтобы днем отдыхать в лесах и оврагах, выставив надежное охранение, а ночами двигаться вперед. Приблизясь к какой-нибудь деревушке, он обычно окружал ее, чтоб ни одна живая душа не ускользнула, запасался продовольствием, кормом для лошадей, но первым делом собирал сведения о неприятеле, после

чего уходил, не причиняя жителям ничего худого, отойдя же, неожиданно менял направление, чтобы неприятель не мог узнать в деревне, в какую сторону отправился отряд. Целью похода было разведать, осаждают ли еще Кривонос со своим сорокатысячным войском Каменец или, отказавшись от бесплодной затеи, двинулся Хмельницкому на подмогу, чтобы вместе с ним дать врагу решающее сражение, а также узнать, переправились ли уже через Днестр добруджские татары для соединения с казаками Кривоноса или еще стоят лагерем на берегу? Сведения такие польской армии были крайне потребны, и региментариям следовало бы самим подумать об этом, однако, по малому опыту, им такое в голову не приходило, и потому князь-воевода русский взял на себя нелегкую эту задачу. Если бы оказалось, что Кривонос, сняв с Каменца осаду, вместе с белгородскими и добруджскими ордами идет к Хмельницкому, тогда бы надлежало на последнего как можно скорее ударить, прежде чем его мощь не возросла многократно. Меж тем генерал-региментарий князь Доминик Заславский-Острогский нисколько не торопился, и в лагере его ждали не раньше, чем через два-три дня после отъезда Скшетуского. Должно быть, по своему обыкновению, он пировал в дороге, нимало не заботясь, что упускает лучшее время для расправы с Хмельницким, князь же Иеремия в отчаяние приходил от мысли, что, если война и впредь так вестись будет, то не только Кривонос и заднестровские орды успеют соединиться с Хмельницким, но и хан со всеми перекопскими, ногайскими и азовскими силами.

Уже по лагерю кружили слухи, будто хан перешел Днепр и о двести тысяч конь денно и ночью поспешает на запад, а князь Доминик все не появлялся.

Похоже было, что войскам, расположенным под Чолганским Камнем, придется противостоять силам, пятикратно их превосходящим, и, потерпи региментарии поражение, ничто уже не помешает врагу вторгнуться в самое сердце Речи Посполитой – подступить к Кракову и Варшаве.

Кривонос потому особенно был опасен, что, если б региментарии захотели продвинуться в глубь Украины, он, идучи от Каменца прямо на север, на Староконстантинов, заградил бы им путь обратно, и уж тогда бы польское войско оказалось между двух огней. Оттого Скшетуский и решил не только разузнать побольше о Кривоносе, но и постараться его задержать. Сознавая важность своей задачи, от выполнения которой во многом зависела судьба всего войска, поручик без колебаний готов был поставить на карту свою жизнь и жизнь своих людей, хотя намеренье молодого рыцаря с отрядом в пятьсот сабель остановить сорокатысячную Кривоносову рать, которую поддерживали белгородские и добруджские орды, граничило с безумьем. Но Скшетуский был достаточно опытный воин, чтобы не совершать безумных поступков, к тому же понимал прекрасно, что, начнись сражение, не пройдет и часу, как горстка его людей будет сметена kloкочущей лавиной, – и потому обратился к иным средствам. А именно: первым делом распустил слух среди собственных солдат, будто они – лишь передовой отряд дивизии грозного князя, и этот слух распространял повсюду: на всех хуторах, во всех деревнях и местечках, через которые лежал путь отряда. И действительно, весть эта с быстротою молнии полетела вниз по течению Збруча, Смотрича, Студеницы, Ушки, Калусика, достигла Днестра и, словно подхваченная ветром, понеслась дальше, от Каменца к Ягорлыку. Ее повторяли и турецкие паши в Хотине, и запорожцы в Ямполье, и в Рашкове татары. И снова прогремел знакомый клич: «Идет Ярема!», от которого замирали сердца мятежников, и без того дрожащих от страха, не уверенных в завтрашнем дне.

В достоверности этого слуха никто не сомневался. Региментарии ударят на Хмеля, а Ярема на Кривоноса – это подсказывал ход событий. Сам Кривонос поверил – и у него опустились руки. Что теперь делать? Идти на князя? Но ведь под Староконстантиновом и дух был иной у черни, и сил больше, однако же они были разбиты, едва унесли ноги с кровавой бойни. Кривонос знал твердо, что его молодцы будут насмерть стоять против любого войска Речи Посполитой и против всякого полководца, но стоит показаться Яреме – разлетятся, словно от орла лебединая стая, словно степные перекасти-поле от ветра.

Поджидать князя под Каменцем было еще хуже. И решил Кривонос двинуться к востоку, – к самому Брацлаву! – чтобы, избежав встречи со своим заклятым врагом, соединиться с Хмельницким. Правда, он понимал, что, сделавши такой крюк, ко времени вряд ли успеет, однако, по крайней мере, загодя будет знать, чем окончится дело, и позаботится о

собственном спасенье.

А тут ветер принес новые вести, будто Хмельницкий уже разгромлен. Слухи эти – как и прежние – намеренно распускал сам Скшетуский.

В первую минуту несчастный атаман совсем растерялся, не зная, что делать. Но потом решил, что тем паче надо идти на восток да поглубже в степи забраться: вдруг там на татар наткнется и под их крылом схорониться сможет?

Однако прежде всего захотел Кривонос эти слухи проверить и стал спешно выискивать среди своих полковников надежного и бесстрашного человека, которого можно было бы отправить в разъезд за «языком».

Но задача оказалась нелегкой: «охотников» не находилось, к тому ж не на всякого атаман мог положиться, а послать надлежало такого, который бы, попадись он неприятелю в руки, ни на огне, ни на колу, ни на колесе планов бегства не выдал.

В конце концов Кривонос нашел такого человека.

Однажды ночью он велел позвать к себе Богуна и сказал ему:

– Послушай, Иван, дружище! Ярема идет на нас с великою силой – знать, погибель наша неминуема.

– И я слышал, что идет. Мы с вами, батьку, об том уже толковали, только зачем погибать-то?

– Не здержимо. С другим бы справились, а с Яремой не выйдет. Боятся его ребята.

– А я не боюсь, я целый его полк положил в Василевке, в Заднепровье.

– Знаю, что не боишься. Слава твоя молодецкая, казачья, его княжьей стоит, да только я ему не дам бою – не пойдут ребята... Вспомни, что на раде говорили, как на меня с саблями да кистенями кидались: мол, я их на верную смерть вести задумал.

– Пошли тогда к Хмелю, там и крови, и добычи будет вдоволь.

– Говорят, Хмеля уже региментарии разбили.

– Не верю я этому, батька Максим. Хмель хитрый лис, без татар не ударит на ляхов.

– И мне так думается, да надобно знать точно. Мы б тогда треклятого Ярему обошли и с Хмелем соединились, но сперва все надо разведать! Кабы нашелся кто, кому Ярема не страшен, да отправился в разъезд и языка взял, я б тому молодцу полну шапку золотых червонцев насыпал.

– Я пойду, батька Максим, но не червонцев ради, а за славой казачьей, молодецкой.

– Ты моя правая рука, а идти желаешь? Быть тебе у казаков, добрых молодцев, головою, потому как Яремы не страшишься. Иди, сокол, а потом проси, чего хочешь. И еще я тебе скажу: кабы не ты, я бы сам пошел, да нельзя мне.

– Нельзя, батьку, уйдете – ребята крик подымут, скажут, спасаете шкуру, и разлетятся по белу свету, а я пойду – прибодрятся.

– А конников много попросишь?

– Нет, – с малой ватагой и укрыться легче, и тишком подкрасться, но с полтыщи молодцев возьму, а уж языков я вам приведу, головой ручаюсь, и не простых солдат, а офицеров, от которых все узнать можно.

– Езжай быстрее. В Каменце уже из пушек палят ляхам на радость и на спасение, а нам, безвинным, на погибель.

Выйдя от Кривоноса, Богун тотчас принялся готовиться в дорогу. Молодцы его, как водилось, пили мертвую – «покуда костлявая не приголубит», – и он с ними пил, наливался горелкой, буйствовал и шумел, а под конец повелел выкатить бочку дегтя и, как был, в бархате и парче, бросился в нее, раз-другой с головой окунулся и крикнул:

– Ну, вот и черен я, как ночь-матушка, не увидеть меня ляшскому оку.

Потом, покатавшись по награбленным персидским коврам, вскочил на коня и поехал, а за ним припустили под покровом тьмы верные его молодцы, напутствуемые криками:

– На славу! На щастя!

Между тем Скшетуский добрался до Ярмолинцев; там, встретив отпор, учинил над горожанами кровавую расправу и, объявив, что наутро подойдет князь Ярема, дал отдых утомленным лошадям и людям.

После чего, созвав товарищей на совет, сказал им:

– Покамест господь к нам благоволит. Судя по страху, обуявшему мужичье, смею предположить, что нас везде за княжеский авангард принимают и верят, будто главные силы идут следом. Надо подумать, как бы и впредь обман не открылся: еще кто приметит, что один и тот же отряд всюду мелькает.

– А долго мы так разъезжать будем? – спросил Заглоба.

– Пока не узнаем, каковы намеренья Кривоноса.

– Ба, эдак можно и к сражению не поспеть в лагерь.

– И так может случиться, – ответил Скшетуский.

– Весьма прискорбно, – заявил Заглоба. – Под Староконстантиновом только вошли в охоту! Немало, конечно, мы там бунтовщиков положили, но это все равно что льву мышей давить! Так и чешутся руки...

– погоди, сударь, может, тебя впереди поболее, нежели ты думаешь, ждет сражений, – серьезно ответил Скшетуский.

– О! А это quo modo? – с явным беспокойством спросил старый шляхтич.

– В любую минуту на врага можно наткнуться, и, хоть не для того мы здесь, чтобы ему оружием преграждать дорогу, защищать себя все же придется. Однако вернемся к делу: расширить надо круг наших действий, чтобы сразу в разных местах о нас слышали, непокорных для пущего страху кое-где вырезать и слухи распускать повсюду – потому, полагаю, следует нам разделиться.

– И я того же мнения, – подхватил Володы,вский, – будем множиться у них на глазах – и те, что побегут к Кривоносу, о тысячах рассказывать станут.

– Твоя милость, пан поручик, нами командует – ты и распоряжайся, – сказал Подбипятка.

– Я через Зинков пойду к Солодковцам, а смогу, то и дальше, – сказал Скшетуский. – Наместник Подбипятка отправится вниз, к Татарискам, ты, Михал, ступай в Купин, а пан Заглоба выйдет к Збручу под Сатановом.

– Я? – переспросил Заглоба.

– Так точно. Ты человек смекалистый и на выдумки гораздый: я думал, тебе такое дело по вкусу придется, но, коли не хочешь, я Космачу, вахмистру, отдам четвертый отряд.

– Отдашь, да только под моим началом! – воскликнул Заглоба, внезапно сообразив, что получает командование над отдельным отрядом. – А если я и задал вопрос, то лишь потому, что с вами жаль расставаться.

– А достаточно ли у тебя, сударь, опыта в ратном деле? – полюбопытствовал Володы,вский.

– Достаточно ли опыта? Да аист еще вашу милость отцу с матерью презентовать не замыслил, когда я уже многочисленнее этого водил разъезды. Всю жизнь прослужил в войске и доселе бы не ушел, кабы в один прекрасный день заплесневелый сухарь колом не стал в брюхе, где и застрял на целых три года. Пришлось за животным камнем податься в Галату; в свое время я вам об этом путешествии расскажу во всех подробностях, а сейчас пора в дорогу.

– Поезжай, сударь, да не забудь впереди себя слух пускать, будто Хмельницкий уже погромлен и князь миновал Проскуров, – сказал Скшетуский.

– Без разбору пленных не бери, но, если повстречаешь разъезд из-под Каменца, постарайся любой ценой языка добыть, да такого, чтобы осведомлен был о Кривоносовых планах; прежние реляции были весьма противоречивы.

– Самого бы Кривоноса встретить! Ну что б ему отправиться в разъезд пришла охота – ох, и задал бы я ему перцу! Можете не сомневаться, любезные судари, эти мерзавцы у меня не только запоют – запляшут!

– Через три дня съезжаемся в Ярмолинцах, а теперь – в путь, кому куда вышло! – сказал Скшетуский. – Только людей берегите.

– Через три дня в Ярмолинцах! – повторили Заглоба, Володы,вский и Подбипятка.

Глава VI

Когда Заглоба остался один со своим отрядом, ему как-то сразу сделалось неуютно и даже, правду говоря, страшновато: дорого бы дал старый шляхтич, чтобы рядом был

Скшетуский, Володыжский либо пан Лонгинус, которыми он в душе премного восхищался и рядом с которыми, безоглядно веря в их находчивость и бесстрашие, чувствовал себя в совершенной безопасности.

Поэтому вначале ехал он во главе своего отряда в довольно скверном расположении духа и, подозрительно озираясь по сторонам, перебирал в уме опасности, которые могли ему встретиться, бормоча при этом:

– Конечно, оно б веселей было, ежели бы хоть один из них поблизости находился. Господь всякого сообразно задуманному предназначенью создал, а этим троим надо бы слепнями родиться, потому как до крови весьма охочи. Им на войне таково, каково другим возле жбана меду, – что твои рыбы в воде, ей-богу. Хлебом не корми, а допусти в сечу. В самих нисколько весу, зато рука тяжелая. Скшетуского я в деле видал, знаю, сколь он *peritus*⁷. Ему человека сразить, что ксендзу молитву сказать. Излюбленное занятие! Литвину нашему, который своей головы не имеет, а охотится за тремя чужими, терять нечего. Всего меньше я маленького этого фертика знаю, но тоже, верно, жалить пребольно умеет, судя по тому, что я под Старокопстантиновом видел и что мне о нем рассказывал Скшетуский, – оса, да и только! К счастью, хоть он где-то неподалеку; соединюсь-ка я с ним, пожалуй: а то куда идти, хоть убей, не знаю.

До того Заглоба чувствовал себя одиноким, что сердце от жалости к самому себе защемило.

– Вот так-то! – ворчал он тихонько. – У каждого есть к кому притулиться, а у меня что? Ни друга, ни матери, ни отца. Сирота – и баста!

В эту минуту к нему подъехал вахмистр Космач:

– Куда мы идем, пан начальник?

– Куда идем-то? – переспросил Заглоба.

И вдруг выпрямился в седле и ус закрутил лихо.

– Да хоть в Каменец, ежели будет на то моя воля! Понимаешь, вахмистр любезный?

Вахмистр поклонился и молча вернулся в строй, недоумевая, отчего рассердился начальник. Заглоба же, бросив вокруг несколько грозных взглядов, успокоился и продолжал бормотать:

– Так я и пошел в Каменец – пусть мне сто палок по пяткам всыпят турецким манером, коли сделаю такую глупость. Тьфу! Хоть бы один из этих был рядом, все б на душе стало полегче. Что можно с сотней людей сделать? Уж лучше одному идти – извернуться проще. Много нас чересчур, чтобы пускаться на хитрости, а чтоб защищаться – мало. Ох, и нехстати придумал Скшетуский отряд разделить. Куда, например, мне направляться? Я знаю только, что у меня за спиной, а что впереди, кто скажет? Кто поручится, что дьяволы эти западни не уготовили на дороге? Кривонос да Богун! Славная парочка, чтоб их черти драли! Упаси меня всевышний от Богуна хотя бы. Скшетуский жаждет с ним встречи – услышь, господи, его молитвы! И я ему того желаю, потому как он друг мне, прости меня, боже! Доберусь до Збруча и вернусь в Ярмолинцы, а языков им приведу побольше, чем хотели сами. Это дело простое.

Тут вдруг к нему снова подскакал Космач.

– Пан начальник, верховые какие-то за взгорком.

– Да пошли они к дьяволу... Где? Где?

– А вон там, за горою. Я значки видел.

– Войско?

– Похоже, войско.

– Пес их за ногу! А много людей?

– Кто их знает, они далеко покамест. Может, укроемся за тот валун да и нападём врасплох – им так и так проезжать мимо. А больно много окажется

– пан Володыжский рядом: слышит выстрелы и прилетит на подмогу.

Заглобе удасть внезапно ударила в голову, как вино. Возможно, от отчаяния пробудилась в нем жажда действовать, а быть может, подстегнула надежда, что Володыжский не успел далеко

⁷ опытный, умный (лат.).

отъехать; так или иначе, он взмахнул обнаженной саблей и крикнул, страшно заворочав глазами:

– Укрыться за валун! Навалимся вдруг! Мы этим разбойникам покажем...

Вышколенные княжеские солдаты с ходу поворотили к валунам и в мгновение ока выстроились в боевом порядке, готовые ударить внезапно.

Прошел час; наконец послышался приближающийся шум голосов, эхо донесло обрывки веселых песен, а вскоре затаившиеся в засаде явственно различили звуки скрипок, волынки и бубна. Вахмистр снова подъехал к Заглобе и сказал:

– Не войско это, пан начальник, не казаки – свадьба.

– Свадьба? – переспросил Заглоба. – Ну, погодите, я вам сыграю!

С этими словами он тронул коня; следом выехали на дорогу и выстроились шеренгой солдаты.

– За мной! – грозно крикнул Заглоба.

Всадники пустились рысью, затем галопом и, обогнув валун, выросли вдруг перед толпой людей, ошарашив их и напугав неожиданным своим появлением.

– Стой! Стой! – раздались с обеих сторон крики.

Это и вправду была крестьянская свадьба. Впереди ехали на конях волынщик, бандурист, два довбыша и скрипач; они были уже под хмельком и лихо наяривали зазорные плясовые. За ними невеста, пригожая девка в темном жупане, с распущенными по плечам волосами. Подле нее выводили песни подружки, у каждой из которых на руку было нанизано по несколько венков. Издали этих девок, по-мужски сидящих на лошадях, нарядно одетых, убранных полевыми цветами, и впрямь можно было принять за лихих казаков. Во втором ряду ехал на добром коне жених в окружении друзей, державших венки на длинных шестах, похожих на пики; замыкали шествие родители молодых и гости, все верхами. Только бочки с горелкой, медом и пивом катились на легких, высланных соломой повозках, смачно взбулькивая на неровностях каменистой дороги.

– Стой! Стой! – понеслось с двух сторон, и свадебный поезд перемешался.

Девушки, подняв с перепугу крик, отступили назад, а парни и мужики постарше метнулись вперед, чтобы грудью своей заслонить их от неожиданного нападения.

Заглоба подскочил к ним и, махая перед носом у испуганных крестьян саблей, завопил:

– Ха! Голодранцы, крамольники, охвостье собачье! Бунтовать вздумали! Кривоносу служите, негодяи? Шпионить подрядились? Войску путь надумали преградить? На шляхту подняли руку? Я вам покажу, стервецы, собачьи души! В колодки велю забить, на кол посадить, нехристи, шельмы! Сейчас вы у меня поплатитесь за все злодеяния!

Старый и седой как лунь дружка соскочил с лошади, подошел к шляхтичу и, с покорностью уцепившись за его стремя, кланяясь в ноги, стал упрашивать:

– Смилуйся, доблестный рыцарь, не губи бедных людей, видит бог: невинные мы, не к бунтарям идем, из Гусятина возвращаемся, из церкви, сродственника нашего Димитрия, кузнеца, с бондаревой дочкой Ксенией повенчали. На свадьбу с караваем едем.

– Это люди безвинные, – прошептал вахмистр.

– Пошел вон! Все они шельмы! На свадьбу, да только от Кривоноса! – рявкнул Заглоба.

– Коли б його трясця мордувала! – воскликнул старик. – Мы его в глаза не видели, мы люди смирные. Смилуйся, ясновельможный пан, дозвожь проехать, мы никому зла не чиним и повинность свою соблюдаем.

– В Ярмолинцы пойдете в путах!..

– Пойдем, куда, пане, прикажешь! Тебе повелевать, нам слушать! Одну только окажи милость, доблестный рыцарь! Скажи панам жолнірам, чтобы наших не обижали, а сам – прости уж нас, темных, – не погнушайся с нами за счастье молодых выпить... Челом бьем: подари радость простым людям, как господь и Святое писание учат.

– Только не надейтесь, что я, когда выпью, вам дам поблажку! – строго молвил Заглоба.

– Что ты, пане! – с радостью воскликнул старик. – У нас и в мыслях нету такого! Эй, гудошники! – крикнул он музыкантам. – Сыграйте для ясного лицаря, он лицар добрый, а вы, хлопцы, несите-ка ясному лицарю сладкого меду, он бедных людей не обидит. Быстрей, хлопці, живо! Дякуѣм, пане!

Хлопцы кинулись со всех ног к бочкам, а тем часом зазвенели бубны, запищали весело скрипки, волынщик надул щеки и давай мять мех под мышкой, а дружки махать шестами с нанизанными на них венками. Видя такое, солдаты подступили поближе, закрутили усы, стали посмеиваться да через плечи мужиков поглядывать на девок. Вновь молодницы завели песни – страха как не бывало, даже кое-где слышалось радостное: «Ух-ха! Ух-ха!»

Однако Заглоба не сразу смягчился – даже когда ему подали кварту меду, он еще продолжал ворчать себе под нос: «Ах, мерзавцы! Ах, шельмы!» Даже когда усы уже обмочил в темной влаге, брови его оставались хмуро насулены. Запрокинув голову, жмуря глаза и причмокивая, он отпил глоток – и лицо его выразило сначала удивление, а затем возмущение.

– Что за времена! – буркнул он. – Холопы такой мед пьют! Господи, и ты на это зриаешь и не гневаешься?

Сказавши так, он наклонил кварту и одним духом осушил до дна.

Тем временем поезжане, расхрабравшись, подошли всей гурьбой просить, не причиняя зла, отпустить их с миром; была среди них и молодая, Ксения, – робкая, трепещущая, со слезами в очах, с пылающими щеками, прелестная, как ясная зорька. Приблизясь, она сложила руки и со словами: «Помилуйте, пане!» – поцеловала желтый сапог Заглобы. Сердце шляхтича мгновенно растаяло как воск.

Распустив кожаный пояс, он порылся в нем и, выудив последние золотые червонцы, полученные в свое время от князя, сказал Ксении:

– Держи! И да благословит тебя бог, как и всякую невинную душу.

Волнение не позволило ему вымолвить больше ни слова: стройная чернобровая Ксения напомнила Заглобе княжну, которую он по-своему любил всем сердцем. «Где она теперь, бедняжка, хранят ли ее ангелы небесные?» – подумал старый шляхтич и, вконец расчувствовавшись, готов уже был с каждым обниматься и брататься.

Крестьяне же, видя такое великодушие, закричали от радости, запели и, обступив шляхтича, кинулись целовать полы его одежды. «Он добрый! – повторяли в толпе. – Золотий лях! Червінці даґ, зла не робить, хороший пан! На славу, на щастя!» Скрипач так наяривал, что самого трясло, у волынщика глаза на лоб полезли, у довбышей отваливались руки. Старик бондарь, видно, не храброго был десятка и до поры до времени держался за чужими спинами, теперь же, выступив вперед, вместе с женой своей и матерью новобрачного, старой кузнечихой, принялся бить поясные поклоны да приглашать на хутор, на свадебный пир, приговаривая, что такой гость – великая для них честь и для молодых добрый знак: иначе не будет им счастья. За ними следом поклонились жених с невестой; чернобровая Ксения хоть и простая девка, а сразу смекнула, что от ее просьбы толк будет больше всего. Дружки меж тем кричали, что до хутора рукой подать и с дороги сворачивать не придется, а старый бондарь богат, не такого еще выставит меду. Заглоба поглядел на солдат: все, как один, словно зайцы, шевелили усами, предвкушая славную попойку да пляски, и посему – хоть никто ни о чем не смел просить – сжалился над ними; не прошло и минуты, как Заглоба, дружки, молодницы и солдаты двинулись к хутору в полнейшем согласье.

Хутор и в самом деле был неподалеку, а старый бондарь богат, так что пир закатил горою. Выпили все крепко. Заглоба же до того раззадорился, что ни в чем другим не уступал. Вскоре начались разные диковинные обряды. Старухи отвели Ксению в боковую светелку и там с нею заперлись. Пробыли они в боковушке долго, а когда вышли наконец, объявили, что девушка чиста, как лилия, как голубка. Возрадовались все, шум поднялся, крики: «На славу! На щастя!» Бабы в ладоши стали хлопать да приговаривать: «А що? Не казали?!» – а парни ногами притоптывать, и всяк поочередно пускался в пляс, держа в руке кварту, которую перед дверью светелки выпивал «на славу». Сплясал так и Заглоба, тем лишь благородство происхождения своего обозначив, что не кварту, а целый штоф осушил у двери. Потом бондарь с женою и кузнечихой повели в светелку молодого, а так как не было у Димитрия отца, поклонились пану Заглобе, чтобы тот его заступил, – Заглоба согласился и ушел с ними. В горнице на время поутихло, только солдаты, гулявшие на майдане перед хатой, горланили да вопили по-татарски и из пищалей палили. Настоящая же гульба и веселье начались, когда в горницу воротились родители. Старый бондарь на радостях облапил кузнечиху, парни подходили к бондаревой жене и, низко поклонясь, колени ее обнимали, а бабы восхваляли за то, что дочку сберегла как

зеницу ока, соблюла в чистоте, как лилию, как голубку;⁸ потом с нею пустился в пляс Заглоба. Сперва потоптались на месте друг перед дружкой, а потом он как ударит в ладоши, как пойдет вприсядку, и то подпрыгнет, то подковками о дощатый пол стукнет – аж щепки летели да пот в три ручья со лба катился. На них глядя, закружились и остальные: молодницы с солдатами да с парнями – кто в горнице, кто во двор вышел. Бондарь то и дело приказывал выкатывать все новые бочки. Под конец всем гуртом вывалились на майдан из хаты – там разожгли костры из щепы и сухого чертополоха, потому что уже глубокая ночь наступила, и пирушка сделалась настоящей попойкой; солдаты стреляли из пищалей и мушкетов, словно на бранном поле.

Заглоба, красный, вспотелый, нетвердо держащийся на ногах, забыл, где он и что с ним происходит; различал словно в тумане лица пирующих, но хоть убей, не мог бы сказать, что это за люди. Он помнил, что гуляет на свадьбе, – но на чьей? Ха! Наверно, Скшетуского с княжною! Эта мысль показалась ему весьма правдоподобной и в конце концов гвоздем в голове засела, наполнив такой радостью, что он завопил как безумный: «Во здравие! Возлюбим друг друга, братья! – опорожня при том одну за другой кружки, из которых каждая была не меньше штофа. – За тебя, брат! За нашего князя! Будем все счастливы! Дай-то бог, чтобы минула година бедствий для нашей отчизны!» Тут он залился слезами и, направившись к бочке, споткнулся – и далее на каждом шагу спотыкался, ибо на земле, словно на поле боя, лежало множество недвижных тел. «Господи! – воскликнул Заглоба. – Не осталось больше истинных мужей в Речи Посполитой. Один Лащ пить умеет, да еще Заглоба, а прочие!.. О господи!» И жалобливо возвел очи к небу – и тут заметил, что небесные светила более не утыкают прочно небесную твердь наподобие золотых гвоздочков, а одни дрожат, будто стремятся выскочить из оправы, другие описывают круги, третьи казачка отплясывают друг против дружки, – чему Заглоба весьма поразился и сказал изумленной своей душе:

– Неужто один только я не пьян *in universo*?⁹ Но вдруг и земля, подобно звездам, закружилась в бешеной пляске, и Заглоба навзничь грянулся оземь.

Вскоре он заснул, и стали ему страшные сны сниться. Какие-то призрачные чудовища, казалось, навалились ему на грудь, придавили к земле всей тяжестью, опутывая по рукам и ногам. При этом слышались ему истошные вопли и даже громоханье выстрелов. Яркий свет, проникая сквозь сомкнутые веки, резал глаза нестерпимым блеском. Он хотел проснуться, открыть глаза, но не тут-то было. Чувствовал: что-то неладное с ним творится, голова запрокидывается назад, словно его за руки и за ноги волокут куда-то... Потом почему-то страх его обуял; скверно ему было, чертовски скверно и тяжело. Сознание помалу к нему возвращалось, но странное дело: при этом им овладело такое бессилие, как никогда в жизни. Еще раз попробовал он пошевелиться, а когда это не удалось, окончательно пробудился – и разомкнул веки.

В ту же минуту взор его встретился с парой глаз, которые жадно в него впились; зеницы те были черны как уголь и до того люты, что совершенно уже проснувшийся Заглоба в первый момент подумал, будто на него уставился дьявол, – и снова опустил веки, но тут же их поднял. Страшные глаза по-прежнему глядели на него в упор, и лицо казалось знакомым: внезапно Заглоба содрогнулся всем телом, облился холодным потом, и по спине его, до самых пят, тысячами забегали мурашки.

Он узнал лицо Богуна.

Глава VII

Заглоба лежал, привязанный к собственной сабле в той самой горнице, где играли свадьбу, а страшный атаман сидел поодаль на табурете, наслаждаясь испугом пленника.

– Добрый вечер, ваша милость! – сказал он, заметив, что глаза у его жертвы открыты.

⁸ Крестьянскую свадьбу того времени описывает бывший очевидцем Боплан. (Примеч. автора.)

⁹ во вселенной (лат.).

Заглоба ничего не ответил, но в одно мгновение отрезвел настолько, будто капли вина не брал в рот, только мурашки, добежав до пяток, кинулись обратно, прямо в голову, и лютый холод пронял до костей. Говорят, утопающий в последнюю свою минуту видит явственно всю прошлую жизнь, все припоминает, понимая при этом, что с ним происходит; у Заглобы в тот миг так же прояснились память и сознание, и последнее, что родилось в его просветленном мозгу, было беззвучное, так и не сорвавшееся с губ восклицанье: «Сейчас он мне покажет!»

Атаман же спокойным голосом повторил:

– Добрый вечер, ваша милость.

«Брр! – подумал Заглоба. – Уж лучше б взъярился».

– Не узнаешь меня, пан шляхтич?

– Мое почтение! Как здоровьице?

– Не жалуясь. А вот о твоём здоровье я теперь сам позабочусь.

– Я у господа такого лекаря не просил и смею сомневаться, чтоб лекарства твои мне пошли на пользу... Впрочем, на все воля божья.

– Что ж, ты меня выхаживал, сейчас мой черед отблагодарить старого друга. Помнишь, как мне голову обмотал в Разлогах?

Глаза Богуна засверкали, как два карбункула, а усы вытянулись в страшной усмешке ровной полоскою.

– Помню, – сказал Заглоба. – Помню и что ножом мог тебя пырнуть, – однако ж такого не сделал.

– А я разве тебя пырнул? Или пырнуть намерен? Нет! Ты мой дружок сердечный, я тебя стану беречь пуще глаза.

– Я всегда говорил, что ты благородный рыцарь, – сказал Заглоба, делая вид, будто принимает слова Богуна за чистую монету, а в голове у него мелькнуло: «Уж он, видно, что-нибудь раздакое придумал. Не помереть мне легкой смертью!»

– Правильно говорил, – согласился Богун, – да и тебе не откажешь в благородстве. Искали мы друг друга и наконец отыскали.

– Правду сказать, я тебя не искал, а на добром слове спасибо.

– Скоро меня еще пуще благодарить станешь, и я тебе воздам за то, что невесту мою в Бар увез из Разлогов. Там я ее и нашел, а теперь что ж! На свадьбу бы тебя пригласить надлежало, да только не сегодня ей быть и не завтра – сейчас война, а ты в годах уже, не доживешь, может случиться.

Заглоба, несмотря на весь ужас своего положения, наострил уши.

– На свадьбу? – пробормотал он.

– А ты думал? – продолжал Богун. – Что я, мужик какой – девицу без попа неволить или не стать меня на то, чтобы в Киеве обвенчаться? Не для мужика ты ее в Бар привел, а для гетмана и атамана...

«Хорошо!» – подумал Заглоба.

После чего повернул голову к Богуну и молвил:

– Прикажи меня развязать.

– Полежи, полежи, тебе ехать скоро, а старому человеку не грех отдохнуть перед дорогой.

– Куда ж ты меня везти хочешь?

– Ты мой друг, и повезу я тебя к другому своему дружку, к Кривоносу. Уж мы с ним позаботимся, чтоб тебе хорошо было.

– Жарко мне будет! – буркнул шляхтич, и опять мурашки забегали у него по телу.

Подумав, он заговорил снова:

– Знаю я, ты на меня зло таишь, а понапрасну, видит бог, понапрасну. Жили мы с тобой вместе? Жили, и не один в Чигнрине выпили жбан меду, потому как я тебя возлюбил, ровно сына, за удаль твою и отвагу – второго такого рыцаря не сыскать во всей Украине. Вот так-то! Когда я тебе, скажи, поперек становился? Не поехал бы тогда с тобою в Разлоги, мы б по сей день пребывали в доброй приязни. А зачем поехал? Из расположения к тебе только. И не осатаней ты, не пореши тех несчастных, господь не даст соврать: никогда б я у тебя не стал на дороге. Что за радость в чужие дела мешаться! Чем кому другому, уж лучше бы тебе девушка досталась. Но когда ты вознамерился взять ее басурманским манером, во мне совесть

заговорила: дом-то как-никак шляхетский. Ты бы сам на моем месте не поступил иначе. Я тебя мог на тот свет отправить с большою для себя корыстью – а ведь не сделал этого, не сделал! Потому что шляхтич, да и позорно это. Постыдись и ты надо мною глумиться – знаю я, что ты замыслил. И без того девушка в твоих руках – чего же ты от меня хочешь? Разве ж я ее – сокровище твое – не берег как зеницу ока? Ты ее уважил, значит, не потерял совесть и рыцарской дорожишь честью, но как потом руку ей подашь, обгавленную моею невинной кровью? Как скажешь: я того человека, что тебя сквозь сонмища холопов и татар провел, мученьям предал? Поимей же стыд, освободи меня из пут этих, верни отнятую вероломством свободу. Молод ты еще и не знаешь, что тебя в жизни ждет, а за мою смерть господь тебя покарает: лишит того, что тебе всего дороже.

Богун поднялся со скамьи, белый от ярости, и, приблизясь к Заглобе, проговорил сдавленным от бешенства голосом:

– Ах ты, свинья поганая, да я с тебя велю три шкуры содрать, на медленном огне изжарю, к стене приколочу, разорву в клочья!

И в припадке безумия схватился за висевший у пояса нож, сжал судорожно в кулаке рукоятку – и вот уже острие сверкнуло у Заглобы перед глазами, но атаман сдержал себя, сунул нож обратно в ножны и крикнул:

– Эй, ребята!

Шестеро запорожцев вбежали в горницу.

– Взять это ляшское падло и в хлев кинуть. И чтоб глаз не спускали!

Казаки подхватили Заглобу, двое за руки и за ноги, третий – сзади – за волосы, и, вытащив из горницы, пронесли через весь майдан и бросили на навозную кучу в стоящем поодаль хлеве. После чего дверь закрылась и узника окружила кромешная темнота – лишь в щели между бревнами да сквозь дыры в соломенной крыше кое-где сочился слабый ночной свет. Через минуту глаза Заглобы привыкли ко мраку. Он огляделся вокруг и увидел, что в хлеву нет ни свиней, ни казаков. Голоса последних, впрочем, явственно доносились из-за всех четырех стен. Видно, хлев был плотно обставлен стражей, и тем не менее Заглоба вздохнул облегченно.

Прежде всего, он был жив. Когда Богун сверкнул над ним ножом, он ни на секунду не усомнился, что настал его последний час, и препоручал уже душу богу, в чрезвычайном, правда, страхе. Однако, видно, Богун приутожил ему смерть поизощреннее. Он не только отмстить жаждал, но и насладиться мщением тому, кто возлюбленную у него отнял, бросил тень на его молодецкую славу, а самого его выставил на посмеище, спеленав, как младенца. Весьма печальная перспектива открывалась перед Заглобой, но покамест он утешался мыслью, что еще жив, что, вероятно, его повезут к Кривоносу и лишь там подвергнут пыткам, – а стало быть, впереди у него еще дня два, а то и побольше, пока же он лежит себе одинешенек в хлеву и может в ночной тишине какой-нибудь фортель придумать.

То была единственная хорошая сторона дела, но, когда Заглоба о дурных подумал, мурашки снова забегали у него по телу.

Фортели!..

– Кабы в этом хлеву кабан или свинья валялись, – бормотал Заглоба, – им куда было б легче – небось бы к собственной сабле вязать их никто не подумал. Скрути так самого Соломона, и тот не мудрей своих штанов окажется или моей подметки. Господи, за что мне такое наказание! Из всех, кто живет на свете, я с одним этим злодеем меньше всего мечтал повстречаться – и на тебе, привалило счастье: как раз его-то и встретил. Ох, и выделает он мою шкуру – помягче лучшего сукна. Попадись я к кому другому – тотчас бы объявил, что пристаю к смуте, а потом бы дал деру. Но и другой навряд ли б поверил, а об этом и говорить не стоит! Ой, недаром сердце в пятки уходит. Черт меня сюда принес – о господи, ни рукой шевельнуть, ни ногою... О боже! Боже!

Минуто спустя, однако, подумал Заглоба, что, имея руки-ноги свободными, легче было б какой-нибудь фортель измыслить. А что, если все-таки попытаться? Только б вытащить из-под колен саблю, а там дело пойдет проще. Но как ее вытащить? Перевернулся на бок – без толку... И тогда он погрузился в раздумье.

А подумав, начал раскачиваться на собственном хребте все быстрее да быстрее и с каждым движеньем перемещался вперед на полдюйма. Ему стало жарко, чуприна взмокла

хуже, чем в пляске; временами он останавливался, чтобы передохнуть или когда ему чудилось, кто-то идет к двери, и снова начинал с новым пылом, пока наконец не уперся в стену.

Тогда он стал действовать по-другому: не на хребте качаться, а перекатываться с боку на бок; сабля при этом всякий раз кончиком легонько ударялась об стену и понемногу высывалась из-под колен, а рукоять тянула ее вниз, к земле.

Запрыгало сердце в груди у Заглобы: он увидел, что этот путь может привести к желанной цели.

И продолжал усердно трудиться, стараясь ударять в стену как можно тише и лишь тогда, когда шум ударов заглушался беседой казаков. Но вот конец ножен оказался меж локтем и коленом; дальше вытолкнуть саблю, качайся не качайся, было невозможно.

Да, но зато с другой стороны уже торчала значительная ее часть, притом гораздо более увесистая благодаря рукояти.

На рукояти был крестик, как обычно на подобного рода саблях. На него-то Заглоба и возлагал надежду.

Опять принялся он раскачиваться, но на сей раз с таким расчетом, чтобы повернуться к стене ногами. И повернулся, и стал продвигаться вдоль стены. Сабля еще оставалась под коленями и между локтями, но рукоять все время задевала о неровности земли; наконец крестик поосновательней зацепился – Заглоба качнулся в последний раз, и на мгновение радость пригвоздила его к месту.

Сабля выскользнула целиком.

Теперь руки были свободны, и, хотя кисти оставались связанными, шляхтич сумел ухватить саблю. Придерживая конец ступнями, он вытащил клинок из ножен.

Разрезать путы на ногах было делом одной минуты.

Сложнее было с руками. Заглобе пришлось положить саблю на кучу навоза, тупеем вниз, острием кверху, и тереть веревки о лезвие, покуда они не перетерлись и не лопнули.

Проделав это, Заглоба оказался не только свободен от пут, но и вооружен.

Облегченно вздохнув, он перекрестился и стал благодарить бога.

Но от избавленья от пут до освобождения из Богуновых рук еще очень далеко было.

«Что же дальше?» – спросил себя Заглоба.

И не нашел ответа. Хлев окружен казаками, всего их там не менее сотни: мыши не проскользнуть незамеченной, не то что такому толстяку, как Заглоба.

«Видно, никуда я уже не гожусь, – сказал он себе, – и остроумием моим только сапоги мазать, и то у венгерцев на ярмарке отыщется смазь получше. Если господь меня сейчас не надоумит, уж точно достанусь воронью на ужин, а окажет такую милость – дам обет целомудрия, подобно пану Лонгину».

Голоса за стеной зазвучали громче и прервали его дальнейшие размышленья. Подскочив к стене, Заглоба приник ухом к щели между бревен.

Сухие сосновые бревна усиливали звуки не хуже кузова бандуры; слышно было каждое слово.

– А куда мы отсюда поедem, отец Овсивой? – спрашивал один голос.

– Не знаю, должно, в Каменец, – отвечал другой.

– Ба, кони едва ноги волочат: не дойдут.

– Потому здесь и стоим – до утра отдохнут малость.

Наступило недолгое молчание, потом первый голос заговорил тише, чем прежде:

– А мне сдается, отец, атаман из-под Каменца пойдет за Ямполь.

Заглоба затаил дыхание.

– Молчи, коли молодая жизнь дорога! – прозвучало в ответ.

И снова стало тихо, только из-за других стен перешептывания доносились.

– Всюду их полно, кругом стерегут! – пробормотал Заглоба.

И подошел к противоположной стене хлева.

Здесь он услышал фырканье лошадей, с хрустом жующих сено. Видно, они стояли у самой стены, а казаки переговаривались, лежа на земле между ними, так как голоса доходили снизу.

– Эх, – говорил один, – ехали мы сюда без сна, без роздыха, на некормленных лошадях, и все для того, чтобы попасться в лапы Яреме.

– А правда, он здесь?

– Люди, что из Ярмолинцев бежали, видели его, как я тебя вижу. Жуть что рассказывают: ростом, говорят, он с сосну, во лбу две головешки, а замест коня – змий.

– Господи помилуй!

– Надо бы нам прихватить этого ляха с солдатами да бежать чем скорее.

– Как бежать? Лошади едва живы.

– Плохо, брати рідний. Будь я атаманом, я бы этому ляху шею свернул и в Каменец хоть пешком возвратился.

– Мы его с собой в Каменец повезем. Там с ним наши атаманы позабавятся.

– Прежде с вами позабавятся черти, – пробормотал Заглоба.

Несмотря на весь свой пред Богом страх, а может, именно по этой причине Заглоба поклялся себе, что живым не дастся. От пут он свободен, сабля в руке – можно обороняться. Зарубят, так зарубят, но живым не получают.

Между тем фыркание и побряхтывание лошадей, видно, крайне утомленных дорогой, заглушили продолжение разговора, но зато подсказали Заглобе некую идею.

«А что, если попробовать из хлева выбраться и вскочить на лошадь! – подумалось ему. – Ночь темная: они и оглянуться не успеют, как я из глаз скроюсь. В этих буераках да разлогах и среди дня не всякого догонишь, а уж в темноте и подавно! Поспособствуй мне, господи, сделай милость!»

Но не так-то все было просто. Требовалось по меньшей мере проломить стену – а для этого нужно было быть Подбияткой – либо прорыть под ней, как лисица, лаз, но и тогда б караульщики, без сомнения, услыхали, заметили и сцапали беглеца прежде, чем он успеет поставить ногу в стремя.

В голове у Заглобы вертелись тысячи разных хитрых способов, но именно потому, что их было так много, ни один отчетливо не представлялся.

«Ничего не поделаешь, придется платить шкурой», – подумал шляхтич.

И пошел к третьей стене.

Вдруг он ударился головой обо что-то твердое, пощупал: то была лестница. Хлев не для свиней, а для коров предназначался, и над ним в половину длины был устроен чердак, где держали солому и сено. Заглоба, недолго думая, полез наверх.

А влезши, сел, перевел дух и осторожно втянул лестницу за собою.

– Ну, вот я и в крепости! – пробормотал он. – Быстро им сюда не забраться, хоть бы и другая лестница нашлась. Пусть из меня окороков накоптят, если я первую же башку, какая покажется, напрочь не снесу. Ох черт! – сказал он вдруг. – А ведь они и впрямь не только что прокоптить, но и изжарить, и на сало перетопить могут. А, ладно! Захотят хлев спалить

– пускай, тем паче я им живым не достанусь, а сырым или жареным меня склюет воронье – один дьявол. Лишь бы не попасться в разбойничьи лапы, а остальное плевать, авось как-нибудь обойдется.

Заглоба легко переходил от крайнего отчаяния к надежде. И сейчас вдруг в него вселилась такая уверенность, словно он уже был в лагере князя Иеремии. Однако положение его сделалось немногим лучше. Он сидел на сеновале и, пока держал в руке саблю, действительно мог долго обороняться. Вот и все! От чердака до свободы путь был еще чертовски долог – к тому же внизу Заглобу ждали сабли и пики дозорных, бодрствующих под стенами хлева.

– Как-нибудь обойдется! – буркнул Заглоба и стал помалу разгребать и выдергивать солому из кровли, чтобы иметь возможность выглянуть наружу.

Дело пошло споро: молодцы за стенами, скрашивая время в карауле, продолжали переговариваться, к тому же поднялся довольно сильный ветер и, теребя ветви растущих поблизости деревьев, заглушал шуршание соломы.

В скором времени сквозное отверстие было готово – Заглоба высунул голову наружу и огляделся.

Ночь уже подходила к концу, и восточная сторона небосвода озарилась первыми проблесками дня; в предрассветном неярком свете Заглоба разглядел майдан, сплошь забитый лошадьми, перед хатой долгие неровные ряды спящих казаков, далее колодезный журавль и колоду, в которой поблескивала вода, а подле еще один ряд спящих людей и десятка полтора

казаков, прохаживающихся с саблями наголо вдоль этого ряда.

– Это ж мои люди связанные лежат, – пробормотал шляхтич. – Ой! – добавил он минутою позже. – Кабы мои, а то ведь княжи!.. Хорош предводитель, ничего не скажешь! Завез к черту в зубы... Стыдно будет им в глаза смотреть, если, конечно, господь возвратит свободу. А все из-за чего? Из-за выпивки и амуров. Какое мне было дело, что у мужиков свадьба? Не пристало старой кобыле хвостом вертеть! Больше в рот не возьму этого вероломца-меду, что не в голову – в ноги шибает. Все зло на земле от пьянства: когда б на нас трезвых напали, я бы, ей-ей, викторию одержал и Богуна в хлеву запер.

Тут взор Заглобы снова упал на хату, в которой почивал атаман, и задержался на двери.

– Спи, спи, злодей, – пробормотал он. – Авось увидишь во сне, как тебя черти в аду лущат, чего, впрочем, и так не избежешь. Решил из моей шкуры решето сделать? Что ж, попробуй! Залазь ко мне наверх, а там поглядим: может, еще я твою продырявлю, да так, что и собакам обувки не выкроишь. Только б мне вырваться отсюда! Только бы вырваться! Но как?

Задача и в самом деле представлялась невыполнимой. Майдан был забит людьми и конями; даже если бы Заглоба сумел выбраться из хлева, даже если б, соскользнув с крыши, вспрыгнул на одну из тех лошадей, что стояли возле самого хлева, ему бы не удалось даже ворот достигнуть, а уж тем паче ускакать за ворота!

И, однако ж, ему казалось, что главное сделано: он был свободен, вооружен и под стрехою чувствовал себя, как в твердыне.

«Какого черта! – думал он. – Неужто я затем из пут освободился, чтоб повеситься на тех же веревках?»

И снова в голову ему полезли всяческие хитрости, но в таком множестве, что разобраться в них никакой возможности не было.

Между тем на дворе заметно серело. Поредела тень, укрывавшая соседние с хатой постройки, крыша как бы серебром покрылась. Уже Заглоба легко мог различить отдельные группы на майдане, уже разглядел красные мундиры своих солдат, лежащих возле колодца, и бараньи тулупы, под которыми спали перед хатой казаки.

Вдруг один из спящих поднялся и не спеша прошелся по майдану, в иных местах ненадолго останавливаясь, поговорил о чем-то с казаками, стерегущими пленных, а потом направился к хлеву. Заглоба сперва решил, что это Богун, так как заметил, что дозорные с ним разговаривали, как подчиненные с командиром.

– Эх, – пробормотал он, – ружьецо бы сюда! Ты б у меня закувыркался.

В эту минуту человек поднял голову, и на лицо его упал бледный отблеск утренней зари: то был не Богун, а сотник Голодый, которого Заглоба тотчас узнал, ибо помнил прекрасно по тем еще временам, когда в Чигирине водил с Богуном дружбу.

– Эй, хлопцы! – сказал Голодый. – Вы, часом, не спите?

– Нет, батьку, хоть и берет охота. Пора б нас сменить.

– Сейчас сменят. А вражий сын не убеет?

– Ой-ой! Разве что душа из него убежала – даже и не пошевелинется.

– О, это стреляный воробей. А ну-ка, гляньте, как он там, такой и сквозь землю горазд провалиться.

– Сейчас глянем! – ответили несколько казаков, направляясь к дверям хлева.

– И сена с чердака струсите – лошадей обтереть! На заре выступаем.

– Хорошо, батьку!

Заглоба, мгновенно покинув свой пост у дыры в крыше, подполз к отверстию в настиле. В ту же секунду услышал стук деревянного засова и похрустывание соломы под ногами казаков. Сердце его бешено колотилось; крепко сжав рукоять сабли, он заново поклялся в душе, что скорее позволит спалить себя вместе с хлевом или изрубить в куски, нежели отдастся живьем. Он полагал, что казаки немедля подымут крик, однако ошибся. Несколько времени слышно было, как они бродят по хлеву, потом шаги убыстрились, и наконец один промолвил:

– Что за черт? Не могу нашарить! Мы ж его бросили в этот угол.

– Оборотень он, что ли? Высеки-ка огня, Василь, темно, как в колодце.

На минуту все смолкло. Василь, верно, искал трут и огниво; потом другой казак принялся потихоньку окликать:

– Отзовись, пан шляхтич!

– Как бы не так! – буркнул Заглоба.

Но вот железо чиркнуло о кремь, посыпался сноп искр, осветив на мгновение темное нутро хлева и казачьи головы в смушковых шапках, после чего мрак еще больше сгустился.

– Нету! Нету! – закричали возбужденные голоса.

Один из казаков бросился к двери.

– Батьку Голодый! Батьку Голодый!

– Чего там? – спросил, показываясь в дверях, сотник.

– Нету ляха!

– Как это нету?

– Сквозь землю провалился! Нигде нет. О, господи помилуй! Мы и огонь высекали – нету!

– Не может быть. Ох, и задаст вам атаман! Удрал он, что ли? Проспали?

– Не, батьку, мы не спали. Из хлева он мимо никак не мог прокрасться.

– Тихо! Не будить атамана!.. Коли не ушел, тут быть должен. Вы везде искали?

– Везде.

– А на сеновале?

– Он же связанный, как ему на сеновал забраться?

– Дурная башка! Кабы он не развязался, был бы на месте. Ищите на сеновале. Высечь огня!

Снова брызнули в темноту искры. Весть мигом облетела всех караульных. В хлев, как это всегда в подобных случаях бывает, поспешно сбежался народ; слышались торопливые шаги, торопливые вопросы и еще более скорые ответы. Как сабельные удары в бою, посыпались со всех сторон советы:

– На сеновал! На сеновал!

– А ты покарауль снаружи!

– Атамана не будить, не то быть беде!

– Лестницы нету!

– Неси другую!

– Нигде нет!

– Сбегай в хату, может, там есть...

– У, лях проклятый!

– Давайте с углов на крышу и по крыше на сеновал.

– Не выйдет, карниз широкий и досками снизу подшит.

– Несите пики. По ним и взойдем. Ах, пес!.. Лестницу втащил за собою!

– Принести пики! – загремел голос Голодого.

Одни побежали за пиками, другие, задравши головы, столпились под сеновалом. Рассеянный свет и в хлев уже просочился сквозь открытую дверь, и в полусумраке виден стал квадратный лаз на сеновал, черный и безмолвный.

Снизу доносились отдельные голоса:

– Эй, пан шляхтич! Спускай лестницу да слазь. Все равно тебе не уйти, зачем людей утруждаешь! Слезай! Слезай!

Тишина.

– Ты же человек умный! Сидел бы себе, кабы помогло, дак ведь не поможет – лучше слезай, мил друг, по своей воле!

Тишина.

– Слазь, не то кожу с башки сдерем – да в навоз рожей!

Заглоба оставался столь же глух к угрозам, сколь и к увещаниям, и сидел во тьме, как барсук в норе, приготовясь к отчаянному отпору. Только саблю крепче сжимал в кулаке, да посапывал и читал про себя молитву.

Между тем принесли пики, связали по три вместе и приставили остриями к лазу. У Заглобы мелькнула было мысль схватить их и втянуть наверх, но он тут же спохватился, что крыша может оказаться низковата и полностью пики не затащишь. Да и немедля приволокли бы другие.

Пока же весь хлев наполнился молодцами. Одни светили лучинами, другие подтаскивали

жерди и решетки от телег, а поскольку последние оказались коротковаты, поспешно скрепляли их ремнями – по пикам взбираться и впрямь было бы трудно. Однако ж охотники сыскались.

– Я пойду! – вскричало несколько голосов.

– Погодим, пока лестница будет! – сказал Голодый.

– А отчего бы, батьку, не попробовать по пикам?

– Василь взберется! Он как кошка лазает.

– Попробуй.

Тотчас посыпались шутки:

– Эй, осторожней! У него сабля, снесет башку, и не заметишь.

– Он тебя за чуб схватит и наверх втащит, а там как медведь придавит.

Но Василя это не испугало.

– Він знаѣ, – сказал он, – что ежели меня пальцем тронет, атаман ему покажет, почем фунт лиха, да и вы в долгу не останетесь, брати.

Это было предостережение Заглобе, который сидел тихонько, не подавая голоса.

Но казаки, народ лихой, уже и развеселились; происходящее показалось им забавным, и они наперебой продолжали подтрунивать над Василем:

– Одним дураком на свете меньше станет.

– Да ему плевать, как мы за твою башку отплатим. Не видишь, что ль, каков ухарь!

– Хо! Хо! Оборотень он. Черт знает, в кого там превратился... Чародей ведь! Еще неведомо, кто тебя в этой дыре поджидает.

Василь, который уже поплевал на ладони и ухватился за пики, вдруг призадумался.

– На ляха пойду, – сказал он, – а на черта нет.

К тому времени решетки были связаны и приставлены к лазу. Но и по ним всходить оказалось несподручно: они тут же прогнулись в местах скрепления, и тонкие перекладыны трещали, едва на них пробовали поставить ногу. Однако Голодый сам полез первым. Подымаясь, он приговаривал:

– Видишь тепер, пан шляхтич, что мы не шутим. Не захотел слезать, заупрямился, ну и сиди, только защищаться не вздумай – все одно мы тебя достанем, хоть весь хлев разобрать придется. Одумайся, покуда не поздно!

Наконец голова его достигла отверстия и постепенно в нем скрылась. Вдруг послышался свист сабли, казак страшно вскрикнул, пошатнулся и свалился под ноги к молодцам с разрубленной надвое головою.

– Коли его, коли! – взревели казаки.

В хлеву поднялось страшное смятение, раздались крики, вопли, которые заглушил громоподобный голос Заглобы:

– Ха, разбойники, людоеды, душегубцы, всех вас до единого перебью, кобели шелудивые! Знайте руку рыцаря. Я вам покажу, как на честных людей нападать по ночам! Как шляхтичей запираť в хлеву... Ха! Прохвосты! Давай по одному, по очереди, а то и по двое можно! Ну, кто первый? Только головы свои лучше в навозе попрячьте, не то снесу напрочь, клянусь богом!

– Коли! Коли! – вопили казаки.

– Хлев спалим!

– Я сам спалю, голошапы, вместе с вами!

– А ну, давай по несколько, по несколько разом! – крикнул старый казак. – Держать решетки, пиками подпирать! Солому на голову и вперед!.. Взять его надо!

С этими словами он полез наверх, а с ним двое его товарищей; перекладыны затрещали, ломаясь, решетки прогнулись еще больше, но по меньшей мере два десятка сильных рук схватились за жерди, подперли лестницу пиками. Кое-кто просунул острия в лаз, чтобы шляхтичу трудней было размахнуться саблѣй.

Несколько минут спустя еще три тела свалились на головы стоящих под сеновалом.

Заглоба, разгоряченный успехом, ревел как буйвол и изрыгал такие прокляťя, каких свет не слышал, – у казаков от его слов душа бы ушла в пятки, не охвати их в ту минуту дикая ярость. Одни кололи пиками настил, другие карабкались по лестнице, хотя в темной дыре их ждала верная гибель. Вдруг у дверей поднялся крик и в хлев вбежал сам Богун.

Был он без шапки, в одной только рубахе и шароварах, в руке держал обнаженную саблю,

глаза сверкали.

– На крышу, собачьи дети! – крикнул он. – Содрать солому и живым взять.

А Заглоба, увидав Богуна, взревел:

– Только приблизься, хам! Вмиг уши обрежу и нос отрублю, а головы твоей мне даром не надо, по ней топор плачет. Что, труса празднуешь, холоп, боишься? А ну, кто скрутит этого шельму, тот будет помилован. Что, висельник, что, кукла еврейская? Сам явился? Просунь только башку в дырку! Ну, где же ты? Залезай, рад буду и угощу отменно, сразу припомнишь папашу-сатану да мать-шлюху!

Между тем у Заглобы над головой затрещали стропила. Видно, казаки взобрались на крышу и уже сдирали солому.

Заглоба треск расслышал, но страх не отнял у него силы. Он словно опьянен был схваткой и кровью.

«Забьюсь в угол и там погибну», – подумал он.

Но в эту минуту во всех концах майдана вдруг загремели выстрелы, и тотчас в хлев ворвались человек десять казаков.

– Батьку! – благим матом кричали они. – Сюда, батьку!

Заглоба в первое мгновение не понял, что происходит, и остолбенел от изумленья. Глядит сквозь дыру в хлев – никого. Стропила на крыше не трещат.

– В чем дело? Что случилось? – громко воскликнул он. – Ага, понятно! Они решили хлев спалить и из пистолетов сядят по крыше.

Тем временем людской рев за стеной становился все страшней, послышался топот копыт. Выстрелы мешались с воем, звенело железо. «Господи! Да это, никак, сражение!» – подумал Заглоба и кинулся к своей дыре в крыше.

Поглядел – и ноги под ним от радости подкосились.

На майдане кипел бой, а вернее, Заглоба увидел ужасное избиение Богуновых казаков. Застигнутые врасплох, они позволили врагу подойти вплотную и падали, сраженные выстрелами в упор; припертые к изгородям, к стенам хаты и овину, разимые мечами, теснимые лошадиными крупами, сминаемые копытами, погибали почти без сопротивления. Солдаты в красном напирали, неистово рубясь, не давая казакам ни построиться, ни замахнуться саблей, ни перевести дух, ни вскочить на лошадь. Немногие лишь защищались; кто-то в дыму и сумятице торопливо подтягивал подпруги и валился наземь, не успев поставить ногу в стремя; иные, побросав пики и сабли, бежали к изгородям, перепрыгивали через них или протискивались меж кольев, застревая, крича и вопя нечеловечьими голосами. Казалось несчастным, что сам князь Иеремия как орел налетел на них, навалился внезапно со всей своей ратью. Времени не оставалось ни опомниться, ни оглядеться: возгласы победителей, свист сабель, гром выстрелов гнали их, как ураганный вихрь, горячее конское дыхание жгло затылки. «Люди, спасайте!» – раздавалось со всех сторон. «Бей, убивай!» – кричали солдаты.

И наконец увидел Заглоба маленького Володы,вского, который, стоя с несколькими солдатами близ ворот, словами и булавой отдавал приказанья, а порой врзался на своем гнедом жеребце в самую бучу: едва примерится, едва повернется, и человек уже падает, не издав и вскрика. О, Володы,вский великий был в своем деле мастер; прирожденный воитель, он безотрывно следил за ходом битвы, и, наведя где должно порядок, снова возвращался на место, и наблюдал, и указывал, словно управлял оркестром: когда надо, сам возьмет инструмент, когда надо – перестанет играть, но глаз ни на секунду ни с кого не спускает, дабы каждый свое исполнил.

Завидя такое, Заглоба затопал ногами по доскам настила, так что пыль вокруг за клубилась, захлопал в ладоши и заревел во всю глотку:

– Бей проклятых! Бей, убивай, сноси головы! Руби, коли, лупи, дави, режь! А ну, поднажмите! Саблями их, чтоб ни одному не уйти живому.

Так кричал Заглоба, волчком вертясь на месте; глаза его от натуги налились кровью, даже свет померк на минуту, но, когда зрение к нему вернулось, он увидел еще более великолепную картину – в окружении полсотни казаков вихрем летел на коне Богун, без шапки, в одной рубахе и шароварах, а за ним маленький Володы,вский со своими людьми.

– Бей! Это Богун! – крикнул Заглоба, но не был услышан.

Меж тем Богун с казаками через плетень, Володы,вский через плетень, некоторые отстали, у иных лошади на скаку перекувырнулись. Поглядел Заглоба: Богун на равнине, Володы,вский на равнине. Казаки врассыпную и наутек, солдаты поодиночке за ними. У Заглобы дух захватило, глаза чуть не вылезли из орбит. Что ж он увидел? А вот что: Володы,вский, как гончая за кабаном, по пятам за Богуном несется, атаман поворачивает голову, заносит саблю!..

– Бьются! – кричит Заглоба.

Еще мгновение, и Богун падает вместе с лошадьёю наземь, конь Володы,вского топчет его копытами, и маленький рыцарь устремляется вдогонку за другими беглецами.

Но Богун еще жив, он вскакивает и бежит к поросшим кустарником холмам.

– Держи его! Держи! – ревет Заглоба. – Это Богун!

Появляется новая ватага казаков, которая до той минуты за холмами укрывалась, а теперь, когда ее заметили, ищет нового пути к бегству. За нею, примерно в полуверсте, скачут солдаты. Казаки догоняют Богуна, окружают, подхватывают и увозят с собой. И вот уже вся ватага исчезает в извоях яра, а за ней скрываются из глаз и преследователи.

На майдане сделалось тихо и пусто: даже солдаты Заглобы, отбитые Володы,вским, повскакав на казацких коней, понеслись вместе с другими за рассыпавшимися кто куда беглецами.

Заглоба спустил лестницу, слез с сеновала и, выйдя из хлева на майдан, проговорил:

– Я свободен...

И, сказавши так, осмотрелся по сторонам. На майдане лежали во множестве убитые запорожцы и около дюжины солдатских трупов. Шляхтич медленно между них прошелся, внимательно каждого лежащего оглядел и опустил возле одного на колени.

Когда он минуту спустя поднялся, в руке у него была жестяная манерка.

– Полная, – пробормотал Заглоба.

И, поднеся манерку к устам, запрокинул голову.

– Недурственная!

Потом опять огляделся вокруг и еще раз повторил, но уже голосом куда более бодрым:

– Я свободен.

После чего направился к хате, переступил через лежащий на пороге труп старого бондаря, убитого казаками, и скрылся за дверью. Когда же вышел, вокруг чресел его, поверх кунтуша, измаранного навозом, сверкал Богунов пояс, густо расшитый золотом, а за поясом нож, украшенный крупным рубином.

– Господь вознаградил за отвагу, – бормотал он, – вон и кошелек набит весьма туго! Ну, разбойник поганый! Теперь не уйдешь, надеюсь! Но маленький-то фертик каков! Чтоб ему ни дна ни крыши. Невелика щучка, да зубок остер, дери его черти. Знал я, что он славный воин, но чтоб эдак Богуна насесть на хвост – такого я, признаться, не ждал. Подумать только: телом тщедушен, а сколько огня и задору! Богун бы его мог за пояс заткнуть, как ножик. Чтоб ему пусто было! Ой, нет: помоги ему всевышний! Видно, он Богуна не узнал, а то бы прикончил. Фу, как порохом пахнет, аж в носу засвербило! Однако я-то из какой переделки вылез – в такую мне еще попадать не доводилось! Слава тебе, господи!.. Но Богуна-то он как лихо! Нужно будет к этому Володы,вскому присмотреться: дьявол в нем сидит, не иначе.

Так приговаривая, Заглоба сел на пороге хлева и стал ждать.

Вскоре вдаль на равнине показались солдаты, возвращающиеся после разгрома врага. Впереди ехал Володы,вский. Увидев Заглобу, маленький рыцарь пришпорил коня и, спешившись, направился прямо к нему, крича издали:

– Неужто я вашу милость живым вижу?

– Меня собственной персоной, – ответил Заглоба. – Да вознаградит тебя бог, что с подмогой прибыл.

– Благодарю бога, что вовремя, – сказал Володы,вский, радостно пожимая Заглобе руку.

– Но откуда ж ты, сударь, о моей беде прознал?

– Мужики с этого хутора знать дали.

– О, а я уж думал, они меня предали.

– Что ты, это добрые люди. Парень с девушкой едва унесли ноги, а с другими что, они и

не знают.

– Коли не изменники, значит, всех казаки порешили. Вон, хозяин лежит возле хаты. Ну ладно, довольно об этом. Говори скорей, сударь любезный: Богун жив? Удрал?

– Неужто среди них Богун был?

– Ну да! Тот, что без шапки, в рубахе и шароварах, которого ваша милость свалил с конем вместе.

– Я его в руку ранил. Экая досада, что не узнал... Но ты-то, ты что здесь учинил, сударь?

– Я что учинил? – переспросил Заглоба. – Пошли со мной – да гляди хорошенько.

Он взял пана Михала за руку и повел в хлев.

– Гляди, – повторил он на пороге.

Володы,вский поначалу со света ничего не мог разобрать, но, когда глаза его привыкли к темноте, увидел тела, неподвижно лежащие на навозной куче.

– А этих кто перебил? – удивленно спросил он.

– Я, – ответил Заглоба. – Ты спрашиваешь, что я учинил? Любуйся!

– Н-да! – произнес молодой офицер, покачав головою. – А как это ты исхитрился?

– Я там, наверху, оборонялся, а они на меня и снизу лезли, и с крыши. Не знаю, долго ли, – в бою время не замечаешь. Да, это был Богун, сам Богун с немалою силой – молодцы все как на подбор. Попомнит он теперь тебя, сударь, да и меня не забудет! В другой раз я расскажу, как попал в плен, что вытерпел и как Богуна отчехвостил, – мы с ним еще несколькими словами перекинуться успели. А сегодня я до чрезвычайности fatigatus, едва на ногах стою.

– Н-да, – повторил еще раз Володы,вский, – ничего не скажешь, отважно ты, сударь, держался. Однако только замечу: рубака из тебя лучший, нежели полководец.

– Пан Михал, – промолвил шляхтич, – не время сейчас заводить долгие разговоры. Лучше возблагодарим бога, что нам с тобой ниспослал нынче столь блистательную победу, которая несомненно в памяти людской сотрется.

Володы,вский с удивлением взглянул на Заглобу. Ему до сих пор казалось, что он один одержал эту победу, но старый шляхтич, видно, желал разделить с ним лавры.

Однако пан Михал только поглядел на приятеля, покачал головой и молвил:

– Пусть будет так, ладно.

Часом позже оба друга во главе соединенных отрядов двинулись по дороге, ведущей в Ярмолинцы.

Люди Заглобы почти все были целы, так как, застигнутые спящими, не оказывали сопротивления; Богун же, которому велено было достать «языка», приказал солдат не убивать, а брать живыми.

Глава VIII

Богуну, сколь ни бесстрашным и осмотрительным он был вождем, господь не дал удачи в той экспедиции, куда его отправили следить за мнимой дивизией князя Иеремии. Он лишь утвердился в убеждении, что князь действительно двинул все силы против Кривоноса: так говорили взятые в плен люди Заглобы, которые сами свято верили, будто Вишневецкий идет за ними следом. Поэтому бедному атаману ничего не осталось иного, кроме как возвращаться поскорей к Кривоносу, но и эта задача была не из легких. Лишь на третий день собрались возле него две с небольшим сотни казаков, остальные либо полегли в бою, либо остались, раненные, на месте схватки, а кое-кто еще блуждал по оврагам и очерету, не зная, что делать, куда бежать, в какую сторону податься. Да и от собравшейся вокруг Богуна ватаги немного было проку: после погрома люди его, перепуганные, растерявшиеся, при первой тревоге норовили обратиться в бегство. А ведь молодец он подобрал одного к одному: лучше во всей Сечи сыскать было бы трудно. Но казаки не знали, что Володы,вский ударил на них с такой малой силой и разгромил лишь потому, что внезапно напал на спящих и неготовых к отпору,

– они нисколько не сомневались, что если не с самим князем повстречались, то, по крайней мере, с сильным, в несколько раз большим по численности отрядом. Богун на стенку лез: раненый, истоптанный копытами, больной, избитый, он еще и закланного врага упустил из рук, и славу свою запятнал, его же молодцы, которые накануне разгрома хоть в Крым, хоть в

пекло, хоть на самого князя готовы были слепо за ним идти, теперь разуверились в своем атамане, поникли духом и о том только думали, как бы спасти свою шкуру. А ведь он сделал все, что атаману сделать надлежало, ничего не упустил, стражей хутор обставил, а привал устроил лишь потому, что лошади, которые из-под Каменца почти без роздыху шли, никак не могли продолжать путь. Но Володыжский, чья молодость прошла в стычках с татарами и набегах, как волк подкрался ночью к дозорным, скрутил их, прежде чем они успели выстрелить или вскрикнуть, – и обрушился на отряд так, что он, Богун, в одних только шароварах да в рубахе унес ноги. Стоило атаману об этом подумать, как ему свет немил становился, голова шла кругом и отчаянье, словно бешеный пес, рвало душу. Он, который на Черном море турецкие галеры топил, который до самого Перекопа татар по пятам гнал и у хана на глазах предавал огню улусы, он, который у князя под боком, под самыми Лубнами, вырезал в Василевке целый regiment, – вынужден был бежать в одной рубахе, с непокрытой головой и без сабли, ибо и саблю потерял в стычке с маленьким рыцарем. Потому на привалах и ночлегах, когда никто на него не глядел, атаман хватался за голову и кричал: «Где моя слава молодецкая, где моя подруга сабля?» И от собственного крика в дикое помешательство впадал и напивался до потери человеческого облика, а тогда рвался идти на князя, против всей его рати – и погибнуть, навеки расстаться с жизнью.

Он-то рвался – да молодцы не хотели. «Хоть убей, батьку, не пойдем!» – угрюмо отвечали они на отчаянные его призывы, и тщетно в припадках безумия замахивался он на них саблём, стрелял из пистолетов так, что им порохом опаляло лица, – не хотели идти, и все тут.

Можно сказать, земля уходила из-под ног атамана – и это еще был не конец его бедам. Опасаясь возможной погони, он не решился идти прямо на юг, а, считая, что, быть может, Кривонос уже снял с Каменца осаду, повернул на восток и... наткнулся на отряд Подбипятки. Чуткий, как журавль, пан Лонгинус не дал себя застать врасплох, первый на атамана ударил и разбил тем легче, что казаки не желали драться, а затем погнался навстречу Скшетускому, тот же довершил разгром, так что Богун после долгих скитаний в степях, без добычи и без «языков», потеряв почти всех своих молодцев, с каким-нибудь десятком людей бесславно явился к Кривоносу.

Но неистовый Кривонос, не знающий снисхождения к тем из своих подчиненных, которых постигла неудача, на сей раз не разгневался нисколько. Он по собственному опыту знал, каково иметь дело с Иеремией, и потому принял Богуна ласково, утешал его и успокаивал, а когда атаман свалился в жестокой горячке, приказал ухаживать за ним, и лечить, и беречь пуще глаза.

Между тем четыре княжеских рыцаря, посеяв всеместно страх и смятение, благополучно возвратились в Ярмолинцы, где задержались на несколько дней, чтобы дать роздых людям и лошадям. Остановились все на одной квартире и там поочередно отчитались Скшетускому, что с кем приключилось и каких кто добился успехов, а затем уселись за бутылкой доброго вина, чтобы излить душу в дружеской беседе и взаимное удовлетворить любопытство.

Тут уж Заглоба никому не дал вымолвить слова. Не желая слушать других, он требовал, чтобы слушали только его; оказалось, однако, что ему и вправду более, нежели другим, есть о чем рассказать.

– Любезные судари! – витийствовал он. – Я попал в плен – что верно, то верно! Но фортуна, как известно, изменчива. Богун всю жизнь других бил, а час пришел – мы его побили. Да-да, на войне так всегда бывает! Сегодня со щитом, завтра на щите – обычное дело. Но Богуна господь за то и покарал, что на нас, сладко спящих сном праведных, напасть осмелился и разбудил нагло. Хо-хо! Он думал страху на меня нагнать гнусными своими речами, но я его, любезные судари, так отбрил, что он вмиг присмирел, смешался и выболтал больше, чем самому хотелось. Впрочем, что тут долго рассказывать?.. Не попадись я в плен, мы бы с паном Михалом так легко их не одолели; я говорю «мы», ибо в заварухе сей magna pars fui¹⁰ – до смерти повторять не устану. Дай мне бог здоровья! Теперь слушайте дальше: по моему разумению, не наступи мы с паном Михалом атаману на пятки, неизвестно еще, каково бы

¹⁰ я принял значительное участие (лат.). – Вергилий.

пришлось пану Подбипытке, да и пану Скшетускому тоже; короче: не погроми мы его, он бы нас погромил – а почему так не случилось, в ком, скажите вы мне, причина?

– А ваша милость истинно как лиса, – заметил пан Лонгинус. – Тут хвостом вильнешь, там увернешься и завсегда сухим из воды выйдешь.

– Глуп тот пес, что за своим хвостом бежит: и догнать не догонит, и порядочного ничего не учует, а вдобавок нюх потеряет. Скажи лучше, сударь, сколько ты людей потерял?

– Двенадцать всего-навсего, да несколько ранены, казаки и не больно-то отбивались.

– А ваша милость, пан Михал?

– Не более тридцати – мы их врасплох застали.

– А ты, пан поручик?

– Столько же, сколько пан Лонгинус.

– А я двоих. Извольте теперь сказать: кто лучший полководец? То-то и оно! Мы сюда зачем приехали? По княжескому велению вести собирать о Кривоносе; вот я вам и доложу, любезные господа, что первый о нем проведал, причем из наивернейшего источника – от самого Богуна, так-то! Отныне мне известно, что Кривонос еще под Каменцем стоит, но об осаде больше не помышляет – потому как обуян страхом. Это *de publicis*¹¹, но я еще кое-что разузнал, от чего сердца ваши должны возликовать безмерно, а молчал до поры, поскольку хотел с вами вместе обсудить, как быть дальше; к тому ж доселе нездоровым себя чувствовал, в полном пребывал изнурении сил, да и нутро взбунтовалось после того, как разбойники эти меня в бараний рог скрутили. Думал, кондрашка хватит.

– Да говори же ты, сударь, бога ради! – воскликнул Володы,,вский. – Неужто о бедняжке нашей что проведал?

– Воистину так, да благословит ее всевышний, – промолвил Заглоба.

Скшетуский поднялся во весь свой рост, но тотчас же опять сел – и такая тишина настала, что слышно было жужжанье комаров на окошке, пока наконец Заглоба не заговорил снова:

– Жива она, это я теперь доподлинно знаю, и у Богуна в руках. Страшные это руки, любезные судари, однако ж господь упас ее от зла и позору. Богун сам мне признался, а уж он бы не преминул похвалиться, будь оно иначе.

– Возможно ли? Возможно ли это? – лихорадочно вопрошал Скшетуский.

– Разрази меня гром, коли я лгу! – со всей серьезностью ответил Заглоба. – Для меня это святая святых. Послушайте, что Богун говорил, когда еще насмешничать надо мной пытался, покуда я его не осадил хорошенько. «Ты что ж, говорит, думал, для холопа ее в Бар привез? Думал, я мужлан, силой хочу взять девицу? Неужели, говорит, меня не стать на то, чтобы в Киеве обвенчаться в церкви, да чтоб монахи, говорит, мне пели, да чтоб триста свечей для меня зажглись – для меня, гетмана и атамана!» – и ногами давай топать, и ножом грозиться – напугать вздумал, да я ему сказал, пусть собак пугает.

Скшетуский уже овладел собою, но аскетическое его лицо просветлело, и снова на нем появились тревога, надежда, сомнение и радость.

– Где же она тогда? Где? – выпрашивал он торопливо. – Если ты, сударь, и это узнал, значит, мне тебя небеса послали.

– Этого он мне не сказал, но умной голове и полслова довольно. Не забудьте, любезные судари, что поначалу он всячески надо мной издевался, пока я его не приструнил, а тут у него и вырвалось против воли: «Вперед, говорит, я тебя отведу к Кривоносу, а потом пригласил бы на свадьбу, да сейчас война, нескоро еще свадьба будет». Заметьте, судари: еще нескоро – выходит, у нас есть время! И другое заметьте: вперед к Кривоносу, а уж потом на свадьбу – значит, у Кривоноса княжны точно нет, куда-нибудь он ее от войны подальше спрятал.

– Сущее ты золото, сударь! – воскликнул Володы,,вский.

– Я сначала подумал, – продолжал польщенный Заглоба, – может, он ее отослал в Киев, ан нет: зачем тогда было говорить, что они в Киев венчаться поедут; раз поедут, значит, не там наша бедняжка. У него достанет ума туда ее не везти, потому как, если Хмельницкий на Червонную Русь подастся, литовские войска легко могут захватить Киев.

¹¹ о делах общественных (лат.).

– Верно! Верно! – воскликнул пан Лонгинус. – Богом клянусь, не одному бы стоило с вашей милостью разумом поменяться.

– Только я не со всяким меняться стану из опасения взамен разума мешок ботвы заполучить, а уж особенно с литвином.

– Опять он за свое, – вздохнул пан Лонгинус.

– Позволь же мне, сударь, закончить. Ни у Кривоноса, ни в Киеве ее, стало быть, нет – где же она в таком случае?

– В том и загвоздка!

– Если ваша милость догадывается, говори скорей, а то я сижу как на угольях! – вскричал Скшетуский.

– За Ямполем она! – сказал Заглоба и торжествующе обвел всех здоровым своим оком.

– Откуда это тебе известно? – спросил Володы,вский.

– Откуда известно? А вот откуда: сижу я в хлеву, – разбойник этот, чтоб его свиньи слопали, в хлев меня велел запереть! – а рядом казаки разговаривают промеж собою. Прикладываю ухо к стене и что же слышу?.. Один говорит: «Теперь небось атаман за Ямполь поедет», а другой на это: «Молчи, коли молодая жизнь дорога...» Голову даю, что она за Ямполем где-то.

– О, это уж как бог свят! – воскликнул Володы,вский.

– В Дикое Поле ведь он ее не повез, значит, по моему разумению, где-нибудь между Ямполем и Ягорлыком спрятал. Был я однажды в тех краях, когда посредники туда съехались от нашего короля и от хана: в Ягорлыке, как вам ведомо, вечно разбираются пограничные споры об угоне стад... Там вдоль всего Днестра сплошь овражины да чащобы, места неподступные, и хуторяне никому не подвластны – пустыня окрест, они и друг с другом не встречаются. У таких диких отшельников он ее, верно, и спрятал, да и безопаснее место трудно придумать.

– Ба! Но как туда добраться сейчас, когда Кривонос заградил дорогу? – говорит пан Лонгинус. – И Ямполь, как я слышал, – сущее разбойничье логово.

На это Скшетуский:

– Я ради ее спасения хоть десять раз голову сложить готов. Переоденусь и пойду искать – отыщу, надеюсь: бог меня не оставит.

– Я с тобой, Ян! – воскликнул Володы,вский.

– И я лирником нищим оденусь. Поверьте, любезные судари, уж чего-чего, а опыта у меня всех вас поболее; торбан мне, правда, обрыдл чертовски, ну да ничего, возьму волынку.

– Так, может, и я на что сгожусь, братушки? – спросил пан Лонгинус.

– Отчего ж нет, – ответил Заглоба. – Понадобится переправиться через Днестр, ты и перенесешь нас, как святой Христофор.

– Благодарствую от души, любезные судари, – сказал Скшетуский, – и готовностью вашей воспользоваться счастлив. Друзья познаются в беде, а меня, вижу, провидение такими верными друзьями подарило. Позволь же, всемогущий боже, и мне положить за друзей достояние и здоровье!

– Все мы аки един муж! – воскликнул Заглоба. – Господь поощряет согласие; увидите, в скором времени и мы плодами своих трудов насладимся.

– Знать, мне ничего иного не остается, – сказал, помолчав, Скшетуский, – как отвести хоругвь к князю и, не мешкая, отправиться в путь вместе с вами. Пойдем по Днестру через Ямполь к Ягорлыку и повсюду искать будем. А поскольку, надеюсь, Хмельницкий уже разбит или, пока мы с князем соединимся, разбит будет, то и служба общему делу не станет помехой. Хоругви, верно, двинутся на Украину, чтобы вконец задушить мятеж, но там и без нас обойдутся.

– Погодите-ка, любезные судари, – сказал Володы,вский, – надо полагать, после Хмельницкого придет черед Кривоноса, так что, возможно, мы вместе с войском пойдем на Ямполь.

– Нет, нет, туда надлежит поспеть раньше, – ответил Заглоба. – Но первая наша задача –

отвести хоругвь, чтобы руки развязаны были. Надеюсь, и князь нами contentus¹² будет.

– Особенно тобой, сударь.

– Разумеется! Кто ему лучшие везет вести? Уж поверьте мне, князь не постоит за наградой.

– Стало быть, в путь?

– Не мешало бы отдохнуть до завтра, – заметил Володы,вский. – Впрочем, пускай приказывает Скшетуский – он у нас старший; однако предупреждаю: выступим сегодня – у меня все лошади падут.

– Это дело серьезное, знаю, – сказал Скшетуский, – но, думается, если задать им хорошего корму, завтра смело выходить можно.

Назавтра и отправились. Согласно княжескому приказу им надлежало вернуться в Збараж и там ожидать дальнейших распоряжений. Потому пошли на Кузьмин, чтобы, оставив в стороне Фельштын, свернуть к Волочиск, откуда через Хлебановку вел старый тракт на Збараж. Идти было нелегко – дорога от дождей раскисла, – но зато спокойно, только пан Лонгинус, шедший о сто конь впереди, разбил несколько банд, бесчинствовавших в тылу региментарских войск. На ночлег остановились лишь в Волочиске.

Но едва утомленные долгой дорогой друзья уснули сладко, их разбудила тревога: дозорные дали знать о приближении конного отряда. Вскоре, однако, выяснилось, что это татарская хоругвь Вершулла – свои, значит. Заглоба, пан Лонгинус и маленький Володы,вский тотчас поспешили к Скшетускому, а следом за ними туда же влетел вихрем запыхавшийся, с ног до головы забрызганный грязью офицер легкой кавалерии, взглянув на которого Скшетуский воскликнул:

– Вершулл!

– Так... точно! – проговорил тот, с трудом переводя дыхание.

– От князя?

– Да!.. Ох, дух перехватило!

– Какие вести? С Хмельницким покончено?

– Покончено... с... Речью Посполитой!

– Господь всемогущий! А ты, часом, не бредишь? Ужель поражение?

– Поражение, позор, бесчестье!.. Без боя... Разброд и смятение! О боже!

– Ушам не хочется верить. Говори же, говори Христа ради!.. Что региментарии?

– Бежали.

– А где наш князь?

– Отступает... без войска... Я к вам от князя... с приказом... немедленно во Львов... Они идут за нами.

– Кто? Вершулл, Вершулл! Опомнись, брат! Кто идет?

– Хмельницкий, татары.

– Во имя отца, и сына, и святого духа! – вскричал Заглоба. – Земля из-под ног уходит.

Но Скшетуский уже понял, в чем дело.

– Вопросы потом, – сказал он, – немедленно на конь!

– На конь, на конь!

Кони Вершулловых татар уже били копытами под окошком. Жители, разбуженные вторженьем отряда, выходили из домов с факелами и фонарями. Новость молнией облетела город. Тотчас колокола забили тревогу. Тихий минуту назад городишко наполнился шумом, лошадиным топотом, громкими словами команд и гвалтом евреев. Население собралось уходить вместе с войском; отцы семейств запрягали возы, погружали на них детей, жен, перины; бургомистр с несколькими мещанами пришел умолять Скшетуского не уезжать вперед и хоть до Тарнополя сопровождать горожан, но Скшетуский, имея четкий приказ поспешать без промедленья во Львов, не захотел его и слушать.

Выступили сей же час, и лишь в дороге Вершулл, придя немного в себя, рассказал, что случилось.

¹² доволен (лат.).

– Сколько Речь Посполитая стоит, – говорил он, – такого не знала краха. Что там Цецора, Желтые Воды, Корсунь!

А Скшетуский, Володыжский, Лонгинус Подбипытка, припадая к шеям лошадей, то за головы хватались, то воздевали руки к небу.

– Нет, это выше человеческого разума! – восклицали они. – Где же князь был?

– А князь был всеми покинут и от дел умышленно отстранен, даже дивизией своей не распоряжался.

– Кто же взял на себя команду?

– Все и никто. Я старый служака, на войне зубы съел, но такого войска и таких предводителей еще не видел.

Заглоба, который особого расположения к Вершулле не питал, да и знал мало, долго качал головой и губами причмокивал – и наконец промолвил:

– Скажи-ка, сударь любезный, а не помутилось ли у тебя в очах или, может, ты частичное поражение за всеобщий разгром принял, ибо то, что мы слышим, просто уму непостижимо.

– Непостижимо, согласен, более того: я бы с радостью голову отсечь позволил, если б чудом каким-нибудь оказалось, что это ошибка.

– А как же ваша милость ухитрился после разгрома прежде всех попасть в Волочиск? Не хочется допускать мысли, что первым дал тягу... Где же войска в таком случае? Куда бегут? Что с ними дальше случилось? Почему в бегстве своем тебя не опередили? На все эти вопросы силуюсь найти ответ – но тщетно!

В любое другое время Вершулла никому бы не спустил оскорбления, но в ту минуту он ни о чем ином, кроме как о катастрофе, не мог думать и потому ответил только:

– Я первым попал в Волочиск, так как прочие к Ожиговцам отступают, меня же князь с намерением направил туда, где, по его расчету, ваши милости находились, дабы вас не смело ураганом этим, узнай вы о случившемся слишком поздно; а во-вторых, есть еще причина: ваши пятьсот конников теперь для князя дорогого стоят, поскольку дивизия его рассеяна, а большая часть людей погибла.

– Чудеса! – буркнул Заглоба.

– Подумать страшно, отчаянье берет, сердце на куски рвется, слез удержать не можно! – восклицал, ломая руки, Володыжский. – Отчизна погублена, обесславлена, такое войско истреблено... рассеяно! Нет, пришел конец света. Страшный суд близок, не иначе!

– Не перебивайте его, – сказал Скшетуский, – позвольте закончить.

Вершулла помолчал, словно собираясь с силами; несколько времени слышно было лишь чавканье копыт по грязи, потому что лил дождь. Была еще глубокая ночь, особенно темная от сгустившихся туч, и во тьме этой, в шуме дождя на диво зловеще звучали слова Вершуллы, когда он повел свой рассказ дальше:

– Кабы не думал я, что в бою погибну, верно бы, в уме повредился. Ты, сударь, о Страшном суде помянул – и я полагаю, что вскоре Судный день наступит: все рушится, зло над добродетелью торжествует и антихрист уже бродит по свету. Ваши милости не видели, что творилось, но даже рассказ об этом вам слушать невыносимо, а каково мне, воочию наблюдавшему разгром и позор безмерный! Всевышний послал нам в начале этой войны удачу. Князь наш, покарав по справедливости пана Лаща под Чолганским Камнем, остальное предал забвению и помирился с князем Домиником. Родовались мы все, что настало согласие – и господь дал свое благословенье. Князь вторично погромил врага под Староконстантиновом и взял город, который неприятель после первого же штурма оставил. Затем двинулись мы к Пилявцам, хотя князь был иного мнения. Но уже в пути все против него ополчилось: кто зависть выказывал, кто неприязнь, а кто и в открытую строил козни. На советах его не слушали, пропозициями пренебрегали, а пуще всего старались дивизию нашу разделить, чтобы она целиком под его рукой не осталась. Воспротивься он, за все беды вину б на него свалили, вот его светлость и страдал, терзался, но все сносил молча. Так, легкую кавалерию по приказу генерала-регентария в Староконстантинове оставили вместе с пушками Вурцеля и с оберштером Махницким; еще отделили от нас обозного литовского Осинского и полк Корицкого, так что остались у князя лишь гусары Зацвилюховского, два полка драгун да я с неполной хоругвью – всего не более двух тысяч. И после этого всячески его затереть старались,

я сам слышал, как поговаривали угодники князя Доминика: «Теперь после виктории никто не скажет, что это заслуга одного Вишневецкого». И на всех углах кричали, что если князю и впредь безмерная будет сопутствовать слава, то и на выборах его ставленник, королевич Карл, возьмет верх, а они хотят Казимира. Всех заразили заговорщическими страстями: войско на партии раскололось, прения начались, депутатии, как на сейме, – обо всем думали, только не о войне, словно неприятель уже разгромлен. А начни я вашим милостям рассказывать о тех пиршествах, славословии, о той роскоши непомерной, вы б ушам своим не захотели верить. Пирровы полчища – ничто по сравнению с этими воинами в страусовых перьях, золотом да драгоценностями обвешанными с головы до ног. А еще с нами было двести тысяч прислуги и тьма повозок, лошади шатались под тяжестью вьюков с коврами и шелковыми шатрами, возы трещали под сундуками. Можно было подумать, мы мир завоевать собрались. Шляхта из ополчения день-деньской шелкала хлыстами: «Вот чем, говорит, усмирим хамов, не обнажая сабель». А мы, старые солдаты, драться привыкли, не ласы точить, нам сразу почуялось недоброе при виде сей небывалой роскоши. А тут еще из-за пана Киселя пошли распри. Одни кричат: он изменник, другие – достойный сенатор. Спьяну то и дело за сабли хватались. Стражи внутри лагеря не было вовсе. Никто не следил за порядком, никто солдатами не командовал, все делали что хотели, ходили куда в голову взбредет, располагались где вздумается, челядь вечно перебранки затевала... Боже милосердный, не военный поход, а разгульная масленица: *salutem Reipublicae*¹³ все без остатка растрянжирили, проплясали, пропили и проели!

– Но мы еще живы! – сказал Володыжский.

– И бог есть на небесах! – добавил Скшетуский.

Снова настало молчание, затем Вершулл продолжал дальше.

– Погибнем *totaliter*¹⁴, разве что господь сотворит чудо, простит прегрешения наши и незаслуженную окажет милость. Порой я сам отказываюсь своим глазам верить, и все, что видел, мне представляется страшным сном...

– Продолжай, сударь, – перебил его Заглоба, – пришли вы в Пилявцы, и что дальше?

– Пришли и стали. О чем там региментарии совещались, не знаю – на Страшном суде они еще за это ответят: если бы сразу ударили на Хмельницкого, видит бог, быть бы ему сломлену и разбиту, несмотря на беспорядок, разброд, распри и отсутствие полководца. Уже паника была среди черни, уже она подумывала, как бы Хмельницкого и вожаков своих выдать, а он сам замышлял бегство. Князь наш ездил от шатра к шатру, просил, умолял, угрожал: «Ударим, пока не подошли татары, ударим!» – и волосы на себе рвал, а они друг на дружку кивали – и ничего, ничего! Пререкались да пили... Разнесся слух, что идут татары – хан с двухсоттысячной конницей, – а они все судили-рядили. С князем никто не считался, он из своего шатра выходить перестал. Пронесся слух, будто канцлер воспретил князю Доминику начинать сражение, будто ведутся переговоры: в войске еще большая поднялась неразбериха. А тут и татары пришли; правда, в первый день нас бог не оставил, князь с паном Осинским им отпор дали, и пан Лащ себя показал превосходно: отогнали, потрепав изрядно, ордынцев. А потом...

Голос Вершулла пресекся.

– А потом? – спросил Заглоба.

– Настала ночь, страшная, неизвестно что обещающая... Помню, стоял я со своими людьми у реки в карауле и вдруг слышу, в казацком стане салютная пальба поднялась, крики. Мне и припомнилось, что вчера в лагере говорили, будто еще не вся татарская рать подоспела, только часть пришла с Тугай-беем. Я и подумал: коли они там ликуют, должно, и хан пожаловал собственной персоной. А тут и у нас начинается суматоха. Я взял несколько человек – и в лагерь. «Что случилось?» А мне кричат: «Региментарии ушли!» Я к князю Доминику – нет его! К подचाшию – нет! К коронному хорунжему – нету! Господи Иисусе! Солдаты мечутся по майдану, головнями размахивают, крик, шум, вопли: «Где региментарии? Где региментарии?» Кто кричит: «На конь! На конь!», а кто: «Спасайтесь, братья, измена!» Руки воздевают к небу,

¹³ благополучие Речи Посполитой (лат.).

¹⁴ все до единого (лат.).

лица безумные, глаза выпученные, толкаются, друг друга топчут, душат, на лошадей садятся, а кто и пешком бежит, не разбирая дороги. Бросают шлемы, кольчуги, ружья, палатки! Вдруг появляется со своими гусарами князь в серебряных латах: впереди шесть факелов несут, а он, в стремених привставши, кричит: «Я здесь, все ко мне, я остался!» Куда там! Его и не слышат, и не видят, прут прямо на гусар, ряды сминают, людей, лошадей сбивают с ног – мы едва уберегли самого князя, – и по затоптанным кострищам, во тьме, точно полая вода, все войско в диком смятенье вылетает из лагеря, бежит очертя голову, рассеивается, гибнет... Нет больше войска, нет вождей, нет Речи Посполитой, только позор несмываемый да казацкая удавка на шее...

Тут застонал Вершулл и лошади в бока шпоры вонзил, до исступления доведенный отчаяньем; чувство это передалось остальным – словно в умопомрачение ехали они сквозь дождь и ночь.

Долго так ехали. Первым заговорил Заглоба:

– Без боя! Ах, стервецы! Разрази их гром! А помните, как куражились в Збараже? Как грозились Хмельницкого съесть без перца и соли? Шельмы окайные!

– Какое там! – вскричал Вершулл. – Бежали после первого же сражения, выигранного у татар и черни, когда даже ополченцы словно львы дрались.

– Видится мне в этом перст божий, – сказал Скшетуский, – но еще где-то здесь скрыта тайна, которая со временем должна проясниться.

– Ладно бы войска обратились в бегство – такое на свете бывает, – сказал Володы,вский, – но тут полководцы первыми покинули лагерь, словно нарочно вознамерясь врагу облегчить победу и людей своих погубить.

– Истинная правда! – подхватил Вершулл. – Так и говорят, будто это с умыслом сделано было.

– С умыслом? Боже правый, не может быть такого!..

– Говорят, с умыслом. А почему?.. Кто поймет! Кто угадает!

– Чтоб им на том свете не знать покоя, чтобы род каждого зачах и только бесславная память осталась! – сказал Заглоба.

– Аминь! – сказал Скшетуский.

– Аминь! – сказал Володы,вский.

– Аминь! – повторил Подбипятка.

– Один есть человек, который еще отчизну спасти может, ежели ему булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой доверить, один-единственный – никого другого ни войско, ни шляхта знать не захочет.

– Князь! – сказал Скшетуский.

– Точно так.

– За ним пойдем, под его рукою и смерть не страшна... Да здравствует Иеремия Вишневецкий! – воскликнул Заглоба.

– Да здравствует! – повторило полсотни неуверенных голосов, но восклицания быстро оборвались: когда земля расступалась под ногами, а небо, казалось, обрушивается на голову, не время было для здравиц.

Меж тем начало светать, и в отдалении показались стены Тарнополя.

Глава IX

Первые части разбитого под Пилявцами войска добрались до Львова на рассвете 26 сентября. Не успели открыться городские ворота, страшная весть с быстротою молнии разнеслась по городу, повергая одних в смятение, у других вызывая недоверие, а у иных – отчаянное желание защищаться. Скшетуский со своим отрядом прибыл два дня спустя, когда город был уже забит бежавшими с поля боя солдатами, шляхтой и вооруженными горожанами. Уже составлялись планы обороны, потому что татар ждали с минуты на минуту, но еще неизвестно было, кто возглавит защитников города и как возьмется за дело, оттого везде царили паника и беспорядок. Кое-кто бежал из города, прихватив детей и пожитки, окрестные же крестьяне искали убежища в городских стенах. Отъезжающие и въезжающие скоплялись на

улицах, шумно препираясь, кому ехать первым. Проходу не стало от телег, тюков, узлов, лошадей. Повсюду солдаты различных родов войск, на всех лицах неуверенность, напряженное ожидание, отчаяние или унылая покорность. Ежеминутно, будто лесной пожар, вспыхивала паника, раздавались крики: «Едут! Едут!» – и толпа начинала колыхаться: обезумев от страха, люди устремлялись куда глаза глядят, пока не оказывалось, что это всего-навсего очередной отряд беглецов подходит. Отрядов таких собиралось все больше – но сколь жалостное зрелище являли собой те самые воины, что недавно еще, в золоте и перьях, с песнею на устах и гордыней во взорах, шли громить мятежников! Сейчас, оборванные, изголодавшиеся, изнуренные, забрызганные грязью, на загнанных лошадях, с печатью позора на лицах, не на рыцарей похожие, а на нищих, они могли б возбудить лишь сострадание, будь оно возможно в стенах города, на который вот-вот должен был обрушиться враг всей своею мощью. И каждый из посрамленных этих рыцарей единственно тем себя утешал, что не одинок в своем позоре, что бесчестье с ним разделяют многие тысячи... Поначалу все они попрятались кто куда, а затем, придя немного в себя, возроптали громко: посыпались жалобы, угрозы, проклятья, воины слонялись по улицам, пьянствовали в шинках, отчего лишь усугублялись тревога и беспорядок.

Каждый твердил: «Татары близко!» Одни видели за собой пожары, другие клялись и божились, что им уже пришлось отбиваться от татарских передовых отрядов. Люди, столпившиеся вокруг солдат, затаив дыхание, слушали их рассказы. Крыши и колокольни усыпаны были тысячами любопытных, колокола били *larum*, а женщины и дети переполняли костелы, где в обрамлении мерцающих свечей сверкали дарохранительницы.

Скшетуский со своим отрядом с трудом протискивался от Галицких ворот сквозь плотные скопления лошадей, солдат, повозок, сквозь ряды ремесленных цехов, выстроившихся под своими знаменами, и толпы простонародья, с удивлением глядящие на хоругвь, которая входила в город не врассыпную, а в боевом порядке. Поднялся крик, что подходит подкрепление, и сборищем овладела беспричинная радость: люди обступили Скшетуского, хватали за стремяна его лошадь. Сбежались и солдаты, крича: «Это люди Вишневецкого! Да здравствует князь Иеремия!» Толчея сделалась такая, что хоругвь едва могла продвигаться вперед.

Наконец показался отряд драгун во главе с офицером. Всадники расталкивали толпу, офицер кричал: «С дороги! С дороги!» – и бил плашмя саблею тех, кто не освобождал путь достаточно быстро.

Скшетуский узнал Кушеля.

Молодой офицер радостно приветствовал знакомых.

– Что за времена! Что за времена! – только и восклицал он.

– Где князь? – спросил Скшетуский.

– Князь чуть не извелся от тревоги, что ты долго не приезжаешь. Очень ему здесь тебя с твоими людьми не хватает. Сейчас он у бернардинцев, меня послали в городе навести порядок, но этим уже занялся Грозавер. Я поеду с тобой в костел. Там совет начался.

– В костеле?

– Да-да, в костеле. Князю хотят булаву вручить: воинство объявило, что под иным началом не станет оборонять город.

– Едем! Мне тоже надо безотлагательно увидеть князя.

Соединившись, отряды далее двинулись вместе. По дороге Скшетуский расспрашивал, что делается во Львове и решено ли готовиться к обороне.

– Сейчас как раз обсуждается этот вопрос, – сказал Кушель. – Горожане хотят защищаться. Что за времена! Люди низкого рода держатся достойнее, чем рыцари и шляхта.

– А где региментарии? С ними что? Ужель тоже в городе? Как бы не воспротивились князю!

– Дай бог, чтобы он сам не воспротивился! Упустили время отдать ему булаву, а теперь уже поздно. Региментарии на глаза показаться не смеют. Князь Доминик остановился было в палатах архиепископа, но немедля уехал, и правильно сделал: ты не представляешь, сколь озлоблены против него солдаты. Уже его и след простыл, а они все кричат: «Подать его сюда на расправу!» – легко бы он не отделался, если б вовремя не убрался. А коронный подचाщий

первым сюда явился и начал, вообрази, оговаривать князя, да только многих против себя возмутил и теперь сидит тихо. Его открыто во всем винят, а он только слезы глотает. И вообще страх что творится, ну и времена настали! Говорю тебе, благодари бога, что под Пилявцами не был, не бежал оттуда. Сам диву даюсь, как, побывавши там, мы все ума не решились.

– А что с нашей дивизией?

– Нет уже ее, никого почти не осталось! Вурцеля нет, Махницкого нет, Зацвилюховского нету. Вурцель с Махницким не дошли до Пилявиц: дьявол этот, князь Доминик, в Староконстантинове приказал их оставить, чтобы подорвать силу нашего князя. Неизвестно: то ли они ушли, то ли неприятелю в лапы попали. И старик Зацвилюховский как в воду канул. Дай бог, чтоб живым остался!

– А войска тут много собралось?

– Немало, да что толку? Один князь мог бы навести порядок, если бы булаву принять согласился, солдаты никого больше не желают слушать. Страшно князь тревожился о тебе и о твоих людях. Единственная полная хоругвь как-никак. Мы уже здесь тебя оплакивали.

– Ныне только тот и счастлив, по ком плачут.

Несколько времени они ехали молча, поглядывая на скопившиеся на улицах толпы, слушая возгласы: «Татары! Татары!» В одном месте увидели страшную картину: разорванного в клочья человека, в котором толпа заподозрила лазутчика. Колокола трезвонили, не умолкая.

– А что, орда скоро нагрянет? – спросил Заглоба.

– Черт ее знает!.. Может, и нынче. Городу этому долго не продержаться. У Хмельницкого двести тысяч казаков, а еще татары.

– Беда! – воскликнул старый шляхтич. – Надо было дальше очертя голову ехать! И зачем мы столько побед одержали?

– Над кем?

– Над Кривоносом, над Богуном, а над кем еще, одному дьяволу известно!

– Ого! – сказал Кушель и, обратясь к Скшетускому, спросил, понизив голос: – А тебя, Ян, ничем не порадовал господь? Не нашел ты, кого искал? Не узнал чего-нибудь, по крайней мере?

– Не время сейчас об этом думать! – воскликнул Скшетуский. – Что значу я со своими бедами перед лицом того, что случилось! Все суeta суeta, а впереди смерть.

– И мне видится, что скоро конец света настанет, – сказал Кушель.

Так доехали до костела бернардинцев, ярко освещенного внутри. Несметные толпы собрались возле него, но войти не могли, так как цепь алебардчиков загромождала вход, пропуская только вельмож и военачальников.

Скшетуский велел своим людям тоже выстроиться перед костелом.

– Войдем, – сказал Кушель. – Здесь половина Речи Посполитой.

Вошли. Кушель не много преувеличил. На совет собралась вся городская знать и верхушка войска. Кого там только не было: воеводы, каштеляны, полковники, ротмистры, офицеры иноземных полков, духовенство, шляхты столько, сколько могло в костеле втесниться, множество низших военных чинов и человек пятнадцать советников из городского магистрата во главе с Грозваером, которому предстояло принять командование отрядами горожан. Присутствовал там и князь, и коронный подचाший – один из региментариев, и киевский воевода, и староста стобницкий, и Вессель, и Арцишевский, и литовский обозный Осинский – эти сидели перед главным алтарем так, чтобы publicum¹⁵ могло их видеть. Совет проходил в горячке и спешке, как в подобных случаях бывает: ораторы вставали на скамьи и заклинали вельмож и военачальников без сопротивления не отдавать город. Хотя бы ценою жизни надобно неприятеля задержать, дать Речи Посполитой собраться с силами. Чего не хватает для обороны? Стены есть, войско есть, и решимость есть – только вождь нужен. А пока произносились речи, в публике поднялся шумок, переросший в громкие возгласы. Собравшиеся все больше одушевлялись. «Погибнем! И с охотою! – раздавались крики. – Кровью смоём пилявицкий позор, грудью заслоним отчизну!» И зазвенели сабли, и обнаженные клинки заблестали в пламени свечей. Иные призывали: «Тише! К порядку!» «Обороняться или не

¹⁵ общество (лат.).

обороняться?» – «Обороняться! Обороняться!» – кричало собрание, и эхо, отражаясь от сводов, повторяло: «Обороняться!» «Кому быть предводителем?» – «Князю Иеремии – он истый вождь! Он герой! Пусть защищает город и Речь Посполитую – отдать ему булаву! Да здравствует князь Вишневецкий!»

Тут из тысячи грудей вырвался вопль столь громогласный, что задрожали стены и задребезжали стекла в окнах костела:

– Да здравствует князь Иеремия! С князем Иеремией к победе!

Блеснули тысячи сабель, все взоры устремились на князя, а он поднялся, и чело его было хмуро и спокойно. И – словно тихий ангел пролетел – мгновенно воцарилось молчанье.

– Милостивые господа! – сказал князь звучным голосом, который в тишине был услышан каждым. – Когда кимвры и тевтоны напали на Римскую республику, никто не хотел принять консульской власти, пока этого не сделал Марий. Но Марий обладал таким правом, ибо не было вождей, назначенных сенатом... И я бы в черную эту годину от власти не уклонился, желая жизнь отдать служению любимой отчизне, но булавы принять не хочу, чтоб не нанести оскорбления отечеству, верховным военачальникам и сенату, и самозванным вождем быть не желаю. Есть среди нас тот, которому Речь Посполитая вверила булаву, – пан коронный подचाший...

Продолжать далее князь не смог: едва он упомянул подчашего, поднялся страшный крик, забряцали сабли, толпа забурилась и взорвалась, как порох, когда на него попадает искра.

– Долой! Погибель ему! Pereat!¹⁶ – раздавалось со всех сторон.

– Pereat! Pereat! – гремело под сводами.

Подчаший – бледный, с каплями холодного пота на лбу – вскочил со своего места, а грозного вида фигуры уже приближались к почетным седалищам, к алтарю, уже слышалось зловещее:

– Сюда его давайте!

Князь, видя, к чему клонится дело, встал и простер десницу.

Толпа сдержала свой пыл и, полагая, что он хочет говорить, мгновенно стихла.

Но князь хотел только рассеять бурю и страсти утишить, чтобы не допустить пролития крови в храме, когда же увидел, что опасный момент миновал, снова опустился на свое место.

Двумя стульями далее, рядом с киевским воеводой, сидел несчастный подчаший: седая голова его поникла на грудь, руки бессильно упали, а с губ, прерываемые рыданиями, сорвались слова:

– Господи! За грехи мои принимаю крест со смиреньем!

Старец мог возбудить жалость в самом очерствелом сердце, но толпа обычно жалости не знает: вновь там и сям поднялся шум, и тут вдруг встал воевода киевский, дав рукою знак, что просит слова.

Воевода известен был как соратник Иеремии, разделивший с ним не одну победу, поэтому слушали его со вниманьем.

А он обратился к князю, заклиная его в трогательных словах не отказываться от булавы и без колебаний стать на защиту отчизны. Когда отечество в опасности, да закроет закон недремлющее свое око, да спасет его от гибели не поименованный вождь, а тот, кто поистине сделать сие способен.

– Прими ж булаву, непобедимый вождь! Прими и спаси – и не только град этот, а всю нашу отчизну. Ее устами я, старец, тебя молю, а со мной все сословия, все мужи, женщины и дети. Спаси! Спаси!

Тут произошел случай, тронувший все сердца: к алтарю приблизилась женщина в траурных одеждах и, бросив к ногам князя золотые украшения и еще какие-то драгоценности, упала перед ним на колени и воскликнула, громко рыдая:

– Прими, князь, достояние наше! Жизнь тебе вверяем, спаси! Отврати погибель.

Глядя на нее, сенаторы, воины, а за ними и все в толпе разрыдались, и словно из одной груди вырвавшийся вопль сотряс стены костела:

¹⁶ Да погибнет! (лат.).

– Спаси!

Князь закрыл лицо руками, а когда отнял ладони, в глазах его блеснули слезы. И все же Иеремия колебался: если он примет булаву, не умалит ли это достоинства Речи Посполитой?!

Тут встал коронный подचाший.

– Я стар, – сказал он, – и раздавлен стыдом и горем. Я имею право от непосильного бремени отказаться и возложить его на более надежные плечи. Посему перед этим распятым, перед лицом всего рыцарства тебе отдаю булаву

– бери ее без колебаний.

И протянул Вишневецкому этот символ власти. На минуту тишина сделалась такая, что слышно было, как пролетит муха. Наконец раздался голос Иеремии. Он произнес торжественно:

– За грехи мои – принимаю.

Иступление охватило собравшихся. Толпа, ломая скамьи, бросилась к Вишневецкому, дабы припасть к его коленам, кинуть под ноги драгоценности и деньги. Весть молнией облетела весь город. Воинство, ошалев от радости, кричало, что желает идти на Хмельницкого, на татар и султана. Горожане уже не о сдаче думали, а о защите до последнего вздоха. Армяне добровольно понесли деньги в ратушу, когда до пожертвований еще и дело не дошло, евреи в синагоге шумно благодарили своего бога, пушки с валов пальбой возвестили радостную новость, на улицах стреляли из пищалей, самопалов и пистолетов. Приветственные крики не смолкали до утра. Случайному человеку могло показаться, что город отмечает торжество или великий праздник.

А меж тем трехсоттысячное вражье войско – более многочисленное, чем армии, которые могли выставить немецкий император или французский король, и более дикое, чем полчища Тамерлана, с часу на час должно было подступить к городским стенам.

Глава X

Спустя неделю, утром 6 октября, по Львову разнеслась весть столь же ошеломительная, сколь и пугающая: князь Иеремия, забрав большую часть войска, тайно покинул город и ушел в неизвестном направлении.

Перед палатами архиепископа собрались толпы. Поначалу никто не хотел верить своим ушам. Солдаты утверждали, что если князь и уехал с большим отрядом, то лишь для того, чтобы оглядеть окрестности. Оказалось, говорили, что перебежчики распустили ложные слухи, будто к городу подходит Хмельницкий и татарское войско: ведь с 26 сентября прошло уже десять дней, а неприятель даже не показался. Князь, видно, захотел воочию убедиться, близка ли опасность, и, проверив слух, обязательно вернется. Впрочем, несколько полков он оставил и к обороне все готово.

Так оно и было на самом деле. Необходимые распоряжения отданы, каждому определено его место, пушки втащены на валы. Вечером прибыл с пятьюдесятью драгунами ротмистр Чихоцкий. Его тотчас обступили любопытные, но он с толпой говорить не стал и отправился прямо к генералу Арцишевскому; они вызвали Грозваера и, посоветовавшись, направились в ратушу. Там Чихоцкий объявил перепуганным советникам, что князь не вернется.

У советников в первую минуту опустили руки, а чьи-то уста осмелились даже произнести слово «изменник». Но тогда поднялся Арцишевский, старый военачальник, прославившийся ратными подвигами на голландской службе, и обратился к собравшимся в ратуше с такою речью:

– Ушей моих кощунственное слово коснулось, которое не дай бог никому повторить: даже отчаяние тут служить оправданьем не может. Князь уехал и не вернется – это правда! Но какое вы имеете право требовать от вождя, на чьи плечи возложена забота о спасении всей отчизны, чтобы он защищал только ваш город? Что будет, если неприятель окружит здесь последние силы Речи Посполитой? Ни съестных припасов, ни оружия для столь многочисленного войска в городе нет, и потому скажу я вам, – а моему опыту вы можете верить, – чем большие силы оказались бы заперты в городских стенах, тем меньше сумели бы мы продержаться, голод одолел бы нас прежде неприятеля. Хмельницкому не столько город ваш нужен, сколько князь

самолично; когда он узнает, что князя здесь нет, что тот собирает новое войско и в любую минуту может прийти на выручку, то скорее вам даст поблажку и согласится на переговоры. Вы ропщете, а я вам скажу, что князь, покинув город, угрожая Хмельницкому с тыла, спас вас и детей ваших. Будьте же стойки, защищайтесь, задержите врага хоть на малое время – так вы и град охраните, и великую Речи Посполитой окажете услугу, ибо князь тем часом соберет силы, другие крепости упрочит, расшевелит оцепенелое наше отечество и поспешит вам на помощь. Единственно верный путь к спасению им избран: погибни он здесь от голода вместе с войском, никто иной неприятеля не сдержит, и тот двинется на Краков, на Варшаву и всю Речь Посполитую заполонит, нигде не встречая отпора. Потому-то, чем роптать, спешите быстрее на валы защищать себя, своих детей, город свой и отчизну.

– На валы! На валы! – подхватили кто похрабрее.

Поднялся Грозаер, человек смелый и энергичный:

– Отраднa мне решительность ваша. Знайте же: князь, уехав, оставил нам план обороны. Всяк теперь знает, что делать. Случилось то, что должно было случиться. Оборона в моих руках, и я обещаю стоять до смерти.

Надежда вновь вселилась в дрогнувшие сердца, и Чихоцкий, почувствовав это, в заключение добавил:

– Светлейший князь просил передать вам, что неприятель близко. Поручик Скшетуский зацепил флангом и разбил двухтысячный чамбул. По словам пленных, за ними великая идет сила.

Известие это произвело большое впечатление. На короткое время воцарилось молчание, сердца забились сильнее.

– На валы! – сказал Грозаер.

– На валы! На валы! – повторили офицеры и горожане.

Вдруг за окнами поднялся шум; тысячеголосый крик сменился невнятным гулом, подобным гулу океанских волн. Внезапно с грохотом распахнулись двери и в залу вбежали несколько горожан. Не успели собравшиеся спросить, что случилось, раздались возгласы:

– Зарево! Зарево!

– И слово стало делом! – молвил Грозаер. – На валы!

Зала опустела. Минуту спустя гром пушек сотряс городские стены, возвещая жителям города, предместьям и окрестным селениям, что подходит неприятель.

На востоке небо краснелось, куда ни погляди. Казалось, море огня подступает к стенам града.

* * *

Князь меж тем поспешил в Замостье и, разбив по дороге татарский чамбул, о чем сообщил горожанам Чихоцкий, занялся подготовкою к обороне этой крепости, и без того почти неодолимой, и за короткий срок превратил ее в неприступную твердыню. Скшетуский с паном Лонгинусом и частью хоругви остались в крепости под началом Вейгера, старосты валецкого, а князь поехал в Варшаву просить у сейма средств для набора нового войска; заодно он хотел принять участие в предстоящих выборах: на выборах должна была решиться судьба Вишневецкого и всей Речи Посполитой – если б престол достался королевичу Карлу, то есть верх одержала военная партия, князь был бы назначен верховным главнокомандующим всех войск Речи Посполитой и решающая схватка с Хмельницким не на жизнь, а на смерть была б неизбежна. Королевич Казимир, хоть и славился мужеством и в ратном деле был весьма искушен, справедливо считался сторонником политики канцлера Оссолинского, то есть политики переговоров и уступок. Оба брата не скупились на обещания, и каждый, как мог, старался привлечь симпатии на свою сторону, а силы обеих партий были равны, и потому исход выборов предугадать было невозможно. Приверженцы канцлера опасались, как бы Вишневецкий благодаря растущей славе и популярности среди рыцарства и шляхты не перетянул большинства на сторону Карла, а князь по тем же причинам стремился лично поддержать своего кандидата. Потому он и поспешил в Варшаву, убедившись, что Замостье сможет долго противостоять натиску соединенных сил Хмельницкого и крымского хана. Львов,

по всей вероятности, можно было считать спасенным: Хмельницкому никакого не было резону тратить время на осаду города, когда впереди его ждало Замостье – истинная твердыня, преграждавшая путь к сердцу Речи Посполитой. Подобные размышления укрепляли решимость князя и наполняли бодростью его душу, изболевшуюся за судьбу отечества, испытавшего столько ужасных бедствий. Теперь он был твердо уверен, что, даже будь Казимир избран королем, война неизбежна и страшный мятеж должен быть потоплен в крови. Князь рассчитывал, что Речь Посполитая еще раз выставит сильное войско, – вступать в переговоры имело смысл лишь при поддержке могучей военной силы.

Погрузясь в свои мысли, ехал князь под прикрытием нескольких хоругвей. При нем были и Заглоба с Володы,вским; первый клялся всеми святыми, что добьется избрания Карла, ибо шляхетскую братию насквозь знает и все, что надобно, из нее выжмет, второй же командовал княжым эскортом. В Сеннице, неподалеку от Минска, князя ждала приятная, хоть и нечаянная встреча: он съехался с княгиней Гризельдой, которая для вящей безопасности из Брест-Литовска спешила в Варшаву, справедливо полагая, что и князь туда же прибудет. Радостной была встреча после долгой разлуки. Княгиня, хотя обладала железной твердостью духа, с рыданием кинулась в объятия супруга и не могла успокоиться несколько часов кряду. Ах! Как же часты бывали минуты, когда она теряла надежду его увидеть, – и вот, благодарение господу, он вернулся, величайший из полководцев, единственная надежда Речи Посполитой, и слава его громка, как никогда прежде, и почета такого не знал еще никто в роду Вишневецких. Княгиня, поминутно отрываясь от груди мужа, взглядывала сквозь слезы то на исхудалое, почерневшее его лицо, то на высокое чело, которое труды и заботы избороздили глубокими морщинами, то на покрасневшие от бессонницы очи и вновь заливалась слезами, и все придворные девицы вторили ей, растроганные до глубины сердца. Наконец, несколько успокоившись, княжеская чета проследовала в просторный дом местного ксендза, и начались расспросы о друзьях, придворных и рыцарях, которые любимы были, точно члены семьи, и неотделимы от воспоминаний о Лубнах. Первым делом князь поспешил успокоить княгиню, озабоченную судьбой Скшетуского, объяснив, что тот, терзаемый страданиями, ниспосланными ему всевышним, потому лишь остался в Замостье, что не пожелал погружаться в столичную суету, предпочитая врачевать душевные раны трудом и тяжелой военной службой. Потом князь представил супруге Заглобу и о подвигах его поведал.

– Вот поистине *vir incomparabilis*¹⁷, – сказал он. – Мало что княжну Курцевич из Богуновых лап вырвал, но и провел сквозь самую гущу казацкого и татарского войска, а потом вместе с нами под Староконстантиновом геройски сражался и великую стяжал славу.

Княгиня, слушая рассказ мужа, щедро осыпала Заглобу похвалами, несколько раз протягивала ему руку для поцелуя, со временем еще большую обещая награду, а *vir incomparabilis* кланялся со скромностью истинного героя, а то вдруг начинал хорохориться и на девиц коситься: хоть он и стар уже был, и многого для себя не ждал от прекрасного пола, однако испытывал удовольствие от того, что дамы наслушаются столько лестного о его подвигах и отваге. Впрочем, радостная встреча супругов была омрачена печалью: не говоря уж о том, сколь тяжелые времена переживала отчизна, не единожды на вопросы княгини о знакомых князь отвечал: «Убит... убит... пропал без вести», – и барышни не могли удержаться от слез, ибо не раз в числе убитых называлось милое сердцу имя.

Так слезы мешались с улыбками, радость с печалью. Но более всех удручен был маленький Володы,вский. Тщетно он озирался по сторонам, напрасно проглядел все глаза – княжны Барбары нигде не было видно. Правда, в многотрудной военной жизни, в неустанных сражениях, стычках и походах кавалер сей редко когда вспоминал княжну: такова уж была его натура – столь же влюбчивая, сколь и непостоянная; однако теперь, когда пан Михал вновь увидел всех придворных девиц княгини, когда лубенская жизнь будто въяве предстала перед очами, ему подумалось, что как сладко было бы, раз уж выпала минута покоя, и повздыхать, и опять занять свое сердце. Но желанной встречи не произошло, а чувство как назло ожило с новой силой, потому Володы,вский глубоко опечалился и вид у него стал такой, будто он

¹⁷ несравненный муж (лат.).

попал под проливной дождь. Голова его поникла, усики, обыкновенно, как у майского жука, бодро торчащие вверх, опустились уныло, вздернутый нос вытянулся, лицо утратило всегдашнюю безмятежность, и он умолк, уйдя в себя, и не оживился даже, когда князь своим чередом его мужество и необычайные подвиги восхвалять стал. Что для него значили любые похвалы, когда она не могла их слышать!

Даже Ануся Борзобогатая сжалилась над ним и, хоть случались прежде у них размолвки, решила маленького рыцаря утешить. С этой целью, украдкой поглядывая на княгиню, она как бы невзначай стала к нему пододвигаться, пока не оказалась рядом.

– Здравствуй, сударь, – сказала она. – Давненько мы не видались.

– Ой, панна Анна, немало воды утекло! – меланхолично ответил Володы,,вский. – В невеселое встречаемся время – да и не все...

– Ох, не все! Сколько рыцарей пало!

Тут и Ануся вздохнула, но, немного помолчав, продолжала:

– И мы не в прежнем числе: панна Сенюта вышла замуж, а княжна Барбара осталась у супруги виленского воеводы.

– Тоже, верно, собирается замуж?

– Нет, пока не думает. А почему это тебя, сударь, интересует?

При этих словах Ануся сощурила черные свои глазки так, что только щелочки остались, и искоса из-под ресниц бросала на рыцаря взгляды.

– По причине симпатии ко всему семейству, – ответил пан Михал.

На что Ануся заметила:

– И правильно делаешь, сударь: княжна Барбара тоже верный твой друг, знай. Сколько раз спрашивала: где же рыцарь мой, который на турнире в Лубнах больше всех снес турецких голов, за что от меня получил награду? Жив ли, не забыл ли нас?

Михал с благодарностью поднял глаза на Анусю и, хоть в душе очень обрадовался, не мог не отметить, что девушка чрезвычайно похорошела.

– Ужели княжна Барбара и вправду так говорила? – спросил он.

– Слово в слово! И еще вспоминала, как ваша милость ради нее через ров прыгал, – это когда ты, сударь, в воду свалился.

– А где теперь супруга виленского воеводы?

– Она с нами в Бресте была, а неделю назад поехала в Бельск, откуда собирается в Варшаву.

Володы,,вский снова взглянул на Анусю и на этот раз не сумел удержаться.

– А панна Анна, – сказал он, – до того хороша стала, что глазам смотреть больно.

Девушка лукаво улыбнулась.

– Ваша милость нарочно так говорит, чтобы расположения моего добиться.

– Хотел в свое время, – сказал, пожимая плечами, рыцарь, – видит бог, хотел, да ничего не вышло, а теперь могу лишь пожелать пану Подбипятке, чтоб ему больше посчастливилось.

– А где сейчас пан Подбипятка? – тихо спросила Ануся, потупив глазки.

– Со Скшетуским в Замостье; он произведен в наместники и обязан состоять при своей хоругви, но если б знал, кого здесь повстречает, богом клянусь, взял бы отпуск и стремглав полетел за нами. Предан он тебе всемерно и самых добрых чувств достоин.

– А на войне с ним... ничего не приключилось худого?

– Кажется мне, не о том милая барышня спросить хочет, а про те три головы узнать, что он снести собирался?

– Не верю я, что намеренье его серьезно.

– И напрасно, любезная панна, без этого ничего не будет. А случая кавалер сей весьма усердно ищет. Мы специально ездили глядеть под Махновкой, как он в самой гуще сражения бьется; даже князь с нами поехал. Поверь, я повидал много сражений, но такой бойни, верно, до конца своих дней не увижу. А когда опояшется твоим шарфом, страх что вытворяет! Найдет он свои три головы, будь спокойна.

– Дай бог каждому найти то, что ищет! – со вздохом сказала Ануся.

Вздохнул и Володы,,вский, возведя очи к небу, но тот же час с удивлением перевел взор в противоположный угол комнаты.

Из угла глядело на него грозное и сердитое лицо какого-то незнакомца, украшенное огромным носом и усищами, двум метелкам подобным, каковые быстро шевелились, словно от сдерживаемого гнева.

Нетрудно было испугаться и носа этого, и глаз, и усов, но маленький Володы,вский не робкого был десятка, посему, как было сказано, лишь удивился и спросил, оборотившись к Анусе:

– А это что за личность вон там, в углу напротив? Глядит на меня, точно с потрохами проглотить хочет, и усищами шевелит, как старый кот перед куском сала...

– Этот? – спросила Ануся, показав белые зубки. – Да это пан Харламپ.

– Что еще за язычник?

– Никакой он не язычник, а литвин, ротмистр из хоругви виленского воеводы. Ему до самой Варшавы приказано нас сопровождать и там дожидаться воеводу. Не советую, сударь, ему заступать дорогу – людоед это страшный.

– Вижу, вижу. Но коль людоед, почему на меня зубы точит? – здесь и пожирней найдутся.

– Потому что... – сказала Ануся и рассмеялась тихонько.

– Что – потому что?

– Потому что в меня влюблен и сам мне сказал, что всякого, кто ко мне приблизится, в куски изрубит. И сейчас, поверь, лишь присутствие князя с княгиней его сдерживает, а не то бы немедля к тебе прицепился.

– Вот те на! – весело воскликнул Володы,вский. – Значит, так оно, панна Анна? Ой, недаром, видать, мы пели: «Ты жесточе, чем орда, corda полонишь всегда!» Помнишь? Ох, любезная барышня, шагу ступить не можешь, чтоб кому-нибудь не вскружить головы!

– На свою беду! – ответила, потупясь, Ануся.

– Ах, лицемерка! А что на это скажет пан Лонгинус?

– Разве я виновата, что пан Харламп этот меня преследует? Я его не терплю и смотреть на него не желаю.

– Ну, ну! Гляди, сударыня, как бы из-за тебя не пролилась кровь. Подбиятка кроток, словно агнец, но, когда дело чувств коснется, лучше от него держаться подальше.

– Пусть хоть уши ему отрубят, я только рада буду.

Сказавши так, Ануся покружилась, как юла, на месте и упорхнула в другой конец комнаты к некоему Карбони, лекарю княгини, которому принялась живо что-то нашептывать, итальянец же вперил глаза в потолок, словно в экстазе.

К Володы,вскому тем временем подошел Заглоба и ну подмигивать здоровым своим оком.

– Что за пташка, пан Михал? – спросил он.

– Панна Анна Борзобогатая-Красенская, старшая фрейлина княгини.

– Хороша, чертовка, глазки точно вишенки, ротик как нарисованный, а шейка – уф!

– Ничего, ничего!

– Поздравляю, ваша милость!

– Оставь, сударь. Это невеста Подбиятки... как бы невеста.

– Подбиятки? Побойся бога! Он ведь обет целомудрия дал. Да и при той пропорции, что между ними, ему только в кармане ее носить! Иль на усах она у него примоститься может, как муха. Скажешь тоже...

– погоди, он еще у нее по струнке ходить будет. Геркулес посильней был, и то белы ручки охомутили.

– Лишь бы рогов ему не наставила. Впрочем, тут я первый приложу старанья, не будь я Заглоба!

– Не тревожься, таких еще немало найдется. Однако шутки шутками, а она девица благонравная и из хорошего дома. Ветреница, конечно, но что ж... Молодо-зелено, да и весьма прелестна.

– Благородная ты душа, оттого и хвалишь... Но и вправду – чудо как мила пташка!

– Красота притягивает людей. Вон тот ротмистр, *exemplum*¹⁸, без памяти влюблен как будто.

– Ба! Погляди лучше на того ворона, с коим она беседует, – это еще что за дьявол?

– Итальянец Карбони, княгинин лекарь.

– Ишь, как сияет – что твоя медная сковородка, а глазищи точно в *delirium*¹⁹ закатывает. Эх, плохи дела пана Лонгина! Я в этом кое-что смыслю, хорошую смолоду прошел науку. При случае обязательно вашей милости расскажу, в какие попадал переплеты, а есть охота, хоть сейчас послушай.

И Заглоба, подмигивая пуще обычного, зашептал что-то маленькому рыцарю на ухо, но тут подоспело время отъезжать. Князь сел с княгиней в карету, чтобы после долгой разлуки в пути вволю наговориться. Барышни разместились по экипажам, а рыцари повскакали на коней – и кавалькада тронулась. Впереди ехал двор, а солдаты следом, в некотором отдаленье, потому что места вокруг были спокойные и военный эскорт не столько для защиты, сколько для вящего блеску был нужен. Из Сенницы направились в Минск, а оттуда в Варшаву, в дороге, по обычаю того времени, частенько устраивая привалы. Тракт был настолько забит, что едва вперед продвигались. Всяк устремился на выборы: и из ближних мест, и из Литвы далекой. Шляхтичи ехали целыми дворами; одна за одной тянулись вереницы золоченых карет, окруженных гайдуками и выездными лакеями огромного роста, одетыми по-турецки, за которыми следовал личный конвой: венгерские, немецкие или янычарские роты, казачьи отряды, а то и латники из отборной польской конницы. Вельможи старались перещеголять друг друга пышностью нарядов и обилием свиты. Бессчетные магнатские кавалькады чередовались с поветовой и земской знатью, имеющей вид более скромный. То и дело из облака пыли выныривали обитые черной кожей рыдваны, запряженные парой или четверкою лошадей; в каждом восседал знатный шляхтич с распятием либо образком пресвятой девы, на шелковой ленте висящим на шее. Все вооружены до зубов: с одного боку мушкет, с другого сабля, а у тех, кто имел отношение к войску – ныне или в прошлом, – позади еще на два аршина торчали пики. К рыдванам привязаны были собаки: легавые или борзые, прихваченные не по нужде – не на охоту как-никак съезжались, – а единственно для господского развлечения. Следом конюхи вели заводных лошадей, покрытых попонами для защиты богатых седел от дождя и пыли, дальше тянулись со скрипом повозки на колесах, скрепленных лозиной, нагруженные шатрами и съестными припасами для господ и прислуги. Когда ветер порою сдувал пыль с дороги на поле, весь тракт, открываясь, сверкал и переливался не то как многоцветная змея, не то как лента редкостного златотканого шелка. Кое-где на тракте гремела музыка: в толпе шли итальянские и янычарские оркестры, чаще всего перед хоругвями коронного и литовского войска, которых на дороге тоже было немало – они входили в свиту сановников. Великий стоял шум, крик, гомон, со всех сторон неслись оклики, а порой вспыхивали перебранки, когда один другому поперек пути становился.

К княжьему кортежу то и дело подлетали конные солдаты и слуги, спрашивая, кто едет, либо требуя уступить дорогу тому или иному вельможе. Но, заслыша в ответ: «Воевода русский!» – спешили сообщить об этом своим хозяевам, и те тотчас освобождали путь, а кто был впереди, на обочину съезжали, провожая глазами княжеский поезд. На привалах вокруг толпились солдаты и шляхта, с любопытством глядя на величайшего воителя Речи Посполитой. Немало сыпалось и приветственных возгласов, на которые князь отвечал любезно, так как, во-первых, по натуре своей был к людям весьма расположен, а во-вторых, любезностью рассчитывал привлечь побольше сторонников для королевича Карла, в чем и преуспевал благодаря одному своему виду.

С не меньшим любопытством глазела толпа на княжьи хоругви, на «русинов», как их называли. Воины не были уже так оборваны и истощены, как после константиновской битвы: по распоряжению князя в Замостье всем была выдана новая форменная одежда, и тем не менее

¹⁸ например (лат.).

¹⁹ безумии (лат.).

на них смотрели как на заморское диво, ибо в представлении жителей ближайших к столице окрестностей русины явились с другого конца света. Каких только чудес не рассказывали о таинственных степях и дремучих лесах, где такие богатыри рождаются, не уставая восхищаться их загорелыми лицами, выдубленными ветрами с Черного моря, твердостью взгляда и суровостью облика, заимствованной у диких соседей.

После князя более всего взоров обращалось к Заглобе, который, заметив, каким окружен восхищением, поглядывал вокруг так надменно и гордо, так страшно вращал глазами, что в толпе немедленно зашептались: «Вон, верно, из них самый доблестный рыцарь!» Иные говорили: «Вон, из-за кого, видно, бесчисленно душ с телами рассталось. Вот змий свирепый!» Когда подобные слова достигали ушей Заглобы, он старался принять вид еще более грозный, дабы не показать, сколь в душе доволен.

Иногда он что-нибудь говорил в ответ, иногда отпускал острое словцо, особенно на счет воинов из литовских наемных хоругвей, где товарищам в тяжелой кавалерии полагалось носить на плече золотую нашивку, а в легкой – серебряную. «Не все то золото, что блестит!» – кричал кое-кому из них Заглоба, и не один рыцарь, засопев, хватался за саблю, скрипя зубами, однако, смекнув, что насмешник служит у русского воеводы, в конце концов, плюнув, отказывался от намерения затеять драку.

Вблизи Варшавы толпа сделалась такою плотной, что всадники и экипажи уже едва ползли по дороге. Съезд обещал быть многолюдней обычного, поскольку даже шляхта с отдаленных – русских и литовских – окраин, которая ради самих выборов не стала бы в эдакую даль тащиться, устремилась в Варшаву собственной безопасности ради. Решающий день был еще не близок – только-только начались первые собрания сейма, – однако каждому хотелось попасть в столицу за месяц, а то и за два до срока, чтобы получше устроиться, кому-то о себе напомнить, у кого-то поискать покровительства, съесть и выпить свое у знати, наконец, после сельских трудов насладиться столичной жизнью.

Князь с грустью смотрел из окна кареты на толпы рыцарей, шляхтичей и солдат, на богатство и пышность уборов, размышляя о том, какие пропадают силы, сколько можно бы выставить войска! Почему же Речь Посполитая, могучая, богатая и многолюдная, имеющая славных воинов в изобилии, при всем том слаба настолько, что не может справиться с одним Хмельницким да татарвой дикой? Почему? Силе Хмельницкого проще простого было бы не меньшую силу противопоставить, если б все это воинство, вся эта шляхта с ее челядью и богатством, бесчисленные эти полки и хоругви общему делу пожелали служить столь же ревностно, сколь приватным своим интересам. «Иссякают доблести в Речи Посполитой, – думал князь, – порча могучее тело точит! Тает бывшая отвага – сладкую праздность, а не ратные труды возлюбил воитель и шляхтич!» Князь отчасти был прав, хотя о слабостях Речи Посполитой судил только как вождь и воин, которому всех бы хотелось повести на врага, обучив военному делу. Доблесть не иссякла, что и доказано было, когда вскоре стократ более страшные войны стали грозить Речи Посполитой. Отечеству требовалось нечто большее, а что – князь-воин не представлял себе в ту минуту, зато хорошо понимал его недруг, коронный канцлер, более искушенный, нежели Иеремия, политик.

Но вот в сизо-голубой дали замаячили островерхие башни Варшавы, и рассеялись думы князя. Он сделал надлежащие распоряжения, которые дежурный офицер тотчас передал Володы, вскому, начальнику эскорта. Выполняя приказ, маленький рыцарь повернул прочь от Анусиной кареты, подле которой гарцевал всю дорогу, и поскакал к значительно поотставшим хоругвям, чтобы выровнять строй и к городу подойти в строгом порядке. Однако не проехал он и двух десятков шагов, как услышал, что кто-то спешно его догоняет. Володы, вский оглянулся: то был пан Харлам, ротмистр легкой кавалерии виленского воеводы и воздыхатель Анусин.

Пан Михал придержал коня, сразу смекнув, что не миновать стычки, а истории подобного свойства он любил всей душою. Харлам же, поравнявшись с ним, долго не открывал рта, а лишь сопел и усами шевелил грозно, видно, не зная, с чего начать. Наконец он промолвил:

– Мое почтение, пан драгун!

– Привет тебе, пан вестовой!

– Как ты, сударь, вестовым смеешь меня называть, меня, товарища и ротмистра? – возопил Харлам, скрежеща зубами.

Володы,вский принялся подбрасывать в воздух чекан, который держал в руке, все внимание, казалось, сосредоточа на том, чтобы после каждого оборота снова поймать его за рукоятку, и ответил словно бы с неохотой:

– А я по нашивкам службу не различаю.

– Ваша милость оскорбляет все товарищество, к коему сам принадлежать не достоин.

– Это еще почему? – с глуповатым видом спросил Володы,вский.

– Потому что в иноземном полку служишь.

– Успокойся, сударь, – сказал маленький рыцарь, – хоть я и служу в драгунах, но к товариществу принадлежу, причем не в легкой состою кавалерии, а в тяжелой самого русского воеводы, посему изволь говорить со мной как с равным, а то и как со старшим²⁰.

Харламپ поостыл малость, поняв, что ему, вопреки его предположениям, попался твердый орешек, но зубами скрипеть не перестал, ибо хладнокровие пана Михала только еще пуще его озлило, и наконец сказал:

– Как ваша милость смеет мне поперек становиться?

– Эге, сударь, ты, я гляжу, ссоры ищешь?

– Может, и ищу. Послушай, – наклонясь к пану Михалу, произнес Харламп, понизив голос, – я тебе уши отрублю, если не прекратишь подъезжать к панне Анне.

Володы,вский снова занялся своим чеканом, словно для такой забавы наилучшее было время, и проговорил просительным тоном:

– Ох, не губи, благодетель, дозвожь еще пожить на свете!

– О нет, не надейся! От меня не уйдешь! – воскликнул Харламп, хватая маленького рыцаря за рукав.

– У меня и в мыслях не было такого, – спокойно отвечал пан Михал, – только сейчас я нахожусь на службе и приказ князя, начальника моего, отвезти должен. Отпусти рукав, сударь, отпусти, добром прошу, а то что же мне, бедному, остается – чеканом тебя по башке съездить да с коня свалить, что ли?..

При этих словах в кротчайшем дотоле голосе Володы,вского слышалось такое зловещее шипенье, что Харламп с невольным удивлением взглянул на маленького рыцаря и отпустил рукав.

– А! Все едино! – сказал он. – Ответишь в Варшаве. Уж я тебя отыщу!

– А я и не стану прятаться, только в Варшаве-то как же драться? Просвети меня, сделай милость! Я простой солдат, в жизни еще не бывал в столице, но о маршальских судах слышан: говорят, кто посмеет у короля или *interrex*'а под боком обнажить саблю, того живота лишают.

– Эх ты, простофиля, сразу видно, не бывал в Варшаве, коли маршальских судов боишься. Тебе и невдомек, что на время бескорольевья назначается суд конфедератов, а с ним иметь дело куда проще. И уж за уши твои с меня головы не снимут, будь покоен.

– Благодарю за науку и позволю себе еще не раз за советом к вашей милости обратиться, ибо, вижу, передо мною ученый муж, премного в житейских делах искушенный, я же всего лишь начальную школу окончил и едва могу согласовать *adjectivum cum substantivo*²¹, а если б, не приведи господь, вздумал тебя, сударь, глупцом назвать, то одно лишь знаю: «*stultus*»²² бы сказал, а не «*stulta*» или «*stultum*»²³.

И Володы,вский снова стал чеканом забавляться, а Харламп прямо-таки остолбенел от

²⁰ Товарищ тяжелой кавалерии не подчинялся даже генералу войск иноземного строя; напротив: часто генерал бывал поставлен в подчинение к товарищу; во избежание этого генералы и офицеры иноземных полков старались одновременно быть товарищами польских войск. Таким товарищем был и Володы,вский. (Примеч. автора.)

²¹ прилагательное с существительным (лат.).

²² "глупый" (лат.).

²³ "глупая», «глупое» (лат.).

изумления; потом кровь бросилась ему в лицо, и он выхватил из ножен саблю, но в ту же секунду и маленький рыцарь, поймав чекан за рукоятку, сверкнул своею. Несколько времени они смотрели друг на друга, как два вепря-одинца, раздувая ноздри, сверкая очами, но Харламپ взял себя в руки первый, смекнув, что ему с самим воеводой придется иметь дело, напади он на офицера, следующего с княжеским приказом, и первым спрятал обратно саблю, сказавши только:

– Ничего, я тебя найду, сукин сын!

– Найдешь, найдешь, литва-ботва! – ответил маленький рыцарь.

И они разъехались: один вперед, другой назад, навстречу хоругви, которая за это время успела подойти совсем близко: в облаке пыли уже слышался топот копыт по плотно убитой дороге. Володы,вский быстро выровнял ряды конников и пехотинцев и поехал впереди. Вскоре его трусой нагнал Заглоба.

– Чего от тебя это чудище морское хотело? – спросил он.

– Пан Харламп? А ничего. На поединок вызвал.

– Ну и ну! – воскликнул Заглоба. – Да он своим носищем тебя насквозь пропорет. Гляди, пан Михал, не отхвати, как будете драться, величайший нос Речи Посполитой, а то особый курган насыпать придется. Везет же виленскому воеводе! Другим нужно разъезды высылать во вражеский тыл, а ему рыцарь сей неприятеля за три версты учует. А за что хоть он тебя вызвал?

– За то, что я рядом с экипажем панны Анны Борзобогатой ехал.

– Ба! Надо было б его направить к пану Лонгину в Замостье. Вот бы кто ему показал, где раки зимуют. Не повезло бедолаге, знать, счастье его покороче носа.

– Я ему про пана Подбиятку ничего не сказал, – промолвил Володы,вский, – из опасения: вдруг бы он со мной передумал драться? А за Анусей теперь назло с двойным пылом увиваться стану: все-таки развлечение. Чем еще занять себя в этой Варшаве?

– Найдем чем, уж будь спокоен! – подмигнув, заверил пана Михала Заглоба. – Я в молодые годы подати собирать от своей хоругви был послан. Куда меня только не заносило, но такого житья, как в Варшаве, нигде не видел.

– Неужто у нас в Заднепровье хуже?

– Э, никакого сравненья.

– Весьма любопытно, – сказал пан Михал. И, помолчав, добавил: – А пугалу этому огородному я все ж таки подкорочу усы, больно они у него длинны!

Глава XI

Прошло несколько недель. Шляхты на выборы съезжалось все больше. Население города увеличилось десятикратно, ибо вместе с сонмищем шляхтичей в столицу хлынули тысячи барышников и купцов со всего света, от далекой Персии начиная и кончая Англией заморской. На Воле соорудили временную постройку для сената, а вокруг, по всему пространному лугу, белелись тысячи шатров. Никто пока не мог сказать, который из двух кандидатов: королевич Казимир, кардинал, или Карл Фердинанд, епископ плоцкий, будет избран. Обе стороны соперничали, не щадя стараний и рвенья. В свет пущено было великое множество листов, в коих перечислялись достоинства и недостатки претендентов; у обоих имелись многочисленные и могущественные сторонники. Карла, как известно, поддерживал князь Иеремия. Противному лагерю князь виделся особенно опасным: весьма вероятно было, что за ним потянется обожающая его шляхта, от которой в конечном счете исход выборов и зависел. Но и Казимир немалую имел силу. На его стороне была вся верхушка, канцлер употреблял свое влияние в его пользу, на его сторону, похоже было, склонялся примас, наконец, за него стояла большая часть магнатов с их приспешниками без числа и счету; среди магнатов был князь Доминик Заславский-Острогский, воевода сандомирский, хоть и покрывший себя позором после Пилявиц и даже к суду привлеченный, но как-никак крупнейший во всей Речи Посполитой, да и не только – в целой Европе, – землевладелец, который мог в любую минуту изрядную толику несметных своих богатств кинуть на чашу весов своего кандидата.

Но и сторонникам Казимира порой выпадали тягостные минуты сомнений, поскольку, как сказано было, все зависело от шляхты, которая с четвертого уже октября наводняла

окрестности Варшавы и еще тянулась тысячными толпами с разных концов Речи Посполитой, – а шляхтичи в огромном своем большинстве, зачарованные именем Вишневецкого и щедростью королевича Карла, не жалевшего средств на публичные цели, его сторону держали. Королевич, будучи богат и расчетлив, без колебаний предназначил кругленькую сумму на формирование новых полков, во главе которых должен был быть поставлен Вишневецкий. Казимир охотно последовал бы примеру брата, и мешала ему никак не алчность, а напротив – чрезмерная широта натуры, прямым результатом чего было вечное отсутствие в скромной казне денег. Пока же оба королевича вели оживленные переговоры. Каждодневно между Непорентом и Яблонной взад-вперед сновали посланцы. Казимир по праву старшего и во имя братской любви заклинал Карла ему уступить; епископ же согласия не давал и писал в ответ, что негоже пренебрегать счастьем, каковое, возможно, выпадет на его долю, ибо решится все *in liberis suffragiis*²⁴ Речи Посполитой и согласно воле всевышнего. А пока время шло, шестинедельный срок истекал и – с приближением выборов – над страной сгущались новые тучи: по слухам, Хмельницкий снял осаду со Львова, получив после нескольких приступов выкуп, и, окружив Замостье, денно и нощно этот последний оплот Речи Посполитой штурмует.

И еще разнеслись слухи, будто, кроме послов, отправленных Хмельницким в Варшаву с письмом, в котором он объявлял, что, как польский шляхтич, голос свой отдает Казимиру, среди скоплений шляхты и в самой столице полно переодетых казацких старшин, распознать которых невозможно, ибо понаехали они под видом шляхтичей богатых и родовитых и ничем – даже говором – от прочих выборщиков, в особенности тех, что прибыли с русских земель, не разнятся. Одни, как поговаривали, пробрались в Варшаву из чистого любопытства – поглядеть на выборы да на столицу, другие были посланы лазутчиками – послушать, что говорят о грядущей войне, много ли намерена выставить Речь Посполитая войска и какие на воинский набор выделит средства? Возможно, в слухах этих и была немалая доля правды, так как среди запорожской старшины много встречалось оказавшихся шляхтичей, которые и латыни в свое время поднахватились, – этих совсем отличить было трудно; к тому же в далеких степях латынь никогда не была в почете: взять хотя бы князей Курцевичей – они ее знали хуже, чем Богун и прочие атаманы.

Подобные толки, коим конца не было и в городе, и на выборном поле, подкрепляемые вестями об успехах Хмеля и казацко-татарских разъездах, виданных якобы чуть ли не на берегах Вислы, вселяли в сердца неуверенность и тревогу, а подчас становились причиной беспорядков. Стоило в кругу шляхты на кого-нибудь упасть подозрению, будто человек сей – переодетый запорожец, его, не давая слова сказать в оправданье, в мгновение ока в куски изрубали. Участь такая могла постичь и людей, ни в чем не повинных,

– да и вообще к элекции относились без должной серьезности, тем паче что воздержанность, по обычаям того времени, не почиталась заслугой. Суд конфедератов, назначенный *propter securitatem loci*²⁵, не управлялся с бессчетными дебоширами, из-за малейшего пустяка пускавшими в ход сабли. Но если людей степенных, жаждущих добра и покоя и озабоченных опасностью, грозившей отчизне, тревожили раздоры, резня и пьянки, то гуляки, картежники и буяны чувствовали себя в своей стихии и, возомнив, что настало их время, их черед насладиться жизнью, все безудержнее предавались всяческому порокам.

Незачем и говорить, что верховодил меж ними Заглоба, чему способствовала и громкая рыцарская его слава, и склонность – легко осуществляемая – к неумеренному потреблению напитков, и острый язык – тут ему не было равных, и огромная самоуверенность, которую ничем поколебать было невозможно. Порой, однако, случались у него приступы меланхолии – тогда он уединялся в шатре или в комнатах и не выходил наружу, а если и выходил, то мрачнее тучи и искал случая всерьез затеять драку или ссору. Однажды, будучи в таком расположении духа, он изрядно потрепал пана Дунчевского из Равы за то лишь, что, проходя мимо, зацепился за его саблю. В подобные минуты Заглоба терпел подле себя одного только Володы,вского,

²⁴ в свободном голосовании (лат.).

²⁵ ради безопасности места (лат.).

которому плакался, что тоска по Скшетускому и «бедняжке» заела его. «Бросили мы с тобой ее, пан Михал, – твердил он, – отдали, как иуды, в нечестивые руки – и нечего отговариваться этим вашим *niecie exsergo*. Что с ней теперь, скажи, пан Михал?»

Тщетно втолковывал ему пан Михал, что, если бы не Пилявцы, они б сейчас «бедняжку» искали, но пока вся рать Хмельницкого стоит между ними, об этом нельзя и думать. Шляхтич оставался безутешен и только сильнее отчаивался, кляня всех и вся последними словами.

Но приступы тоски продолжались недолго. Зато потом Заглоба, словно наверстывая упущенное, еще безудержнее предавался гульбе, проводя время в шинках в компании самых завязтых пьянчуг либо столичных потаскушек, в чем ему верно сопутствовал пан Михал.

Володы,вский, отменный воин и офицер, ни на грош, однако, не имел той серьезности, какую в Скшетуском, например, воспитали страдания и беды. Долг свой перед Речью Посполитой он понимал просто: бил, кого приказывали, а о прочем не задумывался и в политику не вникал; неудачи на поле брани всегда готов был оплакивать, но ему и в голову не приходило, что раздоры и смута столь же для общего дела пагубны, сколь и военные неудачи. Был то, словом, повеса и ветреник, который, попав в столичную круговерть, по уши в ней погряз и, как репейник, прицепился к Заглобе, в котором по части гульбы своего наставника видел. Разъезжал с ним по разным шляхетским домам, где Заглоба за рюмкою рассказывал всяческие небылицы, попутно вербуя сторонников для королевича Карла, пил наравне с ним, а в случае надобности за него заступался; оба как одержимые кружили по городу и по выборному полю – уголка не осталось, куда бы они не пролезли. Побывали и в Непоренте, и в Яблонной, на всех пирах и обедах, у знатных вельмож и в кабаках; везде совались и во всем принимали участие. У пана Михала по молодости лет рука зудела: не терпелось себя показать, а заодно и доказать, что украинской шляхте нет равных, а уж княжеские солдаты лучшие из лучших. Посему друзья намеренно ездили искать приключений к ленчицким, известнейшим забиякам, но боле всего их влекли приспешники князя Доминика Заславского, к которым оба страстную ненависть питали. Задирали только самых лихих рубак, овеванных прочной и нерушимой славой, загодя изобретая зацепки. «Твое дело затеять ссору, – говаривал пан Михал, – а после уж я вмешаюсь». Заглоба, будучи весьма изощрен в фехтовальном искусстве и поединков со своим братом шляхтичем нимало не опасаясь, не всегда позволял приятелю подменять себя, особенно в стычках с заславцами, но ежели под руку подворачивался ленчицкий удалец, ограничивался оскорбительными нападками. Когда же шляхтич хватался за саблю и вызывал обидчика на поединок, как правило, заявлял: «Наилюбезнейший сударь! Совесть мне не позволяет вашу милость на верную гибель обрекать: не стану я с тобою драться, померяйся лучше с любимым моим учеником и питомцем – и то, боюсь, он тебя одолеет». После таких слов вперед вылезал Володы,вский со своими торчащими усиками, вздернутым носом и простоватым видом и, хотел того или не хотел бросивший вызов, приступал к делу, а поскольку и вправду был мастер непревзойденный, после нескольких выпадов обычно укладывал противника, не моргнув и глазом. Такие они себе с Заглобой вымышляли забавы, приумножавшие их славу среди любителей острых ощущений, особенно же вырастала слава Заглобы. «Ежели ученик такой, каков же должен быть учитель!» – говорили повсеместно. Одного лишь Харлампа Володы,вскому нигде отыскать не удавалось; он думал даже, того обратно в Литву услали.

Так прошло около шести недель, на протяжении которых публичные дела тоже не стояли на месте. Упорная борьба между братьев-соперников, лихорадочные старания их сторонников, волнения и страсти улеглись, почти не оставив следа, и забылись. Все уже знали, что на престол взойдет Ян Казимир, ибо королевич Карл уступил брату и добровольно от участия в выборах отказался. Как ни странно, многое тут решил голос Хмельницкого: все надеялись, что гетман признает власть короля, в особенности если тот будет избран согласно его желанью. И надежды эти в немалой степени оправдались. Зато для Вишневецкого, который, как в оные времена Катон, не уставал твердить, что запорожский Карфаген должен быть разрушен, такой оборот событий был новым ударом. Теперь реальностью стали переговоры. Князь, правда, понимал, что они либо сразу зайдут в тупик, либо вскоре будут сорваны силою обстоятельств, и в будущем предвидел войну, однако ему не давала покоя мысль об ее исходе. После переговоров

утвержденный в правах Хмельницкий станет еще сильнее, а Речь Посполитая – слабее. И кто поведет войска против столь прославленного вождя, каким был Хмельницкий? Как тут не ждать новых неудач, новых разгромов, что вконец истощат силы отечества? Князь себя нисколько не обольщал надеждой, он знал, что ему, самому ярому стороннику Карла, булавы не доверят. Правда, Казимир, благороднейшая душа, обещал брату не делать различий между его приверженцами и своими, но он поддерживал политику канцлера, а это означало, что булава достанется не князю – кому-то другому, и горе Речи Посполитой, если новый вождь не будет искусней Хмельницкого! От мысли этой боль с удвоенной силой терзала душу Иеремии – его мучил и страх за будущее отчизны, и горькое чувство человека, сознающего, что заслуги его не будут оценены справедливо и другие, обойдя его, голову подымут. А он не был бы Иеремией Вишневецким, если бы не был горд. Он чувствовал в себе силы принять булаву, чувствовал, что ее заслужил, – потому и страдал безмерно.

Среди офицеров даже разнесся слух, будто князь собирается, не дожидаясь окончания выборов, покинуть Варшаву – однако это не было правдой. Князь не только не уехал, но даже посетил королевича Казимира в Непоренте, которым принят был весьма любезно, после чего воротился в город, где военные дела его еще на несколько времени задержали. Нужно было изыскать средства для увеличения войска, чего князь решительно добивался. Кроме того, на деньги Карла формировались новые полки драгунской пехоты. Некоторые уже были отправлены на Русь, другие надлежало еще привести в порядок. С этой целью князь рассылал во все концы сведущих в военном деле офицеров, дабы полки должным образом подготовить. Так были отправлены из столицы Вершулл и Кушель; наконец и Володы,,вскому пришло время ехать.

Однажды он был призван к князю, от которого получил следующее распоряжение:

– Поедешь, сударь, через Бабицы и Липков в Заборов, там ждут лошади, предназначенные для полка; осмотришь их, выбракуешь и расплатишься с паном Тшасковским, а затем приведешь сюда солдатам. Деньги под мою расписку получишь у казначея в Варшаве.

Володы,,вский рьяно принялся за дело, получил деньги, и в тот же день они с Заглобой отправились в Заборов сам-десять и с повозкой, которая везла деньги. Ехали медленно, поскольку вся окрестность под Варшавой запружена была шляхтой, челядью, лошадьми и возами; в деревушках на всем пути вплоть до Бабиц ни одна хата не осталась свободной от постояльцев. Среди такого обилия людей разного нрава проще простого было попасть в какую-нибудь передрагу. Так оно и случилось с двумя нашими друзьями, несмотря на все их старания и скромность поведения.

Доехав до Бабиц, они увидели перед корчмой десятка полтора шляхтичей, которые, садясь на лошадей, собирались ехать своей дорогой. Два отряда, обменявшись приветствиями, уже разъехались было, как вдруг один из всадников уставился на Володы,,вского и без единого слова припустил к нему рысью.

– Попался, брат! – возопил он. – Как ни прятался, а я тебя отыскал все же!.. Теперь не уйдешь! Эй, любезные судари, – крикнул он своим спутникам, – погодите ехать! Мне надо этому офицеру пару слов сказать, а вас попрошу присутствовать при нашем разговоре.

Володы,,вский довольно усмехнулся, ибо узнал в говорившем Харлампа.

– Видит бог, не прятался я, – сказал он, – и сам тебя искал, чтобы спросить, сохраняешь ли ты еще на меня злопамятство, да господь встретиться не привел.

– Пан Михал, – шепнул Заглоба, – не забывай: по службе едешь!

– Помню! – буркнул Володы,,вский.

– Становись! – вопил Харлампа. – Милостивые господа! Я пообещал этому сопляку, молокососу этому, уши отрезать – и отрежу, не будь я Харлампа, отрежу оба! Прошу вас быть свидетелями, а ты, юнец, становись-ка!

– Не могу, клянусь богом, сейчас не могу! – ответил Володы,,вский. – Дай хоть несколько дней отсрочки!

– Как так не можешь? Струсил? Ежели ты мне немедля не дашь удовлетворения, я тебя под орех отделаю – своих не узнаешь. Ах ты, сморчок! Змея подколотная! В чужие дела горазд мешаться, пакостить мастак и на язык остер, а как ответ держать – в кусты сразу!

Тут вмешался Заглоба.

– Сдается мне, сударь, не за тех ты нас принимаешь, – сказал он Харлампу. – Гляди, как бы эта змея тебя и впрямь не ужалила, тогда никакие не помогут примочки. Тьфу, дьявол, неужто не видишь: офицер по служебным делам едет? Погляди на повозку – мы деньги полковые везем – и пойми, черт подери, что будучи охранять казну назначен, офицер сей собой не располагает и удовлетворения тебе дать не может. Кто этого не понимает, тот не воин, а олух! Мы под воеводою русским служим и не таких, как ваша милость, бивали, но сегодня никак невозможно. Успеется еще, время терпит.

– И верно, они же с деньгами едут, нельзя им, – сказал один из спутников Харлампа.

– А мне плевать на их деньги! – не унимался тот. – Пусть выходит драться, не то всех порешу, не сходя с места.

– Нынче я не могу драться, – сказал пан Михал, – но могу дать слово рыцаря, что через три или четыре дня, как только покончу с делами, явлюсь, куда захотите. А ежели вы обещаниям моим не удовлетворитесь, прикажу по вас стрелять, посчитаю, что не со шляхтичами и солдатами, а с разбойниками имею дело. Выбирайте, черт побери, нет у меня времени с вами тут прохлаждаться!

Услыша эти слова, сопровождавшие его драгуны тотчас направили на задирщиков дула мушкетов, и движение это, как и решительный тон Володы,вского, видно, произвели впечатление на спутников Харлампа.

– Сделай уступку, – принялись они его уговаривать, – сам солдат, знаешь, что такое служба, а сатисфакцию получишь, не сомневайся, малый не робкого, видно, десятка, как и все в русских хоругвах. Угомонись, пока добром просят.

Харламп было еще покипятился, но в конце концов, уразумев, что либо товарищей своих рассердит, либо в неравную с драгунами схватку втравит, обратился к Володы,вскому и сказал:

– Дай слово, что ответишь на вызов.

– Я сам тебя вызову, хотя бы потому, что дважды одно и то же повторять просишь. Через три дня я к твоим услугам: сегодня у нас среда, стало быть, в субботу, в два часа. Выбирай место.

– Здесь, в Бабицах, народу пропасть, – сказал Харламп, – как бы не вышли какие *impedimenta*²⁶. Давай лучше в Липкове: там спокойней и мне сподручнее – мы в Бабицах стоим на квартирах.

– А вы столь же большой компанией прибудете, как сегодня? – предусмотрительно осведомился Заглоба.

– Нет, зачем! – ответил Харламп. – Я только с родичами своими, Селицкими, приеду. Да и вы тож, срого, пожалеете без драгун.

– Это, может, у вас на поединок являются с вооруженной охраной, – сказал пан Михал, – у нас так не принято.

– Значит, через три дня, в субботу, в Липкове? – повторил Харламп. – Встречаемся у корчмы, а теперь – с богом!

– С богом! – ответили Заглоба и Володы,вский.

Противники разъехались мирно. Пан Михал в восторге был от предстоящей забавы и пообещал себе, что отрежет литвину усы и презентует их Подбипятке. Остаток пути маленький рыцарь проделал в преотличнейшем настроении. В Заборове он застал королевича Казимира, который приехал туда поохотиться, но лишь издали поглядел на будущего монарха, поскольку спешил обратно. За два дня управился со всеми делами, осмотрел лошадей, расплатился с Тшасковским, вернулся в Варшаву и точно в срок, даже часом раньше, явился в Липков, сопровождаемый Заглобой и Кушелем, который был приглашен вторым секундантом.

Подъехав к корчме, которую держал еврей, они зашли внутрь промочить горло и за чаркой меду завели с хозяином беседу.

– А что, пархатый, дома здешний пан? – спросил Заглоба.

– Пан в городе.

– А много у вас в Липкове стоит шляхты?

²⁶ препятствия (лат.).

– У нас пусто. Один только пан у меня остановился, сидит сейчас в чулане – богатый пан с лошадьми и прислугой.

– А отчего он не заехал в усадьбу?

– Видать, не знаком с нашим паном. Да и усадьба с месяц уже как на запоре.

– Может, это Харламп? – предположил Заглоба.

– Нет, – ответил Володы,вский.

– Ой, пан Михал, а мне сдается, он это.

– С какой еще стати!

– Пойду погляжу, кто таков. А давно у тебя пан этот?

– Сегодня приехал, двух часов нету.

– А откуда, не знаешь?

– Не знаю, издалека, верно, – лошадей совсем загнал. Люди говорили, из-за Вислы.

– Почему ж он именно здесь, в Липкове, остановился?

– Кто его знает?

– Пойду взгляну, – повторил Заглоба, – вдруг кто знакомый.

И, подойдя к закрытой двери в чулан, постучал в нее рукоятью сабли и спросил:

– Можно войти, милостивый сударь?

– А кто там? – отозвался изнутри голос.

– Свои, – ответил Заглоба, приотворяя дверь. – Прошу прощения, может, я не впору? – добавил он и просунул голову в щель.

И вдруг отпрянул и захлопнул дверь, точно смерть увидел. На лице его отобразились одновременно ужас и безмерное изумление; разинув рот, он уставился на друзей безумным взглядом.

– Что с тобой? – спросил Володы,вский.

– Тише! Ради Христа, тише! – проговорил Заглоба. – Там... Богун!

– Кто? Да что с тобою, сударь?

– Там... Богун!

Оба офицера вскочили как ужаленные.

– Ты что, братец, ума решился? Опамятуйся: кто там?

– Богун! Богун!

– Быть не может!

– Чтоб мне не сойти с этого места! Клянусь богом и всеми святыми.

– Чего же ты всполошился? – сказал Володы,вский. – Коли так, значит, господь его нашим препоручил заботам. Успокойся, сударь. Ты уверен, что это он?

– Как в том, что с тобой говорю. Своими глазами видел: он переодевался.

– А он тебя видел?

– Не знаю, нет как будто.

У Володы,вского сверкнули глаза точно угли.

– Эй, ты! – тихо позвал он корчмаря, махнув рукою. – Поди сюда! Есть еще оттуда выход?

– Нету, только один, через эту комнату.

– Кушель! К окну! – шепотом приказал Володы,вский. – Теперь ему от нас не уйти.

Кушель, ни слова не говоря, бросился вон из комнаты.

– Успокойся, сударь любезный, – сказал Володы,вский. – Не за тобой пришла костлявая, по его душу. Что он тебе может сделать? Ничего ровным счетом.

– Да это я от изумления никак не опомнюсь! – ответил Заглоба, а про себя подумал: «И вправду, чего мне страшиться? Пан Михал под боком – пускай Богун боится!»

И, напыжась грозно, схватился за саблю.

– Ну, пан Михал, теперь ему никуда не деться!

– Да он ли это? Мне все не верится. Что ему здесь делать?

– Хмельницкий его прислал шпионить. Это уж как пить дать! Погоди, пан Михал. Давай схватим его и поставим условие: либо он отдает княжну, либо мы его предаем правосудию.

– Лишь бы княжну отдал, а там черт с ним!

– Ба! А не мало ли нас? Всего двое да Кушель третий. Он свою жизнь дешево не продаст, и люди при нем есть.

– Харлам с двумя приятелями приедет – уже нас станет шестеро! Хватит!.. Тсс!

В эту минуту дверь открылась, и Богун вошел в комнату.

Должно быть, ранее он не узнал заглядывавшего в чулан Заглобу, поскольку теперь, завидя его, внезапно вздрогнул, и будто пламя полыхнуло с лица атамана, а рука с быстротою молнии опустилась на эфес сабли, – но все это продолжалось одно лишь мгновение. Пламя тотчас погасло, лицо, однако, чуть-чуть побледнело.

Заглоба глядел на него, не произнося ни слова, атаман тоже молчал, тихо стало, как в могиле. Два человека, судьбы которых столь удивительным образом переплетались, прикинулись, будто друг друга не знают.

Это продолжалось довольно долго. Володы, вскому показалось, что прошла целая вечность.

– Хозяин! – сказал вдруг Богун. – До Заборова далеко отсюда?

– Недалеко, – ответил корчмарь. – Ваша милость сейчас желает ехать?

– Да, сейчас же, – сказал Богун и направился к ведущей в сени двери.

– Минуточку! – раздался голос Заглобы.

Атаман мгновенно остановился как вкопанный и, повернувшись к Заглобе, уставил на него страшные черные свои зеницы.

– Чего изволишь? – коротко спросил он.

– Хм... Сдается мне, откуда-то мы знакомы. Уж не на свадьбе ли на русском хуторе встречались?

– Воистину! – резко сказал атаман и снова опустил руку на эфес сабли.

– Как здоровьице? – продолжал Заглоба. – Что-то больно спешно ты, сударь, хутор тогда покинул, я и не успел попрощаться.

– Неужто пожалел об этом?

– Как не пожалеть, мы бы еще поплясали, благо и компания пополнилась.

– Тут Заглоба указал на Володы, вского. – Этот рыцарь подъехал, а ему страсть как хотелось с вашей милостью поближе познакомиться.

– Довольно! – крикнул, вскочив, пан Михал. – Я тебя арестую, изменник!

– Это каким еще правом? – спросил атаман и голову гордо вскинул.

– Ты бунтовщик, враг Речи Посполитой, и шпионничать сюда приехал.

– А ты что за птица?

– Ого! Представляться я не намерен, все равно тебе никуда от меня не деться!

– Посмотрим! – сказал Богун. – А представляться и я б не стал, кабы ты меня честь по чести вызвал на поединок, но коль арестом грозишь, получай разъяснение: вот письмо, которое я от гетмана запорожского везу королевичу Казимиру, а поскольку в Непоренте королевича не застал, то и следуя к нему в Заборов. Ну, как ты меня теперь арестуешь?

Сказавши так, Богун поглядел на Володы, вского насмешливо и надменно, а пан Михал смутился, будто гончая, почуявшая, что упускает добычу, и, не зная, как быть дальше, кинул вопрошающий взгляд на Заглобу. Настала минута тягостного молчания.

– Да! – сказал Заглоба. – Ничего не попишешь! Раз ты посол, арестовать мы тебя не можем, однако саблём у этого рыцаря перед носом советую не махать: однажды ты от него уже удирал, только пятки сверкали.

Лицо Богун побавровело: в эту минуту он узнал Володы, вского. От стыда и уязвленного самолюбья разыграла кровь неустрашимого атамана. Воспоминание о бегстве с хутора огнем жгло ему душу. То было единственное несмытое пятно на его молодецкой славе, а славой своей он дорожил больше всего на свете, даже больше жизни.

А неумолимый Заглоба продолжал с полнейшим хладнокровьем:

– Ты и шаровары-то едва не потерял, хорошо, рыцарь сей сжалился, отпустил живым восвояси. Тьфу, удалой молодец! Знать, не только лик у тебя девичий, но и душа бабья. Против старой княгини и мальчишки-князя геройствовал, а от рыцаря бежал, хвост поджавши! Экий вояка! Письма тебе возить да похищать девок! Своими глазами видел, клянусь богом, как чуть без шаровар не остался. Тьфу, тьфу! Вот и теперь в глаза тычешь саблю лишь потому, что с грамотой едешь. Как же нам с тобой драться, когда ты заслонился бумажкой? Пыль в глаза только и умеешь пускать, любезный! Хмель добрый солдат, Кривонос не хуже, но и прощелыжников предовольно среди казаков.

Богун вдруг метнулся к Заглобе, а тот столь же стремительно спрятался за Володы,,вского, и два молодых рыцаря оказались лицом к лицу.

– Не со страху я от тебя бежал, сударь, а чтобы людей спасти, – промолвил Богун.

– Не знаю уж, по каким причинам, но что бежал, знаю, – ответил пан Михал.

– Я где угодно готов с вашей милостью драться, хоть и сейчас, не сходя с места.

– Вызываешь меня? – спросил, сощурясь, Володы,,вский.

– Ты на славу мою молодецкую тень бросил, перед людьми меня опозорил! Хочу твоей крови.

– Я согласен, – сказал Володы,,вский.

– *Volenti non fit iniura*²⁷, – добавил Заглоба. – Но кто же письмо королевичу доставит?

– Не вашего ума дело, это моя забота!

– Что ж, деритесь, коли нельзя иначе, – сказал Заглоба. – Ты же, любезный атаман, помни: одолеешь этого рыцаря, я следом стану. А теперь выйдем на двор, пан Михал, я тебе кое-что безотлагательно сообщить должен.

Друзья вышли и отозвали Кушеля, стоявшего под окном боковушки, после чего Заглоба сказал:

– Плохи наши дела, любезные господа. Он и вправду везет грамоту королевичу – убьем мы его, придется ответить. Не забывайте: суд конфедератов *propter securitatum* заседает в двух милях от выборного поля, а он как-никак *quasi*²⁸ посол. Скверно! Придется потом прятаться, разве что князь возьмет под свою защиту – иначе несдобровать нам. А отпустить его опять же никак невозможно. Единственная оказия освободить нашу бедняжку. Ежели его на тот свет отправим, все легче ее отыскать будет. Видать, сам господь бог ей и Скшетускому помочь хочет, не иначе. Говорите, любезные судари, что делать будем?

– Неужто ваша милость хитрости какой-нибудь не измыслит? – сказал Кушель.

– Я свое дело сделал: он первый нас вызвал. Но потребны свидетели, сторонние люди. Думается мне, нужно дожидаться Харлампа. Уж я позабочусь, чтобы он свой черед уступил и в случае чего засвидетельствовал, что Богун нас сам вызвал, а нам волей-неволей пришлось защищаться. И от Богуна недурно бы выведать, где он девушку прячет. Зачем она ему, коли его ждет гибель? Может, скажет, если попросить хорошенько. А не скажет – так и так лучше, чтоб в живых не остался. Все нужно предусмотреть и обмыслить. Ух, голова сейчас лопнет!

– Кто же с ним будет драться? – спросил Кушель.

– Пан Михал первый, я второй, – ответил Заглоба.

– А я третий.

– Ну, нет! – вмешался Володы,,вский. – Я один дерусь, и баста. Положит он меня – его счастье, пусть живым уезжает.

– Э-э, а я уже ему обещался, – сказал Заглоба, – но коли вы, любезные судари, по-иному решите, я готов отступиться.

– Воля его – захочет с тобою драться, быть посему, но больше чтоб никто не ввязывался.

– Пойдем к нему.

– Пойдем.

Они пошли и застали Богуна попивающим мед в передней комнате. Атаман был совершенно уже спокоен.

– Послушай-ка, сударь, – сказал Заглоба, – есть одно важное дело, о котором нам с тобой переговорить нужно. Ты вызвал этого рыцаря – прекрасно, но да будет тебе известно, что, как посол, ты находишься под защитой закона, ибо не среди диких зверей, а промеж политичного пребываешь народа. Потому лишь в одном случае мы можем тебе ответить: ежели ты при свидетелях объявишь, что сам по своей охоте нас вызвал. Сюда приедет несколько шляхтичей, с которыми у нас поединок назначен, – вот перед ними ты это повторишь, мы же дадим тебе слово чести, что коли в схватке с паном Володы,,вским одержишь победу, то спокойно себе

²⁷ Давшему согласие не содеется дурного (лат.).

²⁸ вроде бы (лат.).

уедешь и никто тебе помехи чинить не станет, разве что еще со мной помериться пожелаешь.

– Согласен, – ответил Богун. – Я повторю свои слова при шляхтичах этих и людям своим отвезти письмо прикажу, а Хмельницкому в случае моей гибели повелю сказать, что сам первый вас вызвал. Ну, а коли с божьей помощью в схватке с этим рыцарем честь свою отстоять сумею, то еще и вашу милость потом попрошу со мной сразиться.

Сказавши так, он взглянул Заглобе в глаза. Заглоба же, несколько смешавшись, прокашлялся, сплюнул и ответил:

– Что ж, отлично. Начни только с учеником моим – сразу поймешь, каково со мною придется. Впрочем, дело не в этом. Есть второй *punktum*²⁹, куда важнее, и тут уж мы к совести твоей взываем, ибо, хоть ты и казак, хотелось бы в тебе рыцаря видеть. Ты князю Елену Курцевич похитил, невесту нашего соратника и друга, и где-то ее прячешь. Знай же: если б мы тебя к суду привлекли за это, даже звание посла Хмельницкого тебя бы не охранило, ибо *partus puellae*³⁰ безотложному разбирательству подлежит и наказуемо смертной казнью. И теперь, перед поединком, когда жизнь твоя под угрозой, рассуди сам: что с бедняжкой будет в случае твоей смерти? Ведь ты ее как будто бы любишь – неужто при том зла ей желаешь и гибели? Ужто не страшишься без опеки оставить? Обречь на позор и мытарства? Неужто и после смерти супостатом ее быть захочешь?

Голос Заглобы зазвучал неожиданно серьезно, а Богун побледнел и спросил:

– Чего же вы от меня хотите?

– Укажи место ее заключения, чтобы в случае смерти твоей мы могли ее отыскать и суженому вернуть. Сделай это, и господь помилует твою душу.

Атаман подпер голову руками и глубоко задумался, а три товарища неотрывно следили за переменами, происходящими в подвижном его лице, на котором вдруг такая нежная печаль проступила, словно ни гнев, ни ярость, ни иные жестокие чувства никогда на нем не отображались, словно человек этот лишь для любви и страдания был создан. Долго продолжалось молчание, пока его не нарушил Заглоба, с дрожью в голосе проговоривший:

– Ежели ты опозорить ее успел, господь тебе судия, она же пусть хоть в монастыре свои дни окончит...

Богун поднял увлажнившиеся, полные тоски очи и сказал:

– Я – опозорил? Уж не знаю, как вы, паны шляхтичи, рыцари и кавалеры, умеете любить, но я, казак, ее в Баре спас от смерти и поруганья, а потом в пустыню увез – и там берег как зеницу ока, пальцем не тронул, в ногах валялся и челом бил, как перед иконой. Прогнала меня прочь – ушел и боле ее не видел: война-матушка при себе держала.

– Бог тебе за это простит часть грехов на Страшном суде! – сказал, вздохнув облегченно, Заглоба. – Но в безопасности ли она там? Ведь рядом Кривонос и татары!

– Кривонос под Каменцем стоит, а меня послал к Хмелю спросить, надо ли ему идти в Кудак, – и уж, верно, пошел, а там, где она укрыта, ни казаков, ни ляхов, ни татар нету – в том месте ей всего безопасней.

– Где же оно, это место?

– Послушайте, паны ляхи! Будь по-вашему: я скажу, где она, и прикажу вам ее выдать, но за это вы поклянитесь рыцарским словом, что, если господь мне пошлет удачу, не станете ее искать больше. Пообещайте за себя и за Скшетуского – и я вам откроюсь.

Друзья переглянулись.

– Этого мы сделать не можем! – сказал Заглоба.

– Никак не можем! – воскликнули Кушель и Володы,вский.

– Вот как? – сказал Богун, и глаза его сверкнули под насупившимися бровями. – Отчего ж это вы не можете, паны ляхи?

– Оттого, что Скшетуского с нами нету, а к тому же знай, что ни один из нас розысков не оставит, хоть ты ее спрячь под землю.

²⁹ пункт (лат.).

³⁰ похищение девицы (лат.).

– Вон вы какой затеяли торг: мол, отдавай, казачина, душу, а мы тебя по башке саблей! Нет, не выйдет! Думаете, не остра моя казацкая сабля? Эва, раскаркались, как над падалью воронье, – рановато еще вам каркать! Почему это я, а не вы, должен погибнуть? Вы моей крови жаждете, а я вашей! Поглядим еще, кому повезет больше.

– Не хочешь, стало быть, говорить?

– А зачем? Погибель всем вам!

– Тебе погибель! Искрошим в куски – ты того стоишь.

– Попробуйте! – сказал атаман, внезапно вставая.

Кушель и Володы,вский тоже вскочили.

Грозные взоры скрестились в воздухе, гнев заклокотал у каждого в груди, и неизвестно, чем бы все кончилось, если б не Заглоба, который, поглядев в окно, крикнул:

– Харламپ со свидетелями приехал!

И вправду, минуту спустя в комнату вошел ротмистр пятигорский с двумя товарищами, Селицкими. Едва обменялись приветствиями, Заглоба отвел их в сторону и стал излагать суть дела.

Говорил он столь выразительно, что быстро их убедил, заверив, что Володы,вский лишь о краткой отсрочке просит и после поединка с казаком готов немедленно дать ротмистру удовлетворенье. Еще Заглоба живописал, какую давнюю и страшную ненависть питают князьи воины к Богуну, врагу всей Речи Посполитой и одному из самых жестоких смутьянов, как тот похитил княжну, шляхтянку и невесту шляхтича, обладателя всех рыцарских достоинств.

– А поскольку, любезные судари, вы тоже шляхтичи, братские души, то и оскорбление, нанесенное в лице одного всему сословию, каждого из нас задевает; неужто вы потерпите, дабы оно неотмщенным осталось?

Харламп поначалу заартачился, твердя, что в таком случае Богуну надобно тотчас зарубить, «а пан Володы,вский пусть, как уговорились, мне ответит». Пришлось Заглобе сызнова ему втолковывать, почему это невозможно, да и недостойно рыцарей нападать на одного всем скопом. К счастью, его поддержали Селицкие, особы степенные и рассудительные; в конце концов упрямый литвин позволил уговорить себя и согласился отложить поединок.

Тем временем Богун сходил к своим людям и вернулся с есаулом Ельяшенкой, которому объявил, что вызвал двух шляхтичей на поединок, после чего во всеуслышание повторил то же в присутствии Харлампа и Селицких.

– Мы же заявляем, – сказал Володы,вский, – что, если ты меня одолеешь, в твоей будет воле решать, драться с паном Заглобой или не драться. Никто другой тебя вызывать не станет, и на одного все не нападём: поедешь, куда захочешь, в чем и даем тебе рыцарское слово, а вас, любезные судари, как вновь прибывших, просим со своей стороны пообещать то же.

– Обещаем, – торжественно промолвили Селицкие и Харламп.

Тогда Богун отдал Ельяшенке письмо Хмельницкого королевичу с такими словами:

– Ти цеї письмо королевичеві віддаш, і коли я загину, так ти скажеш і йому, і Хмельницькому, що моя вина була і що не зрадою мене забили.

Заглоба, ничего из виду не упускавший, отметил про себя, что на угрюмом лице Ельяшенки не промелькнуло и тени тревоги, – видно, он был крепко уверен в своем атамане.

Меж тем Богун надменно повернулся к шляхтичам.

– Ну, кому смерть, кому живот, – сказал он. – Пойдем, что ли.

– Пора, пора! – дружно ответили те, затыкая полы кунтушей за пояс и беря под мышку сабли.

Выйдя из корчмы, пошли к речке, бежавшей среди боярышника, шиповника, молодого соснячка и терна. Ноябрь, правда, поотряс с кустов листья, но ветви их столь были густы, что заросли казались черной траурной лентой, уходящей в дальнюю даль, через пустынные поля к самому лесу. День был хоть и неяркий, но ясный, – случаются осенью такие дни, полные сладостной грусти. Солнце украсило золотистой каймой обнаженные ветви деревьев и заливало светом желтую песчаную гряду, тянувшуюся вдоль правого берега речки, чуть поодаль от воды. Противники и секунданты направились к этой гряде.

– Там и остановимся, – сказал Заглоба.

– Хорошо, – согласились остальные.

Заглобу все более охватывала тревога. Наконец, подойдя к Володы,,вскому, он шепнул:

– Пан Михал...

– Что?

– Ради бога, братец, уж ты постарайся! В твоих отныне руках судьба Скшетуского, свобода княжны, твоя жизнь, да и моя тоже. Упаси тебя господь от беды, но я с разбойником этим не справлюсь.

– Чего же ты его вызвал?

– Как-то выскочило само собою. Одна на тебя надежда. Куда мне, старику, против него с моею одышкой, да и прыть не та, а красавчик сей, точно кубарь, верток. И зол, собака.

– Я постараюсь, – сказал маленький рыцарь.

– Помоги тебе бог. Не падай духом!

– Еще чего!

В эту минуту к ним подошел один из Селицких.

– Хорош гусь казак ваш, – шепнул он. – Ровней себя с нами держит, а то и выше мнит. Экая фанаберия! Верно, матушка его на шляхтича загляделась в свое время.

– Э, – сказал Заглоба, – скорей на его матушку шляхтич.

– И мне так сдается, – добавил Володы,,вский.

– Начнем! – вдруг воскликнул Богун.

– Начнем, начнем!

Остановились. Володы,,вский и Богун друг против друга, шляхтичи возле них полукружьем.

Володы,,вский, будучи, несмотря на молодость лет, весьма искушен в подобных забавах, сперва песок ногою пощупал – довольно ли тверд, – а потом оглядел неровности почвы. Видно было, что настроен он очень серьезно. Как-никак предстояло скрестить оружие с рыцарем, прославленным на всю Украину, о котором в народе слагались песни, имя которого было известно в каждом уголке Руси, вплоть до самого Крыма. Володы,,вский, простой драгунский поручик, многого ожидал от этого поединка: либо славной смерти, либо не менее славной победы – и потому ничего без внимания не оставил. Лицо его необычайную выражало серьезность. – Заглоба даже перепугался. «Легкость духа теряет, – подумал он. – Несдобровать бедняге, а за ним и я на тот свет отправлюсь».

Меж тем Володы,,вский, тщательно оглядев площадку, стал расстегивать куртку.

– Холодно, – сказал он, – но согреемся, надо думать.

Богун последовал его примеру, и оба, сбросив верхнюю одежду, остались в одних лишь рубашках и шароварах, затем каждый засучил на правой руке рукав.

Но сколь же жалостно выглядел маленький рыцарь подле рослого и дюжего атамана! Пана Михала почти что не было видно. Будто молодой петушок с сильным степным ястребом замыслил единоборство! Секунданты с тревогой поглядывали на широкую грудь казака, на открывшиеся, когда он засучил рукав, узловатые и тугие могучие мускулы. Ноздри Богуна раздувались, словно он загодя чуял кровь, лоб собрался морщинами, так что, казалось, черная грива растет от самых бровей, и сабля в руке покачивалась. Вперивши в противника хищные свои очи, он ждал сигнала к поединку.

А Володы,,вский еще раз осмотрел на свет клинок своей сабли, пошевелил желтыми усиками и стал в позицию.

– Ох, и резня будет! – шепнул Харламп Селицкому на ухо.

И тут раздался несколько дрогнувший голос Заглобы:

– Во имя божие, начинайте!

Глава XII

Свистнули сабли, и острое звякнуло об острое. Поле боя в одно мгновение расширилось: Богун наступал столь неудержимо, что Володы,,вский отскочил на несколько шагов и секундантам тоже пришлось, попятившись, расступиться. Сабля Богуна мелькала в воздухе с быстротою молнии – испуганные взоры присутствующих не успевали за нею следить, им казалось, вокруг пана Михала сомкнулось кольцо сверкающих зигзагов, грозя его испепелить, и

лишь господь властен вырвать маленького рыцаря из этого огненного круга. Отзвуки ударов слились в протяжный свист, воздух, взвихрясь, хлестал по лицам. Ярость атамана с каждой секундой возрастала; в исступлении обрушился он на противника подобно урагану – Володы,вский только отступал и защищался. Правая его рука, выставленная вперед, была почти неподвижна, только кисть без устали описывала малые, но быстрые, как мысль, полукруги, отражая бешеные Богуновы удары; клинку подставляя клинок, уставя очи в очи атамана, Володы,вский в ореоле змеящихся вокруг него молний казался спокойным, лишь на щеках его проступили красные пятна.

Заглоба, зажмурясь, прислушивался: удар, снова удар, свист, скрежет.

«Еще защищается!» – подумал он.

– Еще защищается! – шептали Селицкие и Харламп.

– Сейчас его к песку припрет, – тихо добавил Кушель.

Заглоба приоткрыл глаза и глянул.

Володы,вский почти касался песчаной гряды спиной, но, видно, не был пока еще ранен, только румянец на лице стал ярче и лоб усыпали капельки пота.

Сердце Заглобы забилося надеждой.

«А ведь и пан Михал у нас великий искусник, – подумал он, – да и этот когда-нибудь устанет».

И действительно, лицо Богуна покрыла бледность, пот оросил и его чело, но сопротивление только разжигало неистовство атамана: белые клыки блеснули из-под усов, из груди вырывалось звериное рычание.

Володы,вский глаз с него не спускал и продолжал защищаться.

Почувствовав вдруг за собой песчаную стену, он будто исполнился новой силы. Наблюдающим поединок казалось – маленький рыцарь сейчас упадет, а он меж тем нагнулся, сжался в комок, присел и, точно камень, всем телом ударил в грудь атамана.

– Атакует! – закричал Заглоба.

– Атакует! – повторили за ним остальные.

Так оно и было на самом деле: теперь казак отступал, а Володы,вский, изведавши силу противника, напирал на него столь стремительно, что у секундантов дух захватило: видно, начал разогреваться – маленькие глазки метали искры, он то приседал, то подскакивал, меняя позицию в мгновение ока, кружа возле казака и вынуждая того волчком вертеться на месте.

– Ай да мастер! – закричал Заглоба.

– Смерть тебе! – прохрипел вдруг Богун.

– Смерть тебе! – как эхо ответил Володы,вский.

Внезапно казак приемом, лишь искуснейшим фехтовальщикам известным, перекинул саблю из правой руки в левую и слева нанес удар столь сокрушительный, что противник его, как подкошенный, грянулся наземь.

– О господи! – крикнул Заглоба.

Но пан Михал упал намеренно, отчего Богунова сабля только свистнула в воздухе, маленький же рыцарь вскочил, точно дикий кот, и со страшной силой рассек саблей незащищенную грудь казака.

Богун пошатнулся, шагнул вперед и, сделав последнее усилие, нанес последний удар. Володы,вский отбил его без труда и еще дважды ударил по склонившейся голове – сабля выскользнула из ослабевших Богуновых рук, он повалился лицом в песок, обагрив его кровью, растекшейся широкой лужей.

Ельяшенко, присутствовавший при поединке, бросился к телу своего атамана.

Секунданты несколько времени не могли вымолвить ни слова, пан Михал тоже молчал, только дышал тяжело, опершись обеими руками на саблю.

Заглоба первый нарушил молчанье.

– Поди ж сюда, дай обниму тебя, пан Михал! – растроганно проговорил он.

Все обступили маленького героя.

– Ну, и мастак ты, сударь, разрази тебя гром! – наперебой восклицали Селицкие.

– В тихом омуте, гляжу, черти водятся! – промолвил Харламп. – Я готов с вашей милостью драться, чтоб не говорили: Харламп струсил, – и даже если ты меня так же

искромсаешь, все равно прими мои поздравления!

– Да бросьте вы бога ради, вам и драться-то не из-за чего на самом деле, – сказал Заглоба.

– Никак невозможно, – отвечал ротмистр, – тут затронута моя репутация, а я за нее жизни не пожалею.

– Не нужна мне твоя жизнь, любезный сударь, оставим лучше намеренья наши, – молвил Володы,вский. – По правде сказать, я и не думал тебе заступать дорогу. На этой дорожке ты повстречаешь кое-кого другого – вот тогда держись, а я тебе не помеха.

– Как так?

– Слово чести.

– Помиритесь, друзья, – взывали Селицкие и Кушель.

– Ладно, будь по-вашему, – сказал Харлам, раскрывая объятия.

Володы,вский упал в объятия ротмистра, и бывшие недруги звучно расцеловались, аж эхо прокатилось по песчаным холмам; при этом Харлам приговаривал:

– Ох, чтоб тебя, ваша милость! Каково этакую громадину отделал! А ведь и он саблей владел недурно.

– Вот уж не думал, что он такой фехтовальщик! И где только выучился, интересно?

Тут всеобщее внимание обратилось вновь к лежащему на земле атаману, которого Ельяшенко тем временем перевернул лицом кверху и, плача, пытался обнаружить в нем признаки жизни. Лицо Богуна трудно было узнать под коркой быстро запекшейся на холодном ветру, вытекшей из ран на голове крови. Рубаха на груди тоже была вся залита кровью, однако жизнь еще не оставила атамана. Он, видно, был в предсмертной конвульсии: ноги вздрагивали да скребли песок скрюченные как когти пальцы. Заглоба глянул и только рукой махнул.

– Получил свое! – сказал он. – С божьим прощается светом.

– Ой! Этот уже не жилец, – промолвил, поглядев на лежащее тело, один из Селицких.

– Еще бы! Надвое почти что рассечен.

– Да, таких рыцарей не часто встретишь, – пробормотал, покачив головой, Володы,вский.

– Не мне рассказывай, – отозвался Заглоба.

Меж тем Ельяшенко вознамерился поднять и унести несчастного атамана, но напрасно, потому как немолод был и тщедушен, а Богун – едва ли не исполинского роста. До корчмы было несколько верст, а казак мог преставиться в любую минуту; видя это, есаул обратился к шляхтичам.

– Пане! – воскликнул он, складывая просительно руки. – Заради спаса и святой-пречистой поможіте! Не дайте, щоб він тутки шез як собака. Я старий, не здужаю, а люде далеко...

Шляхтичи переглянулись. Озлобления против Богуна в их сердцах уже не осталось.

– И впрямь негоже его здесь бросать как собаку, – первым пробормотал Заглоба. – Коли приняли вызов, значит, он для нас уже не мужик, а воин, каковому всяческая надлежит помощь. Кто со мной его понесет, любезные господа?

– Я, – ответил Володы,вский.

– Кладите на мою бурку, – предложил Харлам.

Минуту спустя Богун уже лежал на бурке Харлама. Заглоба, Володы,вский, Кушель и Ельяшенко ухватились каждый за свой конец, и шествие, замыкаемое Селицкими и Харламом, медленно двинулось по направлению к корчме.

– Живучий, черт, еще шевелится, – пробормотал Заглоба. – Господи, да скажи мне кто, что я с ним нянчиться буду и на руках таскать, я б таковые слова за издевку принял! Чересчур мягкое у меня сердце, сам знаю, да себя переделать не можно! Еще и раны ему перевяжу... Надеюсь, на этом свете нам больше не встретиться: пускай хоть на том добром вспомнёт!

– Думаешь, не выкарабкается? – спросил Харлам.

– Он-то? Да я за его жизнь гроша ломаного не дам. Видно, так было написано на роду, а от судьбы не уйдешь: улыбнись ему счастье с паном Володы,вским, от моей бы руки погибнул. Впрочем, я рад, что так оно получилось, – и без того уже меня душегубцем безжалостным прозывают. А что прикажете делать, если вечно кто-нибудь мешается под ногами? Пану Дунчевскому пришлось отступного заплатить пятьсот злотых, а русские имена, сами знаете, нынче не приносят дохода.

– Да, там у вас все подмели вчистую, – сказал Харлам.

– Уф! Тяжелешенек наш казак – дух сперло!.. – продолжал Заглоба. – Вчистую подмели – это верно, но я все ж надеюсь, сейм воспомоществование окажет, не то хоть зубы клади на полку... Ох, и тяжел, дьявол!.. Гляньте-ка, ваши милости, опять кровавит. Беги, пан Харлам, к корчмарю да вели намять хлеба с паутиной. Покойничку нашему не больно поможет, но рану перевязать – всякого христианский долг, все ж ему помирать будет легче. Живей, сударь!

Харлам спешил вперед, и, когда атамана наконец внесли в корчму, Заглоба, не мешкая, со знанием дела и большой сноровкою занялся перевязкой. Он остановил кровь, залепил раны, после чего, обратившись к Ельяшенке, молвил:

– А в тебе, старик, здесь нужды нету. Скачи быстрее в Заборов, проси, чтоб к его высочеству допустили, и письмо отдай, да расскажи, что видел, – все в точности опиши, как было. Соврешь, я узнаю, потому как у их королевского высочества в большом доверье, и голову тебе повелю снести. И Хмельницкому кланяйся: он меня знает и любит. Похороним мы твоего атамана как должно, а ты делай свое дело, да остерегайся темных углов – еще прибьют где-нибудь ненароком, не успеешь и объяснить, кто таков да зачем едешь. Будь здоров! И пошевеливайся!

– Дозволь, ваша милость, остаться, хотя бы покуда он не остынет.

– Езжай, говорят тебе! – грозно сказал Заглоба. – Не то прикажу мужикам силком в Заборов доставить. И привет не забудь передать Хмельницкому.

Ельяшенко поклонился в пояс и вышел, а Заглоба объяснил Харламу и Селицким:

– Казака я нарочно отправил – нечего ему здесь делать... А ежели его и вправду по дороге прирежут, что легко может статься, всю вину ведь на нас свалят. Заславцы да прихвостни канцлера первые крик подымут, что, мол, люди русского воеводы, преступив закон, вырезали казацкое посольство. Но ничего, умная голова сто голов кормит! Нас шлопутам этим, дармоедам, гладышам голыми руками не взять, да и вы, судари, при надобности засвидетельствуете, как все было на деле, и подтвердите, что он сам нас вызвал. Еще нужно здешнему войту наказать, чтобы его земле предал. Они знать не знают, кто он таков: сочтут шляхтичем и похоронят по чести. И нам, пан Михал, пожалуй, пора ехать – должно еще реляцию князю-воеводе представить.

Хриплое дыхание Богуна прервало разглагольствования Заглобы.

– Эвон, уже душа наружу рвется! – заметил шляхтич. – И на дворе темнеет – ошупью придется на тот свет добираться. Но коль он бедняжки нашей не обесчестил, пошли ему, господи, вечный покой, аминь!.. Поехали, пан Михал... Ото всей души отпускаю ему его прегрешенья, хотя, признаться, чаще я у него, нежели он у меня на пути становился. Но теперь уж всему конец. Прощайте, любезные судари, приятно было со столь благородными кавалерами свести знакомство. Не забудьте только в случае чего дать показанья.

Глава XIII

Князь Иеремия принял известие о гибели Богуна в поединке весьма спокойно – тем паче когда узнал, что есть сторонние люди, не из его хоругвей, готовые в любую минуту засвидетельствовать, что вызван был Володыжский. Случись это не в канун объявления королем Яна Казимира, когда борьба соперников еще продолжалась, противники Иеремии во главе с канцлером и князем Домиником, вне всякого сомнения, не преминули бы это происшествие обернуть против него, невзирая ни на каких свидетелей и их заявления. Но после отказа Карла от престола умы были заняты совсем другим, и яснее ясного было, что вся эта история канет в забвенье.

Извлечь ее на свет мог разве только Хмельницкий, чтобы показать, какие ему беспрестанно чинят обиды. Однако князь справедливо полагал, что королевич, отвечая гетману, упомянет в письме либо прикажет передать от своего имени устно, при каких обстоятельствах погиб его посланец, Хмельницкий же не посмеет усомниться в истинности монарших слов.

Князя заботило лишь одно: как бы из-за его людей не затеялось политической свары. С другой стороны, он даже порадовался за Скшетуского, потому что теперь и впрямь куда вероятнее стало спасение княжны Курцевич. Теперь можно было надеяться ее отыскать, отбить или выкупить – а за расходами, сколь они ни велики могли оказаться, князь бы, надо думать, не

постоял, желая любимого своего рыцаря избавить от страданий и вернуть ему счастье.

Володы,вский с немалым страхом шел к князю: будучи далеко не робкого десятка, он, однако, как огня боялся сурового взгляда Иеремии. Каково же было изумление его и радость, когда князь, выслушав реляцию и поразмыслив над тем, что случилось, снял с пальца дорогой перстень и молвил:

– Выдержка ваша, милостивые судари, всяческой похвалы достойна: напади вы на него первыми, на сейме мог бы шум подняться со всеми пагубными отсюда последствиями. Если же княжна отыщется, Скшетуский по гроб жизни будет вам благодарен. До меня дошли слухи, любезный пан Володы,вский, будто, как иные языка за зубами, так ваша милость сабли в ножнах удержать не может, что само по себе заслуживает наказания. Но поскольку ты за своего друга дрался и перед лицом заправского рубаки не уронил чести нашего мундира, прими на память об этом дне сей перстень. Знал я, что ты хороший солдат и отменный фехтовальщик, но, похоже, лучших мастеров превосходишь.

– Он-то? – воскликнул Заглоба. – Да он самому черту с третьего выпада рога отрубит. Ежели ваша светлость когда-либо мне прикажет снести голову, прошу не поручать этого никому иному: от его руки, по крайней мере, прямиком на тот свет отправлюсь. Он Богуну надвое грудь разрубил, а потом еще дважды по мозгам проехал.

Князь питал слабость к добрым воякам и рыцарские подвиги ценил всего выше, поэтому усмехнулся довольно и спросил:

– А встречался тебе кто-нибудь, в сабельном бою столь же искусный?

– Только Скшетуский однажды меня поцарапал, но и я в долгу не остался

– это когда твоя княжеская милость нас обоих под замок посадить изволил; а из прочих, возможно, мне бы не уступил пан Подбипытка, потому как силой обладает сверхчеловеческой, и, пожалуй что, еще Кушель, будь у него глаз поострее.

– Не верь ему, ваша светлость, – сказал Заглоба, – никто против него устоять не может.

– А долго Богун держался?

– Да уж, тяжеленько мне с ним пришлось, – ответил Володы,вский. – Он и левой рукой умел не хуже правой.

– Богун сам мне рассказывал, – вмешался Заглоба, – что для сноровки целыми днями с Курцевичами рубился, да и я видел в Чигирине, как он управлялся с другими молодцами.

– Знаешь что, – с деланною серьезностью обратился к маленькому рыцарю князь, – езжай-ка ты, сударь, в Замостье, вызови на поединок Хмельницкого и одним махом освободи Речь Посполитую от всех бед и напастей.

– Только прикажи, ваша светлость, тотчас и поеду, лишь бы Хмельницкий не отказался, – ответил Володы,вский.

А князь между тем продолжал:

– Мы шутим, а мир на глазах гибнет! Но в Замостье, любезные судари, вам и впрямь поехать придется. Я получил известие из казацкого стана, будто, едва огласят об избрании королем Казимира, Хмельницкий снимет осаду и уйдет на Русь, и поступит так из подлинного либо притворного к его величеству уважения, а возможно потому, что под Замостью его силу нам легко сломить. Посему отправляйтесь и уведомьте Скшетуского о случившемся

– пусть на поиски княжны едет. Скажите ему, чтобы из моих хоругвей, оставленных при старосте валецком, отобрал столько людей, сколько для экспедиции будет потребно. Впрочем, я ему через вас пошлю разрешение на отпуск и письмо дам, ибо от всего сердца желаю, чтобы счастье наконец ему улыбнулось.

– Твоя светлость нам всем как отец родной, – сказал Володы,вский, – и мы тебе до гробовой доски верой и правдой служить будем.

– Не знаю, не придется ли вскоре всем, кто мне служит, пояса затянуть, – заметил князь, – ежели мои заднепровские имения разграблены будут. Но покамест все, что мое, – ваше.

– И наши состояния, хоть и мелкопоместны мы, всегда в твоём распоряжении! – воскликнул пан Михал.

– И мое в том числе! – добавил Заглоба.

– Пока в этом нет нужды, – ласково ответил князь. – Надеюсь, если я последнее потеряю, Речь Посполитая хотя бы детей моих не оставит.

Князя, видимо, в ту минуту осенило прозрение. В самом деле, немногим более десяти лет спустя Речь Посполитая отдала его единственному сыну лучшее, что имела, – корону, но покамест Иеремии и впрямь грозила потеря всего огромного состояния.

– Ловко отделались! – сказал Заглоба, когда они с Володы,вским вышли от князя. – А ты еще и повышение получишь, уж будь уверен. Ну-ка, покажи перстень. Ого! Да ему не меньше ста червонцев цена – больно уж хорош камень. Спроси завтра на базаре у какого-нибудь армянина. При таких деньгах ешь-пей вволю, да и прочие радости доступны. Что скажешь, а, пан Михал? Слышал солдатскую поговорку: «Вчера жил, завтра сгнил!» Смысл-то ее каков: живи сегодняшним днем, а вперед заглядывать не старайся. Коротка жизнь человеческая, ох, коротка, пан Михал. Главное, ты теперь крепко князю запал в душу. Он бы дорого дал, чтоб Скшетускому голову Богунову презентовать, а ты взял да преподнес на блюде. Жди теперь великих милостей, уж поверь моему нюху. Мало ли князь рыцарям в пожизненное владение деревень роздал, а то и подарил навечно? Что твой перстень! И тебе должно кой-чего перепасть, а там, того гляди, князь какую свою сродственницу отдаст тебе в жены.

Володы,вский так и подпрыгнул.

– Откуда тебе, сударь, известно...

– Что известно?

– Я хотел сказать: что это вашей милости в голову взбрело? Разве такое возможно?

– А почему бы и нет? Иль ты не шляхтич? Или шляхтич шляхтичу неровня? Мало, что ли, у магнатов родни среди шляхты? А сколько барышень из своих домов они выдавали за достойнейших своих придворных? Кажется, и Суффчинский из Сенчи на дальней родственнице Вишневецких женат. Все мы братья, пан Михал, да-да, братья, хоть и одни другим служим, ибо все потомки Яфета, и отличие лишь в том, у кого какая должность да состояние, а это дело наживное, сам знаешь. Говорят, в других местах больше делается между шляхтичами различий, но там и шляхта доброго слова не стоит! Я понимаю, собаки промеж собою разнятся: легавые вислоухи, борзые поджары, гончие голосом берут, но мы как-никак не собачьего племени все же, шляхте такое не пристало – упаси бог благородное наше сословие от эдакого позора!

– Оно верно, – согласился Володы,вский, – но ведь Вишневецкие чуть ли не королевский род.

– А ты разве не можешь королем быть избран? Да вздумайся мне, я бы первый за тебя подпись поставил: вон пан Зигмунт Скаршевский клянется, что за самого себя подаст голос, если только не заиграется в кости. Все у нас, слава богу, решается *in liberis suffragiis*³¹, и лишь бедность наша, а не происхождение нам помехой.

– То-то и оно! – вздохнул пан Михал.

– Что поделаешь! Кто виноват, что нас ограбили подчистую? Того и гляди, протянем ноги; если Речь Посполитая не измыслит способа нас поддержать – погибнем всеу! И не диво, что самого наивоздержаннейшего по натуре своей человека в таковых обстоятельствах потянет к рюмке. Кстати, а не пойти ли нам, пан Михал, по стаканчику винца пропустить – может, на душе повеселей станет?

Так беседуя, они дошли до Старого Мяста и завернули в винный погребок, где у входа толпилось десятка полтора челядинцев, охранявших хозяйские шубы и бурки. Там, усевшись за стол и велев подать себе штоф, друзья стали совещаться, что теперь, после гибели Богуна, делать.

– Ежели Хмельницкий и вправду от Замостья отступит и настанет мир, княжна, почитай, наша, – говорил Заглоба.

– Надо спешить к Скшетускому. Теперь уж мы от него ни на шаг, покуда девушки не отыщем.

– Ясно, вместе поедем. Но сейчас-то до Замостья никак не добраться.

– Что ж, обождем, лишь бы впредь господь милостью своей не оставил.

Заглоба залпом осушил чарку.

– Не оставит! – сказал он. – Знаешь, что я тебе скажу, пан Михал?

³¹ в свободном голосовании (лат.).

– Что?

– Богун убит!

Володы,вский взглянул на приятеля с изумлением:

– Ба, кому ж, как не мне, об этом знать?

– Дай тебе бог здоровья! Ты знаешь, и я знаю. Я глядел, как вы бились, а теперь гляжу на тебя – и все равно непрестанно хочется повторять это себе снова, потому как нет-нет, а подумается: такое только во сне бывает! Ух, какой камень с плеч свалился! Ну и узел ты разрубил своею саблей! Черт бы тебя побрал – просто слов не хватает! Боже милостивый! Нет, не могу удержаться! Поди сюда, дозвожь себя еще раз обнять! Поверишь ли, я когда тебя впервые увидел, подумал: «Экий коротышка» А коротышка-то каков оказался – самого Богуна окоротил, не моргнувши глазом! Нет больше Богуна, и следа не осталось, прах один, убит насмерть, вечная ему память, аминь!

И Заглоба бросился обнимать и лобызать Володы,вского, а пан Михал, растрогавшись, уже и Богуна готов был пожалеть; наконец, высвободившись из объятий Заглобы, он сказал:

– Конца-то мы не дождались, а он живучий – ну, как оклемается?

– Побойся бога, что ты городишь, сударь! – вскричал Заглоба. – Я хоть завтра поеду в Липков и препышные похороны устрою, только бы помер.

– А какой толк ехать? Раненого ж ты добивать не станешь? Сабля – она не пуля: кто сразу дух не испустит, тот, глядишь, на ноги встанет. Сколько раз так бывало.

– Нет, это никак невозможно! Он ведь уже хрипеть начал, когда мы с тобой уезжали. Ой, нет, быть такого не может! Я ж ему сам перевязывал раны: видел, как грудь разворотило. Ты его выпотрошил, точно зайца. Ладно, хватит об этом. Наше дело поскорей со Скшетуским соединиться, помочь бедняге, утешить, покуда он вконец от тоски не извелся.

– Либо в монастырь не ушел; он мне сам говорил об этом.

– И не диво. Я бы на его месте поступил точно так же. Да, не встречалось мне рыцаря доблестнее его, но и несчастнее не встречалось. Тяжкие, ой, тяжкие ему господь послал испытанья!..

– Перестань, ваша милость, – попросил слегка захмелевший Володы,вский, – а то у меня слезы на глаза набегают.

– А у меня? – отвечал Заглоба. – Благороднейшая душа, а какой воин... Да и она! Ты ее не знаешь... ненаглядную мою девочку.

И завыл густым басом, потому что в самом деле очень любил Елену, а пан Михал вторил ему тенорочком – и пили они вино, перемешанное со слезами, а потом, понурясь, долго сидели в угрюмом молчанье, пока Заглоба кулаком по столу не грохнул.

– Чего это мы слезы льем, а, пан Михал? Богун-то убит!

– И верно, – ответил Володы,вский.

– Радоваться надо. Последние остолопы будем, если теперь ее не отыщем.

– Едем, – сказал, вставая, маленький рыцарь.

– Выпьем! – поправил его Заглоба. – Даст бог, еще деток ихних понесем к купели, а все почему? Потому что Богуна зарубили.

– Туда ему и дорога! – закончил Володы,вский, не заметив, что Заглоба уже разделяет с ним честь победы над атаманом.

Глава XIV

Наконец под сводами варшавского кафедрального собора прозвучало «Te Deum laudamus» и «Монарх восшел на царствие», зазвонили колокола, грянули пушки – и надежда вселилась в сердца. Пришел конец междуцарствию, времени смутному и тревожному, особенно тяжкому для Речи Посполитой, потому что было это время всеобщего краха. Те, кого дрожь пронимала при мысли о нависших над страной опасностях, теперь, когда выборы прошли с редким единодушьем, облегченно вздохнули. Многим казалось, что не знающая примеров междоусобица окончилась раз и навсегда и новому королю остается лишь предать правому суду виновных. Чаянья эти подкреплялись и поведением самого Хмельницкого. Казаки под Замостьем, продолжая ожесточенно штурмовать замок, тем не менее заявляли во

всеуслышание, что поддерживают Яна Казимира. Хмельницкий через посредство ксендза Гунцеля Мокрского слал его величеству верноподданные письма, а с иными посланцами – нижайшие просьбы оказать милость ему и запорожскому войску. Известно также было, что король, следуя политике канцлера Оссолинского, намерен сделать казачеству немалые уступки. Как некогда, до разгрома под Пилявцами, все говорили только о войне, так теперь слово «мир» не сходило с уст. Блеснула надежда, что после полосы бедствий наступит долгожданная передышка и новый монарх залечит раны отечества.

Наконец к Хмельницкому с письмом от короля был отправлен Смяровский, и вскоре разнеслась радостная весть, будто казаки, сняв осаду с Замостья, отступают на Украину, где будут спокойно ожидать королевских распоряжений и решения комиссии, которая должна заняться рассмотрением их претензий. Казалось, гроза пронеслась, и над страной, предвещая тишину и покой, засияла семицветная радуга.

Не было, правда, недостатка в дурных приметах и предсказаниях, однако среди наставшего благоденствия они оставались без внимания. Король отправился в Ченстохову, чтобы первым делом поблагодарить небесную заступницу за избрание на престол иверить себя дальнейшему ее попечению, а оттуда поехал на коронацию в Краков. За ним последовали сановники.

Варшава опустела, в ней остались только *exules*³² с Руси, те, кто еще не смел возвращаться в свои разграбленные имения, либо те, которым возвращаться было незачем.

Князю Иеремии, как сенатору Речи Посполитой, надлежало сопровождать короля в Краков. Володы,вский же и Заглоба с одной драгунской хоругвью двинулись скорым маршем в Замостье, к Скшетускому, спеша порадовать друга известием об участии, постигшей Богуна, и затем вместе с ним пуститься на поиски княжны.

Заглоба покидал Варшаву не без некоторого сожаленья, ибо среди съехавшейся туда без счету шляхты, в предвыборной кутерьме, будучи непременным участником вечных пирушек и драк, которые они с Володы,вским затевали, чувствовал себя как рыба в воде. Однако он утешался мыслью, что возвращается к жизни деятельной, сулящей новые приключения и возможности для хитроумных затей, в чем обещал себе не отказывать; к тому же у него имелось свое суждение об опасностях столичной жизни, которое он и выложил другу.

– Конечно, мы с тобой, пан Михал, – говорил он, – премного отличились в Варшаве, однако сохрани нас бог задержаться долее, да-да, поверь, тут обабишься в два счета, как пресловутый карфагенянин, что от сладкого воздуха Капуи вконец ослаб. А от прекрасного пола и вовсе надобно бежать без оглядки. Кого хочешь до гибели доведут, потому как, заметь себе, ничего нет на свете коварней ихней сестры. Стареешь, а все равно тянет...

– Это ты брось, сударь! – перебил его Володы,вский.

– Да я сам себе частенько твержу, что пора бы уgomониться, только кровь у меня еще горяча чрезвычайно. Ты у нас флегма, а во мне бес сидит. Впрочем, хватит об этом. Начинаем новую жизнь. Со мной не раз уже бывало такое: нет-нет, а на войну потянет. Хоругвь у нас – лучше желать не надо, а под Замостью еще разбойничают мятежные шайки: даст бог, в пути не будет скучно. И Скшетуского наконец увидим, и великана нашего, журавля литовского, жердь долговязую Лонгина – с этим, почитай, сто лет не видались.

– Никак, ты, сударь, соскучился, а ведь житья ему не дашь, когда доведется встретиться.

– Да с ним говорить мученье сущее: мычит, а не телится, слова не вытянешь толком. Весь ум из башки в кулаки ушел. Не дай бог обнимет – без ребер останешься, зато самого любой младенец шутя обведет вокруг пальца.

Слыханное ли дело, чтобы человек с таким состояньем такой был *hebes*?³³

– Неужто он и вправду столь богат?

– Он-то? Да у него, когда мы познакомились, пояс был так набит, что и не опояшешься: он его точно копченую колбасу таскал. Точно палку – бери да размахивай, не погнется. Сам мне

³² беглецы, беженцы (лат.)

³³ тупой (лат.).

рассказывал, сколько у него деревень: Мышикишки, П.,сикишки, Пигвишки, Сырутяны, Чапутяны, Капустяны (недаром у хозяина-то башка капустная!), Балтупы – всех языческих названий и не упомнишь! Полповета его. Знатнее во всей Литве не сыскать рода.

– Эх, это ты чересчур хватил!

– Нисколько даже. Я лишь то повторяю, что от него слыхал, а он в жизни своей не сказал слова неправды – чтобы соврать, тоже ум нужен.

– Ну, быть нашей Анусе знатной барыней! А вот касательно ума его я с тобой никак не могу согласиться. Человек он степенный и весьма рассудительный: при случае никто лучше не даст совета, а не шибко красноречив – что поделать. Не всякого господь наградил таким острым языком, как вашу милость. Да чего говорить! Светлая он душа и доблестный рыцарь, а лучшее тому доказательство, что ты сам его любишь и радуешься, что свидитесь вскоре.

– Наказанье божье, вот кто он! – пробурчал Заглоба. – А радуюсь я в предвкушении, как Анусей его допекать стану.

– Вот этого я тебе не советую делать – опасно. Сколь он ни кроток, а тут легко может из себя выйти.

– И хорошо бы! Вот когда я ему, как Дунчевскому, обрублю уши.

– Ой, не надо. Врагу не пожелаю с ним связываться.

– Ладно, только б его увидеть!

Последнее пожелание Заглобы исполнилось скорее, нежели он мог думать. Доехав до Конской Воли, Володы,,вский решил устроить привал, поскольку лошади совсем притомились. Велико же было изумление друзей, когда, войдя на постоялом дворе в темные сени, они в первом же встречном шляхтиче узнали Лонгинуса Подбипятку.

– Сколько лет, сколько зим! Как живешь-можешь! – вскричал Заглоба. – Неужто из Замостья целехонек унес ноги?

Подбипятка бросился обнимать и целовать обоих.

– Вот так встреча! – радостно повторял он.

– Куда путь держишь? – спросил Володы,,вский.

– В Варшаву, к его светлости князю.

– Князя в Варшаве нет. Он поехал с королем в Краков, будет на коронации перед ним державу нести.

– А меня пан Вейгер в Варшаву с письмом послал: велено узнать, куда княжьи полкам идти, – в Замостье в них, слава всевышнему, нужды больше нету.

– Тем паче незачем тебе ехать: мы как раз везем надлежащие распоряженья.

Пан Лонгинус помрачнел. Он всей душой стремился ко двору князя, надеясь повидать его придворных и в особенности некую маленькую особу.

Заглоба многозначительно подмигнул Володы,,вскому.

– Ой нет, поеду я в Краков, – молвил литвин, немного поразмыслив. – Раз приказано отдать письмо, я его отдам.

– Пошли в дом, велим согреть себе пива, – сказал Заглоба.

– А вы куда едете? – спросил по дороге пан Лонгинус.

– В Замостье, к Скшетускому.

– Нету его в Замостье.

– Вот те на! А где он?

– Где-то под Хорошином, разбойные громит ватаги. Хмельницкий отступил, но полковники его все на пути огню предают, грабят и убивают. Староста валецкий Якуба Реговского послал, чтобы он их поутишил.

– И Скшетуский с ним?

– В тех же краях, да они поврозь держатся, потому что великое затеяли соревнованье, о чем я вашим милостям потом расскажу.

Между тем они вошли в комнату. Заглоба велел подогреть три гарнца пива и, приблизясь к столу, за который уже уселись Володы,,вский с паном Лонгином, молвил:

– А ведь тебе, любезнейший пан Подбипятка, неведома главная счастливая новость: мы с паном Михалом Богуна насмерть зарубили.

Литвин так и подскочил на месте.

– Братцы вы мои родненькие, неужто возможно такое?

– Чтоб нам не сойти с этого места.

– И вы вдвоем его зарубили?

– Так точно.

– Вот это новость! Ах ты, господи! – воскликнул литвин, всплеснув руками. – Вдвоем, говоришь? Как же это – вдвоем?

– А вот так: сначала я его разными хитростями нас вызвать заставил, – смекаешь? – а потом пан Михал первый вышел на поле и разделал его под орех, в куски – как пасхального поросенка, как жареного каплуна – изрезал. Понятно, теперь, любезный?

– Так тебе, сударь, не пришлось с ним схватиться?

– Нет, вы только на него поглядите! – воскликнул Заглоба. – Пиявки ты, что ль, себе приказывал ставить и от потери крови ума лишился? Что ж я, по-твоему, с покойником должен был драться или лежащего добивать?

– Ты же сам сказал, сударь, что вы вдвоем его зарубили.

Заглоба пожал плечами.

– Нет, с этим человеком никакого терпенья не хватит! Ну, скажи, пан Михал, разве Богун не обоих нас вызвал?

– Обоих, – подтвердил Володы,вский.

– Теперь, сударь, понял?

– Будь по-твоему, – ответил Лонгинус. – А пан Скшетуский искал Богуну под Замостьем, но его там уже не было.

– Скшетуский его искал?

– Придется, видно, вам, любезные судари, все рассказать ab ovo, – молвил пан Лонгинус. – Когда вы уехали в Варшаву, мы, как знаете, остались в Замостье. Казаки не заставили себя долго ждать. Несметная рать пришла из-под Львова, со стены всех не можно было окинуть глазом. Но князь наш так укрепил Замостье, что они и два года бы под ним простояли. Мы думали, они штурмовать не решатся, и весьма по сему поводу горевали – каждый в душе предвкушал радость победы. Я же, поскольку с казаками и татары были, возымел надежду, что господь милосердный теперь мне в моих трех головах не откажет...

– Ты б одну толковую у него попросил лучше, – перебил его Заглоба.

– Ваша милость опять за свое!.. Слухать гадко, – сказал литвин. – Мы думали, они штурмовать не станут, а они, как одержимые, тотчас взялись строить осадные машины и на приступ! Потом уже известно стало, что Хмельницкий тому противился, но Чарнота, обозный их, накинулся на него, начал кричать, что тот трусил, с ляхами замыслил брататься, ну Хмельницкий и дал согласие и первым послал в бой Чарноту. Что творилось, братушки, передать невозможно. Свет померк за огнем и дымом. Начали они смело, засыпали ров, полезли на стены, но мы им такого задали жару, что они от стен врассыпную и машины свои побросали. Тогда мы в четыре хоругви поскакали вдогонку и половину перерезали как баранов.

– Эх! Жаль, меня не было на той гулянке! – воскликнул Володы,вский, потирая руки.

– И я бы там пригодился, – уверенно произнес Заглоба.

– А больше всех, – продолжал литвин, – отличились Скшетуский и Якуб Реговский: оба достойные кавалеры, но весьма взаимно нерасположенные. А уж пан Реговский и вовсе волком глядел на Скшетуского и непременно нашел бы предлог его вызвать, не запрети пан Вейгер поединков под страхом смерти. Мы сперва не понимали, в чем тут причина, пока не узнали случайно, что пан Реговский в родстве с паном Лащем, которого князь из-за Скшетуского, как помните, из лагеря выгнал. С тех пор Реговский затаил злобу на князя, да и на нас на всех, а поручика особенно невзлюбил, вот и началось меж них состязанье, и оба во время осады великую снискали славу, потому что один другого всячески превзойти старался. Оба были первыми и в вылазках, и на стенах, покуда Хмельницкому не надоело штурмовать крепость и не начал он регулярной осады, то и дело на хитрости пускаясь, чтобы с их помощью захватить город.

– Он больше всего рассчитывает на свое хитроумие! – заметил Заглоба.

– Безумец он и вдобавок obscurus³⁴, – продолжал свой рассказ Подбипятка, – думал, пан Вейгер – немец, видно, не слыхал о воеводах поморских этой же фамилии, вот и написал письмо в надежде старосту, как чужеземца и наемника, склонить к измене. Ну, пан Вейгер ему и отписал, что да как; не того, объяснил, искушаешь. И письмо это, чтобы цену свою показать, пожелал непременно с кем-нибудь посолидней, нежели трубач, отправить, но охотников среди товарищества не сыскалось – кто по доброй воле на верную гибель к дикому зверю полезет в пасть? Иные ниже своего достоинства идти посчитали, а я вызвался. И тут-то послушайте, сейчас самое интересное начнется...

– Слушаем со вниманием, – промолвили оба друга.

– Приехал я туда, а гетман пьяный. Принял меня язвительно, а когда письмо прочитал, и вовсе булавой стал грозиться – я же, вверив смиренно господу душу, так себе думаю: пусть только тронет, я ему голову кулаком размозжу. Что еще было делать, милые братушки, скажите?

– Весьма достойная мысль, сударь, – ответил, умился, Заглоба.

– Полковники, правда, унять его пытались и ко мне близко не подпускали, – продолжал пан Лонгинус, – а более всех один молодой старался, смелый: обхватит его и от меня оттаскивает да приговаривает: «Не лезь, батьку, ты пьяный». Глянул я: кто ж это меня защищает, что за смельчак такой, с самим Хмельницким запанибрата? А это Богун.

– Богун? – воскликнули разом Заглоба и Володы,вский.

– Он самый. Я его узнал, потому как в Разлогах однажды видел – и он меня тоже. Слышу, шепчет Хмельницкому: «Это мой знакомый». А Хмельницкий – у пьянчуг, известно, суд скорый – и отвечает: «Коли он твой знакомый, сынок, отсчитай ему пятьдесят талеров, а я ответ дам». И дал ответ, а касательно талеров я, чтобы не дразнить зверя, сказал, пусть для своих гайдуков побережет, не к лицу офицеру принимать подачки. Проводили меня из шатра весьма учтиво, но не успел я выйти, Богун подходит. «Мы, говорит, встречались в Разлогах». – «Верно, говорю, только не думал я тогда, братец, в этом лагере тебя увидеть». А он на это: «Не по своей воле я здесь, беда пригнала!» Слово за слово, и я припомнил, как мы его под Ярмолинцами разбили. «Не знал я тогда, с кем дело имею, – отвечает он мне,

– да и в руку был ранен, и люди мои переполошились насмерть: думали, на них напал сам князь Ярема». – «И мы не знали, говорю, знай пан Скшетуский, что это ты, один бы из вас уже не жил на свете».

– Воистину так бы оно и было. Ну, а он что ответил? – спросил Володы,вский.

– Смешался премного и перевел разговор на другое. Стал рассказывать, как Кривonos отправил его с письмами подо Львов к Хмельницкому, чтобы он там передохнул, но гетман не захотел его отпускать, задумав, как особу представительную, посланником своим сделать. А под конец полюбопытствовал: «Где пан Скшетуский?» Когда же услышал, что в Замостье, сказал: «Может, и повстречаемся». На том мы с ним и простились.

– Догадываюсь, что потом Хмельницкий сразу же его послал в Варшаву, – сказал Заглоба.

– Истинно так, однако погоди, сударь. Вернулся я тогда в крепость и доложил пану Вейгеру о своем посольстве. Время было уже позднее, а наутро новый штурм, еще страшней первого. Не получилось у меня увидеться с паном Скшетуским, лишь на третий день я ему рассказал, как Богуна встретил и о чем мы с ним говорили. А было при этом еще множество других офицеров и среди них пан Реговский. Послушал он меня и говорит Скшетускому с подковыркой: «Знаю, вы с ним девушку не поделили; ежели слава твоя и впрямь молвой не раздута, вызови Богуна на поединок, забияка этот тебе не откажет, уж будь уверен. А нам со стен великолепный представится prospectus³⁵. Только ведь вы, вишневичане, говорит, больше шумом богаты». Скшетуский на него как глянет – чуть взором не уложил на месте! «Вызвать советуешь? – спрашивает. – Что ж, прекрасно! Ты нас хулить изволишь, а у самого-то достанет отваги отправиться в лагерь к черни и от моего имени Богуна вызвать?» А Реговский ему:

³⁴ темный (лат.).

³⁵ вид (лат.).

«Отваги мне не занимать стать, да только я вашей милости ни сват ни брат и идти не намерен». Тут прочие его подняли на смех. «Ишь, говорят, храбрец, хорохорился, куда дело не дошло до собственной шкуры!» Реговский в амбицию: пойду, мол, и пойду, безо всяких. На следующий день и отправился, только Богуна уже отыскать не смог. Мы ему тогда не поверили, но теперь, после ваших слов, вижу, что не соврал он. Хмельницкий, стало быть, и вправду услал Богуна с письмом, а тут вы его и перехватили.

– Так оно и было, – подтвердил Володы,вский.

– Скажи-ка, сударь, – спросил Заглоба, – а где теперь может быть Скшетуский? Надо нам его отыскать, чтоб тотчас за княжною ехать!

– Под Замостьем вы все узнаете без труда, там его имя уже прогремело. Они с Реговским Калину, казацкого полковника, гоняя от одного к другому, наголову разбили. Потом Скшетуский в одиночку дважды татарские чамбулы погромил, Бурляя смял и еще несколько банд рассеял.

– Как же Хмельницкий допускает такое?

– Хмельницкий от них отступился, говорит, они бесчинствуют вопреки его приказам. Иначе б никто не поверил в его верность королю и смирение.

– Ох, и дрянь же пиво в этой Конской Воле! – заметил Заглоба.

– За Люблином поедете по разоренному краю, – продолжал пан Лонгинус,

– там и казацкие разъезды побывали, и татары всех поголовно брали в неволю, а скольких полонили под Замостьем и Грубешовом, одному лишь богу известно. Скшетуский уже не одну тысячу отбитых пленников отослал в крепость. Трудится в поте лица своего, не щадя ни сил, ни здоровья.

Тут пан Лонгинус вздохнул и задумчиво голову понурил, а помолчав, продолжал дальше:

– Думается мне, господь в высочайшем своем милосердии всенепременно пошлет Скшетускому утешенье и дарует то, в чем он свое счастье видит, ибо велики заслуги этого кавалера. В нынешние времена безнравственности и своекорыстия, когда всяк о себе только заботится, он про себя забыл и думать. Ведь давно мог получить согласие князя и на поиски княжны отправиться, так нет же, нет, братушки. Когда настала для отечества лихая година, ни на минуту не захотел оставить службы и, страдая в душе, непрестанно в трудах пребывает.

– Что и говорить, душа у него римлянина, – изрек Заглоба.

– Вот с кого пример брать должно.

– Особенно вашей милости, пан Подбипятка. Чем три головы искать, лучше бы поискал способ помочь отчизне.

– Господь видит, что в моем сердце творится! – молвил пан Лонгинус, возведя очи к небу.

– Скшетуского уже господь вознаградил Богуновой смертью и тем, что минуту покоя даровал Речи Посполитой, – сказал Заглоба, – самое время теперь нашему другу взяться за розыски своей потери.

– Вы с ним поедете? – спросил Подбипятка.

– А ты нет разве?

– Я бы рад всей душою, но что с письмами будет? Одно я от старосты валецкого его величеству королю везу, второе князю, а третье князю же от Скшетуского с просьбой дать ему отпуск.

– Позволение на отпуск у нас с собою.

– Ну, а другие-то письма я отвезти обязан...

– Придется тебе, сударь любезный, ехать в Краков, иначе никак не можно. По правде сказать, такие кулаки, как твои, в экспедиции за княжной весьма быгодились, но больше никакого от тебя проку не будет. Там постоянно ловчить придется и, скорее всего, за мужиков себя выдавать, нарядившись в казацкие свитки, а ты со своим ростом только зря глаза будешь мозолить, всяк тотчас спросит: а это что за верзила? Откуда таковой казак взялся? Да и говорить-то ты по-ихнему не умеешь толком. Нет, нет! Езжай себе в Краков, а мы уж как-нибудь справимся сами.

– И я так думаю, – сказал Володы,вский.

– Видно, так оно лучше всего будет, – ответил Подбипятка.

– Благослови вас господь, да не оставит он вас в своем милосердьи! А известно вам,

любезные судари, где спрятана княжна Елена?

– Богун не захотел сказать. Нам известно не больше того, что я подслушал в хлеву, куда он меня упрятал, но и это немало.

– Как же вы ее отыщете?

– Это уж предоставь мне! – сказал Заглоба. – Из горших выпутывался переделок. Пока же у нас забота одна – побыстрее разыскать Скшетуского.

– Поспрашивайте в Замостье. Вейгер должен знать: они связь поддерживают, и пленников Скшетуский ему отсылает. Помогай вам бог!

– И тебе тоже, – сказал Заглоба. – Будешь у князя в Кракове, поклонись от нас пану Харлампю.

– Это кто такой?

– Литвин один красоты невиданной, по которому все княгинины придворные девицы сохнут.

Пан Лонгинус вздрогнул.

– Ты шутишь, правда, сударь?

– Будь здоров, ваша милость! До чего все-таки дрянное в этой Конской Воле пиво, – подмигивая Володы, вскому, закончил Заглоба.

Глава XV

Итак, пан Лонгинус поехал в Краков с сердцем, пронзенным стрелой, а жестокий Заглоба с Володы, вским – в Замостье, где долее одного дня друзья не задержались, поскольку комендант, староста валецкий, сообщил им, что давно уже не имел от Скшетуского известий; по его предположению, поручик повел приданные ему полки к Збаражу, чтобы очистить край от лютовавших там банд. Это казалось тем более вероятным, что на Збараж, бывший собственностью Вишневецких, в первую очередь должны были посягнуть заклятые враги князя. Потому путь Володы, вскому и Заглобе предстоял долгий и многотрудный, но, так или иначе, в поисках княжны пройти его надлежало, а раньше или позже – значения не имело, так что они отправились в дорогу без промедленья. Останавливались лишь, чтобы передохнуть или разбить разбойную ватагу из тех, которые там и сям еще бродили.

Край, по которому они проезжали, так был разорен, что зачастую по целым дням им живой души не встречалось. Местечки лежали в развалинах, сожженные села опустели – жителей перебили или увели в неволю. Только трупы попадались по дороге, остовы домов, церквей, костелов, полусгоревшие хаты да собаки, воющие на пепелищах. Кто не погиб от руки татар или казаков, прятался в лесных чащобах и, не смея высунуть носу, умирал от холода и голода, не веря, что беда миновала. Лошадей Володы, вскому приходилось кормить древесной корою либо обуглившимся зерном, вырытым из-под спаленных амбаров. Однако вперед подвигались быстро, обходясь в основном припасами, которые отбирали у мятежных шаек. Был уже конец ноября, но, если минувшая зима, всем на удивление, вопреки заведенному в природе порядку, не принесла ни морозов, ни льда, ни снега, нынешняя обещала быть холоднее прошлых. Земля промерзла, поля уже покрылись снегом, и вода у берегов рек по утрам затягивалась ледяной коркою, прозрачной и хрупкой. Погода держалась сухая, бледные солнечные лучи лишь в полуденные часы слабо согревали мир, зато утрами и вечерами на небе полыхали багряные зори – верный знак зимы скорой и суровой.

Вслед за войною и голодом надвигался третий враг горемычного народа – холода, но люди ждали их с нетерпением: мороз был куда более серьезной помехой для военных действий, нежели любое перемирие. Володы, вский, человек опытный и Украину знающий как свои пять пальцев, пребывал в уверенности, что теперь поиски княжны непременно увенчаются успехом, ибо главное препятствие – война – не скоро возникнет снова.

– Не верю я в чистосердечность Хмельницкого, – говорил он Заглобе. – Чтобы этот хитрый лис из любви к королю отступил на Украину? Нет, не верю. Он знает, что казаки его немногого стоят, ежели нет возможности окопаться: будь их хоть впятеро больше, в чистом поле им против наших хоругвей не устоять. Сейчас они по зимовникам разойдутся, а стада свои в снега погонят. И татарам ясырей домой отвести надо. Выдастся морозная зима, до новой

травы будем жить в покое.

– А то и дольше: они все же короля почитают. Но нам так много времени и не понадобится. Даст бог, на масленицу сыграем свадьбу.

– Как бы нам с женихом не разминуться, а то опять выйдет проволочка.

– При нем три хоругви, это тебе не иголку в стогу искать. Может, еще под Збаражем нагоним, если он с гайдамаками не управится скоро.

– Нагнать не нагоним, но по дороге должны что-нибудь услышать, – ответил Володы,вский.

Однако не тут-то было. Крестьяне видели там и сям вооруженные отряды, слыхали об их стычках с разбойниками, но не могли сказать, чьи это были солдаты: с тем же успехом, что и Скшетуского, это могли быть хоругви Реговского, так что друзья по-прежнему оставались в неведении. Зато до них докатилась иная весть: казаки терпели от литовских войск неудачу за неудачей. Первые слухи об этом просочились в Варшаву перед самым отъездом Володы,вского, но тогда еще казались сомнительными, теперь же, обросши подробностями, разнеслись по всей стране, представляясь чистейшей правдой. За поражения коронных войск казакам Хмельницкого с лихвой отплатило литовское войско. Сложил голову Полумесяц – старый бывалый атаман, и лютый Небаба, и Кречовский, их обоих стоивший, тот самый Кречовский, который ни чинов не заслужил, ни отличий, ни старостою не стал, ни воеводой, а как бунтовщик на колу свои дни окончил. Казалось, сама Немезида пожелала отомстить ему за немецкую кровь, пролитую в Заднепровье, кровь Вернера и Флика, потому что попался он в руки не кому иному, как немцам из Радзивиллова войска и, тяжело раненный, изрешеченный пулями, был без промедленья посажен на кол, на котором, несчастный, корчился еще целый день, покуда черная его душа не отлетела. Таков был конец человека, который по храбрости своей и военным талантам мог бы стать вторым Стефаном Хмелецким, если бы, движимый неутолимой жаждой богатств и отличий, не пошел по пути измен, вероломства и страшных, кровавых бесчинств, достойных самого Кривоноса.

С ним, с Полумесяцем и Небабой еще тысяч двадцать молодцев полегли на бранном поле или утонули в болотистой пойме Припяти, и страх промчался ураганом над мятежной Украиной: во все сердца закралось предчувствие, что после триумфальных успехов, после побед под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами пришло время поражений, подобных разгромам под Солоницей и Кумейками, положившим конец предыдущим бунтам. Сам Хмельницкий, хоть и находился в зените славы и был сильнее, чем когда-либо прежде, испугался, узнав о смерти Кречовского, своего «друга», и снова бросился выпрашивать о будущем вешуний. Разное обещали гетману ворожеи – и новые большие войны, и поражения, и победы, – но ни одна не могла сказать, что его самого ожидает.

Между тем разгром Кречовского, да и близившаяся зима предвещали длительное затишье. Страна зализывала раны, опустелые веси заселялись, и помалу ободрялись сердца, до того снедаемые сомненьями и страхом.

Друзья наши, тоже приободрившиеся, после долгого и трудного путешествия благополучно прибыли в Збараж и, доложившись в замке, без промедления отправились к коменданту, которым, к немалому их изумлению, оказался Вершулл.

– А где Скшетуский? – едва поздоровавшись, спросил Заглоба.

– Нету его, – отвечал Вершулл.

– Ваша милость, стало быть, комендантом крепости назначен?

– Так точно. Взамен Скшетуского: он уехал, а мне вверил гарнизон до своего возвращения.

– А когда обещал вернуться?

– Ничего не сказал, сам не знал, видно, только попросил перед отъездом: «Если ко мне кто приедет, скажи, чтобы здесь дожидался».

Заглоба с Володы,вским переглянулись.

– Давно он уехал? – спросил маленький рыцарь.

– Десять дней как.

– Пан Михал, – сказал Заглоба, – хорошо бы, пан Вершулл ужином нас угостил – какой разговор на голодный желудок! За трапезой все и обсудим.

– Рад служить, любезные судари, я и сам как раз за стол собрался. Кстати сказать, командование переходит к пану Володы,вскому, как старшему по званию, так что я у него в гостях, а не он у меня.

– Оставайся начальствовать, пан Кшиштоф, – ответил Володы,вский, – ты годами старше, да и мне, верно, уехать придется.

Вскоре был подан ужин. Сели, поели. Заглоба, заморив червячка двумя мисками похлебки, обратился к Вершулл с вопросом:

– А не имеется ли у тебя, сударь, предположений, куда мог Скшетуский поехать?

Вершулл отослал челядинцев, прислуживавших за столом, и после некоторого размышления ответил:

– Предположения есть, но Скшетускому очень важно, чтобы тайна была сохранена, оттого я при людях и не стал ничего говорить. Нам тут, похоже, до весны без дела стоять, вот он и воспользовался благоприятным моментом и, как мне кажется, поехал на поиски княжны, которая у Богуна в неволе.

– Богуна уже нет на свете, – сказал Заглоба.

– Как так?

Заглоба в третий или четвертый раз поведал, как все случилось, – рассказ этот он повторял с неизменным удовольствием, – Вершулл же, подобно пану Лонгинусу, слушал и не мог надивиться, а потом заметил:

– Теперь все ж Скшетускому полегче будет.

– Оно так, да ведь ее еще отыскать нужно. Людей-то хоть он взял с собою?

– Никого не взял, с тремя лошадьми да с казачком-русином только поехал.

– И правильно сделал, там без хитростей не обойдешься. До Каменца еще так-сяк можно бы дойти с хоругвью, но в Ушице и Могилеве уж точно стоят казаки – там зимовники хорошие, а в Ямполье главное казацкое гнездовье – туда либо с целой дивизией идти, либо одному.

– А почему ваша милость полагает, что он именно в те края направился?

– спросил Вершулл.

– Потому, что она за Ямполем укрыта и ему об этом известно, но там сплошь овраги, буераки да непролазные заросли – даже если знать место, не вдруг отыщешь, а не зная и подавно! Я в Ягорлыке бывал, за лошадьми и судиться ездил. Вместе у нас дело бы, верно, пошло лучше, а как он там в одиночку – ох, не знаю, сомненье меня берет; разве что случай какой-нибудь дорогу подскажет, расспрашивать ведь, и то нельзя.

– Так вы хотели с ним вместе ехать?

– Хотели. Что теперь делать будем, а, пан Михал? Поедем следом иль не поедем?

– Предоставляю решать вашей милости.

– Хм! Десять дней, как уехал, – не догнать нам его, а главное, он велел здесь себя дожидаться. И бог весть, какой еще путь выбрал. Мог на Проскуров и Бар по старому тракту поехать, а мог и на Каменец-Подольский – не угадаешь.

– Не забудь, сударь, – сказал Вершулл, – это только мое предположение, что он за княжной поехал, а уверенности в том нет.

– Вот именно! – сказал Заглоба. – А вдруг он всего-навсего за языком отправился и вскоре вернется в Збараж, памятуя, что мы вместе идти собирались: сейчас бы ему нас ждать самое время. Ох, беда, не знаешь, что и придумать.

– Я б вам посоветовал подождать еще дней десять, – сказал Вершулл.

– Десять дней – ни то ни се: либо ждать, либо не ждать вовсе.

– Я думаю: не ждать; что мы теряем, если завтра же возьмем да поедем? Не найдет Скшетуский княжны, авось нам господь поможет, – сказал Володы,вский.

– Видишь ли, пан Михал, тут все до тонкостей предусмотреть нужно, – ответил Заглоба. – Ты по молодости лет приключений алчешь, а здесь есть еще опасность: как бы в тамошних жителях подозренье не пробудилось, отчего и Скшетуский, и мы вдруг сунулись в те края. Казаки народ хитрый и боятся, как бы ихние замыслы не открылись. Может, они на границе возле Хотина с местным пашой либо в Заднестровье с татарами переговоры насчет грядущей войны ведут – кто их знает! А уж за чужаками в оба глаза будут следить, в особенности ежели расспрашивать о дороге. Я их знаю. Выдать себя легко, а что дальше?

– Тогда тем скорее Скшетуский может в какую-нибудь передрагу попасть, тут наша помощь и потребуется.

– И это верно.

Заглоба так крепко задумался, что у него даже жилы на висках вздулись.

Наконец он очнулся и промолвил:

– Я все взвесил: надобно ехать.

Володы,,вский вздохнул облегченно.

– А когда?

– Отдохнем денька три, окрепнем душой и телом и поедем.

На следующий же день друзья принялись готовиться в дорогу, как вдруг накануне отъезда неожиданно объявился слуга Скшетуского, молоденький казачок Цыга, с вестями и письмами к Вершулле. Услыхав об этом, Заглоба с Володы,,вским поспешили к коменданту на квартиру и там прочли нижеследующее:

«Я нахожусь в Каменце, докуда сатановский тракт свободен. Еду в Ягорлык с купцами-армянами, с которыми свел меня пан Буковский. У них есть охранные грамоты от татар и казаков на свободный проезд до самого Аккермана. Поедем за шелками через Ушицу, Могилев и Ямполь. Останавливаться будем везде, где только живые есть люди. Даст бог, найдем то, что ищем. Товарищам моим, пану Володы,,вскому и пану Заглобе, скажи, чтобы в Збараже меня дожидались, ежели им других дел не найдется, ибо туда, куда я собрался, скопом никак нельзя ехать: казаки, что зимуют в Ямполье и лошадей в снегах держать, на берегах Днестра, вплоть до Ягорлыка, всякого заподозрить готовы. Чего я сам не сделаю, того бы мы и втроем не свершили, да и за армянина я сойду скорее. От души поблагодари их, пан Кшиштоф, за готовность помочь мне, чего я до гробовой доски не забуду, но ждать долее неумоготу было – каждый день новые приносил мученья, – да и прибудут ли они, я не мог знать наверно, а сейчас наилучшая пора ехать: все купцы отправляются за сладостями и шелками. Верного казачка своего отсылаю обратно, твоим поручая заботам, мне он ни к чему, только и опасаясь, как бы по неопытности не сболтнул лишнего. Пан Буковский за порядочность этих купцов ручается, да и мне они опасения не внушают. Верю: все во власти господя, пожелает он – явит нам свою милость и мучения сократит, аминь».

Заглоба, закончив чтение письма, поднял глаза на своих товарищей, но те молчали. Наконец Вершулла сказал:

– Я знал, что он в те края поехал.

– А нам что теперь делать? – спросил Володы,,вский.

– Ничего! – ответил, разводя руками, Заглоба. – Нет нам резону ехать. Что он к купцам пристал, это хорошо: заглядывай куда хочешь, никто удивляться не станет. Нынче в каждой хате, на каждом хуторе найдется, что купить; мятежники ведь разграбили половину Речи Посполитой. А нам с тобой, пан Михал, тяжеленько было бы в Ямполь добираться. Скшетуский черняв, как валах, ему легко за армянина сойти, а тебя твои пшеничные усики тотчас бы выдали. И в мужицком платье было б не проще... Благослови его, господь! А нам с тобой там, должен признаться, нечего делать – хоть и обидно, что нельзя руки приложить к освобождению нашей бедняжки. Зато, зарубив Богуна, мы Скшетускому оказали большую услугу: будь жив атаман, я бы за голову пана Яна не поручился.

Володы,,вский недовольно нахмурился. Он предвкушал уже путешествие, полное приключений, а вместо этого впереди замаячило долгое и тоскливое пребыванье в Збараже.

– Может, нам хоть в Каменец перебраться? – сказал он.

– А что там делать и на что жить будем? – отвечал Заглоба. – Не все ли равно, где штаны просиживать. Нет, надобно ждать, запасаясь терпением: такое путешествие может затянуться надолго. Человек молод, пока ноги переставляет, – тут Заглоба уныло повесил голову, – а в безделье стареет, однако иного выхода я не вижу... Даст бог, друг наш без нас обойдется. Завтра закажем молебен, попросим, чтоб ему всевышний послал удачу. Главное, что мы с его пути Богуна убрали. Будем ждать – вели расседлывать лошадей, пан Михал.

И настали для двух приятелей долгие, похожие один на другой дни ожидания, которые ни попойками, ни игрою в кости не удавалось скрасить, и тянулись бесконечно. Тем временем наступила суровая зима. Снег толщиной в локоть, точно саван, покрыл крепостные стены и все

окрестности Збаража, зверье и птицы перебрались поближе к человеческому жилью. С утра до вечера не смолкало карканье бесчисленных вороньих стай. Прошел декабрь, за ним январь и февраль – о Скшетуском не было ни слуху ни духу.

Володыжский ездил искать приключений в Тарнополь, Заглоба помрачнел и говорил, что стареет.

Глава XVI

Комиссары, высланные Речью Посполитой на переговоры с Хмельницким, с величайшими затруднениями добрались наконец до Новоселок, где и остановились, ожидая ответа от гетмана-победителя, находившегося в ту пору в Чигирине. Они пребывали в унынии и печали, так как всю дорогу были на волосок от смерти, а трудности на каждом шагу умножались. И днем и ночью их окружали толпы вконец одичалой от войны и резни черни, кричавшей: «Смерть комиссарам!» То и дело на пути встречались безначальные ватаги разбойников и диких чабанов, слыхом не слыхавших о правах и законах, зато жаждущих добычи и крови. Комиссаров, правда, сопровождал сотня конвоя под командой Брышовского, кроме того, сам Хмельницкий, предвидя, каково им может прийти, прислал своего полковника Донца с четырьмя сотнями казаков. Однако и такое охранение весьма было ненадежно: дикие толпы час от часу множились и зверели. Стоило кому-нибудь из конвойных или челяди на минуту отделиться от остальных, и человек тот пропадал бесследно. Послы были точно жалкая кучка путников, окруженная стаей голодных волков. Так проходили дни и недели, а на ночлеге в Новоселках всем и вовсе стало казаться, что пробили последний час. Драгунский конвой и отряд Донца с вечера в самом настоящем бою отстаивали жизнь комиссаров, а те, шепча отходную молитву, препоручали свои души богу. Кармелит Лентовский всем поочередно отпускал прегрешенья, а ветер стучал в окна, из-за которых доносились жуткие вопли, отзвуки выстрелов, сатанинский хохот, звяканье кос, возгласы: «На погибель!» и требования выдать воеводу Киселя, который был особенно ненавистен черни.

Страшная то была ночь и долгая, как всякая ночь зимою. Воевода Кисель, подперев голову рукой, несколько часов уже сидел неподвижно. Не смерти боялся он, ибо со времени отъезда из Гуци настолько устал и обессилел, так был бессонницею истерзан, что смерть встретил бы с распростертыми объятьями, – нет, душу его снедало беспредельное отчаянье. Ведь не кто иной, как он, чистокровный русин, первый вызвался на роль миротворца в этой беспримерной войне. Он выступал везде и всюду, в сенате и на сейме, как самый ярый сторонник трактатов, он поддерживал политику канцлера и примаса и горячее других осуждал Иеремию, будучи искренне убежден, что действует во благо казачества и Речи Посполитой. Всей своей пылкой душою верил он, что переговоры, уступки всех умиротворят, исцелят, успокоят, – и именно сейчас, в эту долгожданную минуту, везя Хмельницкому булаву, а казачеству согласие на уступки, усомнился во всем: увидел явственно тщетность своих усилий, узрел под ногами зияющую пустотой бездну.

«Неужто им ничего, кроме крови, не надо? Неужто не нужны никакие свободы, кроме свободы жечь и грабить?» – думал в отчаянии воевода, сдерживая разрывавшие его благородную грудь стоны.

– Голову Киселеву! Голову Киселеву! На погибель! – кричала толпа.

Воевода без колебаний принес бы им в дар свою всклокоченную белоснежную голову, если б не последние крупницы веры, что и черни этой, и всему казачеству потребно нечто другое, большее – а иначе не будет ни им, ни Речи Посполитой спасенья. Да откроет им на это глаза грядущий день!

И когда он думал так, проблеск подкрепляющей дух надежды рассеивал на мгновение мрак, порожденный отчаянием, и несчастный старец принимался себя уговаривать, что чернь – это еще не все казачество и не Хмельницкий с его полковниками и, быть может, все-таки начнутся переговоры.

Но много ли от них будет проку, пока полмиллиона мужиков не сложили оружия? Не растает ли согласие с первым дуновением весны, подобно снегам, что ныне покрывают степь?..

И в который уж раз вспоминались воеводе слова Иеремии: «Милость можно оказать лишь

побежденным», – и мысль его снова погружалась во тьму, а под ногами разверзалась пропасть.

Меж тем перевалило за полночь. Крики и пальба несколько поутихли, зато вой ветра усилился, на дворе бушевала снежная буря, уставшие толпы, видно, начали расходиться по домам, и у комиссаров немного отлегло от сердца.

Войцех Мясковский, львовский подкоморий, поднялся со скамьи, послушал у окна, занесенного снегом, и молвил:

– Видится мне, с божьей помощью еще доживем до завтра.

– Может, и Хмельницкий пришлет подмогу – с этим охранением нам не дойти, – заметил Смяровский.

Зеленский, подचाший брацлавский, усмехнулся горько:

– Кто скажет, что мы посланцы мира!

– Случалось мне, и не раз, посольствовать у татар, – сказал новогрудский хорунжий, – но такого я в жизни не видывал. В нашем лице Речь Посполитая злее унижена, нежели под Корсунем и Пилявцами. Оттого я и говорю: поехали, милостивые господа, обратно, о переговорах нечего и думать.

– Поехали, – как эхо повторил каштелян киевский Бжозовский. – Не суждено быть миру – пусть будет война.

Кисель поднял веки и упер остекленелый взгляд в каштеляна.

– Желтые Воды, Корсунь, Пилявцы! – глухо проговорил старец.

И умолк, а за ним умолкли и остальные – лишь Кульчинский, киевский скарбничий, начал громко молиться, а ловчий Кшетовский, схватясь руками за голову, повторял:

– Что за времена! Что за времена! Смилуйся над нами, боже.

Вдруг дверь распахнулась, и в горницу вошел Брышовский, капитан драгун епископа познанского, командовавший конвоем.

– Ясновельможный воевода, – доложил он, – какой-то казак хочет видеть панов комиссаров.

– Пусть войдет, – ответил Кисель. – А чернь разошлась?

– Ушли. К завтраму посулили вернуться.

– Очень буйствовали?

– Страшно как, но Донцовы казаки положили человек пятнадцать. Завтра обещаются нас спалить живыми.

– Ладно, зови этого казака.

Минуту спустя дверь отворилась, и на пороге стал высокий человек, заросший черной бородою.

– Ты кто таков? – спросил Кисель.

– Ян Скшетуский, гусарский поручик князя русского воеводы.

Каштелян Бжозовский, Кульчинский и ловчий Кшетовский повскакали со скамей. Все они прошлый год были с князем под Староконстантиновом и Махновкой и прекрасно знали пана Яна; Кшетовский даже ему приходился свойственником.

– Правда! Правда! Да это же Скшетуский! – повторяли они в один голос.

– Что ты здесь делаешь? Как смог до нас добраться? – спрашивал, обнимая его, Кшетовский.

– В крестьянском платье, как видите, – отвечал Скшетуский.

– Ваша милость, – воскликнул, обращаясь к Киселю, каштелян Бжозовский, – это самый доблестный рыцарь из хоругви русского воеводы, прославленный среди всего войска.

– Рад душевно его приветствовать, – сказал Кисель, – поистине недюжинной отвагой обладать нужно, чтобы к нам пробиться.

И затем обратился к Скшетускому:

– Чего ты от нас хочешь?

– Дозволь с вами идти, ваша милость.

– Дракону в пасть лезешь... Впрочем, ежели такова твоя воля, мы противиться не вправе.

Скшетуский молча поклонился.

Кисель смотрел на него с удивлением.

Строгое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбным выражением.

– Скажи, сударь, – промолвил он, – какие причины толкнули тебя в это пекло, куда не сунется никто по доброй воле?

– Несчастье, ясновельможный пан воевода.

– Напрасно я спросил, – сказал Кисель. – Видно, ты потерял кого-то из близких и теперь на поиски едешь?

– Именно так.

– А давно это приключилось?

– Прошлой весною.

– Как? И ваша милость сейчас только ехать собрался! Ведь без малого год прошел! Что же ты до сих пор, любезный сударь, делал?

– Воевал под знаменами русского воеводы.

– Неужто благородный сей вождь тебя не пожелал отпустить?

– Я сам не хотел.

Кисель снова взглянул на молодого рыцаря, после чего настало молчание, которое было прервано киевским каштеляном:

– Все мы, кто с князем служил, наслышаны о несчастьях этого рыцаря и не одну слезу пролили из сочувствия ему, а что он предпочел, покуда война шла, отечеству служить, а не о своем благе печясь, достойно еще большего одобренья. Редкостный по нынешним временам пример.

– Если окажется, что мое слово для Хмельницкого хоть что-нибудь значит, поверь, сударь, я не премину его за тебя замолвить, – сказал Кисель.

Скшетуский опять поклонился.

– А теперь иди отдыхай, – ласково сказал воевода, – ты, верно, утомлен изрядно, как и все мы: у нас ведь ни минуты нет покоя.

– Я его к себе заберу, мы с ним в свойстве, – сказал ловчий Кшетовский.

– Пойдемте и мы, отдохнуть никому не помешает, кто знает, доведется ли уснуть следующей ночью! – сказал Бжозовский.

– Вечным сном, быть может, – закончил воевода.

И с этими словами удалился в боковую светелку, где в дверях его уже поджидал слуга; за ним разошлись и остальные. Ловчий Кшетовский повел Скшетуского к себе на квартиру, которая была рядом, через несколько домов только. Слуга с фонарем шел перед ними.

– До чего ж ночь темна, и метет все сильнее! – сказал ловчий. – Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили! Я думал, Судный день наступает. Еще б немного, и чернь перерезала бы нам глотки. У Брышовского рука рубить устала. Мы уже с жизнью прощались.

– Я был среди черни, – ответил Скшетуский. – Завтра к вечеру ожидается новая ватага разбойников, их уже оповестили. До вечера непременно надо уехать. Вы отсюда прямо в Киев?

– Это зависит от ответа Хмельницкого – к нему князь Четвертинский поехал. А вот и моя квартира, милости прошу, входи, пан Ян, я велел вина подогреть, не худо перед сном подкрепиться.

Они вошли в горницу, где в очаге ярко горел огонь. Дымящееся вино уже стояло на столе. Скшетуский жадно схватил чарку.

– У меня ни крошки не было во рту со вчерашнего дня, – сказал он.

– Исхудал ты страшно. Извелся, видно, совсем от печали и ратных трудов. Рассказывай теперь про себя, мне ведь о твоих делах известно. Княжну, значит, среди врагов задумал искать?

– Либо ее, либо смерть, – ответил рыцарь.

– Смерть найти легче. А откуда ты знаешь, что княжна в тех краях? – продолжал расспрашивать ловчий.

– Потому что другие я уже объездил.

– Где ж ты был?

– В пойме Днестра. С армянскими купцами дошел до Ягорлыка. Были указанья, что она там укрыта; везде побывал, а теперь еду в Киев: как будто Богун туда ее везти собирался.

Едва поручик произнес имя «Богун», ловчий схватился за голову:

– Господи! – воскликнул он. – Что ж это я о главном молчу! Богуна, говорят, убили.

Скшетуский побледнел.

– Как так? От кого ты слышал?

– От того самого шляхтича, что однажды княжну уже спас, – он еще под Старокопанинским отличился. Мы в пути повстречались, когда он в Замостье ехал. Только я спросил: «Что слышно?» – а он мне: «Богун убит». – «Кто ж его убил?» – спрашиваю, а он отвечает: «Я!» На том и расстались.

Вспыхнувшее было лицо Скшетуского побледнело мгновенно.

– Шляхтич этот, – сказал он, – приврать любит. Нельзя его словам верить. Нет! Нет! Да и Богуна одолеть ему не под силу.

– А ты сам его разве не видел? Помнится, он рассказывал, будто к тебе в Замостье едет.

– В Замостье я его не дождался. Сейчас он, верно, в Збараже, но мне комиссаров хотелось побыстрее догнать, потому на обратном пути из Каменца я туда заезжать не стал и так его и не увидел. Одному богу известно, сколько правды в том, что он мне о ней рассказывал в свое время: будто бы, когда в плену у Богуна сидел, случайно подслушал, что тот ее за Ямполем спрятал, а потом собирался везти венчаться в Киев. Может, и это, как все прочие его рассказы, неправда.

– Зачем же тогда в Киев едешь?

Скшетуский замолчал, какое-то время слышны были только свист и завывание ветра.

– Послушай-ка... – сказал вдруг, хлопнув себя по лбу, ловчий, – ведь ежели Богун не убит, ты легко к нему в лапы попасться можешь.

– За тем и еду, чтобы его отыскать, – глухо ответил Скшетуский.

– Как это?

– Пусть божий суд нас рассудит.

– Думаешь, он драться с тобою станет? Скрутит да и велит живота лишиться либо продаст татарам.

– Я ж с комиссарами еду, в их свите.

– Дай бог нам самим унести ноги, что уж там говорить о свите!

– Кому жизнь в тягость, могила в радость.

– Побойся бога, Ян!.. Да и не смерть страшна, все там будем. Они тебя могут туркам продать на галеры.

– Ужель ты думаешь, пан ловчий, мне будет хуже, чем сейчас?

– Вижу, ты совсем отчаялся, в милосердие божие утратил веру.

– Ошибаешься, пан ловчий! Я говорю, худо мне жить на свете, потому что так оно и есть, а с волей господней я давно смирился. Не прошу, не сетую, не проклиная, головою о стенку не бьюсь – только долг свой хочу исполнить, пока жив, пока силы хватит.

– Но боль душевная тебя точно яд травит.

– Господь затем ее и послал, чтоб травила, а когда пожелает, пошлет исцеленье.

– На этот довод мне возразить нечего, – ответил ловчий. – Единственное наше спасение во всевышнем, он один – надежда наша и всей Речи Посполитой. Король поехал в Ченстохову – может, вымолит что-нибудь у пресвятой девы, а не то все погибнем.

Воцарилась тишина, только из-за окон доносилось протяжное драгунское «Werdo»³⁶.

– Да-да, – сказал, помолчав, ловчий. – Все мы уже скорее мертвы, чем живы. Разучились люди в Речи Посполитой смеяться, стенают только, как сейчас в трубе ветер. Прежде и я верил, что лучшие времена настанут, пока в числе послов сюда не приехал, но теперь вижу, сколь надежды мои были тщетны. Разруха, война, голод, убийства, и ничего боле... Ничего боле.

Скшетуский молчал, пламя горящих в очаге дров освещало его исхудалое суровое лицо.

Наконец он поднял голову и промолвил серьезно:

– Бренна жизнь наша: пройдет, минует – и следа не оставит.

– Ты говоришь, как монах, – сказал ловчий.

Скшетуский не отвечал, только ветер еще жалобнее стонал в трубе.

³⁶ Кто идет? – старинное восклицание стражников; от немецкого «wer da?» – «кто там?».

Глава XVII

На следующее утро комиссары, и с ними Скшетуский, покинули Новоселки, но плачевно было дальнейшее их путешествие: на, каждом привале, во всяком местечке их подстерегала смерть, со всех сторон сыпались оскорбления, и были они горше смерти – в лице комиссаров оскорблялись величие и могущество Речи Посполитой. Кисель совсем расхворался, и на ночлегах его прямо в горницу из саней вносили. Подкоморий львовский оплакивал позор свой и своей отчизны. Капитан Брышовский тоже занемог от бессонницы и неустанного напряжения – его место занял Скшетуский, который и повел дальше несчастных путников, осыпая поношениями и угрозами бушующей толпы, в постоянных стычках отражая ее натиск.

В Белгороде комиссарам снова показалось, что пришел их последний час. Был избит больной Брышовский, убит Гняздовский – лишь появление митрополита, прибывшего для беседы с воеводой, позволило избежать неминуемой расправы. В Киев комиссаров пускать не хотели. Князь Четвертинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля, не получив никакого ответа. Комиссары не знали, как быть, куда ехать. Обратный путь был отрезан: бесчетные разбойные ватаги только и ждали срыва переговоров, чтобы перебить посольство. Толпа все более распоясывалась. Драгунам преграждали дорогу, хватая лошадей за поводья, сани воеводы осыпали камнями, кусками льда и мерзлыми комьями снега. В Гвоздовой Скшетуский и Донец в кровопролитном бою разогнали толпу в несколько сот человек. Хорунжий новогрудский и Смяровский вновь отправились к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать на переговоры в Киев, но воевода почти уже не надеялся, что комиссары доберутся туда живыми. Тем часом в Фастове они вынуждены были, сложа руки, смотреть, как толпа расправляется с пленными: старых и малых, мужчин и женщин топили в проруби, обливали на морозе водой, кололи вилами, живьем кромсали ножами. Такое продолжалось восемнадцать дней, пока наконец Хмельницкий не прислал ответ, что в Киев ехать он не желает, а ждет воеводу и комиссаров в Переяславе.

Злосчастные посланцы воспряли духом, полагая, что настал конец их мученьям. Переправившись через Днепр в Триполье, они остановились на ночлег в Воронкове, откуда всего шесть миль было до Переяслава. Навстречу им на полмили выехал Хмельницкий, как бы тем самым оказывая честь королевскому посольству. Но сколь же он переменялся с той поры, когда старался выглядеть несправедливо обиженным, «*quantum mutatus ab illo*»³⁷, как писал воевода Кисель.

Хмельницкий появился в сопровождении полусотни всадников, с полковниками, есаулами и военным оркестром, словно удельный князь – со значком, с бунчуком и алым стягом. Комиссарский поезд тотчас остановился, он же, подскакав к передним саням, в которых сидел воевода, долго глядел в лицо почтенному старцу, а потом, слегка приподняв шапку, промолвил:

– Поклон вам, панове комиссары, и тебе, воевода. Раньше бы надо начинать со мной переговоры, покуда я поплоче был и силы своей не ведал, но коли король вас до мене прислав, от души рад принять вас на своих землях.

– Привет тебе, гетман! – ответил Кисель. – Его величество король послал нас монаршьё благоволение тебе засвидетельствовать и установить справедливость.

– За благоволение монаршьё спасибо, а справедливость я уже самолично вот этим, – тут он хлопнул рукой по сабле, – установил, не пощадив животов ваших, и впредь так поступать стану, ежели по-моему делать не будете.

– Нелюбезно ты нас, гетман запорожский, принимаешь, нас, посланников королевских.

– Не буду говорити на морозі, найдется еще для этого время, – резко ответил Хмельницкий. – Пусти меня, Кисель, в свои сани, я желаю честь оказать посольству – поеду вместе с вами.

С этими словами он спешил и подошел к саням. Кисель подвинулся вправо, освобождая место по левую от себя руку.

Увидев это, Хмельницкий нахмурился и крикнул:

³⁷ "сколь же он отличается от того, каким был" (лат.). – Вергилий.

– По правую руку меня сажай!

– Я сенатор Речи Посполитой!

– А что мне сенатор! Потоцкий вон первый сенатор и коронный гетман, а у меня в лыках сейчас вместе с иными: захочу, завтра же на кол посажен будет.

Краска выступила на бледных щеках Киселя.

– Я здесь особу короля представляю!

Хмельницкий еще пуще нахмурился, но сдержал себя и сел слева, бормоча:

– Най король буде у Варшаві, а я на Руси. Мало еще, вижу, вам от меня досталось.

Кисель ничего не ответил, лишь возвел очи к небу. Он предчувствовал, что его ожидает, и справедливо подумал в тот миг, что если путь к Хмельницкому можно назвать Голгофой, то переговоры с ним – крестная мука.

Поезд двинулся в город, где палили из двух десятков пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, словно опасаясь, как бы комиссары не сочли это знаком особой для себя чести, сказал воеводе:

– Я не только вас, а и других послов, коих ко мне шлют, так принимаю.

Хмельницкий говорил правду: действительно, к нему, точно к удельному князю, уже посылали посольства. Возвращаясь из Замостья под впечатлением выборов, удрученный известиями о поражениях, нанесенных литовским войском, гетман куда как скромнее о себе мыслил, но, когда Киев вышел навстречу ему со знаменами и огнями, когда академия приветствовала его словами: «*Tamquam Moisem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de sevitute lechica et bono omine Bohdan*»³⁸ – богоданный, когда, наконец, его назвали «*illustrissimus princeps*»³⁹? – тогда по словам современников, «возгордился сим зверь дикий». Силу свою почувствовал и твердую почву под ногами, чего ранее ему не доставало.

Чужеземные посольства были безмолвным признанием как его могущества, так и независимости; неизменная дружба татар, оплачиваемая большей частью добычи и несчастными ясырями, которых этот народный вождь разрешил брать из числа своего народа, позволяла рассчитывать на поддержку против любых врагов; потому-то Хмельницкий, еще под Замостью признававший королевскую власть и волю, ныне, обуянный гордынею, уверенный в своей силе, видя царящий в Речи Посполитой разброд и слабость ее предводителей, готов был поднять руку и на самого короля, теперь уже мечтая в глубине темной своей души не о казацких вольностях, не о возврате Запорожью былых привилегий, не о справедливости к себе, а об удельном государстве, о княжьей шапке и скипетре.

Он чувствовал себя хозяином Украины. Запорожское казачество стояло за него: никогда, ни под чьей властью не купалось оно в таком море крови, не имело такой богатой добычи; дикий по натуре своей народ тянулся к нему – ведь, когда мазовецкий или великопольский крестьянин безропотно гнул спину под ярмом насилия, во всей Европе доставшимся в удел «потомкам Хама», украинец вместе со степным воздухом впитывал любовь к свободе столь же беспредельной, дикой и буйной, как самые степи. Охота была ему ходить за господским плугом, когда его взгляд терялся в пустыне, господом, а не господином данной, когда из-за порогов Сечь призывала его: «Брось пана и иди на волю!», когда жестокий татарин учил его воевать, приучал взор его к пожарам и крови, а руку – к оружию?! Не лучше ли было разбойничать под началом Хмеля и панів різати, нежели ломать перед подстаростой шапку?..

А еще народ шел к Хмелю потому, что кто не шел, тот попадал в полон. В Стамбуле за десять стрел давали невольника, за лук, закаленный в огне, – троих, столь великое множество ясырей было. Поэтому у черни не оставалось выбора – и лишь странная с тех времен сохранилась песня, которую долго еще распевали по хатам из поколения в поколение, странная песня об этом вожде, прозванном Моисеем: «Ой, щоб того Хміля перша куля не минула!»

Исчезали с лица земли местечки, города и веси, страна обезлюдела, превратилась в руины,

³⁸ Подобный Моисею, спаситель, избавитель, освободитель народа из рабства ляшского, в добрый знак названный Богданом (лат.).

³⁹ наиславнейший государь (лат.).

в сплошную рану, которую не могли заживить столетья, но оный вождь и гетман этого не видел либо не хотел видеть – он никогда ничего не замечал дальше своей особы, – и крепнул, и кормился огнем и кровью, и, снедаемый чудовищным самолюбьем, губил собственный народ, собственную страну; и вот теперь ввозил комиссаров в Переяслав под колокольный звон и гром орудий, как удельный владыка, господарь, князь.

Понутив головы, ехали в логово льва комиссары, и последние искры надежды гасли в их сердцах, а тем временем Скшетуский, следовавший за вторым рядом саней, неотрывно разглядывал полковников, прибывших с Хмельницким, думая увидеть среди них Богуна. После бесплодных поисков на берегах Днестра, закончившихся за Ягорлыком, в душе пана Яна, как единственное и последнее средство, созрело намерение отыскать Богуна и вызвать его на смертный поединок. Бедный наш рыцарь понимал, конечно, что в этом пекле Богун может зарубить его без всякого боя или отдать татарам, но он лучшего был об атамане мнения: зная его мужество и безудержную отвагу, Скшетуский почти не сомневался, что, поставленный перед выбором, Богун не откажется от поединка. И потому вынашивал в своей исстрадавшейся душе целый план, как свяжет атамана клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе Скшетуский уже не заботился: предполагая, что казак в ответ ему скажет: «А коли я погибну, пусть она ни моей, ни твоей не будет», – он готов был и на это согласиться и в свой черед дать такую же клятву, лишь бы вырвать ее из вражьих рук. Пусть она до конца дней своих обретет покой в монастырских стенах... Он тоже сперва на бранном поле, а затем, если не приведется погибнуть, в монастырской келье поищет успокоенья, как искали его в те времена все скорбящие души. Путь такой казался Скшетускому прямым и ясным, а после того, как под Замостьем ему однажды подсказали мысль о поединке с атаманом, после того, как розыски княжны в приднестровских болотах закончились неудачей, – то и единственно возможным. С этой целью, не останавливаясь на отдых, он поспешил с берегов Днестра вдогонку за посольством, надеясь либо в окружении Хмельницкого, либо в Киеве найти соперника, тем более что, по словам Заглобы, Богун намеревался ехать в Киев, венчаться там при трехстах свечах.

Однако тщетно теперь Скшетуский высматривал его между полковников. Зато он увидел немалое число иных, еще с прошлых, мирных, времен знакомцев: Дедялу, которого встречал в Чигирине, Яшевского, приезжавшего из Сечи послом к князю, Яроша, бывшего сотника Иеремии, Грушу, Наоколопальца и многих других, и решил у них разузнать, что удастся.

– Узнаешь старых знакомых? – спросил он, подъезжая к Яшевскому.

– Я тебя в Лубнах видел, ты князя Яремы лицар, – ответил полковник. – Вместе, помнится, пили-гуляли. Что князь твой?

– Здравствует, спасибо.

– Это покуда весна не настала. Они еще не встречались с Хмельницким, а встретятся – одному живым не уйти.

– Как будет угодно господу богу.

– Ну, нашего батька господь не оставит. Не бывать больше твоему князю на татарском берегу у себя в Заднепровье. У Хмеля багато молодців, а у Яремы что? Добрый он жолнір, но и наш батько не хуже. А ты что, больше у князя не служишь?

– Я с комиссарами еду.

– Что ж, рад старого знакомого видеть.

– Коли рад, окажи мне услугу, век буду тебе благодарен.

– Какую услугу?

– Скажи мне, где Богун, знаменитый тот атаман, что прежде в переяславском полку служил, а ныне среди вас высшее званье иметь должен?

– Замолчи! – с угрозой вскричал Яшевский. – Твое счастье, что мы давние знакомцы и пили вместе, не то б я тебя этим вот буздыганом на снег уложил немедля.

Скшетуский посмотрел на него удивленно, но, будучи сам на решения скор, стиснул в руке булаву.

– Ты в своем уме?

– Я-то в своем и пугать тебя не намерен, но такой был отдан Хмелем приказ: кто б из ваших, пусть комиссар даже, о чем ни спросил, – убивать на месте. Я не исполню приказа,

другой исполнит, потому и предупреждаю – из доброго к тебе расположения.

– Так у меня же интерес приватный.

– Все едино. Хмель нам, полковникам, наказал и другим велел передать: «Убивать всякого – хоть о дровах, хоть о навозе спросят». Так и скажи своим.

– Спасибо за добрый совет, – ответил Скшетуский.

– Это я только тебя предостерег, а любого другого ляха уложил бы без слова.

Они замолчали. Поезд уже достиг городских ворот. По обеим сторонам дороги и на улицах толпилась чернь и вооруженные казаки, которые в присутствии Хмельницкого не смели обрушить на сани проклятья и комья снега, а лишь провожали комиссаров угрюмыми взорами, сжимая кулаки или рукояти сабель.

Скшетуский, выстроив драгун по четверо, с гордо вскинутой головою спокойно ехал по широкой улице, не обращая никакого внимания на грозные взгляды толпившегося вокруг люда, и лишь думал, сколько ему потребуется самоотречения, выдержки и христианского все терпенья, дабы свершить задуманное и не потонуть с первых же шагов в этом океане ненависти и злобы.

Глава XVIII

На следующий день комиссары долгий держали совет: сразу ли вручить Хмельницкому королевские дары или обождать, пока он не проявит больше смирения и хоть каплю раскаянья? В конце концов решили пронять его человечностью и монаршьим великодушием и оповестили о вручении даров – торжественная церемония состоялась на завтра. С утра трезвонили колокола и гремели пушки. Хмельницкий ожидал комиссаров перед своими палатами в окружении полковников, казацкой верхушки и несчетной толпы простых казаков и черни: ему хотелось, чтобы весь народ знал, какой чести его удостоил сам король. Он сидел на возвышении под значком и бунчуком, среди послов из соседних земель, в отороченной собольим мехом красной парчовой епанче, подбоченясь, поставя ноги на бархатную с золотой бахромой подушку. По толпе то и дело пробегал восхищенный, подобоострастный шепот: чернь, превыше всего ценящая силу, видела в своем предводителе воплощение этой силы. Только таким воображению простого люда мог рисоваться непобедимый народный герой, громивший гетманов, магнатов, шляхту и вообще ляхів, которые до той поры были овеяны легендой непобедимости. Хмельницкий за год войны несколько постарел, но не согнулся – в могучих его плечах по-прежнему ощущалась сила, способная крушить государства и создавать на их месте новые; широкое лицо, покрасневшее от злоупотребления крепкими напитками, выражало твердую волю, необузданную гордыню и дерзкую самоуверенность, подогреваемую успехами в ратном деле. Ярость и гнев дремали в складках его лица, и легко представлялось: вот они пробуждаются, и народ под их грозным дыханием склоняется, словно лес в бурю. Из глаз, очерченных красной обводкой, уже стреляло нетерпенье, – комиссары мешкали явиться с дарами! – а из ноздрей на морозе валил клубами пар, как два дымных столба из ноздрей Люцифера; так и сидел гетман в исторгнутом собственными легкими тумане, багроволицый, сумрачный, надменный, рядом с послами, среди полковников, в окружении океана черни.

Наконец показался комиссарский поезд. Впереди добывши колотили в литавры и трубачи, раздувая щеки, трубили в трубы; жалобные протяжные звуки издавали их инструменты: казалось, это хоронят величие и славу Речи Посполитой. За музыкантами ловчий Кшетовский нес булаву на бархатной подушке, а Кульчинский, киевский скарбничий, – алое знамя с орлом и надписью; далее в одиночестве шел Кисель, высокий, худой, с достигающей груди белой бородою; на благородном его лице было страдание, а в душе – бесконечная боль. Прочие комиссары следовали в нескольких шагах за воеводой; замыкали шествие драгуны Брышовского во главе со Скшетуским.

Кисель шел медленно: в ту минуту ему явственно представилось, как за драными лохмотьями переговоров, за видимостью монаршьей милости и прощения совсем иная, обнаженная, позорная проглядывает правда, которую слепой узрит, глухой услышит, ибо она вопиет: «Не милость дарить идешь ты, Кисель, а милости просить смиренно; купить ее надеешься ценой булавы и знамени, пешком идешь вымаливать ее у мужицкого вождя от имени

Речи Посполитой, ты, сенатор и воевода...» И разрывалась душа брусилковского магната, и чувствовал он себя презреннее червя, ничтожнее праха, а в ушах его звенели слова Иеремии: «Лучше совсем не жить, нежели жить у холопов и басурман в неволе». Что он, Кисель, в сравнении с лубненским князем, который являлся мятежникам не иначе, как в образе Юпитера, с насупленным челом, в огне войны и пороховом дыму, овеянный запахом серы? Что? Тяжесть этих мыслей сломила дух воеводы, улыбка навсегда исчезла с его лица, радость навек покинула сердце; он стократ предпочел бы умереть, нежели сделать еще шаг вперед, и все-таки шел: его толкало все его прошлое, все труды, потраченные усилия, вся неумолимая логика его былых деяний...

Хмельницкий ждал его, подбоченясь, хмурая брови и выпятив губы.

Наконец шествие приблизилось. Кисель, выступив вперед, сделал еще несколько шагов к самому возвышению. Довбыши перестали барабанить, умолкли трубы – и великая тишина слетела на толпу, лишь на морозном ветру шелестело алое знамя, несомое Кульчинским.

Внезапно тишину разорвал чей-то властный голос, с непередаваемой силой отчаянья, невзирая ни на что и ни на кого, коротко и отчетливо приказавший:

– Драгуны, кругом! За мной!

То был голос Скшетуского.

Все головы повернулись в его сторону. Сам Хмельницкий слегка привстал, дабы видеть, что происходит. У комиссаров с лица отхлынула кровь. Скшетуский стоял в стременах, прямой, бледный, с горящим взглядом, держа в руках обнаженную саблю; полуобернувшись к драгунам, он громовым голосом повторил приказанье:

– За мной!

В тишине громко зацокали по чисто выметенной промерзлой улице копыта. Вымуштрованные драгуны поворотили на месте лошадей, и весь отряд во главе с поручиком по данному им знаку неспешно двинулся обратно к комиссарским квартирам.

Удивление и растерянность выразились на лицах у всех, не исключая Хмельницкого, ибо нечто необычайное было в голосе поручика и его движениях; никто, впрочем, не знал толком, не составляет ли внезапный отъезд эскорта части торжественного церемониала. Один лишь Кисель все понял, и, главное, понял он, что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с эскортом в ту минуту висели на волоске; потому, чтобы не дать опомниться Хмельницкому, он вступил на возвышение и обратился к нему с речью.

Начал он с того, что сообщил об изъявлении королевской милости Хмельницкому и всему Запорожью, но неожиданно речь его прервало новое происшествие, имевшее лишь ту добрую сторону, что совершенно отвлекло внимание от предыдущего. Старый полковник Дедяла, стоявший возле Хмельницкого, потрясая булавой, кинулся к воеводе, крича:

– Ты что плетешь, Кисель! Король королем, а сколько вы, королята, князья, шляхта, бед натворили! И ты, Кисель, хоть одной с нами крови, отщепился от нас, с ляхами связался. Не хотим больше слушать твою болтовню, чего надо, мы и сами добудем саблей.

Воевода с негодованием обратил свой взгляд на Хмельницкого.

– Что ж это ты, гетман, полковников своих распустил?

– Замолчи, Дедяла! – крикнул гетман.

– Молчи, молчи! Набрался с утра пораньше! – подхватили другие полковники. – Пошел прочь, пока не выгнали в шею!

Дедяла не унимался; тогда его и впрямь схватили за шиворот и вытолкали за пределы круга.

Воевода продолжил гладкую свою речь, тщательно выбирая слова; он хотел показать Хмельницкому, сколь значительно происходящее: ведь присланные ему дары – не что иное, как знак законной власти, которой до сих пор гетман пользовался самочинно. Король, имея право карать, соизволил простить его в награду за послушанье, проявленное под Замостьем, и потому еще, что прежние преступления совершены были до его восшествия на престол. Так что Хмельницкому, имеющему на совести столько грехов, ныне надлежало бы выказать благодарность за ласку и снисхождение, воспрепятствовать кровопролитию, унять черный люд и начать с комиссарами переговоры.

Хмельницкий принял в молчании булаву и знамя, которое тотчас приказал над собой

развернуть. Толпа при виде этого радостно взвыла – на несколько минут все потонуло в шуме.

Тень удовлетворения скользнула по лицу гетмана; выждав немного, он так ответил:

– За великую милость, каковой его королевское величество через посредство ваше меня подарил, власть над войском отдав и прошлые мои простив преступленья, смиренно благодарю. Я всегда говорил, что король со мною против вас, лукавых вельмож и магнатов, и наилучшее сему доказательство – его снисходительность к тому, что я головы ваши рубил; знайте ж: я и впредь их рубить стану, ежели вы нам с его величеством не будете во всем послушны.

Последние слова Хмельницкий произнес угрожающе, повысив голос и насупив бровь, словно вскипая гневом, а комиссары оцепенели от столь неожиданного поворота ответной речи. Кисель же молвил:

– Король, любезный гетман, повелевает тебе прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры.

– Кровь не я проливаю, а литовское войско, – резко ответил гетман. – По слухам, Радзивилл города мои вырезал, Мозырь и Туров; подтвердится это

– конец вашим пленным: всем, даже знати, прикажу снести головы, и немедля. Переговоров не будет. Не время сейчас для комиссий: войско мое не в полном сборе, и полковники не все здесь, многие на зимовниках, а без них я и начинать не стану. Нечего, однако, на морозе лясы точить. Что с вас причиталось – получено; все видели, что отныне я гетман по королевскому произволению, а теперь пойдете ко мне, выпьем по чарке да пообедаем, я уже проголодался.

С этими словами Хмельницкий направился к своим палатам, а за ним полковники и комиссары. В большом срединном покое стоял накрытый стол, ломившийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель, верно, мог бы отыскать и свое, вывезенное прошлым летом из Гуци. На блюдах горою навалена была свинина, говядина и татарский плов, вся комната пропиталась запахом просяной водки, разлитой по серебряным кувшинам. Хмельницкий сел за стол, усадив по правую от себя руку Киселя, а по левую каштеляна Бжозовского, и сказал, ткнув пальцем в горелку:

– В Варшаве говорят, я ляшскую кровь пью, а у меня ее псы лакают, мне вкусней горілка.

Полковники расхохотались – от смеха их задрожали стены.

Такую пилюлю преподнес комиссарам вместо закуски гетман, а те молча ее проглотили, дабы – как писал подкоморий львовский – «не дразнить дикого зверя».

Лишь пот обильно оросил бледное чело воеводы.

Трапеза началась. Полковники руками брали с блюд куски мяса, Киселью и Бжозовскому накладывал в тарелки сам гетман. Начало обеда прошло в молчанье: каждый спешил утолить голод. Тишину нарушали лишь чавканье и хруст костей, да горелка с бульканьем лилась в глотки; порой кто-нибудь ронял словцо, остававшееся без ответа. Наконец Хмельницкий, поев и опрокинув несколько чарок просянки, первым вдруг обратился к воеводе с вопросом:

– Кто у вас командует конвоем?

Тревога изобразилась на лице воеводы.

– Скшетуский, достойный кавалер! – ответил он.

– Я його знаю, – сказал Хмельницкий. – Чего это он не захотел глядеть, как вы мне дары вручите?

– Такой ему был дан приказ: он не в свиту к нам, а для охраненья приставлен.

– А приказ кто дал?

– Я, – ответил Кисель, – не прилично, показалось мне, чтобы при вручении даров у нас с тобой над душой драгуны стояли.

– А я другое подумал, зная, сколь горд нравом сей воин.

Тут в разговор вмешался Яшевский.

– Мы теперь драгун не боимо, – сказал он. – Это в прежние времена в них была ляшская сила, но мы уже под Пилявцами уразумели: не те ныне ляхи, что бивали когда-то турок, татар и немцев...

– Не Замойские, Жолкевские, Ходкевичи, Хмелецкие и Конецпольские, – перебил его Хмельницкий, – а сплошь Трусевичи да Зайцевские, діти, закованные в железо. Едва нас завидели, в штаны наложили со страху и бежать, хоть татар и было-то поначалу тыщи три, не

больше...

Комиссары молчали, только кусок никому уже не шел в горло.

– Ешьте и пейте, прошу покорнейше, – сказал Хмельницкий, – не то я подумаю, наша простая казацкая пища в ваших господских глотках застревает.

– Ежели у них глотки тесноваты, можно и поширше сделать! – закричал Дедяла.

Полковники, успевшие уже крепко захмелеть, разразились смехом, но гетман кинул грозный взгляд, и снова стало тихо.

Кисель, не первый уже день хворавший, сделался бледен как полотно, а Бжозовский побагровел так, что казалось, его вот-вот хватит удар.

В конце концов он не выдержал и рыкнул:

– Мы что, обедать сюда пришли или выслушивать поношенья?

На что Хмельницкий ответил:

– Вы на переговоры приехали, а тем часом литовское войско города наши предаст огню. Мозырь и Туров мои повырезали – если будет тому подтверждение, я четырем сотням пленников головы на ваших глазах прикажу срубить.

Бжозовский сдержал закипавшую в крови ярость. Поистине жизнь пленников зависела от настроения гетмана – стоит ему бровью повести, и им конец – значит, надо сносить все оскорбления, да еще смягчать вспышки гнева, дабы привести его *ad mitiorem et sanio rem mentem*⁴⁰.

В таком духе и заговорил тихим голосом кармелит Лентовский, по натуре своей человек мягкий и боязливый:

– Бог даст, оные вести из Литвы насчет Мозыря и Турова окажутся неверны.

Но не успел он договорить, Федор Вишняк, черкасский полковник, откинувшись назад, замахнулся булавой, метя кармелиту в затылок; по счастью, он не дотянулся, поскольку их разделяло четверо других сотрапезников, а только крикнул:

– Мовчи, попе! Не твої діло брехню мені задавати! Ходи-но на двір, навчу я тебе пулковників запорозьких шанувати!

Его кинулись унимать, но не сумели, и полковник был вышвырнут за порог.

– Когда же ты, любезный гетман, комиссию собрать желаешь? – спросил Кисель, стремясь дать иной оборот беседе.

К несчастью, и гетман уже захмелел изрядно, поэтому ответ его был скор и язвителен.

– Завтра судить-рядить будем, нынче я пьяный! Заладили про свою комиссию, поесть не дадут спокойно! Надоело, хватит! Быть войне! – И гетман грохнул кулаком по столу, отчего подпрыгнули кувшины и блюда. – И четырех недель не пройдет, я вас всех согну в бараний рог, ногами истопчу, турецкому султану продам. Король на то и король, чтоб рубить головы шляхте, князьям да магнатам! Согрейши князь, урезать ему шею; согрейши казак, урезать шею! Вы мне шведами грозите, только и шведы меня не здержут. Тугай-бей – брат мой, друг сердечный, единственный на свете сокол – что ни захочу, все тот же час сделает, а его гнездовье близко.

В эту минуту с Хмельницким, как это с пьяными бывает, произошла стремительная перемена: гнев уступил место умилению, даже голос задрожал от слез при сладостном упоминании о Тугай-бее.

– Вам охота, чтобы я на татар и турок саблю поднял, – не дождетесь! На вас я с добрыми друзьями своими пойду. Уже полки оповещены, молодцам велено лошадей кормить да в путь собираться без возов, без пушек – это добро у ляхов найдется. Кто из казаков возьмет телегу, тому прикажу шею урезать, и сам кареты брать не стану, разве что мешки прихвачу да торбы – до самой Вислы дойду и скажу: «Сидіть і мовчіть, ляхи!» А будете с того берега голос подавать, и туда доберусь. Опостытели вы со своими драгунами, хватит на нашей шее сидеть, кровопийцы, одною неправдой живущие!

Тут он вскочил со скамьи, стал волосы рвать и ногами топтать, крича, что война беспрерывно будет, потому как ему наперед уже грехи отпущены и дадено благословенье, и нечего собирать комиссию – он даже на перемирие не согласен.

⁴⁰ к большей кротости и здравомыслию (лат.).

Наконец, видя испуг комиссаров и смекнув, что, если они сейчас уедут, война начнется зимой, то есть в такую пору, когда и не окопаться, а казаки худо бьются в открытом поле, поостыл и снова уселся на скамью, уронив голову на грудь, упершись руками в колени и хрипло дыша. Потом схватил полную чарку и крикнул:

– Здоровье его величества короля!

– На славу і здоров'я! – повторили полковники.

– Не печалься, Кисель, – сказал гетман, – не принимай моих слов близко к сердцу – пьян я. Ворожиhi мне напророчили, что войны не миновать, – но я погожу до первой травы, а там пусть будет комиссия, тогда и пленников отпущу на свободу. Я слышал, ты болен: давай за твое здоровье выпьем.

– Благодарствую, гетман запорожский, – сказал Кисель.

– Ты мой гость, я об этом помню.

И снова Хмельницкий на короткое время расчувствовался и, положив руки воеводе на плечи, приблизил к его бледным запавшим щекам свое широкое багровое лицо.

За ним и полковники стали подходить и по-приятельски пожимать комиссарам руки, хлопая их по плечам, повторяя вслед за гетманом: «До первой травы!» Комиссары сидели как на углях. Дыхание мужиков, пропахшее горелкой, обдавало лица высокородных шляхтичей, для которых пожатия потных этих рук были невыносны так же, как и оскорбленья. Проявления грубого дружелюбия перемежались угрозами. Одни кричали воеводе: «Ми ляхів хочемо різати, а ти наша людина!», другие говорили: «Что, паны! Раньше били нас, а теперь милости запросили? Погибель вам, белоручкам!» Атаман Вовк, бывший мельником в Нестерваре, кричал: «Я князя Четвертинского, мого пана, зарізав!» «Выдайте нам Ярему, – орал, пошатываясь, Яшевский, – и мы вас живыми отпустим!»

В комнате стало невыносимо жарко и душно, стол, заваленный объедками мяса, хлебными корками, залитый водкой и медом, являл собой омерзительную картину. Наконец вошли ворожиhi, то есть вещуньи, с которыми гетман имел обыкновение пить до поздней ночи, слушая предсказания: страшные, сморщенные желтые старухи и молодницы в соку – преудивительные создания, умеющие ворожить на воске, на пшеничных зернах, на огне и водяной кипении, на дне бутылки и человеческом жире. Вскоре полковники стали пересмеиваться и забавляться с теми из них, кто был помоложе. Кисель едва чувств не лишился.

– Спасибо тебе, гетман, за угощенье, и прощай, – произнес он слабым голосом.

– Завтра я к тебе приеду обедать, – ответил Хмельницкий, – а теперь ступайте. Донец с молодцами проводят вас до дому, чтобы чернь какой шутки не сыграла.

Комиссары поклонились и вышли. Донец с молодцами и вправду уже ждал их перед палатами.

– Боже! Боже! Боже! – тихо прошептал Кисель, пряча лицо в ладони.

Все в молчании двинулись к квартирам комиссаров.

Но оказалось, что разместили их друг от друга неблизко. Хмельницкий умышленно отвел им жилье в разных концах города, чтобы труднее было сходиться вместе и совещаться.

Воевода Кисель, усталый, измученный, едва держащийся на ногах, немедля лег в постель и до следующего дня никого к себе не впускал, лишь на завтра в полдень велел позвать Скшетуского.

– Что же ты натворил, сударь! – сказал он ему. – Экий выкинул номер! Свою и нашу жизнь в опасность поставил.

– *Mea culpa*⁴¹, ясновельможный воевода! – ответил рыцарь. – Но меня безумие охватило: лучше, подумал, сто раз погибнуть, нежели глядеть на такое.

– Хмельницкий разгадал твои мысли. Я едва *efferatum bestiam*⁴² утишил и поступку твоему дал объяснение. Но он нынче должен у меня быть и, верно, тебя самого спросит. Скажешь ему, что увел солдат по моему приказанью.

⁴¹ Моя вина (лат.).

⁴² дикого зверя (лат.).

– С сегодняшнего дня Брышовский принимает команду – ему полегчало.

– Оно и к лучшему, у вашей милости для нынешних времен нрав чересчур гордый. Трудно нам за что-либо, кроме как за неосторожность, тебя порицать, сразу видно, молод ты и боли душевной переносить не умеешь.

– К боли я привык, ясновельможный воевода, а вот позор сносить не умею.

Кисель тихо застонал, как человек, которого ударили по больному месту, но потом улыбнулся смиренно и печально и молвил:

– Подобные слова мне теперь не привыкать выслушивать, это прежде я всякий раз горькими слезами обливался, а нынче уж и слез не стало.

Жалость переполнила сердце Скшетуского: тяжело было смотреть на этого старца с лицом мученика, которому выпало на закате дней страдать вдвойне – душою и телом.

– Ясновельможный воевода! – сказал рыцарь. – Господь мне свидетель: я лишь об одном думал – о страшных временах, когда сенаторы и коронные сановники вынуждены бить челом сброду, который единственно кола заслуживает за свои преступления.

– Да благословит тебя бог: ты молод и честен и, знаю, не из дурных намерений поступил так. Но то же, что я от тебя услышал, говорит князь твой, а за ним войско, шляхта, сеймы, половина Речи Посполитой – и все это бремя презрения, вся ненависть на меня обрушивается.

– Всяк служит отчизне, как может, пусть всевышний судит каждого за его деянья, что же касается князя Иеремии, он ради отечества не щадит ни достоинства, ни здоровья.

– И славой оваян, и купается в лучах этой славы, – отвечал воевода. – А что ожидает меня? Ты верно сказал: пусть бог судит нас за наши деянья, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры.

Скшетуский молчал, а Кисель поднял очи горе в бессловной молитве, а потом сказал так:

– Я русин, кость от кости и плоть от плоти своего народа. Князя Святольдичи в здешней земле лежат. Я любил и землю эту, и божий люд, что грудью ее вскормлен. Видел я, какие обиды соседи чинили друг другу, видел как дикие бесчинства запорожцев, так и нетерпимую гордыню тех, кто воинственный этот народ захотел привязать к земле... Что же надлежало делать мне, русину и притом сенатору и верному сыну Речи Посполитой? Вот я и пристал к тем, которые говорили: «*Rex vobiscum*»⁴³ – ибо так повелели мне кровь и сердце, ибо меж ними был покойный король, отец наш, и канцлер, и примас, и многие-многие другие; а еще видел я, что раздоры равно губительны для обеих сторон. Хотелось до конца дней, до последнего вздоха трудиться во имя согласия – когда же полилась кровь, я подумал про себя: буду ангелом-мироотворцем. И встал на путь сей, и шел по нему, и продолжаю идти, невзирая на боль, позор и муки, несмотря на сомненья, которые всяких мук страшнее. Видит бог, теперь я и сам не знаю, ваш ли князь слишком рано меч поднял или я опоздал с оливковой ветвью, но зато понимаю: напрасны труды мои, сил не хватает, тщетно бьюсь седой головой о стену. Что вижу я пред собою, сходя в могилу? Только мрак и гибель, о милосердый боже, всеобщую гибель!

– Господь ниспошлет спасенье.

– О, да подарит он меня перед смертью такою надеждой, чтобы не умирать в отчаянье!.. Я еще за все страдания его поблагодарю, за тот крест, который несу, за то, что чернь требует мою голову, а на сеймах меня изменником называют, за мое разорение, за покрывший меня позор, за горькую ту награду, что я от обеих сторон получаю!

Умолкнув, воевода воздел исхудалые руки к небу, и две крупные слезы, быть может последние в жизни, скатились из его очей.

Скшетуский, не в силах сдержаться, упал перед воеводой на колени, схватил его руку и прерывающимся от глубокого волнения голосом молвил:

– Я солдат и иной избрал путь, но пред заслугами твоими и страданиями низко склоняю голову.

С этими словами шляхтич и соратник Вишневецкого прильнул устами к руке того самого русина, которого несколько месяцев назад вместе с другими называл изменником.

А Кисель положил ладони ему на голову.

⁴³ Мир вам! (лат.)

– Сын мой, – тихо проговорил он, – да пошлет тебе господь утешение, да направит он тебя и благословит, как я благословляю.

* * *

Переговоры, не успев толком начаться, в тот же день зашли в тупик. Хмельницкий приехал на обед к воеводе довольно поздно и в прескверном настроении. Первым делом он заявил, что все сказанное вчера о перемирии, о созыве комиссии на троицу и об освобождении перед началом комиссии пленных говорилось им спьяну, теперь же он видит, что его хотели провести. Кисель попытался его улестить, успокаивал, объяснял, доказывал, но было это – по словам подкомория львовского – все равно что *surdo tyranno fabula dicta*⁴⁴. И вел себя гетман столь дерзко, что комиссары не могли не пожалеть о вчерашнем Хмельницком. Пана Позовского он ударил булавой потому лишь, что тот не вовремя на глаза попался, хотя изнуренный болезнью Позовский и без того был на волосок от смерти.

Не помогали ни выказываемые комиссарами расположение и добрая воля, ни уговоры воеводы. Только опохмелясь горелкой и отменным гущинским медом, гетман повеселел, но ни о каких публичных делах не дал даже заикнуться, твердя: «Пить так пить – рядиться завтра будем!» В три часа ночи он потребовал, чтобы воевода отвел его в свою опочивальню, чему тот противился под разными предлогами, поскольку умышленно запер там Скшетуского, всерьез опасаясь, как бы при встрече гордого рыцаря с Хмельницким не вышло какой-нибудь неожиданности, пагубной для молодого человека. Но Хмельницкий настоял на своем и пошел в опочивальню. Кисель последовал за ним. Каково же было его удивление, когда гетман, увидев рыцаря, кивнул ему и крикнул:

– Скшетуский! Ты почему не пьешь с нами?

И дружески протянул руку.

– Болен я, – ответил, поклонясь, поручик.

– И вчера уехал. Без тебя и веселье было не веселье.

– Такой он получил приказ, – вмешался Кисель.

– А ты, воевода, помалкивай. Я його знаю: непростая птица! Не захотел глядеть, как вы мне почести воздаете. Но что другому бы не сошло, этому сойдет: я его люблю, он мой друг сердечный.

Кисель от удивления широко раскрыл глаза, гетман же неожиданно обратился к Скшетускому:

– А знаешь, за что я тебя люблю?

Скшетуский покачал головой.

– Думаешь оттого, что ты аркан на Омельнике перерезал, когда я никто был и точно зверь затравлен? Нет, не за то! Я тебе тогда перстень дал с прахом гроба господня, но ты, строптивец, не показал мне этого перстня, когда попал в мои руки, а я тебя все же отпустил, – выходит, мы квиты. Не потому я тебя люблю. Ты мне иную оказал услугу, за что я тебе навек благодарен и почитаю другом.

Скшетуский в свой черед удивленно уставился на Хмельницкого.

– Видал, как дивятся, – словно обращаясь к кому-то четвертому, сказал гетман. – Ладно, припомню тебе, что мне в Чигирине рассказали, когда мы с Базавлука туда пришли с Тугай-беем. Расспрашиваю я всех о недруге своем Чаплинском, которого найти не сумел, а мне и говорят, как ты с ним обошелся после первой нашей встречи: мол, одной рукой за чуприну, другой за шаровары схватил да дверь им вышиб, – ха! – и морду в кровь разбил собаке!

– Верно, так я и сделал, – ответил Скшетуский.

– Ой, хорошо сделал, славно придумал! Я еще до него доберусь, иначе к чему комиссии да переговоры? Непременно доберусь и по-своему позабавлюсь, однако же и ты его хорошо отделал.

Затем, оборотившись к Киселю, гетман стал наново повторять рассказ:

⁴⁴ сказка, рассказанная глухому тирану (лат.).

– За чуприну его уцепил да за портки, слышь-ка, поднял, как слизняка, двери вышиб и на двор...

И расхохотался так, что загудело в светелке и эхо докатилось до соседней комнаты.

– Прикажи подать меду, любезный пан воевода, надобно выпить за здоровье этого рыцаря, моего друга.

Кисель приоткрыл дверь и крикнул слугу, который тотчас принес три кубка гушинского меда.

Гетман чокнулся с воеводой и со Скшетуским, выпил – хмель, видно, сразу бросился ему в голову, лицо засмеялось и душа развеселилась; обратившись к поручику, он крикнул:

– Проси, чего хочешь!

Румянец выступил на бледных щеках Скшетуского, на минуту воцарилось молчанье.

– Не бойся, – сказал Хмельницкий. – Слово – олово: проси, чего хочешь, только Киселевых дел не касайся.

Хмельницкий, даже нетрезвый, оставался себе верен.

– Коли мне позволено расположением твоим воспользоваться, любезный гетман, я потребую от тебя правого суда. Один из твоих полковников меня обидел...

– Шею ему урізати! – гневно перебил рыцаря Хмельницкий.

– Не о том речь: вели только ему принять мой вызов.

– Шею ему урізати! – повторил гетман. – Кто таков?

– Богун.

Хмельницкий заморгал глазами, потом хлопнул себя по лбу.

– Богун? – переспросил он. – Богун убит. Мені король писав, что он в поединке зарублен.

Скшетуский остолбенел. Заглоба говорил правду!

– А что тебе Богун сделал? – спросил Хмельницкий.

Щеки поручика вспыхнули еще ярче. Он не мог решиться рассказать о княжне полупьяному гетману, боясь услышать от него какое-нибудь непростительное оскорбление.

Его выручил Кисель.

– Это дело серьезное, – молвил он, – мне рассказывал каштелян Бжозовский. Богун у этого рыцаря невесту умыкнул и неведомо где спрятал.

– Так ищи ее, – сказал Хмельницкий.

– Я искал на Днестре, где она укрыта, но не смог найти. Говорят, он ее в Киев хотел отправить и сам туда собирался, чтобы там обвенчаться. Дозволь же мне, любезный гетман, в Киев за ней поехать, ни о чем не прошу больше.

– Ты мой друг, ты Чаплинского поколотил... Можешь ехать и искать ее везде, где пожелаешь, – я тебе разрешаю, и тому, у кого она пребывает, передашь мой приказ отдать ее в твои руки, а еще пернач получишь на проезд и письмо к митрополиту, чтоб по монастырям у монахинь искать позволил. Мое слово – олово!

Сказавши так, гетман крикнул в дверь, чтоб Выговский шел писать письмо и приказ составил, а Чарноту, хотя был пятый час ночи, отправил за печатью. Дедяла принес пернач, а Донцу было велено взять две сотни конных и проводить Скшетуского до Киева и далее, до первых польских сторожевых постов.

На следующий день Скшетуский покинул Переяслав.

Глава XIX

Если Заглоба томился в Збараже, то не менее его томился Володыжский, истосковавшись без ратных трудов и приключений. От времени до времени, правда, выходили из Збаража хоругви для усмирения разбойных ватаг, проливавших кровь и сжигавших села на берегах Збруча, но то была малая война – одни только стычки – хотя оттого, что зима стояла долгая и морозная, весьма обременительная, требующая многих усилий, а славы приносящая мало. Поэтому пан Михал каждый божий день приставал к Заглобе, уговаривая идти на выручку Скшетускому, от которого давно уже не было никаких известий.

– Верно, он там в какую-нибудь передрагу попал, а то и голову сложил,

– говорил Володыжский. – Непременно надо нам ехать. Погибать, так вместе.

Заглоба особенно не противился, поскольку – как утверждал – вконец замшавел в Збараже и сам диву давался, как еще не оброс паутиной, однако с отъездом медлил, рассчитывая вот-вот получить от Скшетуского хотя бы записку.

– Пан Ян у нас не только отважен, но и смекалист, – отвечал он Володы,вскому на его настоянья, – обождем еще несколько дней, вдруг придет письмо и окажется, что в экспедиции нет нужды?

Володы,вский, признавая справедливость этого аргумента, вооружался терпением, хотя время все медленнее для него тянулось. В конце декабря ударили такие морозы, что даже разбои прекратились. В окрестностях стало спокойно. Единственным развлечением сделалось обсуждение общественных новостей, как из рога изобилия сыпавшихся на серые збаражские стены.

Толковали о коронации и о сейме и о том, получит ли булаву князь Иеремия, имевший на то больше оснований, чем любой другой полководец. Возмущались теми, кто утверждал, что благодаря возобновлению переговоров с Хмельницким один лишь Кисель будет возвышен. Володы,вский по этому поводу несколько раз дрался на поединках, а Заглоба напивался пьян – появилась опасность, что он совсем сопьется, поскольку не только с офицерами и шляхтой водил компанию, но и не гнушался гулять у мещан на крестинах, на свадьбах – особенно пришились ему по вкусу их меды, которыми славился Збараж.

Володы,вский всячески ему за это выговаривал, внушая, что не пристало шляхтичу якшаться с особами низкого рода, ибо тем самым умаляется достоинство всего сословия, но Заглоба отвечал, что тому виной законы, позволяющие мещанам скоропалительно богатеть и такие наживать состояния, какими достойна владеть только шляхта; он пророчил, что наделение простолюдинов чересчур большими правами к добру не приведет, но от своего не отступался. И трудно было его за то винить в унылую зимнюю пору, когда всяк терзался неуверенностью, скукой и ожиданьем.

Мало-помалу, однако, все больше княжких хоругвей стягивалось к Збаражу, что предвещало по весне начало военных действий. У многих на душе повеселело. Среди прочих приехал пан Подбипятка с гусарской хоругвью Скшетуского. Он привез известия о немилости, в каковой пребывает при дворе князь, о смерти Януша Тышкевича, киевского воеводы, на место которого – по всеобщему мнению – будет назначен Кисель, и, наконец, о тяжелой болезни, приковавшей к постели в Кракове коронного стражника Лаща. Что касалось войны, пан Лонгинус слышал от самого князя, будто возобновится она разве что в случае крайних обстоятельств, ибо комиссары отправлены были к казакам с наказом идти на всяческие уступки. Рассказ Подбипятки соратники Вишневецкого встретили с возмущением, а Заглоба предложил отправить в суд протест и основать конфедерацию, поскольку, заявил, не хочет видеть, как пропадают плоды его трудов под Староконстантиновом.

Так, за обсуждением новостей, в тревогах и сомнениях, прошли февраль и половина марта, а от Скшетуского по-прежнему не было ни слуху ни духу.

Тем упорнее стал Володы,вский настаивать на отъезде.

– Не княжну теперь, – говорил он, – а Скшетуского искать настало время.

Время, однако, показало, что Заглоба был прав, откладывая отъезд со дня на день: под конец марта с письмом, адресованным Володы,вскому, прибыл из Киева казак Захар. Пан Михал тотчас вызвал к себе Заглобу; они заперлись с посланцем в отдельной комнате, и Володы,вский, сломав печать, прочитал нижеследующее:

– «По всему Днестру, до Ягорлыка пройдя, не обнаружил я никаких следов. Полагая, что княжна спрятана в Киеве, присоединился к комиссарам, с которыми проследовал до Переяслава. Оттуда, получив неожиданно позволение Хмельницкого, прибыл в Киев и ищу ее везде и всюду, в чем мне споспешествует сам митрополит. Наших здесь не счесть – у мещан хоронятся и в монастырях, однако, опасаясь черни, знаков о себе не подают, чрезвычайно тем поиски затрудняя. Господь меня на всем пути направлял и не только охранил, но и расположил ко мне Хмельницкого, посему, смею надеяться, и впредь помогать будет и милостью своей не оставит. Ксендза Муховецкого нижайше прошу отслужить молебен, и вы за меня помолитесь. Скшетуский».

– Слава господу-вседержителю! – воскликнул Володы,вский.

– Тут еще *post scriptum*, – заметил Заглоба, заглядывая через плечо друга.

– И верно! – сказал маленький рыцарь и стал читать дальше: – «Податель сего письма, есаул миргородского куреня, сердечно обо мне пекся, когда я в Сечи пребывал в плену, и ныне в Киеве помогал всемерно, и письмо доставить взялся, не убоявшись риска; будь любезен, Михал, позаботься, дабы он ни в чем не нуждался».

– Ну, хоть один порядочный казак нашелся! – сказал Заглоба, подавая Захару руку.

Старик пожал ее без тени подобострастия.

– Получишь вознаграждение! – добавил маленький рыцарь.

– Він сокіл, – ответил казак, – я його люблю, я не для грошей тутки прийшов.

– И гордости, гляжу, тебе не занимать, многим бы шляхтичам не грех поучиться, – продолжал Заглоба. – Не все среди вас скоты, не все! Ну да ладно, суть не в этом! Стало быть, в Киеве пан Скшетуский?

– Точно так.

– А в безопасности? Я слыхал, чернь там крепко озорничает.

– Он у Донца живет, у полковника. Ничего ему не случится: сам батько Хмельницкий Донцу под страхом смерти приказал его беречь пуще глаза.

– Чудеса в решете! С чего это Хмельницкий так возлюбил нашего друга?

– Он его давно любит.

– А сказывал тебе пан Скшетуский, что он в Киеве ищет?

– Ясное дело, он же знает, что я ему друг! Мы и вместе с ним, и поврозь искали, как не сказать было?

– Однако же не нашли по сю пору?

– Не нашли. Ляхів там еще тьма, и все прячутся, а друг про дружку никто ничего не знает – отыщи попробуй. Вы слыхали, что там зверствует черный люд, а я своими глазами видел: не только ляхів режут, но и тех, что их укрывают, даже черниц и монахов. В монастыре Миколы Доброго двенадцать полячек было, так их вместе с черницами в келье удушили дымом; каждый второй день кликнут клич на улице и бегут искать, изловят и в Днепр. Ой! Скольких уже поутопили...

– Так, может, и ее убили?

– Может, и убили.

– Нет, нет! – перебил его Володы,вский. – Ежели Богун ее туда отправил, значит, приискал безопасное место.

– Где, как не в монастыре, безопасней, а и там находят.

– Уф! – воскликнул Заглоба. – Думаешь, она могла погибнуть?

– Не знаю.

– Видно, Скшетуский все же не теряет надежды, – продолжал Заглоба. – Господь тяжкие ему послал испытанья, но когда-нибудь и утешить должен. А ты сам давно из Киева?

– Ой, давно, пане. Я ушел, когда комиссары через Киев ехали обратно. Багацько ляхів с ними бежать хотело и бежали, несчасні, кто как мог, по снегу, по бездорожью, лесом, к Белогрудке, а казаки за ними, кого ни догонят, всех убивали. Багато втекло, багато забили, а иных пан Кисель выкупил, пока имел гроші.

– О, собачьи души! Выходит, ты с комиссарами ехал?

– С комиссарами до Гущи, потом до Острога. А дальше уж сам шел.

– Пану Скшетускому ты давно знаком, значит?

– В Сечи повстречались; он раненый лежал, а я за ним ходил и полюбил, как дитину рідную. Стар я, некого мне любить больше.

Заглоба крикнул слугу и велел подать меду и мясного. Сели ужинать. Захар с дороги был утомлен и голоден и поел с охотой, потом выпил меду, омочив в темной влаге седые усы, и молвил, причмокнув:

– Добрый мед.

– Получше, чем кровь, которую вы пьете, – сказал Заглоба. – Впрочем, полагаю, тебе, как человеку честному и Скшетускому преданному, к смутьянам нечего возвращаться. Оставайся с нами! Здесь тебе хорошо будет.

Захар поднял голову.

– Я письмо віддав и пойду, казаку середь казаков место, негоже мне с ляхами брататься.

– И бить нас будешь?

– А буду. Я сечевой казак. Мы батька Хмельницкого гетманом выбрали, а теперь король ему прислал булаву и знамя.

– Вот тебе, пан Михал! – сказал Заглоба. – Говорил я, протестовать нужно?

– А из какого ты куреня?

– Из миргородского, только его уже нету.

– А что с ним случилось?

– Гусары Чарнецкого под Желтыми Водами в прах разбили. Кто жив остался, теперь у Донца, и я с ними. Чарнецкий добрый жолнір, он у нас в плену, за него комиссары просили.

– И у нас ваши пленные есть.

– Так оно и должно быть. В Киеве говорили, первейший наш молодец у ляхів в неволе, хотя иные сказывают, он погибнул.

– Кто таков?

– Ой, лихой атаман: Богун.

– Богун в поединке зарублен насмерть.

– Кто ж его зарубил?

– Вон тот рыцарь, – ответил Заглоба, указывая на Володы,вского.

У Захара, который в ту минуту допивал уже вторую кварту меду, глаза на лоб полезли и лицо побагровело; наконец он прыснул, пустив из носу фонтан, и переспросил, давясь от смеха:

– Этот лицар Богуна убил?

– Тысяча чертей! – вскричал, насупя бровь, Володы,вский. – Посланец сей чересчур много себе дозволяет.

– Не сердись, пан Михал, – вмешался Заглоба. – Человек он, видать, честный, а что обходительности не научен, так на то и казак. И опять же: для вашей милости это честь большая – кто еще при такой неказистой наружности столько великих побед одержал в жизни? Сложенья ты хилого, зато духом крепок. Я сам... Помнишь, как после поединка таращился на тебя, хотя собственными глазами от начала до конца весь бой видел? Верить не хотелось, что этакій фертик...

– Довольно, может? – буркнул Володы,вский.

– Не я твой родитель, понапрасну ты на меня злишься. Изволь знать: мне бы хотелось, чтобы у меня такой сын был; дашь согласие, усыновлю и отпишу все, чем владею! Гордиться нужно, великий дух в малом теле имея... И князь не много тебя осанистей, а сам Александр Македонский едва ли ему в оруженосцы годится.

– Другое меня печалит, – сказал, смягчившись, Володы,вский, – ничего обнадеживающего из письма Скшетуского мы не узнали. Что сам он на Днестре головы не сложил, это слава богу, но княжны-то до сих пор не нашел и кто поручится, найдет ли?

– Что правда, то правда! Но коли господь нашими стараньями его от Богуна избавил и премногих опасностей и ловушек помог избежать, да еще в очерствелое сердце Хмельницкого заронил искру странного чувства к нашему другу, то не для того, верно, чтобы он от тоски и страданий, как свеча, истаял. Ежели ты, пан Михал, руки провидения во всем этом не видишь, ум твой тупее сабли; впрочем, справедливо считается, что нельзя обладать всеми достоинствами сразу.

– Я лишь одно вижу, – ответил, гневно шевеля усиками Володы,вский, – нам с тобою там нечего делать, остается здесь сидеть, покуда совсем не заплесневеет.

– Скорее уж мне плесневет, поскольку я тебя много старше; известно ведь – и репа мякнет, и сало от старости горкнет. Возблагодарим лучше господа за то, что всем нашим бедам счастливый конец обещан. Немало я за княжну истерзался, ей-ей, куда больше, чем ты, и Скшетуского немногим менее; она мне как дочь все равно, я и родную бы не любил сильнее. Говорят даже, она вылитый мой портрет, но и без того я к ней всем сердцем привязан, и не видать бы тебе меня веселым и спокойным, не верь я в скорое окончание ее злоключений.

Завтра же *epitalamium*⁴⁵ сочинять начну, я ведь прекрасно вирши слагаю, только в последнее время Аполлону изменил ради Марса.

– Что сейчас говорить о Марсе! – ответил Володы,вский. – Черт бы побрал этого изменника Киселя с комиссарами и с их переговорами вместе! Весной как пить дать заключат мир. Подбипятка со слов князя то же самое утверждает.

– Подбипятка столько же смыслит в политике, сколько я в сапожном ремесле. Он при дворе, кроме красоты своей, ничего не видел, ни на шаг небось не отходил от юбки. Даст бог, кто-нибудь уведет ее у него из-под носу; впрочем, довольно об этом. Кисель изменник, не спору, в Речи Посполитой всяк это знает, а вот насчет переговоров, думается мне, еще бабушка надвое ворожила.

Тут Заглоба обратился к казаку:

– А у вас, Захар, что говорят: войны ждать или мира?

– До первой травы тихо будет, а весной либо нам погибель, либо ляхівчикам.

– Радуйся, пан Михал, я тоже слыхал, будто чернь везде готовится к войне.

– Буде така війна, яко... не бувало, – сказал Захар. – У нас говорят, и султан подойдет турецкий, и хан приведет все орды, а друг наш Тугай-бей и вовсе домой не ушел, а становище неподалеку раскинул.

– Радуйся, пан Михал, – повторил Заглоба. – И новому королю напророчили, что все его правление пройдет в войнах, а уж простому человеку, похоже, тем более долго не прятать сабли в ножны. Успеем истрепаться в боях, как метла в руках хорошей хозяйки, – такова уж наша солдатская доля. А дойдет дело до схватки, постарайся ко мне поближе держаться: великолепную увидишь картину – будешь знать, как в старые добрые времена бились. Мой бог! Не те нынче люди, что были прежде, и ты не такой, пан Михал, хоть и грозен в бою и Богуна зарубил насмерть.

– Справедливо кажете, пане, – сказал Захар. – Не ті... тепер люде, що бували...

Потом поглядел на Володы,вского и прибавил, покачав головой:

– Але щоб цей лицар Богуна убив, но, но!..

Глава XX

Старый Захар, отдохнув несколько дней, уехал обратно в Киев, а тем временем пришло известие, что комиссары воротились без особых надежд на сохранение мира, хуже того – в полном смятенье. Им удалось лишь выговорить *armisticium*⁴⁶ до русского троицына дня, после чего предполагалось собрать новую комиссию с полномочиями для ведения переговоров. Однако требования и условия Хмельницкого были столь непомерны, что никто не верил, дабы Речь Посполитая могла на них согласиться. Поэтому обе стороны с поспешностью начали вооружаться. Хмельницкий слал посла за послом к хану, призывая его со всеми силами себе на подмогу; отправлял он гонцов и в Стамбул, где давно уже пребывал королевский посланник Бечинский; в Речи Посполитой со дня на день ожидали призыва в ополчение. Пришли вести о назначении новых полководцев: подчашего Остророга, Ланцкоронского и Фирлея. Иеремия же Вишневецкий от военных дел был полностью отстранен – теперь он лишь с собственными силами мог защищать отчизну. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники бывших региментариев возмущены были таким решением и немилостью, оказанной князю, справедливо рассуждая, что если стоило пожертвовать Вишневецким из политических соображений, пока еще теплилась надежда на заключение мира, то устранение его в канун войны было непростительной, величайшей ошибкой, поскольку князь один не уступал Хмельницкому силой и мог одолеть могущественного предводителя смуты. Наконец и сам князь прибыл в Збараж, чтобы собрать как можно больше войска и в полной готовности

⁴⁵ эпیتالаму (лат.).

⁴⁶ перемирие (лат.).

ожидать скорого начала войны. Перемирие было заключено, но сплошь да рядом обнаруживалась его несостоятельность. Хмельницкий приказал, правда, срубить головы нескольким полковникам, которые вопреки договору позволяли себе нападать на замки и хоругви, отдохавшие на зимних стоянках, но не в его власти было сдерживать черный люд и бессчетные безначальные ватаги, которые про *armisticium* либо не слышали, либо не желали слышать, а зачастую и значения этого слова не понимали. Они то и дело преступали установленные договором границы, тем самым сводя на нет все обещанья Хмельницкого. С другой стороны, квартовые войска и шляхетские отряды, преследуя смутьянов, частенько переходили Горынь и Припять в Киевском воеводстве, забирались в глубь воеводства Брацлавского, а там, подвергшись нападению казаков, затевали настоящие бои, порой весьма ожесточенные и кровопролитные. Поэтому со стороны и казачества, и поляков непрестанно сыпались жалобы о нарушении договора, который, по сути, соблюсти было невозможно. Таким образом, перемирие означало только, что ни сам Хмельницкий, ни король со своими гетманами не начинали военных действий, фактически же война разгоралась – без участия, правда, главных сил, и первые теплые лучи весеннего солнца, как прежде, освещали пылающие деревни, местечки, города и замки, озаряли кровавые побоища и людское горе.

Мятежные ватаги из-под Бара, Хмельника, Махновки подступали близко к Збаражу, грабили, жгли, убивали. С этими Иеремия расправлялся руками своих полковников, сам не участвуя в мелких стычках, – он намеревался выступить со всей своею дивизией, лишь когда гетманы выйдут на бранное поле.

Пока же князь высылал разъезды, приказывая кровью платить за кровь, колом за грабежи и убийства. В числе прочих ходил раз на вылазку Лонгин Подбипытка и разбил мятежников под Черным Островом, но страшен рыцарь наш был только в сражение, с пленниками же, схваченными с оружием в руках, обращался с излишней мягкосердечностью, и потому больше его не посылали. Володы,вский же, напротив, премного в подобных экспедициях отличался – соперничать с ним в партизанской войне мог разве что один Вершулл. Никто другой не совершал столь стремительных налетов, не умел столь неожиданно напасть на неприятеля, разбить его в бешеной атаке, рассеять на все четыре стороны, переловить, перебить, перевешать. Вскоре имя его начало внушать ужас, князь же стал дарить пана Михала особым расположением. С конца марта до середины апреля Володы,вский разгромил семь безначальных ватаг, каждая из которых была втрое сильнее его отряда, и, не зная устали, распался все больше, словно в проливаемой крови черпал новые силы.

Маленький рыцарь, а правильнее сказать, маленький дьявол, горячо уговаривал Заглобу сопровождать ему в этих экспедициях, поскольку его общество предпочитал всякому другому, однако почтенный шляхтич на уговоры не поддавался, так объясняя свою неохоту заняться делом:

– Не с моим толстым брюхом, пан Михал, трястись по бездорожью да встравать в стычки – всяк, как известно, для своего рожден. С гусарами среди бела дня врезаться в гущу вражьего войска, обоз разнести, отобрать знамя – это по мне, для того меня господь сотворил и наставил, а за всяким сбродом по кустам да в потемках гоняться сам, ты у нас, как игла, тонок, во всякую щель пролезешь. Я старой закалки воин, мне сподручней, подобно льву, рвать зверя, нежели, как ищейка, по следу в чащобах рыскать. Да и спать ложиться я привык с петухами – самое мое время.

Посему Володы,вский ездил один и один одерживал победы, пока, уехав как-то в конце апреля, не вернулся в половине мая столь печальный и удрученный, будто потерпел поражение и людей своих погубил. Так всем, по крайней мере, показалось, но то было ошибочное представление. Напротив, долгий и тяжкий этот поход завершился за Острогом, под Головной, где Володы,вский не просто ватагу черного люда погромил, а отряд в несколько сот запорожцев, половину из которых зарубил, а половину захватил в плен. Тем удивительнее было видеть глубокую печаль, затуманившую его веселое от природы лицо. Многим не терпелось немедля дознаться о ее причине, но Володы,вский слова никому не сказал и, спешившись, отправился прямо к князю, с которым имел долгую беседу. Его сопровождали два неизвестных рыцаря. С этими же рыцарями он пошел затем к Заглобе, нигде не задерживаясь, хотя любопытные, жаждущие новостей, по пути то и дело его за рукав хватали.

Заглоба с немалым удивлением воззрился на двух исполинов, которых никогда прежде не видел; судя по мундирам с золотыми нашивками на плечах, они служили в литовском войске. Володыжский же сказал только:

– Закрой дверь, сударь, и никого не вели пускать: о важных делах поговорить надо.

Заглоба отдал распоряжение челядинцу и сел, поглядывая на гостей с тревогой: лица их ничего доброго не сулили.

– Это, – сказал Володыжский, указывая на юношей, – князя Булыги-Курцевичи: Юр и Андрей.

– Двоюродные братья Елены! – воскликнул Заглоба.

Князя поклонились и произнесли в один голос:

– Двоюродные братья покойной Елены.

Красное лицо Заглобы в мгновение сделалось иссиня-бледным; как подстреленный, стал он руками колотить воздух, разинул рот, не будучи в силах перевести дыхание, вытаращил глаза и скорее простонал, чем промолвил:

– Как так?

– Есть известия, – угрюмо ответил Володыжский, – что княжна в монастыре Миколы Доброго убита.

– Чернь дымом удушила в келье двенадцать шляхтянок и нескольких черниц, среди которых была сестра наша, – добавил князь Юр.

На сей раз Заглоба ничего не ответил, лишь лицо его, минуту назад синее, побагровело так, что рыцари испугались, как бы старика не хватил удар; потом веки его медленно опустились, он закрыл глаза руками, и из уст его вырвался стон:

– Боже! Боже! Боже!

После чего старый шляхтич умолк надолго.

А князя и Володыжский дали волю отчаянию.

– Вот, собрались мы, друзья и родичи твои, с намереньем спасти тебя, прелестная панна, – говорил, перемежая свою речь вздохами, молодой рыцарь,

– но, знать, с помощью своей опоздали. Не нужна никому решимость наша, не нужны отвага и острые сабли – ты в ином уже, лучшем, чем плачевная сия юдоль, мире, при дворе у царицы небесной...

– Сестра! – восклицал великан Юр и волосы на себе в горести рвал. – Прости нам прегрешения наши, а мы за каждую каплю твоей крови ведро прольем вражьей.

– Да поможет нам бог! – добавил Андрей.

И оба мужа воздели к небесам руки, Заглоба же встал со скамьи, сделал несколько шагов к своей лежанке, пошатнулся как пьяный и пал перед святым образом на колени.

Минутою позже в замке, возвещая полдень, загудели колокола, звонившие мрачно, как на похоронах.

– Нет больше княжны, нету! – повторил Володыжский. – Ангелы вознесли ее на небо, нам в удел оставив печаль и слезы.

Рыдания вырвались из груди Заглобы, и он затрясся всем своим крупным телом, а три рыцаря продолжали сетовать на судьбу, и колокола вторили им, не умолкая.

Наконец Заглоба успокоился. Казалось даже, сломленный горем старый шляхтич задремал, стоя на коленях, но спустя несколько времени он поднялся и сел на лежанку, только это был уже совсем другой человек: с красными, налитыми кровью глазами, поникшей головой, отвисшей до самого подбородка нижней губою; на лице его отражалась беспомощность и старческая немощь, незаметная дотоле, – и вправду подумать можно было, что прежний Заглоба, хвастун, весельчак и выдумщик, преставился, даровав свое обличье поникшему под бременем лет и усталости старцу.

Некоторое время спустя, несмотря на протесты караулившего у дверей слуги, вошел Подбипытка, и вновь посыпались жалобы и сетованья. Литвин вспоминал Разлоги и первую свою встречу с княжною, вспоминал, как прелестна, юна и мила она была; наконец, припомнив, что есть человек, их всех несчастней, – жених ее, Ян Скшетуский, – принялся спрашивать, что знает о нем маленький рыцарь.

– Скшетуский остался у князя Корецкого в Корце, куда приехал из Киева, и лежит

больной, в помраченье, ничего вокруг себя не видя, – сказал Володы,вский.

– А не поехать ли нам к нему? – спросил литвин.

– Незачем нам туда ехать, – ответил Володы,вский. – Княжеский лекарь ручается за его выздоровление; при нем Суходольский – он хотя и полковник князя Доминика, но со Скшетуским в дружбе, и старый наш Зацвилюховский – оба усердно о нем пекутся. Недостатку он ни в чем не знает, а что пребывает в беспамятстве, оно ж для него лучше.

– Господь всемогущий! – воскликнул литвин. – Неужто ваша милость своими глазами его видел?

– Видел, но не скажи мне, что это он, я б его не узнал ни за что на свете, настолько изнурен бедняга страданиями и болезнью.

– А он тебя узнал?

– Похоже, узнал, потому что, хоть и не сказал ни слова, улыбнулся и головой кивнул, а мне такая жалость стеснила душу, что я дольше возле него оставаться не смог. Князь Корецкий собирается в Збараж вести свои хоругви, Зацвилюховский с ним идти намерен, и Суходольский клянется, что вскоре прибудет, хоть бы и получил от князя Доминика совсем иные распоряженья. Они и Скшетуского с собой привезут, если его болезнь не переможет.

– А откуда ваши милости узнали про смерть княжны Елены? – продолжал расспросы пан Лонгинус и добавил, указывая на князьев: – Не эти ли рыцари привезли известье?

– Нет. Эти рыцари сами случайно услышали обо всем в Корце, куда прибыли с подкреплением от виленского воеводы, и сюда последовали со мной, поскольку нашему князю письма от воеводы должны были передать. Война неминуема, от комиссии уже никакого проку не будет.

– Это мы и тут сидя знаем, ты лучше скажи, от кого о смерти княжны услышал?

– Мне Зацвилюховский сказал, а ему сам Скшетуский. Пан Ян от Хмельницкого получил разрешение в Киеве княжну искать, и митрополит ему обещался помочь. Искали больше по монастырям: все, кто из наших остались в Киеве, у монахов попрятались. Думали, что и Богун княжну в каком-нибудь монастыре укрыв. Долго искали, не теряя надежды, хотя и знали, что чернь у Миколы Доброго двенадцать девиц удушила дымом. Сам митрополит заверял, что невесту Богуна никто не посмеет тронуть, да вышло иначе.

– Значит, она была у Миколы Доброго все же?

– То-то и оно. Скшетуский повстречал в одном монастыре Иоахима Ерлича, а поскольку всех расспрашивал о княжне, то и его спросил. Ерлич же ему и скажи, что всех, какие были, девиц казаки сразу увезли, лишь у Миколы Доброго осталось двенадцать, да и тех потом в дыму удушили; между них как будто была и княжна Курцевич. Скшетуский, зная недобрый нрав Ерлича, который к тому же от вечного страху как бы тронулся слегка, не поверил и снова кинулся с расспросами в монастырь. На беду, монашки – три их сестры были удушены в той же келье – фамилий не помнили, но, когда Скшетуский описал им княжну, подтвердили, что была такая. Тогда-то Скшетуский из Киева уехал и вскоре занемог.

– Чудо, что еще жив остался.

– И умер бы беспрременно, если б не тот старый казак, что за ним в плену в Сечи ходил и потом сюда приезжал с письмом, а вернувшись, княжну помогал искать. Он его и в Корец отвез, где с рук на руки Зацвилюховскому отдал.

– Поддержи его дух, господи, ему уже никогда не найти утешенья, – промолвил пан Лонгинус.

Володы,вский ни слова более не проронил; настало гробовое молчанье. Князя, подперев руками головы, насупя брови, сидели неподвижно, Подбипятка возвел очи к небу, а Заглоба упер остекленевший взор в противоположную стену и, казалось, погрузился в глубокую задумчивость.

– Очнись, сударь! – сказал наконец Володы,вский, тряхнув его за плечо. – О чем задумался? Ничего тебе теперь уже не придумать, и хитростями твоими беде не помочь.

– Знаю, – упавшим голосом ответил Заглоба, – одна у меня дума; стар я стал и нечего мне на этом свете делать.

– Вообрази себе, любезный друг, – говорил по прошествии нескольких дней Лонгину Володы,,вский, – человек этот в одночасье переменялся так, словно на двадцать лет стал старше. Какой был весельчак, говорун, затейщик, – самого Улисса превосходил хитроумьем! – а нынче что? Рта лишний раз не откроет, дремлет целыми днями, на старость сетует, а если и скажет слово, все равно как сквозь сон. Знал я, что любил он ее, но не предполагал, что так сильно.

– Что ж тут удивительного? – отвечал, вздыхая, литвин. – Потому и привязался крепко, что ее из рук Богуновых вырвал, что ради нее столько раз опасностям подвергался, в тяжкие переделки попадал. Покуда тлела надежда, то и мысль его не дремала, всяческие изобретая затеи, и сам твердо на ногах стоял, а теперь и вправду: что делать на свете одинокому старику, которому сердцем не к кому прилепиться?

– Я уж и пить с ним пробовал в надежде, что он от вина воспрянет духом, – все без толку! Пить пьет, но историй несусветных, как в прежние времена, не рассказывает и подвигами своими не похвастается, разве что расчувствуется, а потом голову на брюхо и спать. Уж и не знаю, кто сильнее отчаивается – он или Скшетуский.

– Жаль его невыразимо. Что ни говори, великий был рыцарь! Пойдем к нему, пан Михал. Ведь он привычку имел надо мной насмешничать и донимать всячески. Может, и сейчас придет охота? Господи, как же меняются люди! Такой веселый был человек!

– Пошли, – сказал Володы,,вский. – Поздновато, правда, но ему по вечерам тяжелей всего: целый день продремлет, а ночью уснуть не может.

Продолжая беседовать, друзья отправились на квартиру к Заглобе; тот сидел у раскрытого окна, подперев голову рукою. Час был уже поздний, в замке остановилось всякое движение, только дозорные перекликались протяжными голосами, а в густом кустарнике, отделяющем замок от города, соловьи испуленно выводили свои ночные трели, свистя, булькая и щелкая с такой силой, с каковой обрушивается на землю весенний ливень. Сквозь распахнутое окно струился теплый майский воздух, лунный свет ярко озарял скорбное лицо и склоненную на грудь лысую голову Заглобы.

– Добрый вечер, ваша милость, – приветствовали его рыцари.

– Добрый вечер, – ответил Заглоба.

– О чем, сударь, размышлялся пред окошком, вместо того чтобы спать ложиться? – спросил Володы,,вский.

Заглоба вздохнул.

– Не до сна мне, – проговорил он едва слышно. – Год назад, ровно год, мы с нею от Богуна бежали, и над Кагамлыком точно так же для нас щелкали пташки, а теперь где она?

– Такова, знать, была божья воля, – сказал Володы,,вский.

– Чтоб я слезы в тоске проливал! Нету мне ни в чем утешения, пан Михал!

Настало молчание, только все звонче разливались за окном соловьи: казалось, светлая ночь наполнена их щелканьем.

– О боже, боже, – вздохнул Заглоба, – в точности как на Кагамлыке!

Пан Лонгинус смахнул слезу с льяных усов, а маленький рыцарь немного погодя промолвил:

– Знаешь что, сударь? Печаль печалью, а выпей-ка ты с нами медку – нет от тоски целительнее лекарства. А за чаркой, даст бог, лучшие времена придут на память.

– Что ж, выпьем, – безропотно согласился Заглоба.

Володы,,вский приказал челядинцу принести огня и жбан меду, а когда все уселись, спросил, понимая, что лишь воспоминания могут отвлечь Заглобу от горьких мыслей:

– Стало быть, уже год, как вы с покойницей из Разлогов от Богуна бежали?

– В мае это было, в мае, – ответил Заглоба. – Мы через Кагамлык переправились, хотели в Золотоношу попасть. Ох, тяжело на свете жить!

– И она переодета была?

– Да, казачком. Волосы мне пришлось бедняжке отрезать, чтоб ее не узнали. Помню даже, в каком месте я их под деревом зарыл вместе с саблей.

– Прелестная была панна! – вставил со вздохом Лонгинус.

– Я ж вам говорю, что с первого дня ее полюбил, словно сам воспитывал с малолетства. А она все рученьки складывала да благодарила за спасение и заботу! Лучше б мне от казацкой сабли пасть, нежели нынешнего дня дожидаться! Зачем теперь жить на свете?

Никто ему не ответил; молча пили три рыцаря мед, перемешанный со слезами.

– Думал, подле них в покое до старости доживу, а тут... – начал было опять Заглоба и бессильно уронил руки. – Нечего мне больше ждать, разве что смерть принесет утешенье.

Не успел Заглоба закончить, как в сенях поднялся шум: кто-то пытался войти, а челядинец не пускал; началась громкая перебранка. Вдруг Володы, вскому послышался знакомый голос, и он крикнул челядинцу, чтобы тот впустил пришедшего.

Дверь приотворилась, и в щели появилась щекастая румяная физиономия Редзяна, который, обведя взглядом сидящих за столом, поклонился и сказал:

– Слава Иисусу Христу!

– Во веки веков, – ответил Володы, вский. – Это Редзян.

– Я самый, – молвил парень, – кланяюсь вашим милостям низко. А где мой хозяин?

– Твой хозяин в Корце, он болен.

– О господи! Да что вы такое говорите, сударь! Не дай бог, опасно?

– Был опасно, а теперь поправляется. Лекарь обещает выздоровленье.

– А я хозяину весточку о княжне привез.

Маленький рыцарь печально покачал головою.

– Напрасно ты спешил, пан Скшетуский уже знает об ее смерти, и мы здесь оплакиваем бедняжку горячими слезами.

У Редзяна глаза на лоб полезли.

– Батюшки-светы! Что я слышу? Неужто барышня померла?

– Не померла, а в Киеве разбойниками убита.

– В каком еще Киеве? Что ваша милость городит?

– Как в каком Киеве? Ты что, не слыхивал про Киев?

– Господи Иисусе! Ваша милость шутит, верно? Откуда ей взяться в Киеве, когда она неподалеку от Рашкова укрыта, в яру над Валадынькой? И ведьме приказано, чтоб до приезда Богуна ни на шаг ее от себя не отпускала. Ей-богу, так и ума недолго решиться!

– Какой еще ведьме? Ты что плетешь?

– А Горпыне!.. Я эту сучку хорошо знаю!

Заглоба вдруг вскочил и стал размахивать руками, точно утопающий в отчаянной попытке найти спасенье.

– Помолчи ради всего святого, сударь, – оборвал он Володы, вского. – Позволь, черт возьми, и мне слово вставить!

Заглоба побледнел, лысина его оросилась потом – присутствующим даже стало за него страшно, но старый шляхтич, одним махом перескочив через скамью, схватил Редзяна за плечи и спросил хрипло:

– Кто тебе сказал, что она... возле Рашкова укрыта?

– Кто мог сказать? Богун!

– Ты что, брат, спятил?! – рявкнул Заглоба и стал трясти парня как грушу. – Какой Богун!

– Господи помилуй! – завопил Редзян. – Зачем же трясти так? Пустите, ваша милость, дайте с мыслями собраться... Последние вытрясете мозги, у меня и так все в башке перемешалось... Какой, говорите, Богун? Неужто ваша милость его не знает?

– Говори, не то ножом пырну! – взревел Заглоба. – Где ты Богуна видел?

– Во Влодаве!.. Чего вы от меня, судари, хотите? – закричал перепуганный парнишка. – Кто я, по-вашему? Разбойник с большой дороги?

Заглоба, казалось, вот-вот лишится чувств; не в силах перевести дух, он повалился на скамью, хватая ртом воздух. На помощь ему пришел пан Михал.

– Ты когда Богуна видел? – спросил он у Редзяна.

– Три недели назад.

– Значит, жив он?

– А чего ему не быть живу?.. Ваша милость его искромсал порядком, он сам мне рассказывал, однако же оклемался...

– И он тебе сказал, что княжна под Рашковым?

– А кто ж еще?

– Слушай, Редзян, речь идет о жизни княжны и твоего хозяина! Богун сам тебе говорил, что ее в Киеве не было?

– Сударь мой, как ей было быть в Киеве, когда он ее возле Рашкова спрятал и Горпыне под страхом смерти приказал никуда от себя не пускать, а теперь мне пернач дал и свой перстень, чтобы я к ней туда ехал, потому как у него раны открылись и пролежать придется невесть сколько...

Заглоба не дал Редзяну договорить: вскочив со скамьи и вцепившись в остатки волос обеими пятернями, он закричал как безумный:

– Жива моя доченька, жива, слава богу! Не убили ее в Киеве! Жива моя ненаглядная, жива, жива!

Старик топал ногами, смеялся, плакал, наконец, обхватив Редзяна за шею, прижал к груди и облобызал – бедный парень совсем потерялся.

– Оставьте, ваша милость... задушите! Вестимо, жива... Даст бог, отправимся за нею вместе... Ваша милость... Ну, ваша милость!

– Пусти его, сударь, позволь рассказать до конца, мы ж еще ничего не поняли, – сказал Володы,вский.

– Говори скорей! – кричал Заглоба.

– Давай по порядку, братец, – сказал пан Лонгинус, на усах которого тоже осела обильная роса.

– Позвольте, судари, отдышусь, – сказал Редзян, – и окно прикрою, а то слова не выговоришь – больно галдят в кустах проклятые соловьи.

– Меду! – крикнул челядинцу Володы,вский.

Редзян закрыл окно со свойственной ему неторопливостью, после чего повернулся к присутствующим и сказал:

– Дозвольте присесть, ваши милости, ноги от усталости подламываются.

– Садись! – сказал Володы,вский, наливая ему из принесенного челядинцем жбана. – Пей с нами, ты своей новостью не то еще заслужил, только говори скорее.

– Отменный мед! – промолвил Редзян, разглядывая стакан на свет.

– Чтоб тебе пусто было! Рассказывать будешь? – рявкнул Заглоба.

– А ваша милость сейчас гневаться! Ясно, что буду, коли вы того желаете: ваше дело приказывать, а мое повиноваться, на то и слуга я. Видать, надобно все как есть рассказать, с самого начала...

– Давай с самого начала!

– Помните, когда пришла весть о взятии Бара, мы посчитали, что барышни уже в живых нету? Я тогда в Редзяны воротился, к родителям и дедушке, которому уже под девяносто... Да, верно... Нет! Девяносто один, пожалуй.

– Да хоть бы и девятьсот!.. – буркнул Заглоба.

– Дай ему господь долгой жизни! Спасибо вашей милости на добром слове, – ответил Редзян. – Так вот, поехал я тогда домой, отвезть родителям, что с божьей помощью принакопил, покуда среди разбойников обретался: как вам уже ведомо, прошлый год я в Чигирине попал к казакам, они меня за своего сочли, потому как я раненого Богуна выхаживал и в большое доверие к нему вошел, а при случае скупал у этих ворюг что придется – когда серебро, когда камушки...

– Знаем, знаем! – сказал Володы,вский.

– Приехал, значит, я к родителям, которые очень мне обрадовались, но глазам своим верить не захотели, увидевши, какие я привез подарки. Пришлось поклясться дедушке, что все честным путем добыто. То-то было радости, а надобно вам знать, что у родителей моих идет тяжба с Яворскими из-за груши. Дерево на меже растет: половина веток на их стороне, половина на нашей. Начнут трясти Яворские, наши груши сыплются, а много на межу падает. Они говорят, те, что на меже, ихние, а мы...

– Хлоп, ты лучше меня не испытывай! – воскликнул Заглоба. – Хватит болтать, это к делу касательства не имеет...

– Во-первых, да простит меня ваша милость, никакой я не холоп, а шляхтич: хоть и бедны мы, но свой герб имеем, что вам, сударь, и пан поручик Володы,вский, и пан Подбипятка, как знакомцы пана Скшетуского, подтвердить могут, а во-вторых, тяжба эта длится уже пятьдесят лет...

Заглоба стиснул зубы и дал себе слово, что больше не проронит ни звука.

– Хорошо, рыбонька, – ласково молвил пан Лонгинус, – но все ж лучше ты нам не о груше, а о Богуне расскажи.

– О Богуне? – переспросил Редзян. – Ладно, извольте. Так вот, сударь мой, Богун полагает, что нет у него верней, чем я, слуги и друга: хоть он меня в Чигирине и разрубил надвое, да я, правда, за ним ходил и раны перевязывал, еще когда ему от князей Курцевичей досталось. Я ему тогда наворотил с три короба, что, мол, надоело мне панам прислуживать – с казаками прибыльнее дружбу водить, а он поверил. Да и как было не поверить, когда я его выходил?! Так вот, ужасно он меня полюбил и вознаградил, честно говоря, щедро, не ведая о том, что я в душе отмстить за чигиринскую обиду поклялся, а не зарезал его лишь потому, что не пристало шляхтичу врага, к постели прикованного, ножом колоть, точно свинью какую.

– Ну, хорошо, хорошо, это нам тоже известно, – сказал Володы,вский. – Сейчас-то ты его как нашел?

– А дело было так, ваша милость. Поприжали мы Яворских (им теперь только по миру идти, не иначе!), и я себе подумал: «Что ж, пора и мне Богуну поискать, расплатиться за свою обиду». Открылся я родителям и дедушке, а дедушка, горячая голова, и говорит: «Раз клятву дал, ступай, не позорь фамилию нашу». Ну, я и пошел, тем паче что в уме другое еще прикинул: ежели, думаю, отыщется Богун, то, возможно, и о барышне, коли она жива, кой-чего разузнать удастся, а как пристрелю его и явлюсь к хозяину с новостями, тоже, того и гляди, получу награду.

– Получишь, не сомневайся! И за нами дело не станет, – сказал Володы,вский.

– От меня, братец, считай, имеешь коня со сбруей, – добавил пан Лонгинус.

– Благодарю покорнейше, милостивые судари, – обрадовался слуга, – за добрую весть всякому по справедливости причитается магарыч, а уж я не пропью, мне только дай в руки...

– Ох, я, кажется, не выдержу дольше, – буркнул Заглоба.

– Значит, уехал ты из дома... – подсказал Володы,вский.

– Уехал я, значит, из дома, – продолжал Редзян, – и думаю: куда теперь? Подамся, пожалуй, в Збараж, оттуда и до Богуну рукой подать, и о хозяине скорей разузнать можно. Еду, стало быть, сударь мой, через Белую на Влодаву, и во Влодаве, поскольку лошадки мои устали изрядно, останавливаюсь передохнуть. А там аккурат ярмарка, все постоялые дворы шляхтой забиты. Я к мещанам: и там шляхта! Один только еврей нашелся. «Была, говорит, у меня комната, да ее раненый шляхтич занял». – «Оно и хорошо, говорю, мне не впервой перевязывать раны, а у вашего цирюльника небось по случаю ярмарки рук не хватает». Чего-то там еще еврей бормотал, будто шляхтич этот сам себе делает перевязки и не желает никого видеть, но все же пошел спросить. А тому, видать, хуже стало, велел он меня пустить. Я вхожу. Глядь: Богун на постели!

– Ого! – воскликнул Заглоба.

– Я страсть как перепугался, крестом себя осенил: «Во имя отца, и сына, и святого духа», – а он меня тот же час признал, обрадовался ужасно

– я ж у него в друзьях числюсь – и говорит: «Ты мне богом послан! Теперь уж я не помру». А я говорю: «Что ваша милость здесь делает?» – а он палец ко рту; потом только рассказал о своих приключениях: как его Хмельницкий к их величеству королю, тогда еще королевичу, из-под Замостья отправил и как пан поручик Володы,вский в Липкове его чуть не зарубил насмерть.

– Уважительно меня вспоминал? – спросил маленький рыцарь.

– Ничего не могу сказать, сударь мой: уважительно, очень даже. «Я говорит, думал, экий поскребыш! Щенок, говорит, думал, а он, говорит, витязь чистой воды, чуть меня не располовинил». Зато когда пана Заглобу вспоминал, ух, и скрежетал зубами: мол, ваша милость его на поединок подначил!..

– Дьявол с ним! Он мне теперь не страшен! – ответил Заглоба.

– И снова мы с ним как два дружка стали, – продолжал Редзян. – Ба! Он еще больше ко мне расположился, все рассказал: как был к смерти близок, как его в Липкове приютили в барской усадьбе, за шляхтича посчитав, а он назвался паном Гулевичем с Подолья, как его выхаживали, всяческую оказывая доброту, за что он благодетелям своим в вечной благодарности поклялся.

– А что же он во Влодаве делал?

– Стал на Волынь пробираться, но в Парчове телега вместе с ним перевернулась и раны открылись, пришлось остаться, хотя страшно было, потому что там с ним легче легкого расправиться могли. Он мне сам сказал: «Меня, говорит, с письмами послали, а теперь доказательств никаких не осталось, разве что пернач; прознай шляхта, кто я таков, не сносить бы мне головы, да что шляхта – первый бы встречный солдат вздернул, ни у кого не спросившись». Помню, сказал он так, а я ему: «Оно и хорошо, говорю, знать, что первый встречный тебя готов вздернуть». А он мне: «Это еще почему?» – «А потому, говорю, что осторожность надо блюсти и в разговоры ни с кем не вступать, а я вашей милости служить готов». Он меня благодарить, награду пообещал: за мной, говорит, не пропадет. «Сейчас, говорит, у меня денег нету, но драгоценности все, что при мне, – твои, а потом, говорит, я тебя золотом обсыплю, только окажи мне еще одну услугу».

– Ага, похоже, скоро до княжны доберемся! – заметил Володы, вский.

– Воистину так, сударь мой, но уж, дозвоьте, я все по порядку. Услыхал я, стало быть, что денег у него при себе нет, и тотчас всякую потерял жалость. «Погоди, думаю, я тебе окажу услугу!» А он говорит: «Болен я, последние силы оставили, а путь впереди опасный и долгий. Мне бы, говорит, до Волыни добраться, до своих – благо отсюда недалеко, – а на Днестр ехать я никак не могу, не выдюжу, говорит, к тому ж через вражеский край, мимо замков и войск пробиваться надо, – езжай-ка вместо меня ты лучше». Я, конечно, спрашиваю: «А куда ехать?» А он мне: «За Рашков, она там у сестры Донцовой, Горпыны-колдуньи, укрыта». Я спрашиваю: «Княжна, что ли?» – «Да, говорит, княжна. Я ее от глаз людских в эту глухомань спрятал, но ей там хорошо, она там, как княгиня Вишневецкая, на золотой парче поживает».

– Не тяни бога ради, говори скорее! – вскричал Заглоба.

– Поспешишь, людей насмешишь! – ответил Редзян. – Я чуть не подпрыгнул от радости, такое услыша, но виду не показал и спрашиваю: «Подлинно она там? Твоя милость небось давно уже ее туда отправил?» Он стал божиться, что Горпына, верная его сука, и десять лет ее стеречь будет до его возвращения и что княжна, как бог свят, и посейчас там, потому как туда ни ляхам не добраться, ни татарам, ни казакам, а Горпына приказу, хоть умри, не нарушит.

Во все время рассказа Редзяна Заглоба дрожал как в лихорадке, маленький рыцарь радостно кивал головою, а Подбипятка поминутно устремлял глаза к небу.

– Что она там, сомнения нету, – продолжал слуга, – и лучшее тому доказательство, что он меня к ней отправил. Но я поначалу отказывался, чтобы себя невзначай не выдать. «А мне-то зачем, спрашиваю, ехать?» А он на это: «Затем, что я сам не могу. Если, говорит, доберусь на Волынь живой, прикажу отвезти себя в Киев, там наши казаки верховодят, а ты, говорит, поезжай и вели Горпыне туда же ее доставить, в монастырь Святой-Пречистой».

– Ага! Не к Миколе Доброму, значит! – возопил Заглоба. – Я сразу сказал, что Ерлич по злобе соврал, поганец!

– К Святой-Пречистой! – продолжал Редзян. – «Перстень, говорит, тебе дам и нож и пернач. Горпына поймет, что это значит, у нас уговор такой был, а ты, говорит, мне самым богом послан: она и тебя знает и, что ты мой лучший друг, слыхала. Оттуда поедете вместе; казаков бояться нечего, татар же остерегайтесь: заметите где, стороной обходите – они ведь на пернач глядеть не станут. Деньги, говорит, дукаты, в яру закопаны на всякий случай – ты их, говорит, вырой. По дороге одно тверди: „Богунова жена едет!“ – ни в чем вам не будет отказу. Впрочем, с ведьмой не пропадете, только ты согласишься ехать; кого еще, говорит, мне, горемычному, посылать, кому в чужом краю, когда одни враги кругом, довериться можно?» Так он меня, любезные судари, упрашивал, только что слезу не пустил, а напоследок велел, бестия, поклясться, что я поеду, я и поклялся, а в душе добавил: «Со своим хозяином!» Ох, и обрадовался он! Тотчас дал мне пернач, нож и перстень и драгоценности, что имел, а я все взял, про себя подумав: пусть лучше у меня, чем у разбойника, будут. На прощанье растолковал еще,

который это яр над Валадынкой, как туда ехать да как оттуда, – все в подробностях объяснил, теперь я и с завязанными глазами найду дорогу, в чем вы и сами сумеете убедиться, потому как, полагаю, мы поедем вместе.

– Завтра же, не откладывая! – сказал Володы,вский.

– Какое там завтра! Нынче на рассвете велим оседлать коней.

Радость овладела всеми сердцами, и понеслись к небесам слова благодарности; весело потирая руки, рыцари забросали Редзяна новыми вопросами, на которые тот отвечал с присущей ему флегматичностью.

– Чтоб тебе ни дна ни покрывки! – выкрикивал Заглоба. – Ну и слугу Скшетускому послал всевышний!

– Чем плох слуга! – отвечал Редзян.

– Он тебя, надо думать, озолотит.

– И я полагаю, что без награды не обойдется, хотя и без того верой и правдой служу своему хозяину.

– А что же ты с Богуном сделал? – спросил Володы,вский.

– То-то и беда, сударь мой, что он мне снова больным попался, – негоже, чай, раненного ножом, хозяин бы за это тоже не похвалил. Такая уж, верно, моя судьба! Что было, по-вашему, делать? Все, что мог рассказать, он мне рассказал, и все, что имел, отдал; тут-то меня и взяли сомненья. С какой стати, говорю себе, этот злодей будет гулять по свету? Одним чертом меньше станет, и слава богу! И еще подумал я: а ну, коли он оправится и за нами следом пустится с казаками, тогда что? И пошел, недолго думая, к пану коменданту Реговскому, который во Влодаве стоит со своей хоругвью, и доложил ему, что это не кто иной, как Богун, наиопаснейший мятежник. Верно, за это время его уже вздернуть успели.

Сказавши так, Редзян рассмеялся глуповато и обвел взглядом присутствующих, ожидая, что смех будет подхвачен; но, к великому его изумлению, ответом ему было молчанье. Лишь несколько погодя Заглоба первый нарушил тишину, буркнув: «Ладно, не будем об этом», – Володы,вский же продолжал сидеть безмолвно, а пан Лонгинус долго причмокивал языком и покачивал головою и наконец промолвил:

– Некрасиво ты, брат, поступил, что называется, некрасиво!

– Как так, ваша милость? – удивленно спросил Редзян. – Неужто лучше было его прирезать?

– И так плохо, и эдак скверно. Сам не знаю, что лучше: разбойником быть или иудой?

– Да ты что, сударь? Разве Иуда мятежника выдал? Богун ведь и его величества короля, и всей Речи Посполитой враг лютей.

– Оно верно, а все ж некрасиво ты поступил. Как, говоришь, звали коменданта этого?

– Пан Реговский. А по имени, кажется, Якуб.

– Он самый! – пробормотал литвин. – Пана Лаща сродственник и пана Скшетуского недруг.

Впрочем, замечание его не было услышано, потому что заговорил Заглоба.

– Вот что, друзья любезные! – сказал старый шляхтич. – Нельзя нам медлить! Господь – хвала ему! – так распорядился, что благодаря этому слуге нам куда как легче княжну искать будет. Завтра же и отправимся. Князь уехал; поедем без его дозволения: время не терпит! Втроем поедем: Володы,вский, я и Редзян, а тебе, пан Подбипятка, лучше остаться: рост твой и простодушие нас сгубить могут.

– Нет, братец, я с вами! – сказал Лонгинус.

– Ради ее же блага вашей милости, сударь, надлежит остаться. Кто тебя раз видел, в жизни не позабудет. Правда, у нас пернач есть, но тебе и с перначем не поверят. Ты Полуяна на глазах всего Кривоносова сброды душил; увидь они только среди нас эдакого верзилу, мгновенно обман учуют. Нет, никак не можно твоей милости с нами ехать. Трех голов тебе там не найти, а от твоей одной немного проку. Чем все дело испортить, сиди лучше на месте.

– Жалко, – сказал литвин.

– Жалко не жалко, а придется остаться. Поедем гнезда с деревьев снимать, то и тебя прихватим, а сейчас неподходящий случай.

– Слушать гадко!

– Дай же тебя облобызать, дружище, очень уж у меня на душе прекрасно. Оставайся и не горюй. И еще одно, милостивые судари, я хочу сказать. Главное, храните все в тайне: не дай бог разнесется по войску слух, а там и мужичья достигнет. Никому ни слова!

– Ба, а князю?

– Князя нет.

– А Скшетускому, если вернется?

– Ему-то и заикаться нельзя, не то сразу за нами кинется следом. Успеет еще нарадоваться, а если, не приведи господь, новая неудача случится, ведь умом повредиться может. Поклянитесь, друзья любезные, что никому ни звука.

– Слово чести! – сказал Подбипятка.

– Слово, слово!

– А теперь возблагодарим господа нашего, владыку.

Сказавши так, Заглоба первый упал на колени; примеру его последовали остальные и молились горячо и долго.

Глава XXII

Князь несколькими днями ранее действительно уехал в Замостье набирать войска и обратно ожидался нескоро, поэтому Володыжский, Заглоба и Редзян отправились в путь, никому не сказавшись, в строжайшей тайне; из остававшихся в Збараже посвящен в нее был один лишь пан Лонгинус, и тот, будучи связан словом, молчал как рыба.

Вершулл и прочие офицеры, зная о смерти княжны, не предполагали, что отъезд маленького рыцаря и Заглобы как-либо связан с невестой злосчастного Скшетуского, и скорее склонны были считать, что друзья отправились к нему, тем паче что их сопровождал Редзян, который, как известно, служил Скшетускому. Они же поехали прямо в Хлебановку и там занялись приготовлениями к походу.

Прежде всего Заглоба на занятые у Лонгина деньги купил пять рослых подольских лошадей, незаменимых в долгих переходах; их охотно использовала и польская кавалерия, и казацкая верхушка: такая лошадь могла целый день гнаться за татарским бахматом, а быстротою бега превосходила даже турецких скакунов и лучше, чем они, переносила перемены погоды, дожди и холодные ночи. Пять таких бегунов и купил Заглоба; кроме того, для себя и товарищей, а также для княжны раздобыл богатые казацкие свитки. Редзян собирал выюки. Наконец, тщательно все предусмотрев и подготовив, друзья отправились в путь, вверив себя опеке всевышнего и покровителя девственниц святого Миколая.

По одежде троицу нашу легко было принять за казачьих атаманов; их и впрямь частенько зацепляли солдаты из польских частей и сторожевых отрядов, разбросанных до самого Каменца вдоль всей дороги, – но с этими без труда сталкивался Заглоба. Долгое время ехали по местам безопасным, занятым хоругвями региментария Ланцкоронского, который не спеша подвигался к Бару для присмотра за стягивавшимися туда ватагами казаков. Ни у кого уже не оставалось сомнений, что от переговоров нечего ждать толку; над страной нависла угроза войны, хотя главные силы пока в действие не вступали. Срок переяславского перемирия истек к троичину дню. Отдельные стычки, которые по-настоящему никогда и не прекращались, теперь участились, и с обеих сторон ожидали только сигнала. Меж тем в степи бушевала весна. Земля, истоптанная копытами, оделась ковром трав и цветов, выросших на останках павших воинов. Над побоищами в голубой выси летали жаворонки, в поднебесье с криком тянулись разнообразные птичьи стаи, на поверхность широко разлившихся вод теплый ветерок нагонял сверкающую рябь, а по вечерам лягушки, блаженствуя в нагретой за день воде, допоздна вели веселые разговоры.

Казалось, сама природа жаждет заживить раны, утишить боль, могилы укрыть под цветами. Светло было на небе и на земле, свежо, весело, легко, а степь, играя красками, сверкала, как парча, переливаясь, как радуга, как польский пояс, на котором умелой рукодельницей искусно соединены всяческие цвета. Степи звенели птичьими голосами, и вольный ветер гулял по ним, осушая воды, заставляя покрываться темным румянцем лица.

Как тут было не возрадоваться сердцам, не исполниться беспредельной надеждой!

Надежда окрылила и наших рыцарей. Володы,вский без умолку напевал, а Заглоба, потягиваясь в седле, с наслаждением подставлял солнечным лучам спину, а однажды, согревшись хорошенько, обратился к маленькому рыцарю с такими словами:

– Экое блаженство! Правду сказать, после венгерского и меду нет для старых костей ничего лучше солнца.

– Всем оно приятно, – отвечал Володы,вский, – всякие animalia⁴⁷, заметь, любят лежать на припеке.

– Счастье, что в такую пору за княжной едем, – продолжал Заглоба, – зимою в мороз с девушкой убегать ох как было бы тяжко.

– Только бы она в наши руки попала, я не я буду, если кто ее у нас потом отнимет.

– Признаюсь тебе, пан Михал, – ответил на это Заглоба, – есть у меня одно опасенье: как бы в случае войны татарва в тех краях не зашевелилась и не окружила нас, – с казаками-то мы сладим. Мужичью вовсе ничего не станем объяснять. Ты заметил, они нас за старшин принимают, а запорожец уважает пернач, да и Богуново имя нам щитом послужит.

– Знаю я татар, у нас на Лубенщине беспрестанно с ними случались стычки, а уж мы с Вершуллом ни днем, ни ночью не имели покоя, – ответил пан Михал.

– И я их знаю, – молвил Заглоба. – Помнишь, рассказывал тебе, что много лет провел среди них и в большой мог войти почет, да обасурманиваться не захотелось – пришлось плюнуть на все блага, а они еще мученической смерти предать меня хотели за то, что я главного их муллу в истинную обратил веру.

– А ваша милость однажды сказывал, это в Галате было.

– В Галате своим чередом, а в Крыму своим. Ежели ты полагаешь, Галатой свет кончается, то небось и не ведаешь, где раки зимуют. Нечестивых на свете поболее, чем детей Христовых.

Тут в разговор вмешался Редзян.

– Не только татары помехи чинить могут, – заметил он. – Я вам еще не сказал, чего от Богуна услышал: яр этот стережет нечистая сила. Великанша, что караулит княжну, сама могучая чародейка и с чертями в дружбе; боюсь, как бы они ее не предостерегли. Есть, правда, у меня одна пуля, сам отливал над освященной пшеницей, – никакая другая не возьмет эту ведьму, но, кроме нее, там вроде бы целые полчища упырей охраняют подходы. Придется уж вам позаботиться, чтобы мне ничего худого не случилось, а то и награда моя пропадет...

– Ах ты, трутень! – воскликнул Заглоба. – Нет у нас иных забот, кроме как о твоём здоровье печься! Не свернет тебе дьявол шеи, не бойся, а хоть бы и свернул, все едино: так и так за свою алчность попадешь в пекло. Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь, а еще заруби у себя на носу, что если Горпына могучая ведьма, то я похлеще ее колдун, потому как в Персии черной магии обучался. Она чертям служит, а они – мне, я бы землю на них мог пахать, да неохота – о спасенье души как-никак надо думать.

– Оно верно, сударь, но на сей раз все ж употребите свою силу: всегда лучше от опасности оградиться.

– А я больше в правоту нашего дела верю и уповаю на милость господню,

– сказал Володы,вский. – Пусть Горпыну с Богуном охраняют черти, а с нами ангелы небесные, против них не устоять самой отборной сатанинской рати; на всякий случай я поставлю Михаилу-архангелу семь свечей белого воску.

– Ладно, и я одну добавлю, – сказал Редзян, – чтобы их милость пан Заглоба вечными муками не страшал больше.

– Я первый тебя в ад отправлю, – ответил шляхтич, – окажись только, что ты пути не знаешь.

– Как не знаю? Добраться бы до Валадынки, а там я хоть с завязанными глазами... Ежели берегом к Днестру поедем, яр будет по правую руку, а узнать его проще простого: вход валуном загорожен. На первый взгляд кажется, туда попасть нельзя, но в камне проем есть: две лошади бок о бок проходят. Лишь бы доехать, а там никто от нас не уйдет, один только в этот

⁴⁷ живые существа (лат.).

яр вход и выход, а стены вокруг высоченные, не перелететь и птице. Ведьма всякого, кто без спросу сунется, убивает, кругом остовы человеческие валяются, но Богун велел не обращать внимания, а ехать да покрикивать: «Богун! Богун!..» Тогда она нас как своих примет. А кроме Горпыны, там еще Черемис есть, чертовски метко из пищали стреляет. Обоих убить надо будет.

– Черемиса-то ладно, не спору, а бабу и связать довольноно.

– Свяжешь ее, как же! Силища в ней страшная – кольчугу рвет, как рубаху, подкову в руку возьмет – хрясть, и нету. Пан Подбипятка, может, еще бы справился, а нам нечего и мечтать. Насчет ведьмы не беспокойтесь, у меня для нее припасена свяченная пуля; лучше, чтоб издохла, чертовка, не то ведь полетит волчицей вдогонку, казаков всполошит воем – своих голов не увезем, не то что барышню Елену.

В таких беседах да совещаньях проходило время в дороге. А ехали быстро, только и мелькали мимо местечки, села, хутора и курганы. Путь держали через Ярмолинцы к Бару, оттуда лишь решено было повернуть к Днестру, на Ямполь. Места попадались знакомые: здесь когда-то Володы,вский разбил отряд Богуна и освободил из плена Заглобу. Даже на хутор тот самый наткнулись – там и заночевали. Порой, правда, случалось ночевать и под открытым небом, в степи. Ночлеги тогда скрашивал Заглоба, рассказывая о давних своих похождениях были и небылицы. Но больше всего говорили о княжне Елене и о грядущем ее освобождении из колдуньиной неволи.

Наконец окончились места, охраняемые хоругвями Ланцкоронского. Далее хозяйничали казаки – в том краю ни одного ляха не осталось: кто не убежал, был предан огню и мечу. Май сменился знойным июнем, а друзья наши проделали только третью часть своего трудного и долгого пути. К счастью, со стороны казаков им опасности не грозило. Мужичким ватагам вовсе ничего объяснять не приходилось – они обыкновенно принимали путников за старшин запорожского войска. А если иной раз и спрашивали, кто такие, Заглоба, когда любопытствовал сечевик, показывал Богунов пернач, а простого головореза, не слезая с коня, пинал ногою в грудь и валил наземь – прочие, завидя такое, немедленно убирались с дороги, полагая, что своего зацепили, и не просто своего, – коли бьет, значит, важная птица. «Может, Кривонос или Бурлай, а то и сам батько Хмельницкий».

И все же Заглоба частенько сетовал на громкую Богунову славу: уж очень им досаждали запорожцы своим любопытством, отчего и задержки немалые в пути случались. Сплошь да рядом конца не было расспросам: здоров ли? жив ли? – слух о гибели атамана докатился до самого Ягорлыка и до порогов. Когда же путники отвечали, что Богун в добром здравии и на свободе, а они

– его посланцы, всяк кидался их лобызать да потчевать, не только душу, но и кошелек раскрывая, чем сметливый слуга Скшетуского ни разу не преминул воспользоваться.

В Ямполье их принял Бурлай, прославленный старый полковник, с запорожским войском и чернью поджидавший там буджакских татар. Некогда он учил Богуна ратному искусству, брал с собою в черноморские походы – в одном из таких походов они вместе ограбили Синоп. Бурлай любил Богуна, как сына, и посланцев его встретил ласково, без малейшего недоверья, тем паче что год назад видел при нем Редзяна. А узнавши, что Богун жив и направляется на Волынь, на радостях закатил для гостей пир горою и сам первый допьяна напился.

Заглоба опасался, как бы Редзян, захмелев, не сболтнул лишнего, но оказалось, что хитрый, как лиса, слуга знает, когда можно говорить правду, и потому не только не вредил делу, а, напротив, еще больше располагал к себе казаков. Странно, тем не менее, было рыцарям нашим слушать пугающие своей откровенностью разговоры, в которых частенько и их имена поминались.

– А мы слыхали, – говорил Бурлай, – что Богун в поединке засечен. Не знаете, случаем, кто его так?

– Володы,вский, офицер князя Яремы, – спокойно отвечал Редзян.

– Ох, отплатил бы я ему за нашего сокола, попадись он мне в руки. Шкуру бы заживо велел содрать!

Володы,вский задвигал льяняными своими усиками и бросил на Бурлая такой взгляд, каким глядит борзая на волка, которому ей не позволено вцепиться в глотку. Редзян же на этом не остановился:

– Для того, пан полковник, я и назвал его имя.

«Ох, и потешится сатана, когда ему этот малый попадется!» – подумал Заглоба.

– Но, – продолжал Редзян, – он не столь уж и виноват: Богун сам его вызвал, не зная, какого задирает рубаку. Там еще один был шляхтич, злейший Богунов недруг, который раз уже княжну у него похитил.

– Кто такой?

– О, старый пьянчуга, что с атаманом нашим в Чигирине ляхов вешал и лучшим прикидывался другом.

– Сам будет повешен! – крикнул Бурляй.

– Гореть мне в огне, ежели я ушей этому поскребышу не отрежу! – буркнул себе под нос Заглоба.

– Так его порубили, – не унимался Редзян, – что другого давно бы уже воронье склевало, но наш атаман не чета другим, кое-как оклемался, хотя до Влодавы едва дотащился, и еще неизвестно, чем бы все обернулось, кабы не мы. Мы его на Волынь отправили, к нашим, а он нас сюда послал за княжною.

– Погубят его чернобровые! – проворчал Бурляй. – Я ему давно пророчил. Нет чтобы поиграть по-казацки с девкой, а потом камень на шею и в воду, как у нас на Черном море водилось!

Володы, вский, задетый в своих чувствах к прекрасному полу, едва удержал язык за зубами. Заглоба же, рассмеявшись, молвил:

– И верно, оно бы лучше.

– Вы добрые друзья! – сказал Бурляй. – Честь вам и хвала, что его в беде не кинули, а ты, малый, – обратился он к Редзяну, – ты лучше всех, я тебя еще в Чигирине заприметил, когда ты сокола нашего берег да лелеял. Знайте же: и я друг вам. Говорите, чего желаете? Хоть молодцев, хоть коней просите – все исполню, чтоб на обратном пути вас кто не обидел.

– Молодцы нам ни к чему, пан полковник, – ответил Заглоба. – Мы же среди своих и по своему краю поедem, а ежели, не приведи господь, недобрая случится встреча – большая ватага помеха только, а вот резвые скакуны очень быгодились.

– Я вам таких дам – бахматам ханским не угнаться.

Тут опять встрял Редзян, дабы не упустить случай:

– А грошей мало нам дав отаман, бо сам не мав, а за Брацлавом мерка овса – талер.

– Ходи со мной в кладовую, – сказал Бурляй.

Редзяну не пришлось повторять дважды: он исчез вместе со старым полковником за дверь, а когда вскоре появился снова, толстощекая его физиономия сияла, а синий жупан на животе был слегка оттопырен.

– Ну, езжайте с богом, – промолвил старый казак, – а заберете девку, заверните ко мне, погляжу и я на Богунову зазнобу.

– И не проси, пан полковник, – смело ответил Редзян, – ляшка эта страх как пуглива и раз уже себя ножом пырнула. Боязно нам, как бы ей чего худого не случилось. Пусть уж атаман сам с нею управляется.

– И управится!.. При нем сразу пугаться забудет. Ляшка – білоручка! Казаком гнушается! – проворчал Бурляй. – Езжайте с богом! Теперь уже недалече!

От Ямполья до Валадынки и правда недалеко было, но дорога рыцарям нашим предстояла нелегкая – не дорога даже, а сплошь бездорожье: места тамошние в те времена были еще пустыней, редко где застроенной и заселенной. От Ямполья друзья взяли несколько на запад, отдаляясь от Днестра, чтобы затем спуститься к Рашкову по Валадынке: только таким путем можно было добраться до яра. Уже занимался рассвет – пир у Бурляя затянулся до поздней ночи, – и Заглоба рассчитывал, что до захода солнца им не найти яра, а это ему как раз на руку было: он не хотел освобождать Елену на ночь глядя. Ехали, рассуждая о том, как им до сих пор везло всю дорогу. Заглоба, вспомнив пир, который закатил Бурляй, заметил:

– Подумать только, до чего крепко казацкое братство – во всяком деле горой стоят друг за друга! О черни я не говорю – этих казаки сами презирают. Поможет им сатана нашу власть скинуть, простой люд еще пуще от них наплачется. За своих же в огонь и воду пойдут, не то что наш брат шляхтич.

– Ой, нет, сударь мой, – отвечал на это Редзян. – Я долго среди них жил, видел, как они меж собой хуже волков грызутся, а не стань Хмельницкого, который их если не силой, то хитростью в узде держит, мигом пожрут друг дружку. Бурляй, правда, прочим не чета – великий это воин, сам Хмельницкий его чтит.

– Да ты небось превозносишь его за то, что он обобрать себя позволил. Эх, Редзян, Редзян! Не умереть тебе своею смертью!

– Это уж, сударь мой, смотря что мне написано на роду! Чай, врага провести – и похвально, и богу угодно!

– Я ж тебя не за то корю, а за твою алчность. Холопское это свойство, недостойное шляхтича; не миновать тебе наказания.

– А я, когда случится подзаработать, не поскуплюсь в костеле свечку поставить – пускай и от меня будет корысть господу богу, а там, глядишь, и на будущее получу благословенье, а отцу с матерью помогать – разве ж это греховное дело?

– Ох, хитер, шельма! – воскликнул, обращаясь к Володы,вскому, Заглоба. – Я почитал, вместе со мной и фортели мои погребены будут, но, вижу, проныра этот меня заткнет за пояс. Подумать только: благодаря хитроумию какого-то мальчишки мы нашу княжну у Богуна увезем из-под носа с его же соизволения, да еще на Бурляевых лошадях! Ты когда-нибудь что-либо подобное видел? А поглядеть, так и ломаного гроша не стоит.

Редзян ухмыльнулся довольно и ответил:

– Ох, сударь мой, разве нам от этого хуже?

– Ты мне по душе, малый, кабы не жадность твоя, я бы тебя взял в услуженье, а за то, что пьянчугой меня назвал, так уж и быть, прощаю – больно ловко ты провел старого атамана.

– Не я вашу милость так назвал, а Богун.

– Господь его за это и покарал, – ответил Заглоба.

За такими разговорами прошло утро, а когда солнце высоко поднялось на небесный свод, охота шутить сама собою пропала – через несколько часов должна была показаться Валадынка. После долгих странствий путники наконец приблизились к цели, но тревога, неизбежная в подобных обстоятельствах, закралась им в душу. Жива ли еще Елена? А если жива, то отыщут ли они ее в яре? Горпына могла увести девушку либо в последнюю минуту спрятать в каком-нибудь глухом углу, а то и умертвить даже. Преграды не были еще преодолены, опасности не миновали. У них, правда, имелось все необходимое для того, чтобы Горпына признала их посланцами Богуна, исполняющими его волю, – ну а вдруг ее и впрямь предостережет нечистая сила? Этого более всего опасался Редзян, да и Заглоба, хоть и мнил себя знатоком черной магии, испытывал некоторое беспокойство. Ежели оно так случится, как бы не застать яр опустевшим либо – что еще хуже – не наткнуться на укрытых в засаде рашковских казаков. Вот и стучали сердца тревожно, а когда наконец, спустя несколько часов, путники увидели с высокого обрыва сверкающую вдалеке ленту реки, пухлая физиономия Редзяна заметно побледнела.

– Валадынка! – сказал он, понизив голос.

– Уже? – так же тихо спросил Заглоба. – Как мы близко!..

– Господи, сохрани наши души! – пробормотал Редзян. – Скажите-ка, сударь мой, поскорей залятье, а то страх как жутко.

– Глупости это все! Осеним крестом ущелье да реку – лучше всякого залятья поможет.

Володы,вский молчал; с виду он был спокоен, только осмотрел тщательно пистолеты и подсыпал свежего порошу на полки да проверил, легко ли выходит из ножен сабля.

– И у меня освященная пуля есть – в этом вот пистолете, – сказал Редзян. – Вперед, во имя отца, и сына, и святого духа!

– Вперед! Вперед!

Вскоре всадники достигли берега речки, но, прежде чем поворотить лошадей вниз по течению, Володы,вский остановил на минуту товарищей и сказал Заглобе:

– Отдай пернач Редзяну, колдунья его знает, пускай он и говорит с нею первый, а то еще испугается нас и убежит невесть куда с княжной вместе.

– Нет, как хотите, а первый я не поеду, – заявил Редзян.

– Тогда езжай последним, трутень паршивый!

С этими словами Володы,вский поскакал вперед, за ним последовал Заглоба, а позади с запасными лошадьми трусил Редзян, беспокойно озираясь по сторонам. Вокруг царила глухая тишина пустыни, только цокали по камням копыта да громко стрекотала саранча и кузнечики, попрятавшиеся в расщелины от зноя: хотя солнце уже клонилось к западу, жара не спадала. Наконец всадники въехали на округлый, похожий на перевернутый рыцарский щит взгорок, по которому разбросаны были выветрившиеся, выжженные солнцем валуны, подобные развалинам, рухнувшим домам и колокольням; казалось, перед ними то ли замок, то ли город, накануне разрушенный во время штурма. Редзян поглядел и тронул Заглобу за плечо.

– Вражье урочище, – сказал он. – Богун так мне его и описал. Ночью здесь не пройти живыми.

– Пройти не пройти, а проехать можно, – ответил Заглоба. – Тьфу! Экое проклятое место! Но мы на верном пути хотя бы?

– Теперь уже близко! – сказал Редзян.

– Слава богу! – буркнул Заглоба и мыслями устремился к княжне.

Странное что-то творилось в его душе: глядя на эти дикие берега, на пустынную глухомань, старый шляхтич с трудом мог поверить, что княжна так близко – та самая княжна Елена, ради которой он столько невзгод испытал и столько преодолел препятствий, которую так полюбил, что, услышав о ее смерти, потерял всякий вкус к жизни. Впрочем, человек свыкается с любым несчастьем; Заглоба за долгий срок успел сжиться с мыслью, что она похищена и находится неведомо где в Богуновой власти, и потому теперь не осмеливался сказать себе: вот и пришел конец поискам и тоскливому ожиданию, близок час блаженного покоя. В то же время иные вопросы теснились в уме: что скажет она, его увидев? Неужто не зальется слезами? Ведь спасение от долгой и тяжелой неволи грянет как гром с ясного неба. «Неисповедимы пути господни, – думал Заглоба, – всевышний так все повернуть может, чтоб добродетель восторжествовала, а неправедность была нещадно посрамлена». В конце концов, бог сперва отдал Редзяна Богуну в руки, а потом связал их дружбой. По воле божьей война, злая мачеха, призвала страшного атамана покинуть эту глухомань, куда он, точно волк, уволок свою добычу. Бог впоследствии наслал на него Володы,вского и снова с Редзяном свел – и так все сложилось, что сейчас, когда Елена, возможно, теряет последнюю надежду и ниоткуда уже не ждет избавленья, – избавление придет неожиданно! «Конец твоим печалям, доченька, – думал Заглоба, – вскоре суждено тебе изведать безмерную радость. Ой! Как же она благодарить будет, рученьки складывать! Какие слова станет говорить!»

Как живая явилась княжна Заглобе – и совсем расчувствовался старый шляхтич и весь ушел в свои думы, представляя, что в скором времени должно случиться.

Вдруг Редзян дернул его за рукав:

– Ваша милость!..

– Чего тебе? – спросил Заглоба, недовольный, что прерывают его размышленья.

– Видели, ваша милость? Волк перебежал дорогу.

– Ну и что?

– А волк ли?

– Догони да проверь.

В эту минуту Володы,вский придержал лошадь.

– А мы, часом, не сбились с дороги? – спросил он. – Пора бы уже быть на месте.

– Нет! – ответил уверенно Редзян. – Как Богун говорил, так и едем. Господи, поскорей бы уже все это кончалось.

– Скоро и кончится, ежели верно едем.

– Я еще хочу вас, судари, попросить: присматривайте за Черемисом этим, покуда я с колдуньей толковать буду; мерзок он, видно, ужасно, но из пищали без промаху стреляет.

– Не бойся. Поехали!

Но не проехали они и полсотни шагов, как лошади начали храпеть и прятать ушами. Редзян прямо-таки гусиной кожей покрылся: ему представилось, что из-за излома скалы вот-вот раздастся вой упыря или выскочит невиданная паскудная тварь, – однако оказалось, лошади захрапели потому лишь, что всадники приблизились к логову того самого волка, который раньше напугал парня. Вокруг было тихо, даже саранча стрекотать перестала, потому что

солнце уже скатилось на край неба. Редзян перекрестился и вздохнул с облегчением.

Вдруг Володы, вский остановил лошадь.

– Вижу яр, – сказал он, – вход валуном завален, а в валуне проем.

– Во имя отца, и сына, и святого духа, – прошептал Редзян, – это здесь!

– За мной! – скомандовал, заворачивая коня, пан Михал.

Через минуту они достигли проема и въехали под каменный свод. Перед ними открылся глубокий яр, густо заросший по склонам, образующий в своем начале просторную полукруглую поляну, словно бы обнесенную высокой отвесной стеною.

Редзян завопил что было мочи:

– Бо-гун! Бо-гун! Здорово, ведьма! Здорово! Бо-гун! Бо-гун!

Придержав коней, друзья постояли несколько времени в молчанье, потом Редзян снова принялся кричать:

– Богун! Богун!

Издали донесся лай собак.

– Богун! Богун!..

На левом склоне яра в красных и золотых лучах солнца зашелестели густые заросли боярышника и дикой сливы; немного погодя чуть ли не на самом краю обрыва появилась какая-то фигура: изогнувшись и заслонив глаза рукою, она разглядывала пришельцев.

– Это Горпына! – сказал Редзян и, приставив ковшиком ладони ко рту, в третий раз крикнул: – Богун! Богун!

Горпына начала спускаться, откинувшись назад для равновесия. Шла она быстро, а за нею катился низкорослый, коренастый человечек с длинной турецкой пищалью; кусты ломались под тяжелыми шагами ведьмы, камни с грохотом скатывались на дно оврага; изогнувшись, в пурпурном блеске, она и впрямь казалась исполинским сверхъестественным существом.

– Вы кто? – спросила, спустившись, зычным голосом ведьма.

– Как живешь, касатка? – крикнул в ответ Редзян; едва он убедился, что перед ним не духи, а люди, к нему вернулось обычное хладнокровье.

– Ты, никак, Богунов слуга? Ну да! Узнаю! Здорово, малый! А это с тобой что за птицы?

– Дружки Богуновы.

– Хороша ведьма, – буркнул в усы пан Михал.

– А сюда пошто прискакали?

– Вот тебе пернач, нож и перстень – смекаешь, что это значит?

Великанша взяла все и внимательно осмотрела каждую вещицу, после чего сказала:

– Они самые! Вы за княжной, что ли?

– Точно так. Здорова она?

– Здорова. А чего Богун сам не приехал?

– Ранен Богун.

– Ранен... Я на мельнице видала.

– Коли видала, зачем спрашиваешь? Врешь небось, бесстыжая! – совсем уже по-свойски заговорил Редзян.

Ведьма усмехнулась, показав белые, как у волчицы, зубы, ткнула Редзяна кулаком в бок.

– Ну ты, парень!

– Пошла прочь!..

– Испугался? А то поцеловал бы! Когда княжну заберете?

– Прямо сейчас, лошади только отдохнут...

– Ну и забирайте! Я с вами поеду.

– А ты зачем?

– Брату моему смерть написана. Его ляхи на кол посадят. Поеду с вами.

Редзян изогнулся в седле, будто для того, чтобы удобнее было говорить с ведьмой, а сам незаметно положил на пистолет руку.

– Черемис, Черемис! – негромко крикнул он, чтобы привлечь внимание своих спутников к уродцу.

– Зачем зовешь? У него язык отрезан.

– Я не зову, я красоте его дивлюсь. Неужто бросишь его? Он муж твой.

- Он мой пес.
- И вас только двое в яру?
- Двое. Княжна третья!
- Это хорошо. Ты без него не поедешь.
- Я тебе сказала: поеду.
- А я тебе говорю: останешься.

Было в голосе парня нечто такое, отчего великанша повернулась, не сходя с места, и на лице ее выразилось беспокойство от закравшегося в душу внезапного подозрения.

- Що ти? – спросила она.
- От що я! – ответил Редзян и выстрелил почти в упор из пистолета
- пуля попала промеж грудей ведьмы: на минуту всю ее заволокло дымом.

Горпына попятилась, раскинув руки, глаза выкатились, нечеловечий вопль вырвался из глотки. Пошатнувшись, она грянулась навзничь.

В ту же секунду Заглоба хватил Черемиса саблей по голове с такой силой, что кость хрястнула под лезвием. Чудовищный карла, не издав и стога, свернулся как червь и задергался в корчах, а пальцы его, будто когти издыхающей рыси, то скрючивались, то снова распрямлялись.

Заглоба вытер полую жупана дымящуюся саблю, а Редзян соскочил с лошади и, схвативши камень, бросил его на широкую грудь Горпины, а потом стал шарить у себя за пазухой.

Исполинское тело ведьмы еще вздрагивало, она била ногами землю, судорога страшно искадила ее лицо, на ощерившихся зубах выступила кровавая пена, а из горла исходило глухое хрипенье.

Между тем Редзян вытащил из-за пазухи кусочек освященного мела, начертил на камне крест и промолвил:

- Теперь не встанет.
- После чего вспрыгнул в седло.
- Вперед! – командовал Володы,,вский.

Вихрем помчались друзья вдоль ручья, бегущего посредине яра, миновали редкие дубы, растущие при дороге, и глазам их открылась хата, а за нею высокая мельница. Мокрое колесо сверкало, точно багряная звезда, в лучах заходящего солнца. Два огромных черных пса, привязанные по углам хаты, рванулись к всадникам с яростным лаем и воем. Володы,,вский ехал первым и первым достиг цели; соскочив с лошади и подбежав к двери, он пнул ее ногой и, бренча саблей, ворвался в сени.

В сенях по правую руку приотворенная дверь вела в просторную горницу, где на полу лежал огромный ворох щепок, а посередине тлел очаг, наполняя горницу дымом. Дверь слева была закрыта.

«Наверно, она там!» – подумал Володы,,вский и бросился налево.

Толкнулся, дверь отворилась, ступил на порог и остановился как вкопанный.

В глубине светлицы, опершись рукою о спинку кровати, стояла Елена Курцевич, бледная, с рассыпавшимися по плечам волосами; в испуганных ее глазах, устремленных на Володы,,вского, читался вопрос: кто ты? чего тебе надо? – она никогда прежде не видела маленького рыцаря. Он же ошеломлен, потрясенный ее красотой и видом светлицы, убранной бархатом и парчою. Наконец дар речи вернулся к нему, и он проговорил поспешно:

- Не бойся, любезная панна: мы друзья Скшетуского!
- Княжна упала на колени.

– Спасите меня! – вскричала она, заламывая руки.

В эту минуту на пороге появился, весь дрожа, Заглоба, запыхавшийся, багровый.

– Это мы! Мы с помощью! – кричал он.

Услышав эти слова и увидя знакомое лицо, княжна покачнулась, как срезанный цветок, руки ее бессильно упали, очи закрылись пушистой завесой, и она лишилась чувств.

Глава XXIII

Едва дав лошадям отдохнуть, друзья наши помчались назад с такой быстротою, что, когда месяц взошел над степью, они были уже в окрестностях Студенки за Валадынкой. Впереди ехал Володы,вский, внимательно глядя по сторонам, за ним, рядом с Еленой, Заглоба, а позади всех Редзян. Он вел вьючных лошадей и еще двух запасных, которых не преминул прихватить из Горпыниной конюшни. Заглоба рта не закрывал, да и было что порассказать княжне, которая, сидя в глухом яру, не ведала, что творится на свете. И старый шляхтич рассказывал девушке, как они ее с первого дня искать стали, как Скшетуский до самого Переяслава по следам Богуна дошел, не зная, что тот ранен, наконец, как Редзян выведал тайну ее убежища у атамана и привез в Збараж.

– Боже милосердный! – восклицала Елена, обращая к месяцу прелестное бледненькое свое лицо, – значит, пан Скшетуский за Днепр меня искать ходил?

– Говорю тебе, в самом побывал Переяславе. И сюда непременно бы вместе с нами явился, будь у нас время за ним послать, но мы решили не мешкая к тебе на выручку ехать. Он еще не знает, что ты спасена, и за душу твою молится денно и ночью, однако ты его не жалея. Пусть еще немного помучится – зато какую получит награду!

– А я уж думала, все меня позабыли, и лишь о смерти просила бога!

– Не только не позабыли, а всякую минуту размышляли, как бы тебе на помощь прийти. Иной раз диву даешься: ладно, я голову ломал или Скшетуский, оно понятно, но ведь этот рыцарь, что впереди скачет, не меньше нашего проявлял усердье, ни трудов своих, ни рук не жалея!

– Да вознаградит его всевышний!

– Есть, видно, в вас обоих нечто, отчего людей к вам тянет, а Володы,вскому ты воистину должна быть благодарна: я ж тебе говорил, как мы с ним Богуна искромсали.

– Пан Скшетуский мне в Разлогах еще о пане Володы,вском, как лучшем друге своем, рассказывал много...

– И правильно делал. Большая душа в этом малом теле! Теперь, правда, на него одурь нашла – краса, видно, твоя ошеломила, но погоди – освоится и опять прежним станет! Ох, и славно мы с ним гульнули на выборах в Варшаве.

– У нас новый король, значит?

– И об этом ты, бедняжка, не слыхала в глухомани своей проклятой? А как же! Ян Казимир еще прошлой осенью избран, восьмой уже месяц правит. Великая вскоре грядет война с мятежным людом; дай бог нам в ней удачи: князь Иеремия от всего отстранен, других вместо него повыбирали, а от них, что от козла молока, толку.

– А пан Скшетуский пойдет на войну?

– Пан Скшетуский истинный воин; не знаю, уж как ты его удержишь. Мы с ним одного поля ягода! Чуть пахн,т порохом – никакая сила не остановит. Ох, и задали мы смутьянам прошлый год перцу. Ночи не хватит рассказать все, как оно было... И сейчас, ясное дело, пойдем, только уже с легкой душою: главное, мы тебя, бедняжечку нашу, отыскали, а то ведь и жизнь была не в радость.

Княжна приблизила очаровательное свое личико к Заглобе.

– Не знаю, за что ты, сударь, меня полюбил, но уж, поверь, я тебя люблю не меньше.

Заглоба даже засопел от удовольствия.

– Так ты меня любишь?

– Клянусь богом!

– Храни тебя владыка небесный! Вот и мне на старые лета послано утешенье. Признаться, ваша сестра еще нет-нет, а состроит старику глазки, да-да, и в Варшаве на выборах такое случилось, Володы,вский свидетель! Но меня амуры уже не волнуют, пусть кровь играет, а я – вопреки тому – отеческими чувствами довольствоваться буду.

Настало молчание, только лошади вдруг одна за другой громко зафыркали, суля путникам удачу.

– На здоровье! На здоровье! – ответили всадники дружно.

Ночь была ясная. Месяц все выше взбирался на небо, утыканное мерцающими звездами, и все меньше, все бледней становился. Притомившиеся бахматы замедлили шаг, да и всадников одолевала усталость. Володы,вский первый остановил лошадь.

– Пора и отдохнуть. Развиднеется скоро, – сказал он.

– Пора! – поддержал его Заглоба. – Глаза слипаются: как ни погляжу на лошадь – вс., две головы вижу.

Редзян, однако, решил, что прежде всего следует подкрепиться; он развел огонь и, снявши с лошади переметные сумы, принялся выкладывать припасы, предусмотрительно захваченные из Бурляевой кладовой: кукурузный хлеб, вареное мясо, валашское вино и сладости. При виде двух кожаных мехов, изрядно выпятивших свои бока и издающих сладостное уху бульканье, Заглоба забыл и думать о сне, да и прочие с удовольствием принялись за ужин. Припасов хватило на всех с избытком, а когда наелись вволю, старый шляхтич, утерев полою уста, промолвил:

– До смерти не устану повторять: неисповедимы пути господни! Ты свободна, барышня панна, а мы сидим себе тут sub jove⁴⁸, радуемся и Бурляево винцо попиваем. Венгерское, конечно, получше, это припахивает кожей, но ничего, в пути сойдет и такое.

– Одному не могу надивиться, – сказала Елена, – как это Горпына столь легко отдать меня согласилась?

Заглоба поглядел сперва на Володы,вского, потом на Редзяна и усиленно заморгал глазами.

– Потому согласилась, что иного выхода не имела. А впрочем, чего таиться, дело не стыдное: мы их с Черемисом на тот свет отправили.

– Как так? – испуганно спросила княжна.

– А ты разве выстрелов не слыхала?

– Слыхала, но подумала, Черемис стреляет.

– Не Черемис, а вон этот малый – на месте пристрелил колдунью. Дьявол в нем сидит, спору нет, но чего еще оставалось делать, когда ведьма, не знаю уж, то ли почувствовала что, то ли стих на нее нашел какой-то: уперлась, что с нами поедет, и баста. А как было разрешить ей ехать – она бы мигом смекнула, что мы не в Киев путь держим. Вот он и взял да пристрелил ее, а я зарубил Черемиса. Сущий был монстр африканский; надеюсь, господь мне его смерть в вину не поставит. Верно, и в аду чертям на него глядеть будет тошно. Перед отъездом из яра я вперед поехал и прибрал тела с дороги, чтобы ты не напугалась и не посчитала это дурным знаком.

Княжна же так ответила:

– Довольно я близких людей в нынешние страшные времена неживыми видала, чтобы покойников пугаться, а все ж лучше поменьше на своем пути проливать крови, дабы не навлечь на себя гнева господня.

– Недостойно рыцаря так поступать было, – мрачно проговорил Володы,вский, – мне руки марать не захотелось.

– Что теперь, сударь мой, толковать об этом, – сказал Редзян. – Иначе-то никак нельзя было! Кабы кого хорошего положили, дело другое, а это ж богопротивники, вражья сила – я сам видел, как ведьма сговаривалась с чертями. Не того мне жаль признаться!

– А об чем же ты, любезный, жалеешь? – спросила Елена.

– Богун мне сказывал, там закопаны деньги, а их милости такую подняли спешку, что и близко подойти не нашлось минуты, хоть я место возле мельницы знаю. А сколько добра оставлено в той светлице, где барышня жила,

– сердце на куски рвется!

– Гляди, какого слугу иметь будешь! – сказал княжне Заглоба. – Только своего хозяина и призна,т, а так хоть с самого черта шкуру готов содрать и на воротник приспособить.

– Даст бог, сударь любезный, пан Редзян, на мою неблагодарность тебе сетовать не придется, – промолвила Елена.

– Благодарю покорнейше, барышня! – ответил Редзян, целуя ей руку.

Все это время Володы,вский помалкивал, прикрывая смущенье напускной суровостью, и только вино потягивал из меха пока несвойственная ему молчаливость не привлекла внимания

⁴⁸ под открытым небом (лат.).

Заглобы.

– Что ж это у нас пан Михал слова не скажет! – воскликнул он и обратился к Елене: – Говорил я, краса твоя лишила его ума и дара речи?

– Ложился бы ты лучше спать, сударь, впереди долгий день! – ответил, смешавшись, рыцарь и усиками стал шевелить быстро, словно заяц для куражу.

Но старый шляхтич был прав. Необычайная красота княжны точно сковала маленького рыцаря. Глядел он на нее, глядел и себя вопрошал в душе: возможно ли, чтобы по земле ходило такое чудо? Немало ему довелось в жизни повидать красавиц: красивы были Анна и Барбара Збаражские, дивно хороша Ануся Борзобогатая, и Жукувна, за которой увивался Розтворовский, прелестна, и Вершуллова Скоропадская, и панна Боговитянка, но ни одна из них сравниться не могла с этим чудесным степным цветком. С ними бывал Володы,вский и остроумен, и разговорчив, теперь же, глядя на бархатные, ласковые и томные очи, на окаймлявшую их шелковистую бахромку, отбрасывающую на лицо глубокую тень, на рассыпавшиеся по плечам, как цветы гиацинта, пряди, на стройный стан и высокую грудь, чуть колышущую дыханьем, от которой исходило сладостное тепло, на лилейную белизну и цветущие на ланитах розы, на малиновые уста, рыцарь наш слова выговорить не мог, – хуже того! – самому себе казался неловким, глупым и, главное, маленьким, маленьким до смешного. «Она княжна, а я кто?» – думал он не без горечи и мечтал, чтобы вдруг нагрянула какая-нибудь напасть, чтоб из темноты вырос какой-нибудь грозный исполин – вот когда бы бедный пан Михал показал, что не так уж он и мал, как кажется! Вдобавок его бесило, что Заглоба, довольный, видно, что названная его дочка с легкостью разбивает сердца, без конца хмыкает, и уже шуточки отпускать начал, и подмигивает отчаянно.

А она меж тем сидела подле костра, озаренная розовым блеском огня и белым лунным светом, прелестная, спокойная, хорошеющая с каждой минутой.

– Признай, пан Михал, – сказал наутро Заглоба, когда друзья остались на короткое время вдвоем, – что второй такой девы не сыскать во всей Речи Посполитой. Покажешь еще одну, позволю остолопом себя назвать и *imparitatem*⁴⁹ снесу без слова.

– Отрицать не стану, – ответил маленький рыцарь. – Чудо это редкостное, необычное; мне подобного еще не случалось видеть: вспомни статуи богинь, изваянные из мрамора, что, точно живые, во дворце Казановских стоят, – и те ни в какое сравнение с нею идти не могут. Не диво, что самые доблестные мужи головы за нее готовы сложить, – она того стоит.

– А я о чем толкую? – восклицал Заглоба. – Ей-богу, даже не знаю, когда она краше: утром или вечером? Как ни взглянешь, свежа, будто роза. Я тебе говорил, что и сам в прошлые времена хорош был чрезвычайно, но и тогда ей красотой уступал, хотя иные говорят, она на меня как две капли воды похожа.

– Поди к черту, друг любезный! – вскричал маленький рыцарь.

– Не гневись, пан Михал, и без того ты чересчур грозным казаться хочешь. Поглядываешь на нее, как козел на капусту, а с лица мрачен; голову даю, что у самого слюнки текут, да не про купца товарец, смею заметить.

– Тьфу! – плюнул Володы,вский. – И не стыдно вашей милости на старости лет глупости городить?

– А чего ты хмурый такой?

– Тебе кажется, все напасти как дым рассеялись и опасности миновали, а я полагаю, еще хорошенько подумать надо, как одного избежать, от другого укрыться. Путь впереди трудный, лишь богу известно, что нас еще ожидает, – в тех краях, куда мы едем, верно, уже бушует пламя.

– Когда я ее в Разлогах у Богуна выкрал, куда было хуже: впереди мятеж, за спиной погоня; однако ж я через всю Украину, как сквозь огненное кольцо, прошел и добрался до самого Бара. А для чего, скажи, мы голову на плечах носим? На худой конец пойдем в Каменец, до него уже близко.

– Ба! Туркам и татарам не дальше.

⁴⁹ Здесь: высокомерие, надменность, незаслуженное отношение (лат.).

– Рассказывай!

– Я дело говорю и еще раз повторяю: есть об чем подумать. Каменец лучше стороной обойти и прямо на Бар двинуть; казаки перначи уважают, с черным людом мы сладим, а вот если нас хоть один татарин приметит – пиши пропало! Я ихнего брата давно знаю: впереди чамбула с птицами да волками лететь – еще так-сяк, но упаси бог сойтись нос к носу – тут и я ничего не смогу поделывать.

– Ладно, пойдем к Бару или куда-нибудь в те края, а каменецкая татарва да черемисы пускай в караван-сараях своих от чумы подохнут! Его милости невдомек, что Редзян и у Бурляя взял пернач. Теперь казаки нам не помеха – хоть гуляй промеж них с песней. Самая глухомань позади осталась, дальше, слава богу, живут люди. О ночевке на хуторах надо подумать – девице оно и удобнее, и приличней. Больно уж ты, кажется мне, все в черных цветах видишь. Цо у дідька! Неужели три мужа в расцвете сил, три лихих – безо всякой лести скажу – молодца из степи не выйдут! Соединим остроту ума нашего с твоей саблей – и айда! Больше нам с тобой все равно нечего делать. У Редзяна Бурляев пернач есть, а это главное: ныне Бурляй всему Подолью хозяин; нам бы только перемахнуть за Бар, а там уже Ланцкоронский стоит во главе квартовых хоругвей. Поехали, пан Михал, не станем терять времени!

И понеслись они, не теряя времени, по степи на северо-запад с быстротою, на какую только способны были их кони. Ближе к Могилеву пошли места более заселенные, так что вечером нетрудно было отыскать хутор либо деревню для ночлега, но румяные утренние зори обычно заставляли путников уже в седле. По счастью, лето стояло сухое, дни жаркие, ночи росистые, а на рассвете степь из конца в конец серебрилась, словно покрытая инеем. Ветер осушил разлившиеся воды, реки вошли в берега – переправляться через них труда не составляло. Какое-то время ехали вверх по течению Лозовой, несколько дольше обычного задержавшись на отдых в Шаргороде, где стоял казацкий полк – один из тех, что были под командой Бурляя. Там им повстречались Бурляевы посланцы, и среди них сотник Куна, который пировал с ними у старого атамана. Сотник несколько удивился, почему они не через Брацлав, Райгород и Сквиру в Киев едут, впрочем, в его душу не закралось и тени подозрения, да и Заглоба объяснил, что тот путь им показался опасным из-за татар, которых со стороны Днепра ожидают. Куна, в свою очередь, рассказал, что послан Бурляем в полк объявить о походе и что сам Бурляй со всеми ямпольскими войсками и буджакскими татарами с часу на час прибудет в Шаргород, откуда немедленно двинется дальше.

К Бурляю от Хмельницкого прискакали гонцы с известием, что война началась, и с приказом идти на Волынь со всеми полками. Сам Бурляй давно уже рвался в Бар, он ждал только татарского подкрепления – под Баром мятежники последнее время терпели неудачу за неудачей. Региментарий Ланцкоронский, разгромив немалое число ватаг, захватил город и поставил в замке гарнизон. Там на поле брани полегла не одна тысяча казаков – за них и мечтал отомстить старый полковник или хотя бы обратно отбить замок. Однако, рассказывал Куна, последний приказ Хмельницкого идти на Волынь расстроил Бурляевы планы, и осада Бара на время откладывается, разве что очень будут настаивать татары.

– Ну что, пан Михал? – говорил на следующий день Заглоба. – Путь в Бар открыт, хоть во второй раз там княжну прячь, да на черта нам этот Бар сдался! С той поры как у крамольников завелось пушек больше, чем у коронного войска, я ни в Бар, ни в какую иную крепость не верю. Другое меня тревожит: похоже, вокруг нас сгущаются тучи.

– Хорошо б, только тучи! – ответил рыцарь. – Буря страшная надвигается – Бурляй и татары. Представляю, как старик удивится, ежели нас догонит и увидит, что мы не в Киев вовсе, а в противную сторону поспешаем.

– И с радостью нам иной путь укажет. Хорошо б ему раньше черт показал тропку, что напрямик ведет в пекло! Давай уговоримся, пан Михал: смутьянов я на себя беру, а о татарах уж ты позаботься.

– Хорошо тебе – мятежники нас за своих принимают, – ответил Володы,вский. – С татарами куда хуже – я один вижу путь: бежать стремглав, чтобы из западни выскользнуть, пока не поздно. Добрых коней, если попадутся по дороге, покупать надо, чтоб всегда свежие были в запасе.

– В кошельке пана Лонгина и на это найдется, а не хватит, у Редзяна отберем Бурляева

деньги, – а теперь вперед!

И помчались вперед, нахлестывая лошадей, – у тех даже пена выступила на боках и, точно снежные хлопья, падала на зеленую степную траву. Проехали Дерлу и Лядаву. В Бареке Володы,вский купил новых бахматов, но старых не бросил – скакуны, подаренные Бурляем, были хороших кровей, так что их решили неоседланными вести за собою. Вихрем летели, насколько возможно сокращая привалы и ночлеги. Но чувствовали себя превосходно, даже у Елены, хоть она и была утомлена дорогой, с каждым днем сил прибывало. В яре княжна вела жизнь замкнутую, редко когда покидая свою раззолоченную светлицу, чтоб поменьше встречаться с бесстыжей Горпыной, не слышать ее шуточек да уговоров – теперь же от свежего степного воздуха княжна быстро поправлялась здоровьем. Розы расцветали на ее щеках, от солнца лицо потемнело, но зато в глазах появился блеск, и порой, когда ветер взъерошивал ее пышные кудри, так и хотелось сказать: что за цыганка такая, красавица ворожея, а то и королевна цыганская по раздольной степи едет – впереди цветы, позади рыцари...

Володы,вский трудно привыкал к необычайной ее красоте, но путешествие их сближало, и помалу он одолел свою робость. Тут и дар речи к нему вернулся, и веселое настроение; частенько теперь, едучи с нею рядом, он рассказывал о Лубнах, но более всего о своей со Скшетуским дружбе, поскольку заметил, что такие рассказы княжна всегда рада слушать; порой даже он поддразнивать ее принимался:

– А знаешь, я ведь Богунов приятель и к нему тебя везу, любезная панна.

А княжна, будто в большом испуге, складывала ручки и тоненьким голоском просила:

– Не делай этого, грозный рыцарь, лучше заруби сразу.

– Нет, нет! Прямо к нему! – сурово отвечивал рыцарь.

– Заруби! – повторяла княжна, зажмуривая свои прелестные очи, и шею подставляла.

А у маленького рыцаря мурашки начинали бегать по телу. «Ох, красавица, как вино в голову ударяешь! – думал он. – Да уж ладно, чужого пить не станем», – и благороднейший пан Михал, встряхнувшись, прищипоривал лошадь. Но стоило ему, как пловцу, погрузиться в высокие травы, мурашки тот же час как рукой снимало и все внимание обращалось на дорогу: не затаилась ли где опасность, не сбились ли ненароком с пути, не пахнет ли какой передрыгой? И, привстав в стременах, маленький рыцарь выставлял пшеничные усики над волнующимся морем травы и озираал окрестность, принимался и прислушивался, как татарин, рыскающий по бурьяну в Диком Поле.

Заглоба тоже пребывал в отличнейшем расположении духа.

– Теперь нам куда легче, чем на Кагамлыке было, – говорил он. – Там мы, точно псы, высунув язык, на своих двоих драли. Помню, глотка у меня так пересохла, что языком доски можно было тесать, а теперь, слава богу, и ночью отдохнуть случается, и горло промочить есть чем.

– А помнишь, сударь, как ты меня на руках через воду переносил? – спрашивала Елена.

– Даст бог, и твой час придет кого-нибудь на руках носить: Скшетуский об этом позаботится!

– Ху-ху! – смеялся Редзян.

– Ах, оставь, прошу, сударь, – шептала княжна, вспыхивая и потупляя очи.

Так они беседовали меж собой, коротая время в дороге. За Бареком и Елтушковом на каждом шагу встречаться стали свежие следы, оставленные жестокой войною. Там до сих пор бесчинствовали вооруженные шайки, там же недавно жег и убивал Ланцкоронский, лишь недели две назад вернувшийся в Збараж. От местных жителей наши путники узнали, что Хмельницкий с ханом, собрав все силы, двинулись на ляхов, а верней, на региментариев, чьи войска бунтуются, желая служить только под булавой князя Иеремии. Все дружно пророчили, что теперь кому-то неизбежна гибель: когда батько Хмельницкий повстречается с Яремой, либо ляхам конец, либо казакам. Меж тем весь край был как огнем охвачен. Все и вся хватались за оружие и устремлялись на север, на соединение с Хмельницким. С низовьев Днестра валил Бурляй со своею ратью, а по пути в его войско, покидая крепости и пастбища, снимаясь с зимних квартир, вливались все новые и новые отряды, так как повсюду получен был приказ к выступлению. Шли сотни, хоругви, полки, а рядом текла бурным потоком чернь, вооруженная цепями, вилами, пиками, ножами. Конюхи и чабаны побросали свои коши, хуторяне – хутора,

пасечники – пасеки; из приднестровских зарослей вышли дикие рыбаки, а из дремучих лесов – ловцы зверя. Веси, местечки, города пустели. В трех воеводствах по селам остались лишь старухи да малые дети – даже молодницы потянулись вслед за казаками на ляхов. Одновременно с востока надвигалась главная могучая сила, ведомая самим Хмельницким, точно страшная буря сметающая на своем пути замки и усадьбы, убивая тех, кто остался жив после прошлых погромов.

Миновав Бар, пробудивший в княжне печальные воспоминания, наши путники вступили на старый тракт, ведущий через Латычов и Проскуров в Тарнополь и далее, ко Львову. Здесь им все чаще попадались то тянувшиеся ровными вереницами обозы, то отряды казацкой конницы и пехоты, то мужицкие ватаги, то окутанные тучами пыли несметные стада волов, предназначенных на прокормление казацких и татарских полчищ. На дороге стало небезопасно, сплошь да рядом друзей наших спрашивали: кто такие, откуда взялись и куда путь держат. Казацким сотникам Заглоба показывал Бурляев пернач и говорил:

– Мы Бурляя посланцы, молодницу Богуну везем.

При виде пернача грозного полковника казаки обыкновенно расступались: каждый понимал, что раз Богун жив, где ему еще быть, как не вблизи коронных войск под Збаражем либо под Староконстантиновом. Куда трудней приходилось с чернью, со своевольными ватагами диких, вечно пьяных пастухов, имевших весьма смутное представление о знаках, выдаваемых полковниками для свободного проезда. Заглобу, Володы,вского и Редзяна, если бы не Елена, полудикий этот люд принимал бы за своих, и притом начальников, как не однажды уже бывало, но княжна привлекала внимание каждого, хотя бы потому, что к прекрасному полу принадлежала, да и необычайная ее красота бросалась в глаза – оттого и возникали опасности, преодолевать которые удавалось лишь с большим трудом.

Порой Заглоба показывал пернач, а иногда Володы,вский – зубы, и не один покойник остался у них за спиной. Несколько раз только благодаря быстроногим Бурляевым скакунам спасались они от беды. Путешествие, начавшееся столь благополучно, с каждым днем становилось все труднее. Елена, хотя натура и одарила ее стойкостью душевной, от бессонных ночей и непрестанных волнений занедужила и вправду стала походить на силой влекомую во вражеский стан полонянку. Заглоба с Володы,вским, как могли, старались ее развлечь: старый шляхтич в поте лица своего измышлял все новые и новые затеи, а маленький рыцарь немедля приводил их в исполнение.

– Только бы нам муравейник этот, что впереди, проскочить и в Збараж добраться, покуда Хмельницкий с татарами не заняли всю окрестность, – говорил пан Михал.

Он прослышал в дороге, что региментарии собрались в Збараже и в его стенах намерены обороняться, – потому они туда и спешили, справедливо рассудив, что и князь Иеремия со своей дивизией к региментариям должен присоединиться, тем паче что часть его сил, и немалая, имела *locum*⁵⁰ в Збараже. Меж тем начались околицы Проскурова. Тракт заметно стал посвободней: в каких-нибудь десяти милях отсюда стояли коронные хоругви, и казацкие ватаги близко подходить не смели, предпочитая в безопасном отдалении дожидаться, пока с одной стороны подойдет Бурляй, а с другой Хмельницкий.

– Десять миль всего! Только десять миль! – повторял, потирая руки, Заглоба. – Лишь бы добраться до первой хоругви, а там без препятствий до Збаража доедем.

Володы,вский, однако, решил запастись в Проскурове свежими лошадьми, поскольку купленных в Барке они уже совсем загнали, а Бурляевых скакунов хотели приберечь на крайний случай. Предосторожность такая была отнюдь не лишней: разнесся слух, будто Хмельницкий уже под Староконстантиновом, а хан со всеми ордами валит от Пилявцев.

– Мы с княжной здесь останемся, лучше нам в городе на рыночной площади не показываться, – сказал маленький рыцарь Заглобе, когда в версте от Проскурова им попался на глаза заброшенный домик, – а ты поспрашивай горожан, не продаст ли кто лошадей, а может, сменить захочет. Темнеет уже, но нам так и так всю ночь ехать.

– Я скоро вернусь, – пообещал Заглоба и поскакал в сторону города.

⁵⁰ место, жилище. Здесь: постой (лат.).

Володы,вский же велел Редзяну ослабить у седел подпруги, чтобы дать отдохнуть бахматам, а сам отвел княжну в горницу и предложил для подкрепления сил выпить вина и вздремнуть немного.

– Хотелось бы до рассвета эти десять миль проделать, – сказал он ей,

– тогда и отдохнем спокойно.

Но не успел он принести провизию и мехи с вином, как во дворе зацокали копыта.

Маленький рыцарь выглянул в окошко.

– Пан Заглоба вернулся – видно, не достал лошадей, – сказал он.

Едва он договорил, дверь из сеней распахнулась и на пороге появился Заглоба – бледный до синевы, запыхавшийся, взмокший.

– На конь! – закричал он.

Володы,вский был достаточно искушенный воин, дабы в подобных случаях не терять времени на расспросы. Он не захотел даже на секунду задержаться, чтобы спасти мех с вином (о котором, впрочем, позаботился Заглоба), мигом подхватил княжну, вывел ее во двор и посадил в седло, а затем, проверив торопливо, подтянуты ли подпруги, приказал:

– Вперед, братцы!

Застучали копыта, и вскоре люди и лошади, точно вереница призраков, скрылись во тьме.

Долго скакали, не переводя духа; лишь когда от Проскурова их отделяло не менее мили и мрак перед восходом луны сгустился настолько, что можно было не опасаться погони, Володы,вский, догнавши Заглобу, спросил:

– Что случилось?

– погоди, пан Михал, погоди! У меня чуть ноги не отнялись... Уф! Дай отдышаться!

– Что же все-таки приключилось?

– Сатана собственной персоной, клянусь, сатана либо змий, у которого одну голову снесешь, другая тотчас вырастает.

– Да говори же ты толком!

– Я Богуна видел на рынке.

– А ты в своем уме, сударь?

– На рыночной площади видел собственными глазами, а при нем еще человек пять или шесть – у меня ноги едва не отнялись, не до счету было... Факелы над ним держали... Ох, чую, бес какой-то нам помехи не устает придумывать; нет, не верю я боле в счастливый исход нашего предприятия. Что его, дьявола, смерть не берет, что ли? Не говори ничего Елене... О господи! Ты его зарубил, Редзян выдал... Ан нет! Живехонек, на свободе и поперек пути норовит стать. Уф! Всемогущий боже! Слово даю, пан Михал, лучше spectrum на погосте увидеть, нежели этого злодея. И везет же мне, черт подери, всегда и везде именно я его встречаю! Везенье называется – врагу такого не пожелаешь! Неужто, кроме меня, нет на свете людей? Пусть бы другим встречался! Нет, одному мне только!

– А он тебя видел?

– Кабы видел, тебе бы меня не видать, пан Михал. Этого еще не хватало!

– Хорошо бы знать, – сказал Володы,вский, – за нами он гонится или к Горпыне на Валадынку едет, надеясь нас перехватить по дороге?

– Сдается мне, что на Валадынку.

– Так оно, верно, и есть. Стало быть, мы едем в одну сторону, а он в другую, и теперь уже не мила, две нас разделяют, а через час и все пять наберутся. Покамест он в дороге про нас узнает да повернет обратно, мы не то что в Збараже – в Жолкви будем.

– Думаешь, пан Михал? Ну, слава богу! Точно бальзам пролил на душу... Но скажи на милость, как могло оказаться, что этот черт на свободе, если Редзян его коменданту влодавскому выдал?

– Убежал, да и только.

– Головы рубить таким комендантам! Редзян! Эй, Редзян!

– Чего изволите, сударь? – спросил слуга, придержав лошадь.

– Ты кому Богуна выдал?

– Пану Реговскому.

– А кто он такой, этот пан Реговский?

– Важная птица, поручик панцирных войск из королевской хоругви.

– Ах ты, черт! – воскликнул, хлопнув в ладоши, Володы,вский. – Теперь я все понял! Ваша милость запомнил – нам пан Лонгинус рассказывал, как неприятели между собой Скшетуский с Реговским. Реговский этот пана Лаща, стражника, родич и за его позор odium⁵¹ затаил на пана Яна.

– Понятно! – вскричал Заглоба. – Назло отпустил Богуна, значит. Но это дело подсудное, тут плахой пахнет. Я первый поспешу с доносом!

– Приведи господь с ним встретиться, – пробормотал Володы,вский, – тогда и в трибунале нужды не будет.

Редзян не понял, о чем идет речь, и, ответив Заглобе на вопрос, снова поскакал вперед к Елене.

Всадники теперь ехали неторопливо. Взошел месяц, туман, поднявшийся вечером с земли, опал – ночь сделалась ясной. Володы,вский погрузился в свои мысли. Заглобе понадобилось еще немалое время, чтобы прийти в себя от пережитого потрясения. Наконец он заговорил:

– Ох, несдобровать теперь и Редзяну, попадись он Богуна в руки!

– А ты скажи ему новость, пусть натерпится страху, а я с княжной поеду, – предложил маленький рыцарь.

– И то дело! Эй, Редзян!

– Чего? – спросил парень и придержал лошадь.

Заглоба догнал его и несколько времени в молчании ехал рядом, пока Володы,вский с княжной не удалились на почтительное расстояние, а затем только сказал:

– Знаешь, что случилось?

– Нет, не знаю.

– Реговский Богуна отпустил на свободу. Я его в Проскурове видел.

– В Проскурове? Сейчас? – спросил Редзян.

– Сейчас. Ну, как? Не слетел с кульбаки?

Свет месяца падал прямо на толстошее лицо слуги, на котором Заглоба не только не заметил испуга, а напротив, к величайшему своему удивлению, увидел жестокую, просто звериную ненависть; такое точно выражение было у парня, когда он убивал Горпыну.

– Эге! Да ты, никак, Богуна не боишься? – спросил старый шляхтич.

– Что ж, сударь мой, – отвечал Редзян, – ежели его пан Реговский отпустил, надлежит мне самому искать случай отомстить за свой позор и обиду. Я ведь поклялся, что даром ему этого не спущу, и, кабы не барышню везти, сей же час пустился бы вдогонку: за мной не пропадет, не сомневайтесь!

«Тьфу, – подумал Заглоба, – не хотел бы я этого щенка обидеть».

И, подстегнув лошадь, догнал Володы,вского и княжну. Спустя час путники переправились через Медведовку и углубились в лес, двумя черными стенами тянувшийся от самого берега вдоль дороги.

– Эти места я хорошо знаю, – сказал Заглоба. – Бор вскоре кончится, за ним с четверть мили открытого поля, по которому тракт из Черного Острова проходит, а там еще побольше этого лес – до самого Матчина. Даст бог, в Матчине застанем польские хоругви.

– Пора бы уже прийти избавлению! – пробормотал Володы,вский.

Некоторое время всадники ехали в молчании по залитому ярким лунным светом шляху.

– Два волка дорогу перебежали! – вдруг сказала Елена.

– Вижу, – ответил Володы,вский. – А вон и третий.

Серая тень и вправду промелькнула впереди в сотне шагов от лошадей.

– Ой, четвертый! – вскрикнула княжна.

– Нет, это косуля; гляди, сударыня: еще одна и еще вот!

– Что за черт! – воскликнул Заглоба. – Косули гонятся за волками! Поистине свет вверх тормашками перевернулся.

– Поедем-ка побыстрее, – сказал Володы,вский, и в голосе его послышалась тревога. –

⁵¹ ненависть (лат.).

Редзян! А ну, давай с барышней вперед!

Редзян с княжной умчались, а Заглоба, склонившись на скаку к уху Володы,,вского, спросил:

– Что там еще, пан Михал?

– Плохо дело, – ответил маленький рыцарь. – Видал: зверь проснулся, из логова бежит среди ночи.

– Ой! С чего бы это?

– А с того, что его всполошили.

– Кто?

– Войско – казаки либо татары – идет от нас по правую руку.

– А может, это наши хоругви?

– Нет, зверь с востока бежит, от Пилявцев, верно, татары широкою прут лавой.

– Господи помилуй! Бежим скорее!

– Ничего иного и не остается делать. Эх, не было б с нами княжны, подкрались бы мы к чамбулу да прихватили парочку басурман, но с нею... Худо придется, ежели они нас заметят.

– Побойся бога, пан Михал! Давай, что ли, в лес свернем за волками?

– Нет, не стоит: не догонят сразу – поскачут наперехват, всю окрестность наводнят перед нами – как потом выбираться будем?

– Разрази их грома небесные! Этого только недоставало! А не ошибаешься ли ты, пан Михал? Волки обычно позади коша тянутся, а не впереди мчатся.

– Те, что в стороне, собираются со всей околицы и за кошем плетутся, а кто впереди, поджавши хвост удирают. Погляди направо: видишь, зарево меж деревьев!

– Господи Иисусе, царь иудейский!

– Тише, сударь!.. Будет когда конец этому лесу?

– Вот-вот кончится.

– А дальше поле?

– Поле. О господи!

– Тихо!.. А за полем другой лес?

– До самого Матчина.

– Хорошо! Лишь бы на поле этом не настигли! Доберемся благополучно до второго леса – считай, мы дома. А теперь давай к нашим! Счастье, что княжна с Редзяном на Бурляевых лошадях.

Друзья пришпорили коней и нагнали едущих впереди Редзяна с Еленой.

– Это что за зарево справа? – спросила княжна.

– Не стану скрывать, любезная панна! – отвечал маленький рыцарь. – Татары это, верней всего, вот что.

– Иисусе, Мария!

– Не бойся, княжна! Головой клянусь, мы от них уйдем, а в Матчине наши хоругви.

– Быстрее, ради бога, быстрее! – воскликнул Редзян.

И без лишних слов все четверо понеслись как ночные мороки дальше. Деревья стали редеть, лес кончался, и зарево несколько побледнело. Вдруг Елена обернулась к маленькому рыцарю.

– Любезные судари! Поклянитесь, что не отдадите меня живой! – сказала она.

– Не отдадим! – ответил Володы,,вский. – Клянусь жизнью!

Не успел он договорить, перед ними показалась поляна, ровная как степь, с противоположного конца, примерно в четверти мили от путников, окаймленная черной полосой леса. Плешина эта, открытая на все стороны, серебрилась от лунного света: каждый бугорок на ней был виден как днем.

– Вот самое гиблое место! – шепнул Заглобе Володы,,вский. – Если они в Черном Острове, обязательно на прогалину эту выйдут.

Заглоба ничего не ответил, только крепче упер пятки в бока лошади.

Они были уже посреди поляны, лес на противоположной стороне приближался, рисовался все отчетливее, как вдруг маленький рыцарь протянул руку к востоку.

– Гляди, – сказал он Заглобе, – видишь?

– Кусты вижу вдалеке, заросли...

– Кусты-то шевелятся. Погоняй коней, теперь уж они нас непременно заметят!

Ветер засвистал в ушах беглецов – спасительный лес с каждой секундою был ближе.

Вдруг с правого краю поляны, откуда надвигалась темная лавина, докатился сперва рокот, подобный гулу морских волн, а затем воздух всколыхнул многоголосый вопль.

– Увидели! – взревел Заглоба. – Псы! Нечестивцы! Дьяволы! Лиходеи! Волки!

Лес был так уже близко, что беглецы, казалось, ощущали свежее и холодное его дыхание.

Но и туча татар принимала все более явственные очертанья; темная ее масса вдруг начала ветвиться – словно гигантское чудище выпустило длинные свои щупальца и тянуло их к беглецам с невероятной быстротою. Чуткое ухо Володы,вского уже различало отдельные выкрики: «Алла! Алла!»

– У меня конь споткнулся! – крикнул Заглоба.

– Ничего! – ответил Володы,вский.

Но в голове у него один за другим молнией мелькали вопросы; что будет, если не выдержат лошади? Что будет, если которая-нибудь падет? Резвые татарские бахматы обладали железной выносливостью, но они шли от самого Проскурова и не успели отдохнуть после бешеной скачки между городом и первым лесом. Можно было, правда, пересечь на запасных, но и те устали. «Что будет?» – подумал Володы,вский, и сердце его забилося в тревоге – быть может, впервые в жизни: не за себя он боялся, а за Елену, которую за время долгого путешествия полюбил, как сестру родную. Ему хорошо было известно, что татары, пустившись в погоню, скоро не отстанут.

– И пусть гонятся, ее им не видать! – сказал он себе и стиснул зубы.

– У меня конь споткнулся! – во второй раз крикнул Заглоба.

– Ничего! – повторил Володы,вский.

Между тем они достигли леса. Тьма поглотила их. Но и отдельные татарские всадники были уже в нескольких сотнях шагов за спиною.

Однако теперь маленький рыцарь знал, что делать.

– Редзян! – крикнул он. – Сворачивай с барышней с большака на первую же тропку.

– Слушаюсь, ваша милость! – ответил Редзян.

Маленький рыцарь оборотился к Заглобе:

– Готовь пистолеты!

И схватился рукой за узду лошади своего товарища, заставляя ее замедлить бег.

– Что ты делаешь? – вскричал шляхтич.

– Ничего! Придержи лошадь.

Редзян с Еленой меж тем быстро отдалялись. Наконец они подскакали к месту, где большак круто сворачивал к Збаражу, а вперед отходила узкая лесная тропка, наполовину скрытая ветвями. Редзян направил туда коней, и минутою спустя они с Еленой скрылись во мраке между деревьев.

Володы,вский тотчас остановил свою лошадь и лошадь Заглобы.

– Боже милосердный! Что ты делаешь? – взревел шляхтич.

– Нужно задержать погоню. Иначе княжну не спасти.

– Мы погибнем!

– И пусть. Становись на обочину! Сюда! Сюда скорее!

Друзья притаились во тьме под деревьями. Татарские бахматы меж тем приближались – весь лес гудел от бешеного топота копыт, как в бурю.

– Вот и конец пришел! – сказал Заглоба и поднес к губам мех с вином.

Не скоро от него оторвавшись, он тряхнул головой и воскликнул:

– Во имя отца, и сына, и святого духа! Я готов умереть!

– погоди, погоди! – сказал Володы,вский. – Трое вперед вырвались – это мне и нужно.

И верно: на освещенной луною дороге показались три всадника: видно, под ними были самые резвые бахматы, на Украине прозываемые волкогонами, – от них не могли уйти даже волки. Далее, поотстав шагов на двести – триста, мчалось еще десятка полтора всадников, а там и вся плотно сбита стая ордынцев.

Едва трое первых поравнялись с засадой, прогремели два выстрела, затем Володы,вский,

как рысь, выпрыгнул на середину дороги и, прежде чем Заглоба успел опомниться и сообразить, что происходит, третий татарин упал, словно молнией пораженный. Все свершилось в мгновение ока.

– На конь! – крикнул маленький рыцарь.

Ему не пришлось повторять дважды: секунду спустя друзья мчались по шляху, как два волка, преследуемые остервенелой собачьей сворой. Тем временем подоспевшие басурманы обступили своих павших соплеменников и, убедившись, что загнанные волки способны загрызть насмерть, слегка попридержали коней, поджидая отставших.

– Видал, сударь! Я знал, что они остановятся! – сказал Володы,вский.

Но выиграли наши друзья всего несколько сот шагов: погоня прервалась ненадолго, только теперь татары держались кучно и поодиночке вперед не вырывались.

Лошади беглецов изнурены были долгою скачкой, и постепенно бег их замедлялся. Особенно устал конь под Заглобой – нелегко было нести на себе такую тушу – и опять стал спотыкаться; у старого шляхтича остатки волос поднялись дыбом при мысли, что будет, если падет лошадь.

– Пан Михал, дорогой, не бросай меня! – в отчаянии восклицал он.

– Не тревожься! – отвечал маленький рыцарь.

– Чтоб этого коня волки...

Он не договорил: первая стрела зажужжала над самым его ухом, а за ней, словно жуки и пчелы, зазвенели, засвистали, запели другие. Одна пролетела так близко, что едва не задела оперением уха Заглобы.

Володы,вский обернулся и дважды выстрелил в преследователей из пистолета.

Вдруг лошадь Заглобы споткнулась, да так, что чуть не зарылась храпом в землю.

– Господи помилуй, у меня конь падает! – не своим голосом завопил Заглоба.

– Спешивайся и в лес! – взревел Володы,вский.

С этими словами он осадил и свою лошадь, спрыгнул наземь, и минуту спустя тьма поглотила обоих.

Но маневр этот не укрылся от раскосых татарских глаз, и полсотни басурман, тоже соскочив с коней, пустились за беглецами вдогонку.

Ветки сорвали шапку с Заглобы, хлестали его по лицу, за жупан цеплялись, но шляхтич мчался очертя голову, словно скинул с плеч лет тридцать. Несколько раз он падал, но, поднявшись, припускал еще быстрее, сопя, как кузнечный мех, пока не скатился в глубокую яму от вырванного с корнем дерева и не почувствовал, что отсюда ему уже не выбраться: силы оставили его совершенно.

– Ты где? – тихо спросил Володы,вский.

– Здесь, в яме! Каюк мне! Спасайся, пан Михал.

Но пан Михал, ни минуты не колеблясь, спрыгнул следом за ним в яму и заткнул ему рот ладонью.

– Тихо! Может, еще проскочат! А нет, будем защищаться.

Между тем татары приблизились. Одни из них, полагая, что беглецы впереди, и впрямь проскочили мимо, другие же замедлили шаг, осматриваясь вокруг себя и ощупывая деревья.

Рыцари затаили дыханье.

«Хоть бы который-нибудь сюда свалился, – в отчаянье подумал Заглоба,

– я б ему показал!...»

Вдруг во все стороны посыпались искры: татары принялись высекать огонь...

Вспышки озаряли дикие скуластые лица с выпяченными губами, дующими на труты. Несколько времени татары – зловещие лесные призраки – бродили вокруг да около в полусотне шагов от ямы и подступали все ближе.

Но вдруг какие-то странные звуки, шум и невнятные восклицанья донеслись со стороны дороги, нарушая покой сонной чащи.

Татары попрятали кресала и застыли как вкопанные. Пальцы Володы,вского впились в плечо Заглобе.

Возгласы стали громче, внезапно вспыхнули красные огоньки и одновременно раздалась мушкетные залпы – один, другой, третий, а следом крики: «Алла!», звон сабель, лошадиное

ржанье. Топот копыт смешался с воплями: на дороге закипело сражение.

– Наши! Наши! – крикнул Володы,вский.

– Бей, убивай! Бей! Коли! Режь! – ревел Заглоба.

Еще мгновение – и мимо ямы в страшном переполохе пролетели полсотни ордынцев, удиравших к своим что было духу. Володы,вский, не выдержав, кинулся вдогонку и помчался за ними по пятам в темной чащобе.

Заглоба остался один на дне ямы.

Он попытался было вылезти, но не смог. Все кости у него болели, ноги отказывались повиноваться.

– Ха, мерзавцы! Удрали! – сказал он, вертя во все стороны головою. – Хоть бы один остался – в приятной компании веселее было б торчать в этой яме. Жаль! Показал бы я голубчику, где раки зимуют! Ну, нехристи, изрежут вас там, как скотину! Боже милосердный! Шум-то все сильнее! Хорошо б, это был сам князь Иеремия, он бы вам задал жару. Кричите, кричите на своем басурманском наречье, скоро волки над вашими потрохами будут славить аллаха. А пан Михал хорош – одного меня кинул! Впрочем, не диво! Молод, вот и жаден до крови. После нынешней передрыги я с ним пойду хоть в пекло

– он не из тех, кто друга в беде оставляет. А этих троих как ужалил! Оса, да и только! Эх, был бы сейчас мех под рукою... Его уже небось черти взяли... растоптали кони. А вдруг гадюка заползет в эту ямищу да укусит... Ой, что такое?

Крики и мушкетные залпы стали отдаляться в сторону поляны и первого леса.

– Ага! – сказал Заглоба. – Наши вослед полетели! Слава всевышнему! Улепетываете, собачьи дети?!

Крики все более удалялись.

– Здорово они их! – не умолкая, бормотал шляхтич. – Однако, видать, придется мне посидеть в этой яме. Не хватает только волкам попасться на ужин. Сперва Богун, потом татарва, а напоследок волки. Пошли, господи, Богуну кол острый, а волкам бешенство – о басурманах наши позаботятся сами! Пан Михал! Пан Михал!

Тишина была ответом Заглобе, только бор шумел – возгласы и те вдали замирали.

– Похоже, мне здесь спать придется... Пропади все пропадом! Эй, пан Михал!

Терпению Заглобы, однако, еще долгое предстояло испытанье: небо уже начало сереть, когда на большаке вновь послышался конский топот, а затем в лесном сумраке засверкали огни.

– Пан Михал! Я здесь! – закричал шляхтич.

– Что ж не вылезает?

– Ба! Кабы я мог вылезть.

Маленький рыцарь, нагнувшись над ямою с лучиной в руке, протянул Заглобе руку и молвил:

– Ну, с татарвой покончено. За тот лес загнали треклятых.

– Кого ж нам господь послал?

– Кушеля и Розтворовского с двумя тысячами конницы. И драгуны мои с ними.

– А нехристей много было?

– Да нет! Тысчонки две-три, не более того.

– Ну и слава богу! Дай же скорее выпить чего-нибудь, ноги совсем не держат.

Два часа спустя Заглоба, отменно накормленный и изрядно выпивший, восседал в удобном седле в окружении драгун Володы,вского, а маленький рыцарь, ехавший подле него, говорил так:

– Не печалься, ваша милость, хоть мы и не привезем княжну в Збараж, все лучше, что она не попала в руки к неверным.

– А может, Редзян еще повернет к Збаражу? – предположил Заглоба.

– Нет, этого он делать не станет. Дорога занята будет: чамбул тот, который мы отогнали, вскоре воротится и полетит за нами следом. Да и Бурляй, того гляди, нагрянет и раньше подступит к Збаражу, нежели Редзян туда подоспеет. А с другой стороны, от Староконстантинова, Хмельницкий идет с ханом.

– Господи помилуй! Так они с княжной все равно что в западню попадутся.

– Редзян смекнет, что надо между Збаражем и Староконстантиновом проскочить, пока не

поздно, пока полки Хмельницкого или ханские чамбулы их не окружили. Я, признаюсь тебе, на него очень надеюсь.

– Дай-то бог!

– Малый, точно лиса, хитер. Уж на что ты, сударь, на выдумки тороват, а он тебя превзойдет, пожалуй. Сколько мы ломали головы, как княжне помочь, и в конце концов опустили руки, а появился он – все сразу пошло на лад. И теперь ужом проползет – со своей шкурой небось тоже жаль расставаться. Не будем терять надежды и положимся на волю господню: сколько уже раз всевышний княжне посылал спасенье! Припомни, как сам меня ободрял, когда Захар приезжал в Збараж.

Заглобу эти слова маленького рыцаря несколько утешили, и он погрузился в задумчивость, а потом снова обратился к другу:

– Ты про Скшетуского у Кушеля не спросил?

– Скшетуский уже в Збараже и здоров, слава богу. Вместе с Зацвилюховским от князя Корецкого прибыл.

– А что мы ему скажем?

– В том-то и штука!

– Он, как прежде, считает, что княжна в Киеве убита?

– Так и считает.

– А Кушелю либо кому другому ты говорил, где мы были?

– Никому не говорил: сперва, решил, с тобой надо посоветоваться.

– По моему разумению, лучше покамест молчать обо всем, – сказал Заглоба. – Не дай бог, попадет девушка к казакам или татарам – Скшетуский вдвойне страдать будет. Зачем беречь поджившие раны?

– Выведет ее Редзян. Головой ручаюсь!

– И я бы своей с охотой поручился, да только беда нынче по свету как чума гуляет. Не станем ничего говорить и предадим себя воле божьей.

– Что ж, пускай будет так. А пан Подбипятка Скшетускому не проговорится?

– Плохо же ты его, сударь, знаешь! Он слово чести дал, а для литовской нашей жерди долговязой ничего святее нету.

Тут к друзьям присоединился Кушель, и далее они ехали вместе, греясь в первых лучах встающего солнца и беседуя о делах общественных, о прибытии в Збараж региментариев по настоянию князя Иеремии, о скором приезде самого князя и неизбежной уже, страшной войне с ратью Хмельницкого.

Глава XXIV

В Збараже Володыжский и Заглоба нашли все коронные войска собравшимися в ожидании неприятеля. Был там и коронный подचाший, который прибыл из-под Староконстантинова, и Ланцкоронский, каштелян каменецкий, до недавнего времени громивший врага под Баром, и третий региментарий, пан Фирлей из Домбровицы, каштелян бельский, и пан Анджей Сераковский, коронный писарь, и пан Конецпольский, хорунжий, и пан Пшиемский, генерал от артиллерии, особо искушенный по части штурма городов и возведения укреплений. И с ними десять тысяч квартового войска, не считая нескольких хоругвей князя Иеремии, которые прежде еще в Збараже квартировали.

Пан Пшиемский с юга от города и замка, за двумя прудами и рекой Гнезной, расположил лагерь, который укрепил по всем правилам иноземного фортификационного искусства; теперь штурмовать лагерь можно было только в лоб, так как с тылов его защищали пруды, замок и речка. Здесь региментарии намеревались дать отпор Хмельницкому и задержать нашествие, пока не подоспеет король с остальными войсками и шляхетским ополчением. Но осуществим ли был такой замысел при неслыханной мощи Хмельницкого? Многие в этом сомневались, в поддержку своих сомнений выставляя веские доводы и среди них тот, в частности, что в самом лагере дела обстояли скверно. Прежде всего, меж военачальников накапливалась скрытая вражда. Региментарии пришли в Збараж не по своей воле, а лишь по настоянию князя Иеремии. Вначале собирались они обороняться под Староконстантиновом, но, когда прошел слух, будто

Иеремия согласен присоединиться к ним только в случае, если местом встречи с врагом будет избран Збараж, воинство без долгих размышлений объявило королевским полководцам, что желает идти в Збараж и нигде больше драться не станет. Не помогали ни уговоры, ни авторитет сановников, и вскоре региментарии поняли, что, если и впредь будут упорствовать, войска, начиная от тяжелой гусарской кавалерии и кончая последним иноземным солдатом, покинут их и сбегутся под знамена князя Иеремии. То был один из прискорбных, весьма частых по тем временам примеров неповиновения, порождаемого многими причинами: бездарностью военачальников, взаимными их раздорами, паническим страхом пред мощью Хмельницкого и небывалыми дотоле поражениями, в особенности разгромом под Пилявцами.

Так что пришлось региментариям двинуться в Збараж, где, хотя назначены они были самим королем, им предстояло волей-неволей отдать власть Вишневецкому: ему и только ему соглашалось подчиниться войско, только с ним готово было идти в бой и погибнуть. Но пока подлинный этот вождь не прибыл в Збараж, тревога среди воинства росла, дисциплина вконец расшаталась, в сердца закрадывался страх. Уже известно было, что Хмельницкий, а с ним хан идут с такой силищей, какой не видывали со времен Тамерлана. Точно зловещие птицы, слетались к лагерю все новые и новые слухи, один страшней другого, и подтачивали неколебимость солдатского духа. Росли опасения, как бы внезапная вспышка всеобщей паники, как это было в Пилявцах, не рассеяла последних отрядов, еще преграждавших Хмельницкому путь к сердцу Речи Посполитой. Полководцы сами теряли голову. Разноречивые их приказания либо вовсе не выполнялись, либо выполнялись с неохотой. Поистине один лишь Иеремия мог отвести беду, нависшую над лагерем, войском и всей страной.

Заглоба и Володыжский, прибыв в город с хоругвями Кушеля, тотчас подхвачены были водоворотом лагерной жизни: не успели они появиться на майдане, их окружили офицеры разных частей и наперебой принялись выспрашивать, что слышно. При виде пленных татар любопытствующие приободрились. «Пощипали татарву! Пленных привезли! Послал господь викторию!» – повторяли одни. «Татары подходят – и Бурляй с ними! – кричали другие. – К оружию! На валы!» И понеслась по лагерю новость, а попутно вырастала в размерах одержанная Кушелем победа. Толпа вокруг пленников умножалась. «Снести басурманам головы! – раздавались крики. – Что еще с ними делать!» Вопросы посыпались, точно снежная заметь, но Кушель отвечать на них не пожелал и отправился с реляцией на квартиру к каштеляну бельскому. На Володыжского же и Заглобу между тем нажились знакомые из «русских» хоругвей, а они, как могли, увертывались: обоим не терпелось поскорей увидеться со Скшетуским.

Отыскивали они его в замке в обществе старого Зацвилюховского, двух местных ксендзов-бернардинцев и Лонгинуса Подбилятки. Скшетуский, завидя друзей, чуть побледнел и зажмурил на секунду глаза: слишком много болезненных воспоминаний всколыхнулось в нем при их появлении. Однако приветствовал приятелей спокойно и даже радостно, спросил, где они были, и удовлетворился первым более или менее правдоподобным ответом, так как, считая княжну погибшей, ничего уже не хотел, ничего не ждал от жизни, и даже тени подозрения, что долгое их отсутствие могло хоть как-то быть связано с Еленой, не закралось в его душу. И рыцари наши словом не обмолвились о цели своего путешествия, как ни вздыхал и ни ерзал на месте пан Лонгинус, то на одного, то на другого устремляя испытующий взор, пытаясь прочесть на их лицах слабую хотя бы надежду. Но оба были заняты единственно Скшетуским. Пан Михал то и дело бросался его обнимать: сердце маленького рыцаря растаяло, едва только он увидел старого верного своего друга, которому столько привелось выстрадать и перетерпеть, столько потерять, что и жить как бы незачем стало.

– Вот мы и вместе, – говорил он Скшетускому. – Со старыми друзьями тебе полегче будет! И война не за горами: подобной, сдастся мне, еще не бывало, как тут не радоваться солдатской душе! Дал бы бог здоровье – еще не раз поведешь гусар в битву!

– Здоровье господь мне возвратил, – ответил Скшетуский, – я и сам ничего иного не хочу, кроме как служить отечеству, пока ему нужен.

Скшетуский и вправду совсем уже оправился: молодость и могучий организм победили болезнь. Страдания истерзали его душу, но не сломили тела. Он лишь сильно исхудал и пожелтел – лоб, щеки, нос казались вылепленными из свечного воску. Прежняя каменная

суровость черт сохранилась: их сковало ледяное спокойствие, какое можно увидеть на лицах почивших, да еще больше серебряных нитей вилось в черной его бороде, а так он, пожалуй, ничем не отличался от всех остальных, разве что, вопреки солдатским обычаям, избегал многолюдья, попоек и шумных сборищ, охотнее проводя время с монахами, жадно выслушивая их рассказы о монастырском бытѣ и загробной жизни. Однако службу нес исправно и к войне и предполагавшейся осаде приготавливался наравне со всеми.

И сейчас разговор быстро свернул на этот предмет, потому что ни о чем другом никто во всем лагере, в городе и в замке не думал. Старый Зацвилюховский стал расспрашивать про татар и про Бурляя, которого знал с давних пор.

– Славный воитель, – говорил он, – жаль, что против отечества поднялся вместе с другими. Мы с ним под Хотинѣм служили, юнец он тогда еще был, но обещал вырасти в достойного мужа.

– Он ведь сам из Заднепровья, и люди его все оттуда, – сказал Скшетуский, – как же случилось, отец, что они с юга, со стороны Каменца, подходят?

– Видно, Хмельницкий умышленно поставил его там на зимние квартиры, – ответил Зацвилюховский. – Тугай-бей на Днепре оставался, а великий сей мурза с давних пор держит зло на Бурляя. Он у татар, как никто другой, сидит в печенках.

– А теперь их соратником будет!

– Вот-вот! – сказал Зацвилюховский. – Такие времена! Но уж Хмельницкий приглядит, чтоб они не перегрызлись.

– А когда Хмельницкого сюда ожидают? – спросил Володы,вский.

– Со дня на день, хотя... кто может знать наверно? Региментариям бы сейчас высылать разъезд за разъездом, так нет же, они и в ус не дуют. Едва упросил, чтобы Кушеля отправили на юг, а Пигловских к Чолганскому Камню. Сам хотел пойти, да здесь что ни час, то совет собирают... Еще решились, наконец, послать коронного писаря с дюжиной хоругвей. Спешить надо – как бы не сделалось поздно. Пошли нам, господа, князя нашего поскорее, а то ведь позору не оберемся, вторые выйдут Пилявцы.

– Видал я давеча, когда майдан проезжали, воинов этих, – сказал Заглоба, – все какие-то недошлые, бравых парней перечесать по пальцам. Маркитантами им состоять, а не с нами, больше жизни любящими военную славу, плечом к плечу сражаться!

– Чепуху говоришь, сударь! – проворчал старик. – Я твоей отваги не умаляю, хотя прежде иного был мнения, но все те рыцари, что здесь собрались, – наилучшие воины, каких когда-либо Речь Посполитая имела. Их только возглавить! Вождь нужен! Воевода каменецкий – добрый рубака, но предводитель никчемный, пан Фирлей стар, а что касается подчасего – этот, как и князь Доминик, под Пилявцами показал, чего стоит! Не диво, что их не желают слушать. Солдат с охотою кровь прольет, ежели уверен будет, что без нужды его не пошлют на смерть. А сейчас полководцы эти нет чтобы готовиться к осаде – препираются, кто где стоять должен!

– А провианту довольно? – обеспокоенно спросил Заглоба.

– И продовольствия меньше, чем надо, а с фуражом и совсем скверно. Если осада протянется месяц, придется лошадей стружками кормить да камнями.

– Еще не поздно об этом позаботиться, – заметил Володы,вский.

– Поди объясни им. Дай бог, чтобы князь поскорее прибыл, *pereto*.

– Не один ты, сударь, по нем вздыхаешь, – вставил пан Лонгинус.

– Знаю, – ответил старик. – Пройдитесь только по майдану. Все у валов сидят да глядят на Старый Збараж, а иные в городе на колокольни взбираются. Случится кому-нибудь крикнуть ни с того ни с сего: «Идет!» – от радости шалеют. Истомленный путник в пустыне не так *desiderat aquae*⁵², как мы прибытия князя. Только бы он раньше Хмельницкого успел, боюсь, его задерживают какие-то *impedimenta*.

– И мы молимся за скорейший его приезд денно и ночью, – отозвался один из бернардинцев.

⁵² воды жаждет (лат.).

Вскоре, однако, мольбам и молитвам всего рыцарства суждено было быть услышанными, хотя следующий день принес еще большие опасения, которым сопутствовали зловещие знаки. Дня восьмого июля, в четверг, страшная гроза разразилась над городом и свеженасыпанными лагерными валами. Дождь лил как из ведра. Часть земляных укреплений смыло. В Гнезне и обоих прудах поднялась вода. Вечером молния ударила в знамя пехотного полка бельского каштеляна Фирлея; несколько человек было убито, а древко знамени раскололось в щепы. Это сочли за дурной omen⁵³, явное проявление гнева господня, тем паче что Фирлей был кальвинистом. Заглоба предлагал послать к нему депутацию с просьбой или даже требованием обратиться в истинную веру, «ибо не может быть божьего благословения войску, коего вождь пребывает в богомерзких заблуждениях греховных». Многие разделяли это мнение, и лишь уважение к особе каштеляна и его булаве помешало отправить депутацию. Но это только в еще большее всех повергло унынье. И гроза бушевала не унимаясь. Валы, хоть они и укреплены были лозняком, кольями и камнями, смыло, орудия увязали в мокрой земле. Пришлось подкладывать доски под гаубицы, мортиры и даже восьмиствольные пушки. В глубоких рвах шумела вода, поднявшись в рост человека. Ночь не принесла покоя. Ветер до рассвета гнал неустанно по небу гигантские скопища туч, которые, клубясь и страшно грохоча, обрушивали на Збараж все, какие ни имели в запасе, дожди, молнии, громы... Только челядь осталась в лагере в палатках, товарищество же, военачальники, даже региментарии, исключая лишь каменецкого каштеляна, попрятались в городе и замке. Если б Хмельницкий пришел во время этой бури, лагерь был бы захвачен им без сопротивления.

На следующий день немного распогодилось, хотя дождь еще накрапывал. Лишь в шестом часу южный ветер разогнал тучи, небосвод над лагерем заголубелся, а в стороне Старого Збаража засверкала великолепная семицветная радуга, одним концом уходящая за Старый Збараж, а другим словно высасывающая влагу из Черного Леса, и долго блистала, играя и переливаясь на фоне убегающих туч.

Тогда бодростью исполнились все сердца. Рыцари возвратились в лагерь и поднялись на ослизлые валы, чтобы полюбоваться радугой. Тотчас завязались оживленные разговоры, посыпались догадки, что этот добрый знак предвещает, как вдруг Володы, вский, стоявший вместе со всеми над самым рвом, приставил ладонь к своим рысьим глазам и воскликнул:

– Войско из-под радуги выходит, войско!

Все пришло в движение, толпа будто от ветра заколыхалась, и мгновенно поднялся шум. Слова: «Войско идет!» – стрелою пронеслись над валами. Солдаты, теснясь и толкаясь, сбивались в кучи. Гомон то усиливался, то стихал, ладони потянулись к глазам, взоры вперлись вдаль, сердца забились

– все, затаив дыхание, смотрели в одну сторону, то обуреваемые сомнениями, то окрыляемые надеждой.

Меж тем под семицветною аркой что-то замаячило и постепенно стало приобретать четкие очертания, и все лучше виделось, все ближе подступало,

– и вот уже можно было различить знамена, прапорцы, бунчуки! А там и целый лес значков – зрение никого уже не обманывало: это шло войско.

Тогда из всех грудей вырвался единый крик, оглушительный вопль радости и надежды:

– Иеремия! Иеремия! Иеремия!

Старые солдаты совершенно потеряли голову. Одни сбежали с валов, перебрались через ров и по затопленной равнине, не разбирая дороги, помчались навстречу приближающимся полкам; другие кинулись к лошадям; кто смеялся, кто плакал, иные, складывая молитвенно руки или простирая их к небу, кричали: «Идет отец наш! Идет наш вождь и спаситель!» Можно было подумать, победа уже одержана, осада снята и вражье войско разбито. Меж тем княжеские полки подходили все ближе, уже и значки различить было можно. Впереди, как обычно, шли легкие конные хоругви князьих татар, казаков и валахов, за ними иноземная пехота Махницкого, далее артиллерия Вурцеля, тяжелая гусарская кавалерия и драгуны. Солнечные лучи переломлялись на их доспехах, на железках торчащих поверх голов копий – и

⁵³ предзнаменование, знак (лат.).

шли они, окруженные удивительным этим сияньем, словно в ореоле победы. Скшетуский, стоявший на валу с паном Лонгином, издали узнал свою хоругвь, которую оставил в Замостье, и пожелтые его щеки окрасились легким румянцем. Он вздохнул раз-другой всей грудью, словно сбрасывая с себя непомерную тяжесть, и на глазах повеселел. Он понимал, что близятся дни нечеловеческих испытаний и кровопролитных схваток, а ничто лучше не врачует сердец, не загоняет в дальние уголки души мучительные воспоминанья. Полки меж тем подвигались вперед: уже не более тысячи шагов отделяло их от лагеря. И военачальники поспешили на валы поглядеть на прибытие князя: все три региментария и с ними пан Пшиемский, коронный хорунжий, староста красноставский, пан Корф и прочие офицеры, как из польских хоругвей, так и из полков иноземного строя. Они разделяли всеобщее ликование, а более всех радовался Ланцкоронский, региментарий: будучи скорее рубакой, нежели полководцем, и воинскую славу ценящий всего превыше, он протянул булаву в ту сторону, откуда приближался Иеремия, и промолвил так громко, что всеми был услышан:

– Вот истинный наш вождь, и я первый передаю ему свою благодарность и свою власть.

Княжеские полки начали входить в лагерь. Всего было их три тысячи человек, но стояли они ста тысяч: то шли победители сражений под Погребищем, Немировом, Староконстантиновом и Махновкой. Знакомые и друзья бросились их приветствовать. За полками легкой кавалерии следовала артиллерия Вурцеля. Солдаты с трудом вкатили четыре ломовые пищади, две мощные восьмиствольные пушки и шесть захваченных у неприятеля органов. Князь, отправлявший полки из Старого Збаража, подошел лишь под вечер, после захода солнца. Все сбежались его встречать – живой души в городе не осталось. Солдаты с горящими каганцами, головешками, факелами и лучинами обступили княжеского скакуна, загораживая ему путь, а то и под уздцы хватая, – каждому хотелось вблизи поглядеть на героя. Одежды его целовали и самого едва не стащили с седла, чтобы дальше нести на руках. В порыве одушевления не только воины из польских хоругвей, но и чужеземцы-наемники объявляли, что три месяца будут нести службу бесплатно. Толчея вокруг сделалась такая, что князь ни шагу не мог ступить – так и сидел на белом своем скакуне в окружении солдат, словно пастырь среди овец, а приветственные возгласы не смолкали.

Вечер настал тихий, ясный. На темном небе зажглись тысячи звезд, а вскоре появились и добрые предзнаменования. В ту самую минуту, когда Ланцкоронский приблизился к князю с булавой в руке, готовясь ему ее вручить, одна из звезд оторвалась от небесного свода и, оставляя за собой светозарный след, покатилась с грохотом в сторону Староконстантинова, откуда ожидался Хмельницкий, и погасла. «Это звезда Хмельницкого! – вскричали солдаты. – Чудо! Чудо? Явственное знамение!» «Vivat Иеремия-victor⁵⁴» – повторяли тысячи голосов. Тут вперед выступил каштелян каменецкий, сделав рукою знак, что желает говорить. Вокруг тотчас стало тихо, он же сказал:

– Король мне дал булаву, но в твои, победитель, более достойные руки я ее отдаю и первый твоим приказаниям готов подчиниться.

– И мы тоже! – повторили два других региментария.

Три булавы протянулись к князю, но он отдернул руку и ответил:

– Не я вам булавы вручал и забирать их у вас не стану.

– Да будет тогда твоя булава над тремя четвертой! – воскликнул Фирлей.

– Vivat Вишневецкий! Vivant региментарии! – вскричали рыцари. – Вместе пойдем на жизнь и на смерть!

В эту минуту княжеский жеребец, задравши хвост, тряхнул выкрашенной в пурпурный цвет гривой и заржал звонко, и все лошади, что были в лагере, ответили ему в один голос.

И это также сочтено было предзнаменованием победы. У солдат засверкали глаза. Ратных подвигов возжелали сердца, огонь пробежал по жилам. Даже военачальникам передалось общее воодушевление. Подчасный плакал и молился, а каштелян каменецкий и староста красноставский первые забряцали саблями, вторя солдатам, которые, взбегая на валы и простирая во мрак руки, кричали, обращаясь в ту сторону, откуда ожидался неприятель:

⁵⁴ победитель (лат.).

– Сюда, собачьи сыны! Мы готовы!

В ту ночь в лагере никто не сомкнул очей, до утра не смолкали крики и как светляки роились во тьме огни факелов и каганцов.

На рассвете вернулся ходивший с разездом к Чолганскому Камню коронный писарь Сераковский с известием, что неприятель уже в пяти милях от лагеря. Отряд Сераковского выдержал неравный бой с ордынцами: в схватке погибли оба Маньковских, Олексич и еще несколько достойных рыцарей. Захваченные языки утверждали, что следом за передовым отрядом идут хан и Хмельницкий со всеми своими силами. День прошел в ожидании и приготовлениях к обороне. Князь, без долгих колебаний принявший верховное командование, отдавал последние распоряженья, каждому определяя, где стоять, как защищаться, чем поддерживать друг друга. В лагере сразу воцарился совсем иной дух, дисциплина окрепла; следа не осталось от бывшего смятения, растерянности, противоречивых указаний – везде царили лад и порядок. К полудню все расположились на своих позициях. Дозорные, во множестве выставленные перед лагерем, ежеминутно докладывали, что происходит в окрестностях. Челядь была послана в близлежащие селения за провизией и фуражом – подбирали все, что где ни оставалось. Солдат на валу балагурил и пел, а ночью дремал у костра при оружии, в полной готовности, как если бы штурм должен был вот-вот начаться.

И в самом деле: с рассветом что-то зачернелось в стороне Вишневец. В городе забил набат, и в лагере жалобные протяжные голоса труб возвестили войску тревогу. Пехота поднялась на валы, в разрывах валов выстроилась конница, готовая по первому знаку броситься на врага, дымки от зажженных фитилей закурились вдоль всей линии укреплений.

В эту самую минуту показался князь на белом своем скакуне. Был он в серебряных доспехах, но без шлема. Даже тень тревоги не омрачала его чела; напротив, глаза и лик лучились веселостью.

– Вот и гости к нам пожаловали! – повторял он, проезжая вдоль валов.

– Гостей встречать будем!

В наставшей тишине слышен был шелест знамен, от легких порывов ветерка то вздувающихся, то обволакивающих древки. Между тем неприятель приблизился настолько, что его можно было разглядеть невооруженным глазом.

Это была первая волна – еще не сам Хмельницкий с ханом, а рекогносцировочный отряд, составленный из тридцати тысяч отборных, вооруженных луками, самопалами и саблями ордынцев. Захватив полторы тысячи челядинцев, посланных за провиантом, они двинулись от Вишневец сплошной лентой, а потом, вытянувшись в длинный полумесяц, повернули к Старому Збаражу.

Князь меж тем, убедившись, что это всего лишь передовой отряд, дал приказ кавалерии выйти из окопов. Прозвучали слова команды, полки пришли в движение и вылетели из-за валов, словно пчелиный рой из улья. Равнина заполнилась людьми и лошадьми. Издали видно было, как ротмистры с буздыганами в руках объезжают свои хоругви, готовя солдат к бою. Лошади весело пофыркивали, а порой в шеренгах слышалось ржанье. Потом от общего строя отделились две хоругви – княжьи татары и казаки – и понеслись мелкой рысью навстречу ордынцам: луки подпрыгивали за спинами, шишаки сверкали на солнце. В молчанье летели вперед всадники, предводительствуемые рыжеволосым Вершуллом, конь под которым кидался из стороны в сторону как шальной, поминутно вставая на дыбы, грызя удила, словно желая, освободившись от них, поскорей ринуться в гущу боя.

Голубизну небес ни единое облачко не пятнало, день занялся прозрачен и светел – всадников было видно как на ладони.

И тут со стороны Старого Збаража показался княжий обоз, который не успел войти в город вместе с войском и теперь гнал во весь дух из опасения, как бы ордынцы с маху его не перехватили. И в самом деле он был замечен, и длинный полумесяц к нему помчался. Крики «алла!» достигли слуха даже стоящей на валах пехоты. Хоругви Вершулла стремглав полетели на выручку обозу.

Но полумесяц доскакал до него раньше и в мгновение ока опоясал черною лентой; одновременно несколько тысяч ордынцев с нечеловеческим воем повернули навстречу Вершулле, норовя охватить кольцом и его хоругви. Тут только видно стало, сколь опытен

Вершулл и исправны его солдаты. Заметив, что татары заходят слева и справа, конники разделились на три части и кинулись в стороны, затем отряд раскололся на четверо, а потом еще надвое – и всякий раз неприятель вынужден был разворачиваться всем фронтом, поскольку впереди никого не оказывалось, а на флангах уже стало горячо. Лишь на четвертый раз столкнулись лицом к лицу обе силы, но Вершулл, нащупав самое слабое место, обрушил туда главный удар и, разорвав цепь, сразу выскочил неприятелю в тыл. Однако не задержался там и как ураган понесся к обозу, нимало не заботясь, что ордынцы не замедлят кинуться вдогонку.

Старые служивые, наблюдавшие с валов за этим маневром, не выпуская из рук оружия, колотили себя по ляжкам и кричали:

– Только княжеские ротмистры так в бой ведут, разрази их гром!

Меж тем конники Вершулла, врезавшись острым клином в опоясавшее обоз кольцо, пробили его, как стрела грудь воина пробивает, и в мгновение ока оказались у татар за спиной. Теперь вместо двух схваток закипела одна – зато с удвоенным ожесточением. Великолепное то было зрелище! Посреди равнины обоз, словно передвижная крепость, изрыгал огонь и выбрасывал длинные полосы дыма, а вокруг яростно бурлило черное клубище, как гигантский водоворот, по краям которого носились лошади без седоков, а изнутри слышался только шум, рев, грохот самопалов. Одни стоят стеной, другие стремятся перескочить эту стену... Точно загнанный кабан, что, ощерив белые клыки, отбивается от остервенелой собачьей своры, защищался настигнутый тучей татар обоз, движимый отчаяньем и надеждой, что из лагеря придет более ощутимая, чем Вершуллово, подмога.

И верно, вскоре на равнине замелькали красные мундиры драгун Кушеля и Володы,вского – казалось, ветер понес по полю алые лепестки маков. Доскакав, словно в черную лесную чащобу, кинулись драгуны в гущу татарской рати и мгновенно исчезли из виду, только сильнее взбурлил водоворот. Дивилось воинство на валах, почему князь не шлет сразу достаточно людей на выручку окруженным, но он медлил намеренно, чтобы солдаты могли воочию убедиться, какое он к ним привел подкрепление, – так Иеремия рассчитывал поднять дух войска и к еще большим испытаниям подготовить.

Но тем временем реже стала стрельба обозников – должно быть, они уже не успевали заряжать мушкеты или раскалились стволы; зато татары вопили все громче, и князь наконец дал знак: три гусарских хоругви, одна – его собственная – под командой Скшетуского, вторая – старосты красноставского и третья, королевская, во главе с Пигловским, выйдя из лагеря, ринулись в бой. Точно обухом ударив, они разорвали вражеское кольцо, смяли басурман, рассеяли по равнине, оттеснили к лесу и, нанеся новый удар, отогнали от лагеря на четверть мили; обоз же, приветствуемый радостными возгласами, под гул орудий благополучно достиг окопов.

Однако татары, помня, что за спиной Хмельницкий с ханом, ненадолго скрылись из глаз; вскоре они вернулись и с криками «алла!» поскакали в объезд лагеря, занимая дороги, тракты и окрестные села, над которыми сразу потянулись к небу столбы черного дыма. Множество наездников приблизились к окопам, но навстречу им тот же час, порознь и небольшими группами, бросились солдаты княжеского и квартового войска, большей частью из татарских, валашских и драгунских хоругвей.

Вершулл не мог участвовать в новых стычках: получив при защите обоза шесть сабельных ранений в голову, он лежал полумертвый в шатре; Володы,вский же, хоть и был будто рак весь от крови красен, не удовлетворился сделанным и первый кинулся врагу навстречу. Схватки продолжались до вечера; пехотинцы со своих позиций и рыцари из главных хоругвей не уставали этим зрелищем любоваться. Опережая один другого, воины сшибались с татарами группами или поодиночке, стараясь кого только можно брать живыми. Пан Михал, схватив и отведя в лагерь очередного пленника, тотчас возвращался в гущу боя, красный его мундир мелькал то в одном, то в другом конце бранного поля. Скшетуский, точно на диковину, издали указал на него Ланцкоронскому: с каким бы из басурман ни схватился маленький рыцарь, тот падал, будто громом сраженный. Заглоба, хоть пан Михал и не мог его услышать, с вала подбадривал приятеля криками, время от времени обращаясь к толпившимся вокруг солдатам:

– Глядите! Это я его учил рубиться. Хорошо! А ну-ка, еще разочек! Ей-богу, скоро со мной сравняется!

Между тем солнце закатилось, и наездники стали постепенно покидать поле, лишь бездыханные тела да конские трупы на нем остались. В городе зазвонили к вечерне.

Время шло к ночи, но темней не стало – вокруг стояли зарева пожарищ. Горели Залощицы, Бажинцы, Люблянки, Стрыювка, Кретовицы, Зарудье, Вахлювка

– вся околица, сколько видел глаз, пылала как факел. Дымы в ночи стали красны, звезды сверкали с порозовевшего неба. Тучи птиц с душераздирающим криком взлетали из лесной чащи, из зарослей кустарника и с прудов и, словно летающие языки пламени, кружили в воздухе, озаренном огненным светом. Напуганная непривычным зрелищем, подняла жалобный рев скотина в обозе.

– Быть не может, – говорили промеж собой старые солдаты в окопах, – чтобы один татарский отряд столько развел пожаров; знать, сам Хмельницкий с казаками и со всею ордой подходит.

Домыслы эти были недалеки от правды: накануне еще Сераковский привез известие, что гетман запорожский и хан идут по пятам за передовым отрядом,

– стало быть, вскоре можно их ожидать. Солдаты все до единого вышли на валы, народ усыпал крыши и колокольни. Все сердца тревожно бились. Женщины в костелах, рыдая, простирали руки к святым дарам. Ничего нет хуже ожидания: непомерной тяжестью навалилось оно на лагерь, замок и город.

Однако ждать пришлось недолго. Ночь еще не спустилась на землю, когда на горизонте показалась первая шеренга казаков и татар, за нею вторая, третья, десятая, а там уже счет пошел на сотни и тыщи. Можно было подумать: все деревья в лесу, все кусты, оторвавшись вдруг от своих корней, двинулись на Збараж. Тщетно людское око искало конца этой лаве: куда ни глянь, везде чернели скопища людей и лошадей, порой исчезая в дыму далеких пожарищ. Они надвигались, как грозовая туча, как стая саранчи, что страшной шевелящейся коркой покрывает сплошь все видимое пространство. Их опережал грозный рокот голосов, подобный шуму урагана, бушующего в бору между верхушек старых сосен. Наконец, в четверти мили от города, неприятель остановился и стал разжигать костры, готовясь к ночлегу.

– Видал, сколько огней? – перешептывались солдаты. – Эвон, как растянулись – на коне враз не обскачешь.

– Иисусе, Мария! – говорил Скшетускому Заглоба. – Поверь, сердце у меня львиное и страха в душе нету, но дорого бы я дал, чтобы все они нынче же в тартарары провалились. Как бог свят, больно их много! Верно, и в долине Иосафата не больше было столпотворение. Скажи на милость, что этим лиходеям нужно? Не лучше ль бы по домам сидели, собачьи дети, да барщину отрабатывали мирно? Чем мы виновны, что господь нас шляхтою сотворил, а их холопами и повелел нам повиноваться? Тьфу! Зло берет! Сколь я ни кроток, но лучше меня не доводить до исступленья. Слишком много у них было вольностей, хлеба слишком много, вот и расплодились, как мыши на гумне, а теперь противу котов восстали. Погодите уж! Есть здесь один кот, что зовется князем Яремой, и другой – Заглоба! Как считаешь, пойдут они на переговоры? Ну что бы им изъяснить покорность – тогда б еще можно всех отпустить живыми, а?.. Как полагаешь? Меня другое тревожит: довольно ли в лагере съестных припасов? Ах, черт! Гляньте-ка, судари: вон за теми огнями еще огни, и дальше тоже! Ну и congressus!⁵⁵ Чтоб их всех взяла холера!

– О каких ты переговорах, сударь, толкуешь? – отвечал Скшетуский. – Они же не сомневаются, что мы у них в руках и что завтра конец всем нам!

– А по-твоему не конец? – спросил Заглоба.

– На все божья воля. Одно могу сказать: поскольку здесь князь, легко они нас не одолеют.

– Ну, спасибо, утешил! Легко, не легко – это мне плевать; как бы совсем сей чаши избегнуть!

– А для воина немалая честь задорого жизнь отдать.

– Оно, конечно, верно... Черт бы все побрал вместе с вашей честью!

В эту минуту к ним подошли Подбипятка и Володы,вский.

⁵⁵ встреча (лат.).

– Говорят, ордынцев и казаков с полмиллиона будет, – сказал литвин.

– Чтоб у тебя язык отсох! – вскричал Заглоба. – Добрая новость!

– При штурмах можно больше голов снести, чем на поле, – мечтательно ответил пан Лонгинус.

– Уж если князь наш с Хмельницким наконец сошелся, – сказал пан Михал, – ни о каких переговорах не может быть и речи. Либо пан, либо пропал! Завтра судный день! – добавил он, потирая руки.

Маленький рыцарь был прав. В этой войне, столь долго уже тянувшейся, двум самым грозным львам ни разу еще не довелось столкнуться лицом к лицу. Один громил гетманов и региментариев, другой – грозных казачьих атаманов, тому и другому судьба посылала победы, тот и другой наводили на врага ужас, и вот теперь непосредственная встреча должна была показать, чья возьмет. Вишневецкий смотрел с вала на несметные полчища татар и казаков, тщетно стараясь охватить их взором. А Хмельницкий с поля глядел на замок и лагерь, думая в душе: «Там мой напуганнейший враг; кто мне противостоять сможет, когда я его одолею?»

Нетрудно было предугадать, что борьба между двумя этими полководцами будет долгой и ожесточенной, но исход ее не оставлял сомнений. Владелец Лубен и Вишневецка имел под своей командой пятнадцать тысяч войска, включая и обозную челядь, меж тем как за мужицким вождем поднялся люд, населявший земли от Азовского моря и Дона до самого устья Дуная. И еще шел с ним хан с крымской, белгородской, ногайской и добруджской ордами; шли поселяне из поречий Днестра и Днепра; шли запорожцы и чернь без счету – из степей, разлогов, лесов, с хуторов, из городов, сел и местечек, и те, что прежде служили в придворных или коронных хоругвях; шли черкесы, валашские каралаши, силистрийские и румелийские турки; даже вольные ватаги болгар и сербов. Подумать можно было: настало новое переселение народов, бросивших свои унылые степные обиталища и потянувшихся на запад, дабы захватить новые земли, новые основать государства.

Таково было соотношение враждующих сил... Горстка против тьмы, остров посреди бурного моря! Диво ли, что не в одно сердце закралась тревога, что не только в городе, не только в этом уголке страны – со всех концов Речи Посполитой на одинокую эту твердыню, окруженную тучами диких воинов, взирали как на усыпальницу славных рыцарей и их великого вождя.

Так же, верно, думалось и Хмельницкому, потому что, не успели в его стане разгореться костры, казак, посланец гетмана, стал размахивать перед окопами белым знаменем, трубя и крича, чтобы не стреляли.

Караульные вышли и немедля его схватили.

– От гетмана, – сказал он им, – к князю Яреме.

Князь еще не сошел с коня и стоял на валу. Лик его был безмятежен, как небо. Огни пожаров отражались в очах, розовые отблески упали на белые ланиты. Казак, представ перед Вишневецким, лишился речи, поджилки у него затряслись, мурашки побежали по телу, хотя то был старый степной волк и пришел как посол.

– Ты кто? – спросил князь-воевода, уставив на него спокойный свой взор.

– Я сотник Сокол... От гетмана.

– А с чем приходишь?

Сотник принялся бить поклоны, чуть не задевая челом княжьих стремян.

– Прости, владыка! Что мне велено, то и скажу, моей тут вины нету.

– Говори смело.

– Гетман велел сказать, что гостем в Збараж прибыл и завтра посетит твою светлость в замке.

– Передай ему, что не завтра я пир в замке даю, а нынче! – был ответ князя.

И вправду, часом позже загремели мортиры, веселые крики огласили воздух и в окнах замка запылали тысячи свечей.

Сам хан, услышав салютную пальбу, гром литавр и пенье труб, изволил выйти из шатра в сопровождении брата своего Нурадина, султана Калги, Тугай-бея и множества мурз, а затем послал за Хмельницким.

Гетман, хоть и был уже навеселе, явился немедля и, низко кланяясь, к челу, подбородку и

грудь попеременно прикладывая пальцы, ждал, покуда его спросят.

Хан долго глядел на замок, сверкавший вдаль, как огромный фонарь, и слегка покачивал головою; наконец, пригладив жидкую свою бороду, двумя долгими космами ниспадавшую на кунью шубу, молвил, указывая пальцем на светящиеся окна:

– Гетман запорожский, что там?

– Князь Ярема пирует, о могущественнейший из царей! – ответил Хмельницкий.

Изумился хан.

– Пирует?..

– Завтрашние покойники гуляют, – сказал Хмельницкий.

Вдруг в замке вновь грянули выстрелы, затрубили трубы и разноголосые восклицанья достигли ушей достославного хана.

– Нет бога, кроме бога, – пробормотал он. – Лев в сердце сего гяура.

И, помолчав, добавил:

– Я б лучше с ним, нежели с тобой, хотел быть.

Хмельницкий вздрогнул. Дорогой ценой оплачивал он татарскую дружбу, обойтись без которой не мог, и при этом ни минуты не был уверен в страшном своем союзнике. Приди хану в голову какая блажь – и орды против казачества оборотятся, а это означало неминуемую всем им гибель. И другое Хмельницкому было известно: хан хоть и помогал ему ради добычи, ради даров и несчастных ясырей, но, почитая себя законным правителем, в душе стыдился, что поддерживает мятеж, поднятый против короля, что выступает на стороне какого-то «Хмеля» против самого Вишневецкого.

Казацкий гетман частенько теперь напивался пьян не по давнему своему пристрастию, а с отчаянья...

– Великий государь! – сказал он. – Ярема враг твой. Это он отнял у татар Заднепровье, он мурз, точно волков, всем на устрашение на деревьях вешал, он на Крым с огнем и мечом идти замыслил...

– А вы разве не разоряли улусы? – спросил хан.

– Я раб твой.

Синие губы Тугай-бея задрожали, и клыки засверкали: был у него меж казаков заклятый враг, который некогда его чамбул наголову разбил и самого не скрутил чудом. Имя этого врага теперь вертелось у него на языке; движимый неудержной силой воспоминаний и жаждой мести, он не сумел себя превозмочь и проворчал тихо:

– Бурляй! Бурляй!

– Тугай-бей! – тотчас отозвался Хмельницкий. – Вы с Бурляем по мудрому приказанию светлейшего хана прошлый год воду на мечи лили.

Новый залп из замковых орудий прервал дальнейшую беседу.

Хан, вытянув руку, описал в воздухе круг, обхватывающий город, замок и окопы.

– Завтра это мое будет? – спросил он, обращаясь к Хмельницкому.

– Завтра они умрут, – ответил Хмельницкий, не сводя глаз с замка.

И снова принялся бить поклоны и руку то к челу, то к подбородку, то к груди прикладывать, посчитав, что разговор окончен. Да и хан, запахнувши кунью шубу, поскольку ночь, хоть и стоял июль, была холодная, молвил, повернувшись к шатрам:

– Поздно уже!..

Тотчас все, словно приведенные в движение, одною силой стали кланяться, а он неспешно и степенно прошествовал к шатру, повторяя вполголоса:

– Нет бога, кроме бога!..

Хмельницкий тоже пошел к своим, бормоча дорогою:

– Все тебе отдам: замок, и город, и пленников, и добычу, но Ярема мой, а не твой будет, хоть бы мне и животом своим пришлось поплатиться.

Мало-помалу костры стали меркнуть и гаснуть и шум сотен тысяч голосов затих; кое-где лишь еще посвистывали сопелки да покрикивали татарские конепасы, выгонявшие лошадей в ночное, но вскоре и эти звуки смолкли и сон объял несметные полчища татар и казаков.

Только замок гудел, гремел, салютовал, словно в нем играли свадьбу.

В лагере все ожидали, что назавтра быть штурму. И вправду, с утра зашевелились

сонмища черни, казаков, татар и иных диких воинов, следовавших за Хмельницким, и, как черные тучи, наползающие на вершину горы, двинулись к окопам. Солдаты, хотя уже накануне безуспешно пытались сосчитать огни костров, оцепенели, завидя накатывающееся море людское. Но это был еще не самый штурм, а скорее осмотр поля, шанцев, рвов, валов и всего польского стана. И, точно горбатая океанская волна, гонимая ветром из дальней дали, что, раскатившись, нахлынет, вздыбится и, запенившись, ударит с ревом о берег, а потом вновь отпрянет, так и рать эта, ударив то тут, то там, откатывалась и снова наносила удар, словно испытывая, каков будет отпор, словно желая убедиться, что одним только видом своим и числом может сломить дух неприятеля, прежде чем растопчет тело.

Тотчас же заговорили орудия – ядра часто посыпались на лагерь, откуда вражеским пушкам ответили из мортир и ручного оружия; одновременно на валы вступила процессия со святыми дарами, чтобы поднять слабеющий дух войска. Впереди ксендз Муховецкий нес золотой ковчежец, держа его в обеих руках пред собою, а порой подымая вверх, – он шел под балдахином в парчовой ризе, полузакрыв глаза, и аскетическое его лицо было спокойно. Рядом, поддерживая Муховецкого под руки, шли два другие ксендза: Яскульский, гусарский капеллан, в прошлом преславный воин, в ратной науке сведущий не меньше любого военачальника, и Жабковский, тоже немало на своем веку повоевавший, бернардинец исполинского роста, силой не уступавший никому в лагере, кроме пана Лонгина. Балдахин несли четверо шляхтичей, среди которых был и Заглоба, а перед ними девочки с нежными личиками разбрасывали цветы; замыкали шествие войсковые старшины. Процессия прошла по валам из конца в конец; у солдат при виде светозарной, словно солнце, дароносицы, при виде спокойствия ксендзов и одетых в белое девчушек мужали сердца, крепла отвага и души наполнились боевым задором. Ветер разносил бодрящий аромат курящейся в кадьницах мирры; все головы смиренно клонились долу. Муховецкий время от времени поднимал ковчег и, возведя очи к небу, запевал гимн: «Пред святыней со смиреньем».

Два зычных голоса – Яскульского и Жабковского – немедленно подхватывали: »...упадемте, братья, ниц», – и все войско продолжало: «Новым сменим откровеньем старых таинства страниц». Пению вторил густой бас орудий; порой пушечное ядро с гудением пролетало над балдахином и ксендзами, иной же раз, ударивши в наружный скат вала, осыпало их землей, отчего Заглоба втягивал голову в плечи и прижимался к шесту. Натерпелся он страху – особенно когда процессия останавливалась, чтобы прочесть молитву. Тогда воцарялось молчание и явственно слышался свист ядер, летящих стаей, как большие птицы. Заглоба только пуще багровел, а ксендз Яскульский, поглядывая на поле, бормотал, не в силах сдержаться:

– Наседок им щупать, а не из пушек стрелять!

Пушкари у казаков и вправду были никудышные, а ксендз, как бывалый солдат, не мог равнодушно взирать на такое неумение и пустую трату пороха. И снова процессия вперед подвигалась, пока не достигла благополучно конца валов, – впрочем, неприятель на валы особого натиска и не оказывал. Попытавшись посеять смятение в разных местах, а более всего в окопах возле западного пруда, татары и казаки в конце концов отступили на свои позиции и утомонились, даже одиночных конников высылать перестали. Процессия меж тем окончательно укрепила дух осажденных.

Теперь всякому стало ясно, что Хмельницкий ждет прибытия своего обоза; впрочем, он совершенно уверен был, что первый же настоящий штурм будет увенчан успехом, и потому приказал соорудить лишь несколько редутов для пушек, а больше никаких осадных земляных работ и не начинал. Обоз подошел на следующий день и выстроился в несколько десятков рядов, телега к телеге, растянувшись на милю, от Верняков до самой Дембины; с обозом пришли новые силы: отменная запорожская пехота, не уступавшая турецким янычарам, куда более подготовленная к штурмам и атакам, нежели чернь и татары.

Памятный вторник 13 июля прошел в обоюдных лихорадочных приготовлениях; уже не оставалось сомнений, что штурм неминуем: с утра трубы, барабаны и литавры в казацком стане играли *lagum*, а у татар гремел оглушительно огромный священный бубен, называемый балтом... Вечер настал тихий, погожий, лишь с обоих прудов и Гнезны поднялся легкий туман. Наконец на небе сверкнула первая звезда.

В ту же минуту шестьдесят казацких пушек взревели в голос и несметные полчища с

леденящим душу криком устремились к валам – то было начало штурма.

Войска стояли на валах. Солдатам казалось: земля дрожит под ногами. Самые старые воины не помнили такого.

– Господи Иисусе! Что это? – вопрошал Заглоба, стоя подле Скшетуского среди гусар в проеме между валами. – Будто и не люди на нас валят.

– Ты, сударь, как в воду глядишь: враг перед собой волов гонит, чтоб мы на них сперва картечь расстреляли.

Старый шляхтич покраснел, как бурак, глаза его выпучились, а с уст сорвалось одно-единственное слово, в которое он вместил всю ярость, страх и прочие чувства, что всколыхнулись в нем в ту секунду:

– Мерзавцы!..

Волы, которых дикие полуголые чабаны подгоняли горящими факелами и батогами, обезумев от страха, опрометью неслись вперед с ужасающим ревом, то сбиваясь в кучу и ускоряя бег, то рассыпаясь, а то и поворачивая обратно, но погонщики понукали их криком, жгли огнем, хлестали сыромятными бичами, и они снова устремлялись к валам. Тогда вступили пушки Вурцеля, извергнув огонь и железо. Весь свет заволокся дымом, небо побагровело, испуганная животина рассеялась, словно от удара молнии, половина попадала на землю, но по трупам ее неприятель шел дальше.

Впереди гнали пленников, тащивших мешки с песком для засыпки рвов; их кололи пиками в спину, обжигали огнем из самопалов. То были крестьяне из окрестностей Збаража, не успевшие укрыться от нашествия в городских стенах, – не только молодые мужики, но и женщины, и старцы. Они бежали кучею с криком, с плачем, воздевая к небесам руки, моля о сострадании. Волосы дыбом подымались от этого воя, но не было тогда сострадания в мире: сзади в спины несчастным вонзались казацкие пики, спереди обрушивались снаряды Вурцеля, картечь рвала тела в клочья, десятками валила наземь, а они бежали, обливаясь кровью, падали, подымались и бежали дальше: возврата не было, позади катилась лавина казаков, за казаками – татары, турки...

Ров стал быстро наполняться телами, кровью, мешками с песком, а когда наполнился до краев, неприятель с воем бросился через него к окопам.

Лавина не иссякала. При вспышках орудийных залпов видно было, как старшины буздыганами гонят на штурм все новые полки. Самые отборные были брошены на позиции войск Иеремии: Хмельницкий знал, что там встретит наибольшее сопротивление. Туда устремились запорожские курени и страшные переяславцы во главе с Лободой, следом Воронченко вел черкасский полк, Кулак – карвовский, Нечай – брацлавский, Стемпка – уманский, Мрозовицкий – корсунский; за ними шли кальничане и сильный белоцерковский полк численностью в пятнадцать тысяч, а с белоцерковцами сам Хмельницкий, красный как сатана в отблесках огня, смело подставляющий широкую грудь пулям, с лицом льва и взором орла, – в хаосе, дыму, смятенье, в крови и пламени, все подмечающий, управляющий всем и всеми.

Следом летели дикие донские казаки; за ними черкесы, в бою пускающие в ход ножи; рядом Тугай-бей вел отборных ногайцев, далее Субагази – белгородских татар, а подле него Курдлук – смуглолицых астраханцев, вооруженных гигантскими луками и стрелами, из которых каждая могла сойти за дротик. Шли друг за другом, почти вплотную: жаркое дыхание задних обжигало передним затылки.

Сколько их пало, прежде чем они достигли наконец рва, заваленного телами пленных, – кто воспет, кто расскажет! Но дошли и перешли ров и начали на валы взбираться. Ночи Страшного суда была подобна та звездная ночь. Ядра не доставали тех, кто подошел совсем близко, но продолжали кромсать дальние шеренги. Гранаты, рисуя в воздухе огненные полукружья, летели с адским хохотом, рассеивая тьму, ночь превращая в белый день. Немецкая и лановая польская пехота вместе со спешившимися князьими драгунами чуть не в упор поливала казаков огнем, осыпала свинцовым градом.

Первые их ряды попробовали было отступить, но, подпираемые сзади, не смогли – и умирали на месте. Кровь хлюпала под ногами атакующих. Валы осклизли, по ним катились обезглавленные тела, руки, ноги. Казаки карабкались вверх, падали и лезли дальше, черные от

копоти, окутанные дымом; их секли и рубили, но ничто им были смерть и раны. Кое-где уже пошло в ход холодное оружие. Люди будто ошалели от ярости: зубы ощерены, лица залиты кровью... Один на другом лежали раненые и умирающие, и живые дрались на шевелящихся этих горах. Никто уже не слышал команд, все звуки слились в один ужасный вопль, заглушавший и ружейную пальбу, и хрип раненых, и шипенье гранат, и стоны.

Уже много часов длился страшный, беспощадный бой. Вдоль крепостного вала вырос второй вал – из тел павших, сдерживающий натиск вражеских полчищ. Запорожцы чуть не все были порублены, переяславцы вповалку лежали у подошвы вала, карвовский, брацлавский, уманский полки наголову разбиты, но другие еще напирали, подталкиваемые сзади гетманской гвардией, полками урумбейских татар и румелийских турок. Однако смятение уже коснулось рядов атакующих, а лановая польская пехота, немцы и драгуны пока не уступили ни пяди. Задыхаясь, обливаясь кровью и потом, охмелев от запаха крови, охваченные безумством боя, они, отесняя один другого, рвались к неприятелю, как рвутся к овечьей отаре разъяренные волки. И тогда Хмельницкий, собрав остатки разбитых отрядов, вместе со свежими силами – полком белоцерковских казаков, с татарами, черкесами и турками – во второй раз бросился на осажденных.

Перестали греметь на валах пушки, и гранаты не озаряли больше темноты, только сабли лязгали у всего подножья западного вала да крики сотрясали воздух. Потом смолкли и ружейные залпы. Мрак поглотил участников рукопашной схватки.

Самый зоркий глаз не мог уже рассмотреть, что там происходит, – что-то ворочалось во тьме, будто исполинское чудовище в конвульсиях извивалось. Даже по возгласам нельзя было распознать, торжество в них звучит или отчаянье. Порой и крики стихали – тогда только один страшный стон можно было услышать; со всех сторон он шел: из-под земли, над землей катился, повисал в воздухе, возносился к небесам, словно и души стонали, отлетая с бранного поля.

Но кратки были такие перерывы; после недолгой тишины вой и вопли возобновлялись с удвоенной силой и делались все более хриплыми, все менее похожими на людские.

Вдруг снова грянули ружья: это оберштер Махницкий с остатками пехоты подходил на помощь изнуренным полкам. В задних рядах казаков протрубили отбой.

Настала передышка; казацкие полки на версту отступили от окопов и остановились под прикрытием своих орудий. Но не прошло и получаса, как Хмельницкий поднял и в третий раз погнал на штурм свое войско.

И тогда на валу показался верхом на коне сам князь Иеремия. Узнать князя было нетрудно: прапорец и гетманский бунчук развевались над его головою, а впереди и позади несли с полсотни горящих кровавым пламенем факелов. Тотчас по нему подняли пальбу казацкие пушки, но неумелые пушкари далеко, за Гнезну, отправляли ядра, князь же стоял спокойно и смотрел на близящуюся тучу...

Казаки замедлили шаг, словно зачарованные этой картиной.

– Ярема! Ярема! – будто шум ветра, пронеслось по рядам негромкое бормотанье.

Стоящий на валу среди кровавых огней грозный князь казался сказочным исполином – и дрожь пробежала по усталым членам, а руки поднялись, творя крестное знамение. Он же стоял недвижно.

Но вот он махнул золотой булавой – и мгновенно спустя злобная стая гранат, шумом наполнив воздух, обрушилась на вражеские шеренги; колонна извилась, как смертельно раненный змей, вопль ужаса полетел с одного конца лавины к другому.

– Вперед! Бегом! – послышались голоса казацких полковников.

Черная лавина стремглав понеслась к валам, чтобы схорониться от гранат под их защитой, но не успела преодолеть и половины пути, когда князь, по-прежнему видный как на ладони, полуобернувшись к западу, вновь махнул золотой булавою.

По этому знаку со стороны пруда, из просвета между зеркальной его гладью и валом, выступила конница и в мгновение ока рассыпалась по прибрежному краю равнины; при свете гранат ясно видны были многолюдные гусарские хоругви Скшетуского и Зацвилюховского, драгуны Кушеля и Володы, вского и князьки татары под командой Розтворовского. За ними показались новые полки: казаки и валахи Быховца. Не только Хмельницкий – последний

обозник в минуту понял, что дерзкий военачальник решил бросить всю кавалерию неприятелю во фланги.

Немедля в казацких рядах трубы проиграли отбой.

– Грудью к коннице! Поворачивай! – раздались испуганные голоса.

Хмельницкий меж тем пытался переменить фронт своих войск и конницей от конницы прикрыться. Но времени на это уже не оставалось. Прежде чем он успел выровнять строй, княжеские хоругви пустились вскачь и понеслись, как птицы, с криками «бей, убивай!» под шелест прапорцев, под железный скрежет брони и свист крыльев. Гусары с копьями наперевес врезались в стену неприятеля, словно ураган, все на своем пути круша и сминая. Никакая человеческая сила, никакой вождь, ничей приказ не могли бы удержать на месте полки пехоты, которые первыми подверглись этому бешеному натиску. Ужасное смятение охватило отборную гетманскую гвардию. Белоцерковцы побросали самопалы, пищали, пики, косы, кистени, сабли и, закрывая головы руками, помчались, обезумев от страха, со звериным воем прямо на стоявшие позади татарские отряды. Но татары встретили их градом стрел – тогда они метнулись в сторону и теперь бежали вдоль табора под огнем пехоты и пушек Вурцеля, сплошь устилая землю телами, – редко где труп на труп не падал.

Тем часом дикий Тугай-бей, поддерживаемый Урум-мурзой и Субагази, яростно обрушился на гусар. Сломить их он не надеялся, но хотя б ненадолго хотел задержать, чтобы за это время силистрийские и румелийские янычары успели выстроиться четверугольником, а белоцерковцы оправиться после первого удара. И прыгнул, словно в омут, и сам впереди всех летел не как предводитель, а как простой татарин, и рубил, убивал, подвергая себя опасности наравне с другими. Кривые сабли ногайцев звенели по панцирям и латам; все прочие звуки заглушались диким ревом воинов. Худо пришлось басурманам. Страшной своею тяжестью на всем скаку обрушились на них железные всадники, которым они в открытом бою противостоять не привыкли, и стали теснить к янычарам, налево и направо разя длинными своими мечами, – и вышибали их из седел, секли, кололи, давили, как ядовитых гадюк; однако они защищались с таким ожесточением, что натиск гусар и впрямь был приостановлен. Тугай-бей носился по бранному полю словно всепожирающий пламень, а ногайцы следовали за ним неотступно, как волки за волчицей.

Но все труднее им становилось держаться, все больше валилось замертво наземь. Наконец крики «алла!» за их спиной возвестили, что янычары выстроились в боевом порядке. Но тут к разъяренному Тугай-бею подскочил Скшетуский и кончаром ударил по голове. Однако, видно, не совсем еще вернулись к рыцарю после болезни силы или крепка оказалась выкованная в Дамаске мисюрка, только лезвие поворотилось и удар пришелся плашмя, а кончар разлетелся на куски. Но глаза Тугай-бея тот же час заволоклись мглой, он осадил коня и повалился на руки ногайцев, которые, подхватив своего предводителя, с ужасающим воплем рассыпались в стороны, подобно развеянному внезапным порывом ветра туману. Вся княжеская конница теперь лицом к лицу столкнулась с румелийскими и силистрийскими янычарами и ватагами потурчившихся сербов, которые, соединившись с янычарами, образовали один гигантский четверугольник и медленно отступали к табору, оборотясь фронтом к врагу, ошетинясь дулами мушкетов, остриями длинных копий, дротиков, кончаров и боевых топоров.

Панцирные хоругви, драгуны и княжеские казаки понеслись на них как вихрь; впереди всех с лязгом и топотом летели гусары Скшетуского. Сам он скакал во весь опор в первой шеренге, а подле него на своей лифляндской кобыле – пан Лонгинус со страшным Сорвиглавцем в руке.

Красная огненная лента взметнулась надо всеми сторонами четверугольника, засвистали у конников в ушах пули, и вот уже где-то послышался стон, где-то упала лошадь, ровная линия сломалась, но гусары, не останавливаясь, мчатся дальше; они уже совсем близко, уже янычары слышат храп и сиплое дыхание лошадей, ряды смыкаются еще плотнее, и лес пик, сжимаемых жилистыми руками, обращается бешеным скакунам навстречу. Каждое острие, сколько их ни есть, грозит рыцарям смертельным ударом.

Вдруг какой-то гусар-исполин на всем скаку подлетает к одной из сторон четверугольника; взвиваются в воздух копыта огромного коня, мгновение – и рыцарь вместе с лошадью врезается в самую гущу, ломая копья, опрокидывая всадников, круша, давя, повергая

во прах.

Как орел падает камнем на стаю белых куропаток и рвет их, пугливо сбившихся кучкой, трепещущих перед хищником, когтями и клювом, так пан Лонгинус Подбипятка, вломившись в середину вражьего строя, неистовствовал со своим Сорвиглавцем. Никакому смерчу не сделать в густом молодняке таких опустошений, какие произвел в рядах янычар этот рыцарь. Страшен он был: фигура выросла до нечеловечьих размеров, кобыла обернулась огнедышащим драконом, а Сорвиглавец в руке троился. Кизляр Бак, гигатского росту ага, бросился на него и пал, надвое рассеченный. Напрасно самые дюжие вытягивают руки, заслоняются копьями – всяк тотчас валится, точно сраженный громом, он же топчет их тела, кидается в самую гущу, и от каждого взмаха его меча, как колосья под серпом, падают люди; пусто делается вокруг, вопли ужаса слышатся отовсюду, стоны, гром ударов, скрежет железа о черепа, храп сатанинской кобылы.

– Див! Див! – несутся со всех сторон испуганные голоса.

В эту минуту железная лавина гусар по знаку Скшетуского хлынула в брешь, пробитую литвином; бока четвероугольника треснули, как стены завалившегося дома, и толпы янычар бросились врассыпную.

Вовремя подоспели гусары: ногойцы Субагази, как алчущие крови волки, уже возвращались в битву, а с другой стороны на подмогу янычарам спешил, собрав остатки белоцерковцев, Хмельницкий. Все смешалось в кучу. Казаки, татары, потурченцы, янычары удирали в страшнейшем смятении и беспорядке к табору, не оказывая сопротивления. Кавалерия преследовала их, рубя налево и направо. Кто не пал от первого удара, того теперь настигала гибель. В пылу погони гусары обогнали задние ряды убегающих; руки у солдат немели от рубки. Беглецы бросали оружие, знамена, шапки, даже скидывали на скаку одежду. Белые янычарские чалмы точно снегом покрыли поле. Вся отборная гвардия Хмельницкого, пехота, конница, артиллерия, вспомогательные отряды татар и турок сбились в бесформенную толпу, потерявшуюся, обезумевшую, ослепшую от страха. Целые сотни от одного рыцаря бежали. Гусары сделали свое дело, погромив татар и пехоту, – теперь настал черед легкой кавалерии и драгун; ведомые Кушелем и Володы,вским, они соперничали друг с другом, а командиры их творили истые чудеса, превосходящие людское воображение. Кровь сплошным потоком залила страшное побоище и точно вода хлюпала под копытами, обдавая брызгами доспехи и лица.

Толпа беглецов смогла перевести дух лишь возле телег своего обоза, когда трубы проиграли отбой коннице князя.

Рыцарство возвращалось с песнями и радостными возгласами, по дороге дымящимися еще саблями пересчитывая неприятельские трупы. Но кто мог с одного взгляда оценить понесенный врагом урон? Кто мог сосчитать всех павших, когда подле самых окопов бездыханные тела лежали одно на одном горами «с доброго мужика ростом»? Солдаты точно угорели от крепкого запаха крови и пота. К счастью, со стороны прудов поднялся довольно сильный ветер и отнес удушливые запахи к вражеским палаткам.

Так закончилась первая встреча страшного Яремы с Хмельницким.

Но штурм еще не окончился: пока Вишневецкий отражал атаки на правом крыле, Бурляй едва не овладел укреплениями на левом. Неприметно обойдя город и замок, он со своими заднепровцами подошел к восточному пруду и нанес мощный удар по расположению войск Фирлея. Венгерская пехота, стоявшая там, не могла сдержат натиск, поскольку еще не были насыпаны валы возле пруда; первым бежал хорунжий со знаменем, а за ним и весь полк. Бурляй врезался в середину, следом неудержимым потоком хлынули заднепровцы. Победные возгласы донеслись до противоположного конца лагеря. Казаки, преследуя убегающих, разбили небольшой отряд кавалерии, захватили несколько орудий и уже подступали к позициям каштеляна бельского, когда подоспел с помощью пан Пшиемский с несколькими ротами немцев. Уложив одним ударом хорунжего, он подхватил знамя и помчался с ним навстречу врагу. Немцы набросились на казаков; завязался ожесточенный рукопашный бой; ярости Бурляевых воинов, имевших к тому же численное превосходство, противостояла отвага старых львов, ветеранов немецкой войны. Тщетно Бурляй, словно раненый вепрь, кидался в самую гущу сраженья. Сколь ни велики были презрение к смерти и стойкость, выдаваемые в бою

его молодцами, они не могли сдержать неукротимых немецких солдат, которые, надвинувшись сплошной стеной, с такою наперли силой, что сразу же оттеснили их назад, прижали к редутам, половину уложили на месте, а остальных после получасовой схватки отбросили за валы. Пан Пшиемский, залитый кровью, первый водрузил на недоконченной насыпи свое знамя.

Положение Бурляя сделалось ужасно: атаману предстояло отступать тем же путем, каким он пришел, а поскольку Иеремия к тому времени уже отбил атаку на правом фланге, ему не составляло труда окружить весь отряд казаков. Правда, на помощь Бурляю кинулся с корсунскими конниками Мрозовицкий, но в эту минуту на поле вышли гусары Конецпольского, к ним присоединился возвращающийся после разгрома янычар Скшетуский, и вместе они преградили дорогу заднепровцам, дотоле отступавшим в боевом порядке.

Одним ударом Бурляй был разбит наголову, и тут ужасная началась бойня. Единственный путь – к смерти – оставался казакам, ибо к табору путь был отрезан. Некоторые, не желая просить пощады, отчаянно защищались, объединяясь группами или поодиночке, другие тщетно простирали руки к всадникам, вихрем носившимся по бранному полю. Началась погоня, скачка наперегонки, одиночные схватки, поиски беглецов, прятавшихся в рытвинах и за бугорками. С валов стали кидать мазницы с зажженным дегтем; словно огневые метеоры с пламенеющей гривой, летели они, освещая поле битвы. При кровавых этих отблесках довершалась расправа над заднепровцами.

Субагази, в тот день творивший чудеса храбрости, бросился было им на помощь, но знаменитый Марек Собеский, староста красноставский, осадил его, как лев осаживает дикого буйвола, и увидел Бурляй, что неоткуда ему ждать избавленья. Эх, Бурляй, Бурляй, больше жизни дорога была тебе казацкая твоя слава, и потому не искал ты спасенья! Другие бежали под покровом темноты, во всякую щель забивались, проскальзывали меж копытами скакунов, он же еще искал, с кем схватиться. От его руки пали Домбек и Русецкий и пан Аксак, молодой львенок, тот самый, что стяжал под Староконстантиновом вечную славу; потом сразил атаман Савицкого, затем с маху поверг на землю двух крылатых гусар и наконец, завидя толстобрюхого шляхтича, с трубным рыком пересекающего поле битвы, с места в карьер, подобный сверкающему языку пламени, устремился к нему.

Заглоба – ибо то был он – от страха заревел еще пуще и, повернув коня, обратился в бегство. Последние волосы дыбом стали на его голове, но он не потерял присутствия духа, напротив, мозг его работал с лихорадочной быстротою, преразличнейшие измышляя фортели; при этом он вопил благим, матом: «Милостивые судари! Кто в бога верует!..» – и летел очертя голову туда, где побольше всадников скопилось. Бурляй меж тем, заехав сбоку и избрав кратчайший путь, устремился за ним. Заглоба зажмурился, а в уме его одно вертелось: «Подохну как шелудивый пес!» Он слышал за спиной фыркание скакуна, видел, что никто не спешит к нему на помощь, что от погони не уйти и ничья рука, кроме собственной, не вырвет его из Бурляевой пасти.

Но в последнюю эту минуту, можно сказать, на границе жизни и смерти, отчаяние его и ужас вдруг сменились яростью; взревев так устрашающе, как не зареветь и туру, и поворотив лошадь на месте, Заглоба бросился на казацкого атамана.

– Заглобу достать захотел! – крикнул он и взмахнул саблей.

В это мгновение новая стая горящих мазниц была сброшена с валов; сделалось светлее. Бурляй глянул и остолбенел.

Но не потому остолбенел, что услышал знакомое имя, – никогда прежде ему его не доводилось слышать, – он узнал мужа, которого, как Богунова приятеля, потчевал недавно в Ямполе.

Роковая минута изумления стояла отважному казацкому предводителю жизни; прежде чем он успел опомниться, Заглоба со страшною силой хватил его в висок и одним махом свалил на землю.

Свершилось это на глазах у всего воинства. Радостным крикам гусар отвечивал вопль ужаса, вырвавшийся у казаков; увидя гибель старого черноморского льва, заднепровцы вконец пали духом и потеряли охоту к сопротивлению. Кого не вырвал из вражьих когтей Субагази, тот пал – пленников в ту кошмарную ночь не брали вовсе.

Субагази, преследуемый легкой кавалерией старосты красноставского, улепетывал

обратно в лагерь. Штурм по всей линии укреплений был отражен – лишь возле казацкого табора еще неистовствовала конница, посланная беглецам вдогонку.

Возглас радости и ликования сотряс весь стан осажденных, и громopodobные выкрики понеслись к небесным вышинам. Окровавленные, мокрые от пота, черные от пороха воины, запорошенные пылью, с распухшими лицами и еще грозно сведенными бровями, с еще не угасшим огнем в очах, стояли, опершись на оружие, жадно хватая ртом воздух, готовые снова ринуться в бой по первому знаку. Но постепенно и кавалерия начала возвращаться с кровавой жатвы на подступах к табору; затем на поле брани спустился сам князь, а за ним региментарии, коронный хорунжий, пан Марек Собеский, пан Пшиемский. Весь этот блестящий кортеж медленно подвигался вдоль окопов.

– Да здравствует Иеремия! – кричало воинство. – Да здравствует отец наш!

А князь склонял на все стороны булаву и голову, не прикрытую шлемом.

– Спасибо вам! Благодарствую! – повторял он голосом звучным и ясным.

Потом сказал, обратившись к Пшиемскому:

– Этот окоп велик слишком!

Пшиемский кивнул.

Так вожди-победители проехали от западного до восточного пруда, оглядывая поле боя, и валы, и повреждения, причиненные валам неприятелем.

А следом за кортежем княжьи солдаты в порыве одушевления под громкие возгласы несли на руках в лагерь Заглобу как величайшего триумфатора, который в тот день более всех отличился. Десятка два крепких рук поддерживали тяжелое тело витязя, сам же витязь, красный, потный, размахивая для равновесия руками, кричал во всю глотку:

– Ха! Задал я перцу вражьему сыну! Нарочно бежать ударился, чтоб его приманить за собою. Побурлил Бурлай – довольно! Да, любезные, надо было пример показать молодежи! Осторожней ради бога, а то ведь уронить и покалечить недолго. Эй, вы там, крепче держите! Нелегко мне с ним пришлось, уж поверьте! Ох, шельмы! Нынче последний голодранец на шляхтича руку поднять смеет! Вот и получают свое... Осторожно! Пустите, черти!

– Да здравствует! Да здравствует! – кричала шляхта.

– К князю его! – требовали иные.

– Исполать!!!

Меж тем гетман запорожский, воротившись обратно в лагерь, рычал, как раненый дикий зверь, рвал жупан на груди и раздирал лицо ногтями. Уцелевшая в сече старшина окружила его в угрюмом молчании, не произнося в утешенье ни слова, а он почти потерял рассудок. На губах выступила пена, пятками колотя о землю, он обеими руками рвал на себе чуприну.

– Где мои полки? Где мои молодцы? – хрипло твердил гетман. – Что скажет хан, Тугай-бей что скажет! Выдайте мне Ярему! Головой плачу – пусть сажают на кол.

Старшина понуро молчала.

– Почему мне ворожихи победу предсказывали? – продолжал реветь Хмельницкий. – Урізати ведьмам шеї!.. Почему сулили, что Ярема мой будет?

Обычно, когда рык этого льва потрясал табор, полковники молчали, но теперь лев был побежден и растоптан, счастье, казалось, ему изменило, и старшина осмелела.

– Ярему не здержиш, – мрачно буркнул Стемпка.

– Нас и себя погубишь! – проговорил Мрозовицкий.

Гетман как тигр прыгнул на своих полковников.

– А кто одержал победу под Желтыми Водами? Под Корсунем? Под Пилявцами?

– Ты! – зло бросил Воронченко. – Но там не было Вишневецкого.

Хмельницкий снова схватился за волосы.

– Я хану обещал нынче ночлег в замке! – в отчаянии выл он.

На это Кулак ответил:

– Ты обещал, у тебя пусть и болит голова! Гляди, как бы она теперь с плеч не слетела... А на приступ нас не гони, не губи рабов божьих! Валами окружи ляхов, шанцы прикажи возвести для пушек, не то горе тобі.

– Горе тобі! – повторили угрюмые голоса.

– Горе вам! – ответил Хмельницкий.

Так толковали они, и грозны, как раскаты грома, были их речи... Кончилось тем, что Хмельницкий, пошатнувшись, повалился на груды покрытых коврами овчин, лежавших в углу шатра.

Полковники стояли над ним, понурясь; молчание длилось долго. Наконец гетман поднял голову и вскричал хрипло:

– Горілки!..

– Не будешь пить! – рявкнул Выговский. – Хан пришлет за тобою.

В это самое время хан пребывал в миле от побоища, не зная, что творится на ратном поле. Ночь была тепла и тиха; хан сидел возле шатра, окруженный муллами и агами, и в ожидании новостей вкушал финики со стоящего перед ним серебряного блюда, а порой, обращая свой взор к усыпанному звездами небу, бормотал:

– Магомет Росуллах...

Вдруг на взмыленном жеребце подскакал, тяжело дыша, обрызганный кровью Субагази; спрыгнув с седла и торопливо приблизясь, он стал бить поклоны, ожидая вопроса.

– Говори! – приказал хан, продолжая жевать финики.

Слова огнем жгли язык Субагази, но, не смея нарушить обряд величания, он, низко кланяясь, так начал:

– Могуущественнейший хан всех орд, внук Магомета, самодержный властитель, мудрый государь, счастливый государь, владыка древа, славящегося от востока до запада, цветущего владыка древа...

Тут хан остановил его мановеньем руки. Увидя на лице Субагази кровь, а в глазах боль, тоску и отчаяние, он выплюнул недоеденные финики на ладонь и отдал одному из мулл, который принял дар со знаками нижайшего почтения и тотчас отправил себе в рот, – хан же промолвил:

– Говори, Субагази, скоро и толково: взят ли лагерь неверных?

– Бог не дал!

– Ляхи?

– Победители.

– Хмельницкий?

– Погромлен.

– Тугай-бей?

– Ранен.

– Нет бога, кроме бога! Сколько верных последовало в рай? – спросил хан.

Субагази возвел очи горе и указал рукой на искрящееся небо.

– Сколько этих огней у стоп аллаха, – ответил он торжественно.

Жирное лицо хана побагровело: гнев закипал в его сердце.

– Где этот пес, – спросил он, – который обещал мне, что сегодня мы будем спать в замке? Где сей змей ядовитый, которого аллах моею ногой растопчет? Привести его сюда, пусть ответит за гнусные свои обещанья.

Несколько мурз без промедления отправились за Хмельницким, хан же помалу успокаивался и наконец промолвил:

– Нет бога, кроме бога!

После чего, обратясь к Субагази, заметил:

– Субагази! Кровь на лице твоём.

– Это кровь неверных, – ответил воин.

– Расскажи, как пролил ее, потешь слух наш мужеством верных.

И принялся Субагази пространно рассказывать о ходе сраженья, восхваляя отвагу Тугай-бея, Калги и Нурадина; он и Хмельницкого не обошел молчанием, напротив, наравне с другими его славил, причину поражения объясняя единственно волей божьей и неистовостью неверных. Одно поразило хана в его рассказе, а именно то, что в начале боя в татар не стреляли и конница князя ударила на них, лишь когда они ей путь заступили.

– Аллах!.. Они не хотели войны со мною, – сказал хан, – но теперь уже поздно...

Так оно на деле и было. Князь Иеремия в начале битвы запретил стрелять в татар, дабы вселить в солдат убеждение, что переговоры с ханом уже начались и ордынцы лишь для

видимости держат сторону черни. Только впоследствии волей-неволей пришлось с ними схватиться.

Хан кивал головою, раздумывая, не лучше ль, пока не поздно, обратить оружие против Хмельницкого, как вдруг перед ним предстал сам гетман. Совершенно уже спокойный, он приблизился с гордо поднятой головою, смело глядя в глаза хану; на лице его рисовались отвага и хитрость.

– Подойди, изменник, – сказал хан.

– Не изменник к тебе подходит, а гетман казацкий и твой верный союзник, коему ты помогать обещался не только в случае удачи, – ответил Хмельницкий.

– Иди ночуй в замке! Тащи, как обещал, ляхов за шиворот из окопов!

– Великий хан всея Орды! – звучным голосом отвечал Хмельницкий. – Ты могуч, и после султана нет тебе на земле могуществом равных! Ты мудр и силен, но разве можешь ты послать стрелу из лука под самые звезды или измерить глубину моря?

Хан посмотрел на него с удивлением.

– Не можешь! – повысил голос Хмельницкий. – Так и я не смог предугадать, сколь непомерны гордыня и наглость Яремы! Смел ли я помыслить, что он не убоится тебя, великого хана, не проявит покорности при одном твоём виде, не придет к тебе бить челом, а на тебя самого подымет дерзкую свою руку, прольет кровь твоих воинов и над тобою, могущественный властитель, как над последним из твоих мурз, глумиться станет? Мог ли я осмелиться подобными мыслями оскорбить тебя, которого люблю и почитаю?

– Аллах! – промолвил хан с еще большим удивлением.

– И еще я тебе одно скажу, – продолжал Хмельницкий, и голос его и манера держаться становились все увереннее, – ты велик и могуч; всеместно, от запада до востока, народы и монархи склоняются пред тобой и львом величают. Один Ярема не упадет ниц перед ликом твоим, и посему, ежели не сотрешь ты его в порошок, не заставишь согнуть выю и с хребта его в седло садиться не станешь, в ничто обратятся мощь твоя и слава, ибо всякий скажет, что ляхский князь крымского царя посрамил и не понес за это никакой кары, что он более велик, более могуч, нежели ты, хан великий...

Настало глухое молчание. Мурзы, аги и муллы, как на солнце, глядели на ханский лик, затаив дыхание, он же, закрыв глаза, погрузился в раздумье...

Хмельницкий, опершись на булаву, смело ждал ответа.

– Ты сказал, – изрек наконец хан, – я Яреме согну выю и с хребта его на коня буду садиться, дабы не говорили от запада до востока, будто один неверный пес посрамил меня, великого хана...

– Велик аллах! – воскликнули в один голос мурзы.

У Хмельницкого же радость брызнула из очей: одним махом он отвратил нависшую над его головой опасность и ненадежного союзника превратил в вернейшего из верных.

Лев сей обладал умением мгновенно в змею обращаться.

Оба лагеря до поздней ночи гудели, как согретые весенним солнцем пчелы в пору роения, а на бранном поле меж тем вечным, непробудным сном спали рыцари, пронзенные пулями и стрелами, исколотые пиками, изрубленные мечами. Взошла луна и пустилась в обход сей обители смерти; она отражалась в лужах крови, вырывала из мрака все новые груды недвижных тел, переходила неслышно с одних на другие, заглядывала в отверстые мертвые очи, освещала посинелые лица, обломки оружия, конские трупы – и все более бледны становились лучи ночного светила, словно открывшееся зрелище страшило его. По полю то там, то сям, где группами, а где в одиночку пробегали какие-то зловещие фигуры: это челядь и обозная прислуга спешила обождать мертвецов

– так по пятам за львами крадутся шакалы... Но суеверный страх в конце концов и их прогнал с места битвы. Что-то страшное, что-то таинственное было в этом устланном трупами поле, в этом покое и неподвижности тел, еще недавно полных жизни, в этом безмолвном согласии, соединившем лежащих бок о бок поляков, казаков, татар и турок. Порою ветер шелестел в кустах, разбросанных по полю, а солдатам, бодрствующим в окопах, чудилось: то человечесьи души кружат над телами. Говорили, что, когда в Збараже пробило полночь, с разных концов равнины, от валов до вражьего стана, с шумом поднялись несчетные птичьи стаи.

Слыхали в вышине рыдания, тяжкие вздохи, от которых волосы вставали дыбом, и глухие стоны. Те, кому суждено было пасть в этой битве и чьему слуху доступны были неземные призывы, явственно слышали, как польские души, отлетая, кричали: «Пред очи твои, господи, несем грехи наши!», а души казаков стонали: «Иисусе Христе, помилуй!» – ибо павшим в братоубийственной войне к вековечному блаженству путь был заказан: им назначалось лететь куда-то в неведомые темные дали и кружить вместе с вихрями над юдолью слез, и плакать, и стенать ночами, пока не вымолят они у ног Христа прощения за общие вины, не допросятся забвенья и мира!..

Но в те дни еще сильнее ожесточились сердца людские, и ни один ангел согласия не пролетел над бранным полем.

Глава XXV

Назавтра, прежде чем солнце рассыпало по небу золотые блики, вокруг польского лагеря уже высился новый оборонный вал. Прежний чересчур был длинен: и защищать его было трудно, и на помощь друг другу приходиться несподручно; потому князь с паном Пшиемским решили замкнуть войска в более тесное кольцо укреплений. Над исполнением этой задачи трудились не покладая рук всю ночь – гусары наравне с прочими полками и челядью. Лишь в четвертом часу утра утомленное воинство смежило очи, и все, исключая дозорных, уснули каменным сном; неприятель ночью тоже не терял времени даром, а утром долго не подавал признаков жизни, видно, не оправившись после вчерашнего разгрома. Появилась даже надежда, что штурм в тот день не будет вовсе.

Скшетуский, пан Лонгинус и Заглоба, сидя в шатре, вкушали пивную похлебку, щедро заправленную сыром, и с удовольствием вспоминали труды минувшей ночи – какому солдату не приятно поговорить о недавней победе!

– Я привык по старинке – с курами ложиться, с петухами вставать, – разглагольствовал Заглоба, – а на войне? Поди попробуй! Спишь, когда минуту урвешь, встаешь, когда растолкают. Одно меня бесит: из-за эдакого сброда изволь терпеть неудобства! Да что поделаешь, такие времена настали! Но и мы им вчера с лихвой отплатили. Еще разок-другой угостим так, у них всякая охота пропадет нарушать нам сон.

– А не знаешь, сударь, много ли наших полегло? – спросил Подбипятка.

– И-и-и! Немного; оно и всегда, впрочем, осаждающих больше гибнет, чем осажденных. Повоюешь с мое, тоже начнешь в таковых вещах разбираться, а нам, старым солдатам, даже трупы считать не надо: по самой битве судить можно.

– И я подле вас, друзья, кое-чему научусь, – мечтательно произнес пан Лонгинус.

– Всенепременно, ежели только ума хватит, на что у меня особой надежды нету.

– Оставь, сударь, – вмешался Скшетуский. – У пана Подбипятки уже не одна война за плечами, и дай бог, чтобы лучшие рыцари дрались так, как он во вчерашнем сражении.

– Как мог, старался, – ответил литвин, – да хотелось бы сделать побольше.

– Ну уж, не скромничай, ты себя показал весьма недурно, – покровительственно заметил Заглоба, – а что другие тебя превзошли, – тут он лихо закрутил ус, – в том твоей вины нету.

Литвин выслушал его, потупя очи, и вздохнул, вспомнив о трех головах и о предке своем Стовейке.

В эту минуту откинулся полог шатра и появился Володы,вский, веселый и бодрый, точно щегол погожим утром.

– Вот мы и в сборе! – воскликнул Заглоба. – Налейте ему пива!

Маленький рыцарь пожал друзьям руки и молвил:

– Знали б вы, сколько ядер валяется на майдане – вообразить невозможно! Шагу нельзя пройти, чтоб не спотыкнуться.

– Видели, видели, – ответил Заглоба, – я тоже, вставши, по лагерю прогулялся. Курам во всем львовском повете за два года яиц не снести столько. Эх, кабы то яйца были – поели б мы яичницы вволю! Я, признаться, за сковороду с яичницей изысканнейшее отдам блюдо. Солдатская у меня натура, как и у вас, впрочем. Вкусно поесть я всегда горазд, только подкладывай! Потому и в бою за пояс заткну любого из нынешних изнеженных молокососов,

которые и миски диких груш не съедят, чтоб тотчас животы не схватило.

– Однако ты вчера отличился! – сказал маленький рыцарь. – Бурляя уложить с маху – хо-хо! Не ждал я от тебя такого. На всей Украине и в Туретчине не было рыцаря славнее.

– Недурно, а?! – самодовольно воскликнул Заглоба. – И не впервой мне так, не впервой, пан Михал. Долгонько мы друг дружку искали, зато и подобрались как волосок к волоску: четверки такой не сыскать во всей Речи Посполитой. Ей-богу, с вами да под рукою нашего князя я бы сам-пят хоть на Стамбул двинул. Заметьте себе: пан Скшетуский Бурдабута убил, а вчера Тугай-бея...

– Тугай-бей жив остался, – перебил его поручик, – я сам почувствовал, как у меня лезвие соскользнуло, и тот же час нас разделили.

– Все едино, – сказал Заглоба, – не прерывай меня, друг любезный. Пан Михал Богуна в Варшаве посек, как мы тебе говорили...

– Лучше б не вспоминал, сударь, – заметил пан Лонгинус.

– Что уж теперь: сказанного не воротишь, – ответил Заглоба. – И рад бы не вспоминать, однако продолжу; итак, пан Подбипятка из Мышикишек пресловутого Полуяна прикончил, а я Бурляя. Причем, не скрою, ваших бы я огулом за одного Бурляя отдал, оттого мне и тяжелей всех досталось. Дьявол был, не казак, верно? Были б у меня сыновья *legitimate patos*⁵⁶, доброе бы я им оставил имя. Любопытно, что его величество король и сейм скажут и как нас наградить изволят, нас, что более серой и селитрой кормятся, нежели чем иным?

– Был один рыцарь, всех нас доблестью превосходивший, – сказал пан Лонгинус, – только имени его никто не знает и не помнит.

– Кто таков, интересно? Небось в древности? – спросил, почувствовав себя уязвленным, Заглоба.

– Нет, братец, не в древности – это тот, что короля Густава Адольфа под Тшцяной с конем вместе поверг на землю и пленил, – ответил ему Подбипятка.

– А я слышал, это под Пуцком было, – вмешался маленький рыцарь.

– Король все же вырвался и убежал, – добавил Скшетуский.

– Истинно так! Мне кое-что на сей счет известно, – сказал, сощутив здоровое свое око, Заглоба, – я тогда как раз у пана Конецпольского, родителя нашего хорунжего, служил. Знаем, знаем! Скромность не позволяет этому рыцарю назвать свое имя, вот оно в неизвестности и осталось. Хотя, надо вам сказать, Густав Адольф был великий воитель, Конецпольскому мало чем уступал, но с Бурляем в поединке тяжелей пришлось, уж вы мне поверьте!

– Что ж, выходит, это ты, сударь, одолел Густава Адольфа? – спросил Володы, вский.

– Я когда-нибудь тебе похвалялся, скажи честно, пан Михал?.. Ладно уж, пускай случай сей остается в забвенье, мне и нынче есть чем похвастаться: чего вспоминать бывшее!.. Страшно после этого поила бурчит в брюхе – чем больше сыра, тем сильнее. Винная похлебка куда лучше – слава богу, впрочем, хоть эта есть, вскоре и того, возможно, не будет. Ксендз Жабковский говорил, припасов у нас кот наплакал, а ему каково с его-то пузом: истая сорокаведерная бочка! Поневоле забеспокоишься... Но хорош, однако, наш бернардинец! Нравится мне чертовски. Кто-кто, а уж он скорей солдат, чем служитель божий. Не приведи господь, съездит по роже – хоть сейчас беги за гробом.

– Да! – воскликнул маленький рыцарь. – Я вам еще не рассказывал, как отличился нынче ночью ксендз Яскульский. Захотелось ему поглядеть на битву из бастиона, что справа от замка, – знаете, огромная эта башня. А надо вам сказать, что ксендз отменно из штуцера стреляет. Сидит, значит, он там с Жабковским и говорит: «В казаков стрелять не стану, как-никак христиане, хоть и в грехах погрязли, но в татар, говорит, нет, не могу удержаться!» – и давай палить, за всю битву десятка три уложил как будто!

– Кабы все духовенство такое было! – вздохнул Заглоба. – А то наш Муховецкий только руки к небесам воздевает да плачет, что столько проливается христианской крови.

– Это ты, сударь, напрасно, – серьезно заметил Скшетуский. – Ксендз Муховецкий – святой души человек, и лучшее тому доказательство, что хоть он других двоих не старше, они

⁵⁶ законнорожденные (лат.).

пред добродетелью его благоговевуют.

– А я в праведности его нимало не сомневаюсь, – ответил Заглоба, – напротив: думается мне, он и самого хана в истинную веру обратить горазд. Ой, любезные судари! Гневается, надо полагать, его величество хан всемогущий: вши на нем небось раскашлялись с перепугу! Ежели до переговоров дело дойдет, поеду, пожалуй, и я с комиссарами вместе. Мы ведь давние с ним знакомцы, в былые времена он премного ко мне благоволил. Может, припомнит.

– На переговоры, верно, Яницкого пошлют, он по-ихнему, как по-польски, умеет, – сказал Скшетуский.

– И я не хуже, а уж с мурзами и вовсе запанибрата. Они дочерей своих в Крыму за меня отдать хотели, желая иметь достойное продолжение рода, только я в ту пору был молод и с невинностью своей не заключал сделок, как милый приятель наш, пан Подбипятка из Мышикишек, посему и напроказил у них там немало.

– Слухаться гадко! – молвил пан Лонгинус, потупя очи.

– А ваша милость как грач ученый: одно и то ж талдычит. Недаром, говорят, литва-ботва еще человечьей речи толком не обучилась.

Дальнейшее продолжение беседы прервано было шумом, донесшимся из-за стен шатра, и рыцари вышли поглядеть, что происходит. Множество солдат столпилось на валу, озирая окрестность, которая за минувшую ночь сильно переменилась и продолжала меняться на глазах. Казаки, вернувшись с последнего штурма, тоже не теряли времени даром; они насыпали шанцы, затащили на них орудия, такие долгоствольные и мощные, каких не было в польском стане, начали копать поперечные извилистые траншеи и апроши; издалека казалось, поле усеялось тысячью огромных кротовин. Вся пологая равнина ими была покрыта, повсюду среди зелени чернела свежевскопанная земля, и везде полно было работающего люда. На первых валах уже и красные шапки казаков мелькали.

Князь стоял на валу со старостой красноставским и паном Пшиемским. Чуть пониже каштелян бельский в зрительную трубу наблюдал за работами казаков и говорил коронному подчашему:

– Неприятель начинает регулярную осаду. Думаю, придется нам отказаться от окопной обороны и перейти в замок.

Услышав эти слова, князь Иеремия сказал, наклонясь сверху к каштеляну:

– Упаси нас бог от такой ошибки: это все равно что по своей воле в капкан забраться. Здесь нам победить или умереть.

– И я того же мнения, хоть бы и понадобилось что ни день по одному Бурляю кончать, – вмешался в разговор Заглоба. – От имени всего воинства протестую против суждения ясновельможного пана каштеляна.

– Это не тебе, сударь, решать! – сказал князь.

– Молчи! – шепнул, дернув шляхтича за рукав, Володы,вский.

– Мы их в этих земляных укрытиях как кротов передавим, – продолжал Заглоба, – а я прошу у вашей светлости дозволения пойти на вылазку первым. Они меня неплохо уже знают, пусть узнают получше.

– На вылазку?.. – переспросил князь и бровь насупил. – Погоди-ка... Ночи с вечера темные бывают...

И обратился к старосте красноставскому, пану Пшиемскому и региментариям:

– Извольте на совет, любезные господа.

И спустился с вала, а за ним последовали все военачальники.

– О господи, что ты делаешь, сударь? – выговаривал меж тем Заглобе Володы,вский. – Как так можно? Или ты службы и порядка не знаешь, что мешаешься в разговоры старших? Сколь ни великодушен князь, но в военное время с ним шутки плохи.

– Пустое! – отвечал Заглоба. – Пан Конецпольский-старший суров был как лев, но советам моим всегда следовал неуклонно. Пусть меня нынче же волки сожрут, если кто скажет, что не моим лишь подсказкам благодаря он двукратно разбил Густава Адольфа. С кем, с кем, а с

высокими особами я говорить умею! Хоть бы и сейчас: заметил, как князь obstupuit⁵⁷, когда я ему насчет вылазки подкинул мыслишку? А ну как господь нам пошлет викторию

– чья это будет заслуга? Твоя, может?

В эту минуту к ним подошел Зацвилюховский.

– Каковы, а? Роют! Роют, как свиньи! – сказал он, указывая на поле.

– По мне, лучше б и вправду там свиньи были, – ответил Заглоба, – колбаса бы хоть дешево обошлась, а то ихнюю падаль и псы жрать не станут. Нынче солдаты в расположении пана Фирлея уже колодцы копают – в восточном пруду от трупов воды не видно. К утру желчные пузыри полопались – все, сволочи, всплыли. Упаси бог в пятницу рыбки поест, она теперь кормится мясом.

– Что верно, то верно, – подтвердил Зацвилюховский, – я старый солдат, а столько мертвечины давно не видел, разве что под Хотинном, когда янычары приступом хотели взять наш лагерь.

– Увидишь еще больше – уж поверь мне!

– Полагаю, нынче вечером, а то и раньше надобно ждать штурма.

– А я говорю, до завтра нас оставят в покое. – Но едва Заглоба кончил свои слова, над шанцами встали белые столбы дыма и ядра с гулом понеслись к окопам.

– Вот тебе! – сказал Зацвилюховский.

– Ба! Да они в ратной науке ни черта не смыслят! – ответил Заглоба.

Прав оказался все же старик Зацвилюховский. Хмельницкий приступил к регулярной осаде, перерезал все дороги, закрыл все выходы, подступы к пастбищам, понастроил апрошей и шанцев, повел к лагерю хитрые подкопы, но штурмов не прекратил. Он решил взять осажденных измором, дергать их и держать в страхе, не давая сомкнуть глазу и всячески изнуряя, покуда оружие само не выпадет из усталых рук. Вечером он снова ударил на позицию Вишневецкого, но, как и накануне, успеха не добился, да и казаки с меньшею уже шли охотой. На следующий день обстрел не прекращался ни на минуту. Траншеи подведены были уже так близко, что и ружейные пули достигали валов; земляные прикрытия курились с утра до вечера, точно маленькие вулканы. Не настоящее сражение то было, а непрерывная перестрелка. Осажденные время от времени выскакивали из окопов, и тогда в ход пускались сабли, цепи, косы и пики. Но не успевали положить одних, прикрытия тотчас наново заполнялись. За день у солдат не было ни минуты передышки, а когда наконец дождались вожаемого захода солнца, начался новый яростный приступ – о вылазке нечего было и думать.

Ночью 16 июля два удачных полковника, Гладкий и Небаба, ударили на позицию князя и опять потерпели страшное поражение. Три тысячи храбрейших казаков полегли на поле, остальные, преследуемые старостой красноставским, в смятении бежали в свой лагерь, бросая оружие и рога с порохом. Не менее печальная участь постигла и Федоренко, который под покровом густого тумана чуть не взял на рассвете город. Оттеснили его немцы Корфа, а староста красноставский и хорунжий Конецпольский, погнавшись следом, почти всех перебили.

Но все это ничто было в сравнение с ужасной бурей, разразившейся над окопами 19 июля. Предыдущей ночью казаки насыпали против позиций Вишневецкого высокий вал и неустанно поливали с него осажденных огнем из пушек крупного калибра, когда же день подошел к концу и первые звезды блеснули на небе, десятки тысяч людей были брошены на приступ. Одновременно вдаль показалось с полсотни страшных осадных башен, которые медленно катили к окопам. С боков у них наподобие чудовищных крыльев торчали настилы для преодоления рвов, а верхушки дымились, гудели и сверкали, извергая огонь из легких орудий, пищалей и самопалов. Башни подвигались среди моря голов, словно великаны полковники, то озаряясь красным отблеском пушечных выстрелов, то исчезая в дыму и мраке. Солдаты, указывая на них издали друг другу, шептали:

– Гуляй-городки пошли! Смелет нас Хмельницкий в ветряках этих.

– Глянь, с каким грохотом катятся: точно громы небесные!

⁵⁷ был поражен (лат.).

– Из пушек по ним! Из пушек! – раздавались крики.

Княжеские пушкари посылали навстречу страшным машинам ядро за ядром, гранату за гранатой, но увидеть их можно было, лишь когда выстрелы вспарывали темноту, и ядра большей частью не достигали цели.

Меж тем казаки подкатывались все ближе плотной лавиной, словно черный вал, набегающий из морской дали темной ночью.

– Уф, жарко! – вздыхал Заглоба, стоявший возле Скшетуского среди его гусар. – Никогда в жизни так не бывало! Страсть как парит – на мне сухой нитки не осталось. Черт принес эти башни! Господи, сделай так, чтоб земля под ними разверзлась; паскуды эти у меня уже поперек горла стоят, аминь! Ни поесть, ни выспаться – собачья жизнь! Уф! Духота какая!

Воздух и вправду был тяжелый и влажный и вдобавок пропитан удушливой вонью от трупов, несколько уже дней гниющих на бранном поле. Низкая черная пелена туч заволокла небо. Гроза висела над Збаражем. Солдат под кольчугою обливался потом, дышать делалось все труднее.

Вдруг заворчали во тьме барабаны.

– Сейчас ударят! – сказал Скшетуский. – Слышишь? В барабаны бьют.

– Слышу. Чертям бы понаделать барабаны из ихних шкур! Страх божий!

– Коли! Коли! – раздался многоголосый вопль, и казаки бросились к окопам.

Бой закипел вдоль всей линии укреплений. Враг ударил враз на Вишневецкого, Ланцкоронского, Фирлея и Остророга, чтобы не позволить им помогать друг другу. Казаки, хвативши горелки, кинулись в атаку еще остервенелее, чем в первый день, но и отпор получили еще более стойкий. Геройский дух вождя одушевлял солдат. Грозная квартовая пехота, составленная из мазурских крестьян, так схватилась с атакующими, что совершенно с ними перемешалась. В ход пошли приклады, кулаки, зубы. Под ударами ярых Мазуров полегло несколько сотен отборнейшей запорожской пехоты, но тотчас на ее место хлынула новая лавина. Бой разгорался все жарче. Стволы мушкетов жгли руки солдатам, дыхание в груди прерывалось, у офицеров слова команд застревали в пересохших глотках. Староста красноставский и Скшетуский снова вывели конницу из окопов и ударили казакам в лоб, сминая целые полки и проливая потоки крови.

Час проходил за часом, но натиск не ослабевал: огромные потери в казацких рядах Хмельницкий мгновенно восполнял новыми силами. Татары поддерживали соратников криком и осыпали окопы тучами стрел; часть басурман, выстроившись за спиною черни, гнала ее вперед сыromятными плетями. Ярости противостояла ярость, грудь с грудью схватывались воины, муж с мужем сливались в смертоносном объятии...

Так разъяренные волны морские штурмуют скалистый остров.

Вдруг земля задрожала у дерущихся под ногами и небо озарилось синим пламенем, словно у всевышнего не стало сил глядеть долее на творимые людьми зверства. Жутким грохотом заглушило человеческий крик и гул орудий. Это небесная артиллерия начала устрашающую канонаду. Раскаты грома покатались с востока на запад. Казалось, небо, расколовшись, вместе с тучами валится на головы участникам битвы. То весь мир представлялся пламенеющим костром, то становилось темно, как в преисподней, и вновь красные зигзаги молний раздирали черный полог ночи. Поднялся вихрь, срывая шапки, прапорцы, знамена, и в мгновение ока тысячи их разметал по полю. Молнии вспыхивали одна за другой – и вот уже все смешалось в единый хаос: удары грома, зарницы, вихрь, мрак и пламень; небеса взъярились – так же, как люди.

Гроза, подобно которой с незапамятных времен не бывало, разбушевалась над городом, замком и обоими лагерями. Бой прекратился. Наконец разверзлись небесные хляби – не струи даже, а потоки хлынули на землю. Мир скрылся за стеною воды, в двух шагах ничего нельзя было увидеть. Трупы поплыли по рвам. Штурм прекратился; казаки целыми полками бежали обратно в табор, мчались вслепую, сталкиваясь друг с другом, и, принимая своих за врагов, рассыпались во тьме по полю; за ними, увязая в жидкой грязи, опрокидываясь, катились пушки и возы с боевым снаряжением. Вода размывала осадные земляные сооружения, бурлила во рвах и траншеях, просачивалась в землянки, хоть те и были окружены рвами, и с шумом неслась по равнине, точно спеша догнать удирающих казаков.

Ливень становился все сильнее. Пехота покинула валы, ища укрытия в палатках, лишь кавалерия старосты красноставского и Скшетуского не получала приказа к отступлению. Всадники стояли бок о бок, словно посреди озера, отряхивая с себя воду. Мало-помалу гроза стала униматься. После полуночи дождь наконец прекратился. В разрывах туч кое-где проглянули звезды. Прошел еще час – и вода немного спала. Тогда перед хоругвью Скшетуского неожиданно появился сам князь.

– Что пороховницы, – спросил он, – не намокли?

– Сухи, ваша светлость! – ответил Скшетуский.

– Это хорошо! Долой с коней и марш по воде к осадным башням: подсыплете пороху и подожжете. И чтоб тихо было! Пан староста красноставский пойдет с вами.

– Слушаюсь! – сказал Скшетуский.

Вдруг князю попался на глаза мокрый Заглоба.

– Ты просился на вылазку – самая пора, отправляйся! – приказал он.

– Эх подфартило! – буркнул Заглоба. – Только этого еще не хватало!

Полчаса спустя два отряда рыцарей, по две с половиной сотни каждый, бежали по пояс в воде с саблями в руках к страшным казацким гуляй-городкам, стоящим в полуверсте от окопов. Один отряд вел «лев надо львами», староста красноставский Марек Собеский, который и слышать не захотел о том, чтобы остаться в окопах, а второй – Скшетуский. Челядь несла за рыцарями мазницы с дегтем, сухие факелы и порох; подвигались бесшумно, как волки, темной ночью подкрадывающиеся к овчарне.

Маленький рыцарь добровольцем присоединился к Скшетускому: подобные экспедиции пан Михал любил пуще жизни. Теперь он бодро шлепал по воде, и в сердце его была радость, а в руке сабля. Рядом шагал с обнаженным Сорвиглавцем пан Подбипятка, заметно среди всех выделяясь, так как самых высоких был на две головы выше. Между ними, пыхтя, поспешал Заглоба и недовольно ворчал, передразнивая князя:

– «Просился на вылазку – отправляйся!» Прекрасно! Псу на случку по такой бы мокряди идти не захотелось. Чтоб мне в жизни ничего, кроме воды, в рот не брать, если я вылазку присоветовал в такую пору. Я не утка, и брюхо мое не челн. Всегда питал к воде отвращение, особенно к такой, в которой падаль холопы мокнет...

– Помолчи, сударь! – сказал пан Михал.

– Сам помолчи! Хорошо тебе, когда ты с пескаря росточком и плавать умеешь. Я больше скажу: не мешало бы князю в благодарность за расправу с Бурляем покой мне предоставить. Заглоба свое сделал, пусть другие попробуют сделать столько, а Заглобу оставьте в покое: хороши вы будете, когда его не станет! О господи! Ежели я в какую дыру провалюсь, сделайте милость, вытащите хоть за уши, ведь захлебнусь в два счета.

– Тихо, сударь! – сказал Скшетуский. – Казаки в укрытиях сидят, еще, не дай бог, услышат.

– Где? Ты что, сударь любезный, мелешь?

– А вон там, в тех землянках под дерном.

– Этого еще не хватало! Разрази их небесные громы!

Продолжить нарекания Заглобе не дал пан Михал, заткнув ему рот ладонью: земляные укрытия были уже в какой-нибудь полусотне шагов перед ними. Рыцари, правда, старались идти тихо, но вода хлюпала у них под ногами. К счастью, снова полил дождь и шаги заглушались его шумом.

Стражи возле укрытий не было. Да и кто мог ожидать вылазку после штурма и страшной грозы, которая словно озером разделила противников?

Пан Михал с паном Лонгинусом вырвались вперед и первыми достигли земляного укрытия. Маленький рыцарь, вложив саблю в ножны, ковшиком сложил у рта ладони и крикнул:

– Гей, люди!

– А що? – отозвались изнутри голоса. Казаки, видно, решили, что пришел кто-то свой из табора.

– Слава богу! – ответил Володы,вский. – Пустите-ка, братцы.

– А ты что, как войти, не знаешь?

– Уже знаю! – воскликнул маленький рыцарь и, нашарив вход, впрыгнул вовнутрь.

Пан Лонгинус и еще несколько человек вбежали за ним следом.

В ту же секунду нутро землянки огласилось истошным воплем: одновременно остальные рыцари с криком бросились к другим укрытиям. Темнота наполнилась стонами, лязгом железа; какие-то черные фигуры куда-то бежали, иные падали наземь, порою гремел выстрел, но все это длилось не более четверти часа. Казаки, по большей части застигнутые во сне, даже не сопротивлялись – все полегли, не успев схватиться за сабли.

– К гуляй-городкам! К гуляй-городкам! – раздался голос старосты красноставского.

Рыцари бросились к башням.

– Изнутри поджигать, снаружи мокро! – крикнул Скшетуский.

Но приказ нелегко было исполнить. В башнях, сколоченных из сосновых бревен, не было ни дверей, ни каких-либо отверстий. Казацкие стрелки взбирались на них по лестницам, орудия же (а помещались туда только самые малые) втягивали на веревках. Несколько времени рыцари лишь бегали вокруг, тщетно хватаясь за углы и рубя саблями дерево.

К счастью, у челядинцев были топоры: их они и пустили в ход. Староста красноставский приказал подкладывать снизу жестянки с порохом, прихваченные специально для этой цели. Зажгли деготь в мазницах и факелы – пламя начало лизать бревна, хоть и мокрые снаружи, но насквозь пропитанные смолой.

Однако прежде чем занялось дерево, прежде чем взорвался порох, пан Лонгинус нагнулся и поднял огромный валун, вырытый казаками из земли.

Наипервейшие силачи вчетвером бы не сдвинули этот камень с места, но рыцарь держал его в своих могучих руках, раскачивая слегка, и лишь при свете мазниц можно было заметить, что кровь прихлынула к лицу великана. Солдаты онемели от восхищения.

– Геркулес! Чтоб ему! – воздев над головой руки, воскликнул кто-то.

Пан Лонгинус меж тем, подойдя к осадной башне, которую еще не успели поджечь, откинулся и запустил камнем в стену – в самую ее середину.

Стоящие вокруг невольно пригнулись – с таким гулом валун полетел над головами. От удара разом лопнули все соединения, раздался треск, башня раскололась надвое, будто распахнулись сломанные ворота, и с грохотом рухнула наземь.

Груды бревен облили дегтем и в одно мгновение подожгли.

Спустя недолгое время несколько десятков гигантских костров осветило равнину. Дождь еще лил, но огонь был сильнее воды – и «горели оные белюарды на изумление обоим войскам, понеже пресыро в тот день было».

Из казацкого табора прискакали на выручку Стемпка, Кулак и Мрозовицкий с несколькими тысячами молодцев каждый, пытались унять пламя – где там! Столбы огня и багрового дыма с неудержимой силою рвались к небу, отражаясь в озерах и лужах, после грозы разлившихся по бранному полю.

Рыцари меж тем, сомкнувши строй, возвращались в окопы; радостные возгласы уже издали неслись им навстречу.

Вдруг Скшетуский огляделся по сторонам, окинул взглядом задние ряды и громовым голосом крикнул:

– Стой!

Пана Лонгина и маленького рыцаря среди возвращающихся не было.

Видно, раззадорившись, они задержались возле последней башни, а может, наткнулись на затаившихся где-то казаков – так или иначе, ухода товарищей, должно быть, не заметили.

– Вперед! – скомандовал Скшетуский.

Староста красноставский, будучи на другом конце шеренги, ничего не понял, и побежал узнать, что случилось. В эту секунду оба пропавших рыцаря появились, точно из-под земли, на пути между башнями и отрядом.

Пан Лонгинус со сверкающим Сорвиглавцем в руке шагал размашисто, а рядом трусил пан Михал. Головы обоих повернуты были к бегущим за ними по пятам, будто свора собак, казакам.

Красное зарево пожара ярко освещало картину погони. Казалось, исполинская лосиха с детенышем уходит от толпы ловчих, готовая всякую минуту броситься на преследователей.

– Они погибнут! Ради Христа, скорее! – кричал душераздирающе Заглоба.

– Их подстрелят, у казаков пищали, луки! Скорей, ради бога!

И, не опасаясь того, что вот-вот может завязаться новая схватка, обнажив саблю, бежал вместе со Скшетуским и другими друзьям на выручку, спотыкался, падал, поднимался, сопел, кричал, дрожал всем телом, но, собравши силы, мчался вперед что было духу.

Казаки, однако же, не стреляли – самопалы у них отсырели, тетивы луков размякли, – а только ускоряли свой бег. Десятка полтора их, вырвавшись вперед, совсем уже, кажется, настигали беглецов, но тут оба рыцаря, словно два вепря, повернулись к ним и с ужасающим воплем взметнули клинки. Казаки точно вкопанные остановились.

Пан Лонгинус с огромным своим мечом казался им порождением ада.

Как два серых волка, настигаемые гончими, оборотятся вдруг и белыми сверкнут клыками, а собачья свора, не смея приблизиться, подымет издали вой, так и рыцари наши время от времени поворачивались, и бегущие в первых рядах преследователи тот же час застывали на месте. Раз только кинулся к ним один смельчак с косою, но пан Михал прыгнул на него, как лесной кот, и куснул – тот и дух испустил на месте. Товарищи его ждали остальных, подбегавших плотною кучей.

Но рыцари уже были близко; впереди всех летел Заглоба, размахивая саблей и крича нечеловеческим голосом:

– Бей! Убивай!

Вдруг грянуло из окопов, и граната, ухая, как неясить, очертивши в небе огненную дугу, упала в середину толпы казаков, за нею вторая, третья, десятая; казалось, снова начинается битва.

Казаки до осады Збаража таких снарядов не видали и на трезвую голову пуще всего их боялись, видя в том чары Яремы, – поэтому они мгновенно остановились, строй раскололся надвое, и тут же разорвались гранаты, сея смерть и ужас.

– Спасайтесь! Спасайтесь! – раздались испуганные крики.

И молодцы бросились врассыпную, а пана Лонгинуса с маленьким рыцарем обступили гусары.

Заглоба кидался то одному, то другому на шею, чмокал куда попало – в глаза, в щеки. Радость душила его, а он, боясь показать свое мягкосердечье, всячески ее умерял, крича во всю глотку:

– Ах, собаки! Не скажу, что так уж вы мне и дороги, однако же натерпелся я страху! Да они бы вас искромсали в куски! Хорошо вы знаете службу – от своих отстаете! К лошадям бы вас да за ноги протащить по майдану! Первый скажу князю, чтобы измыслил вам роенат...⁵⁸ А теперь спать, спать... Слава богу, что так повернулось! Повезло стервецам, что от гранат разбежались, я б их всех изрубил в капусту. Лучше уж драться, чем спокойно глядеть, как приятели гибнут. Всенепременно надо сегодня выпить! Слава тебе, господи! Я уж думал, «requiem»⁵⁹ будем петь завтра. А жаль, однако, что не дошло до схватки – только рука раззуделась, хотя я и в уккрытьях им задал жару...

Глава XXVI

Опять пришлось осажденным возводить новые валы и лагерь в размерах уменьшить, чтобы свести на нет почти уже законченные казаками земляные работы, а поредевшим рядам воинов легче было держать оборону. Копали всю ночь после штурма. Но и казаки не сидели сложа руки. Подкравшись бесшумно темной ночью со вторника на среду, они окружили лагерь вторым валом, много выше прежнего. И оттуда на заре, возвестив о себе громким криком, подняли стрельбу и стреляли целых четыре дня и четыре ночи. Много враги нанесли друг другу

⁵⁸ наказание (лат.).

⁵⁹ Здесь: «вечный покой» (лат.).

урана, потому что состязались наилучшие, какие только были на каждой стороне, стрелки.

Время от времени полчища казаков и черни устремлялись на штурм, но до валов не доходили, только пальба разгоралась все жарче. Неприятель, силы которого были велики, непрестанно сменял людей: одни отправлялись на отдых, другие посылались в бой. А в лагере неоткуда было взять подмены: те же солдаты, что стреляли с валов и поминутно срывались с мест, дабы отразить приступ, хоронили убитых, рыли колодцы и подсыпали повыше валы, чтобы надежней иметь заслону. Спали, а вернее дремали, у валов под градом пуль, сыпавшихся так густо, что по утрам их метлой можно было сметать с майдана. Четыре дня кряду никто не мог переменить одежды, которая мокла под дождем, сохла на солнце, в которой днем было жарко, а ночью зябко, – четыре дня никто еды вареной не видел. Пили горелку, подмешивая к ней для крепости порох, грызли сухари и рвали зубами высохшее вяленое мясо, и все это в дыму, под выстрелами, под свист пуль и громыханье пушек.

И «легче легкого было прямо в лоб или в бок получить угощение». Солдат обматывал окровавленную голову грязной тряпицей и тотчас же возвращался в строй. Страшный был у воинов вид: изодранные колеты и заржавелые доспехи, мушкеты с разбитыми прикладами, глаза, красные от бессонницы, но каждый во всякое время на чеку, постоянно крепок духом и – днем ли, ночью ли, в дождь или ведро – всегда готов к бою.

Влюбленными глазами глядели солдаты на своего полководца, забыв страх перед опасностью, штурмами, смертью. Геройский дух в них вселился; все сердца закалились, «крепостью исполнились» души. Во всем этом ужасе они стали находить упоение. Хоругви соперничали одна с другою: кто больше выкажет усердия, кто легче перенесет голод, бессонницу, тяжкий труд, кто выше проявит отвагу и твердость. До того дошло, что солдат трудно стало удерживать в окопах; мало им было отражать приступы – они рвались к неприятелю, как обезумевшие от голода волки в овчарню. Отчаянная веселость царила во всех полках. Обмолвись какой маловер о сдаче, его бы вмиг растерзали в клочья. «Здесь хотим умереть!» – повторяли все уста.

Всякий приказ вождя исполнялся с молниеносной быстротою. Однажды случилось князю при вечернем объезде валов услышать, что огонь квартовой хоругви Лещинских слабеет. Подъехав к солдатам, он спросил:

- Отчего не стреляете?
- Порох весь вышел – за новым послали в замок.
- Дотуда поближе будет! – молвил князь, указав на казацкие шанцы.

Не успел он закончить, вся хоругвь скатилась с валов, бросилась стремглав к неприятелю и обрушилась на шанцы подобно смерчу. Казаки были перебиты колами, скоблями, прикладами мушкетов, а четыре орудия заклепаны. По прошествии получаса победители, немалые, правда, понеся потери, возвратились в лагерь с изрядными запасами пороха в охотничьих рогах и бочонках.

День проходил за днем. Стягивалось вокруг лагеря кольцо казацких апрошей, словно клин в дерево, врезались в валы их траншеи. Стреляли уже со столь близкого расстояния, что, не считая штурмов, в каждой хоругви ежедневно погибало еще человек десять. Ксендзы не успевали причащать умирающих. Осажденные загораживались телегами, нам, тами, развешивали перед окопами одежду, шкуры; ночами хоронили убитых – кого где смерть настигала,

– но тем ожесточеннее оставшиеся в живых бились на могилах павших. Хмельницкий готов был без меры проливать кровь своих людей, и с каждым новым штурмом множились потери в его войске. Такого отпора он сам не ожидал и рассчитывал теперь лишь на то, что время сломит дух и истощит силы осажденных. Однако время шло, а они все большее выказывали к смерти презренье.

Полководцы служили солдатам примером. Князь Иеремия спал на голой земле у подошвы вала, пил горелку, ел вяленую конину и – «небрежа высоким своим положеньем» – наравне со всеми стойко сносил вседневные труды и капризы погоды. Коронный хорунжий Конецпольский и староста красноставский самолично водили полки на вылазки, а во время штурмов стояли без доспехов под сильнейшим градом пуль. Даже те военачальники, которым – как Острогору

– недоставало опыта в ратном деле и на которых солдат привык смотреть без доверья, теперь, под рукою Иеремии, становились будто совсем другими людьми. Старый Фирлей и Ланцекоронский тоже спали у валов, а Пшиемский днем устанавливал пушки, а ночью рылся, точно крот под землею, подводя под казацкие мины контрмины, взрывая редуты и прокладывая подземные ходы, из которых солдаты, как призраки смерти, выскакивали прямо на спящих казаков.

В конце концов Хмельницкий решился на переговоры с задней мыслью во время этих переговоров хитростью добиться успеха. Под вечер 24 июля казаки закричали с шанцев солдатам, чтобы те перестали стрелять. Посланный парламентарем запорожец объявил, что гетман желает видетсья с паном Зацвилюховским. После недолгого совещания региментарии приняли его предложение, и старик выехал из окопов.

Издалека видели рыцари, как казаки на шанцах поснимали перед ним шапки: за недолгую бытность комиссаром Зацвилюховский успел снискать уваженье необузданных запорожцев – его почитал сам Хмельницкий. Стрельба вмиг прекратилась. Казаки траншеями приблизились к самому валу, рыцарство сошло им навстречу. Обе стороны держались настороженно, но без неприязни. Шляхта всегда казаков ставила выше черного люда и теперь, воздавая должное их отваге в бою и упорству, говорила с ними на равных, как рыцарю с рыцарем пристало, казаки же с восхищением разглядывали вблизи неприступное логово льва, которое не по зубам пришлось запорожскому войску со всей ханской ратью в придачу. Сойдясь, воины стали толковать меж собою и сетовать, что столько проливается христианской крови, а там и принялись угощать друг дружку табаком и горелкой.

– Эй, панове лицарі! – говорили старые запорожцы. – Кабы вы прежде дрались так, не было бы ни Желтых Вод, ни Корсуня, ни Пилявцев. Черти в вас, что ли, вселились? Таких удалцов нам еще не случалось встречать на свете.

– А мы всегда такие! Хоть завтра приходите, хоть послезавтра...

– И придем, а пока, слава господу, передышка. Страсть сколько христианской крови пролито. Да и все равно голод вас сломит.

– Раньше король прибудет с подмогой, а покамест мы только-только рты после вкусного обеда утерли.

– А не хватит провианту, в ваших пошарим обозах, – сказал, подбоченясь, Заглоба.

– Дай бог батьке Зацвилюховскому хоть что-нибудь выговорить у нашего гетмана. Не столкнутся – ввечеру снова пойдем на приступ.

– Да и нам уже тошно.

– Хан обещается: всем вам «кесим» будет.

– А наш князь хана за бороду к хвосту своего жеребца привязать обещался.

– Чародей он, а все равно не здержить.

– Лучше б вы с нашим князем на басурман пошли, чем руку подымать противу власти.

– С вашим князем... Хм! А неплохо бы было.

– Так чего же бунтуетесь? Король скоро придет, вот кого надо бояться. Князь Ярема вам как отец родной был...

– Отец... Такой же отец, как смерть – мать. Чума столько добрых молодцев не положила.

– Дальше хуже будет: вы еще не знаете князя.

– И не хотим знать. Старики наши говорят: который казак Ярему в глаза увидит, тому не миновать смерти.

– И с Хмельницким так будет.

– Бог знает, що будет. Одно верно: не жить им двоим на свете. Наш батько говорит, кабы вы ему выдали Ярему, он бы вас отпустил подобру-поздорову и с нами со всеми королю поклонился.

Тут солдаты нахмурились, засопели и зубами заскрежетали.

– Молчать, не то за сабли возьмемся.

– Сердитесь, ляхи, – говорили казаки, – а все одно вам кесим будет.

Такой шел у противников разговор: то приязненный, то вперемешку с угрозами, которые против воли срывались с уст, грому подобны. После полудня вернулся в лагерь

Зацвилюховский. Ничего не вышло из переговоров, и насчет перемирия не столковались. Хмельницкий чудовищное поставил условие: чтобы ему выдали князя и хорунжего Конецпольского. Напоследок перечислил все нанесенные запорожскому войску обиды и стал уговаривать Зацвилюховского насовсем остаться с казаками. Вспылил старый рыцарь, такое услыша, вскочил и уехал.

Вечером начался штурм, большой кровью отбитый. Весь лагерь в течение двух часов был охвачен огнем. Казаков не только отбросили от валов: пехота заняла ближние шанцы, разворотила земляные укрепления, разбила стрелковые башни и спалила еще четырнадцать гуляй-городков. Но Хмельницкий в ту ночь поклялся хану, что не отступится, пока в окопах жив будет хоть один человек.

Назавтра чем свет снова пальба, новые подкопы под валы и с утра до вечера схватки, в которых все было пущено в ход: цепи, косы, скобели, сабли, комья земли и камни. Вчерашние добрые чувства и сокрушения над пролитой христианской кровью еще большей остервенелостью сменились. С утра накрапывал дождик. В тот день солдатам был выдан половинный рацион, отчего сильно брюзжал Заглоба; впрочем, на пустой желудок ярость воинов только усугубилась. Рыцари клялись друг другу лечь костью, но не сдаваться до последнего вздоха. Вечером на штурм брошены были казаки, одетые турками, однако новые приступы длились короче прежних. Настала ночь «вельми бурливая», полная шума и криков. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Завязывались поединки: бились и по одному, и по несколько человек. Выходил и пан Лонгинус, но никто не хотел с этим рыцарем драться – по нему лишь стреляли с почтительного расстояния. Зато великую славу снискали себе Стемповский и Володыжский, который в поединке победил знаменитого рубаку Дударя.

Напоследок вышел и Заглоба, но... на поединок словесный. «Не могу я,

– говорил он, – после Бурляя об кого ни попало марать руки!» Зато остротой языка никто не мог с ним сравниться – старый шляхтич до иступления доводил казаков, когда, осмотрительно укрывшись дерниной, истошно кричал, будто из-под земли:

– Сидите, сидите под Збаражем, хамы, а войско литовское тем часом вниз по Днепру валит. Уж они поклонятся женам да девкам вашим. К весне пропасть литвинят в своих хатах найдете, если, конечно, отыщете сами хаты.

То была правда: литовское войско под командою Радзивилла и впрямь шло вниз по Днепру, все на своем пути предавая огню и мечу, лишь землю за собой оставляя и воду. Казаки об этом знали и, заходясь от ярости, в ответ подымали стрельбу – точно с дерева груши, сыпались на Заглобу пули. Но он, голову пряча за дерном, снова принимался кричать:

– Промажнулись, вражьи души, а я небось не промахнулся, когда рубился с Бурляем. Да-да, это я и есть! Знайте наших! А ну, выходи один на один! Чего, хамы, ждете! Стреляйте, покуда не допекло, по осени будете в Крыму вшей щелкать на татарчатах либо гребли на Днепре насыпать... Сюда, сюда, давайте! Грош цена вам всем вместе с вашим Хмелем! Съездите который-нибудь ему от меня по роже – Заглоба, мол, кланяется, скажите. Слышите? Что, мерзавцы? Мало еще вашего падла гниет на поле? От вас дохлятиной за версту разит! Скоро всех приберет моровая! За вилы пора браться, гологузы, за плуги! Вишни и соль вам вверх по реке возить на дубасах, а не против нас подымать руку!

Казаки не оставались в долгу: насмешничали над «панам, что втроем один сухарь грызут», спрашивали, почему оные паны не требуют со своих мужиков оброка и десятины, но Заглоба брал верх во всех перепалках. Так и велись разговоры эти, прерываемые то проклятьями, то дикими взрывами смеха, ночи напролет, под пулями, между стычками мелкими и крупными. Потом пан Яницкий ездил на переговоры к хану, который опять твердил, что всем кесим будет, пока посол не ответил, потеряв терпенье: «Вы это давно уже нам сулите, а мы все живы-здоровы!

Кто по наши головы придет, свою сложит!» Еще требовал хан, чтобы князь Иеремия съехался с его визирем в поле, но то была просто ловушка, о которой стало известно, – и переговоры были сорваны бесповоротно. Да и пока они шли, стычки не прекращались. Что ни вечер, то приступ, днем пальба из органов, из пушек, из пищалей и самопалов, вылазки из-за валов, сшибки, перемещение хоругвей, бешеные конные атаки – и все ощутимей потери, все страшнее кровопролитье.

Дух солдата поддерживался какой-то яркой жаждой борьбы, опасностей, крови. В бой шли, словно на свадьбу, с песней. Все так уже привыкли к шуму и грому, что полки, отправляемые на отдых, в самом пекле под пулями спали непробудным сном. С едою становилось все хуже, потому что региментарии до прибытия князя не запасли достаточно провианту. Дороговизна стояла ужасная, но те, у кого были деньги, покупая горелку или хлеб, весело делились с товарищами. Никто не думал о завтрашнем дне, всяк понимал: либо король подойдет на помощь, либо всем до единого смерть, – и готов был к тому и к другому, а более всего к бою. Случай небывалый в истории: десятки противостояли тысячам с таким упорством, с такой ожесточенностью, что каждый штурм оканчивался для казаков поражением. Вдобавок дня не проходило без нескольких вылазок из лагеря: осажденные громили врага в его собственных окопах. Вечерами, когда Хмельницкий, полагая, что усталость должна свалить даже самых стойких, тишком готовился к штурму, его слуха достигало вдруг веселое пенье. В величайшем изумлении колотил он себя тогда по ляжкам и всерьез начинал думать, что Иеремия, верно, и впрямь колдун почище тех, которые были в казацком таборе. И приходил в ярость, и опять подымал людей на бой, и проливал реки крови: от гетмана не укрылось, что его звезда пред звездой страшного князя начинает меркнуть.

В казацком лагере пели о Яреме песни или потихоньку рассказывали такое, от чего у молодцев волосы подымались дыбом. Говорили, будто в иные ночи он является на валу верхом на коне и растет на глазах, покуда головой не превысит збаражских башен, и что очи у него как два полумесяца светят, а меч в руке подобен той зловещей хвостатой звезде, которую господь зажигает порой в небе, предвещая людям погибель. Говорили также, что стоит ему крикнуть, и павшие в бою рыцари подымаются, звеня железом, и встают в строй с живыми рядом. У всех на устах был Иеремия: о нем пели діди-лирники, толковали старые запорожцы, и темная чернь, и татары. И в разговорах этих, в этой ненависти, в суеверном страхе находилось место странной какой-то любви, которую внушал степному люду кровавый его супостат. Да, Хмельницкий рядом с ним бледнел не только в глазах хана и татар, но и в глазах собственного народа, и видел гетман, что должен захватить Збараж, иначе чары его рассеются, как сумрак перед рассветом, видел, что должен растоптать сего льва – иначе сам погибнет.

Но лев сей не только оборонялся, а каждодневно сам выползал из логова и все страшной наносил удары. Ничто не могло его сдержать: ни измены, ни хитроумные уловки, ни прямой натиск. Меж тем чернь и казаки начинали роптать. И им тяжело было сидеть в дыму и огне, под градом пуль, дыша трупным зловоньем, в дождь и в зной, перед обличьем смерти. Но не ратных трудов страшились удалые молодцы, не лишений, не штурмов, не огня, крови и смерти – они страшились Яремы.

Глава XXVII

Много простых рыцарей стяжали бессмертную славу в достопамятные дни осады Збаража, но первым из всех восславит лютю пану Лонгина Подбипятку, ибо доблести его столь велики были, что сравниться с ними могла лишь его скромность.

Была ночь, пасмурная, темная и сырая; солдаты, утомленные бдением у валов, дремали стоя, опершись на саблю. Впервые за десять дней неустанной пальбы и штурмов воцарились тишина и покой.

Из недалеких, всего на каких-нибудь тридцать шагов отстоящих казацких шанцев не слышно было проклятий, выкриков и привычного шума. Казалось, неприятель в своих стараниях взять противника измором сам в конце концов изморился. Кое-где лишь поблескивали слабые огоньки костров, укрытых под дерном; в одном месте казак играл на лире, и тихий сладостный ее голос разносился окрест; поодаль в татарском коше ржали лошади, а на валах время от времени перекликалась стража.

В ту ночь княжеские панцирные хоругви несли в лагере пешую службу, поэтому Скшетуский, Подбипятка, маленький рыцарь и Заглоба стояли на валу, переговариваясь тихо, а когда беседа обрывалась, прислушивались к шуму наполняющего ров дождя. Скшетуский говорил:

– Странно мне спокойствие это. Столь привычны стали крики и грохот, что от тишины в

ушах звенит. Как бы подвоха in hoc silentio⁶⁰ не скрывалось.

– С тех пор, что нас на половинный рацион посадили, мне все едино! – угрюмо проворчал Заглоба. – Моя отвага трех условий требует: хорошей еды, доброй выпивки и спокойного сна. Самый лучший ремень без смазки сохнет и трещинами пойдет. А если вдобавок его в воде, точно коноплю, непрестанно мочить? Дождь нас поливает, а казаки мнут, как же с нас не сыпаться костре? Веселенькая жизнь: булка уже флорин стоит, а косушка – все пять. От вонючей этой воды и собака бы нос отворотила – колодцы доверху трупами забиты, а мне пить хочется не меньше, чем моим сапогам: вон, поразевали пасти, будто рыбы.

– Однако ж сапоги твои и этой не гнушаются водичкой, – заметил Володы, вский.

– Помолчал бы, пан Михал. Хорошо, ты чуть побольше синицы: просяное зернышко склюешь да хлебнешь из наперстка – и доволен. Я же, слава создателю, не такого мелкого сложенья, меня не курица задней ногой выгребла из песка, а женщина родила, потому есть и пить мне положено, как человеку, а не как букашке; когда с полудня, кроме слюны, во рту ничего не было, то и от шуток твоих воротит.

И Заглоба засопел сердито, а пан Михал, хлопнув себя по ляжке, молвил.

– Есть тут у меня баклажка – с казака нынче сорвал, но, будучи курицей из песка вырыт, полагаю, что и горелка от столь ничтожного червя вашей милости не придется по вкусу. – И добавил, обращаясь к Скшетускому:

– Твое здоровье!

– Дай глотнуть, холодно! – сказал Скшетуский.

– Пану Лонгину оставь.

– Ох, и плут же ты, пан Михал, – сказал Заглоба, – но добрая душа, этого у тебя не отнимешь – последнее рад отдать. Благослови господь тех кур, что подобных витязей из песка выгребают, – впрочем, говорят, они давно перевелись на свете, да и не о тебе вовсе я думал.

– Ладно уж, не хочется тебя обижать – глотни после пана Лонгина, – сказал маленький рыцарь.

– Ты что, сударь, делаешь?.. Оставь мне! – испуганно воскликнул Заглоба, глядя на припавшего к баклажке литвина. – Куда голову запрокинул? Чтоб она у тебя совсем отвалилась! Кишки твои чересчур длинны, все равно враз не наполнишь. Как в трухлявую льет колоду! Чтоб тебе пусто было.

– Я только чуточку отхлебнул, – сказал пан Лонгинус, отдавая баклажку.

Заглоба приложился поосновательней и выпил все до последней капли, а затем, фыркнув, заговорил уже веселее:

– Одно утешение, что, ежели нашим бедам конец придет и создатель дозволит из этой передрыги живыми выйти, мы себя вознаградим с лихвою. Какая-никакая кроха и нам перепадет, надеюсь. Ксендз Жабковский не дурак поесть, но за столом ему со мной нечего и тягаться.

– А что за *verba veritatis*⁶¹ вы с ксендзом Жабковским от Муховецкого услышали сегодня? – спросил пан Михал.

– Тихо! – прервал его Скшетуский. – Кто-то идет с майдана.

Друзья умолкли; вскоре какая-то темная фигура остановилась возле них и приглушенный голос спросил:

– Караулите?

– Караулим, ясновельможный князь, – ответил, вытянувшись, Скшетуский.

– Глядите в оба. Покой этот не сулит добра.

И князь отправился дальше проверять, не сморил ли где сон измаявшихся солдат. Пан Лонгинус сложил руки.

– Что за вождь! Что за воин!

– Он меньше нашего отдыхает, – сказал Скшетуский. – Каждую ночь самолично все валы

⁶⁰ в этом молчании (лат.).

⁶¹ слова правды (лат.).

– до второго пруда – обходит.

– Дай ему бог здоровья!

– Аминь.

Настало молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не могли увидеть – казацкие шанцы были спокойны. Последние огни и те погасли.

– Можно бы их всех во сне накрыть, как сусликов! – пробормотал Володы,вский.

– Как знать... – отвечал Скшетуский.

– В сон клонит, – сказал Заглоба, – глаза уже слипаются, а спать нельзя. Любопытно: когда можно будет? Стреляют, не стреляют, а ты стой, не выпуская сабли, и качайся от усталости, как еврей на молитве. Собачья служба! Ума не приложу, с чего меня так разобрало: то ли от горелки, то ли от злости на утреннюю выволочку, которой мы с ксендзом Жабковским безвинно подверглись.

– Что же случилось? – спросил пан Лонгинус. – Ты начал рассказывать, да не закончил.

– Сейчас и расскажу – авось перебьем сон! Пошли мы утром с ксендзом Жабковским в замок – поискать, не завалилось ли где чего съестного. Ходим, бродим, заглядываем во все углы – хоть шаром покати. Возвращаемся злые. А во дворе навстречу нам патер кальвинистский – явился готовить в последний путь капитана Шенберка – того, что на Фирлеевых позициях вчера был подстрелен. Я ему и говорю: «Долго ты, греховодник, здесь околачиваться будешь да на всевышнего хулу возводить? Еще навлечешь на нас немилость господню!» А он, зная, рассчитывая на покровительство каштеляна бельского, речет: «Наша вера не хуже вашей, а то и лучше!» Как сказал, нас прямо оторопь взяла от возмущенья. Но я помалкиваю! Думаю себе: ксендз Жабковский рядом, пускай поспорит. А ксендз мой как зашипит и без размышлений свой аргумент выставляет: хватъ богоотступника под ребро. Однако ответа на первый сей довод не получил никакого: тот как покатится, так и не остановился, покуда головой не уткнулся в стену. Тут случился князь с ксендзом Муховецким и на нас: что за шум, что за свара? Не время, мол, не место и не метода! Как школярам, намылили головы... Где тут, спрашивается, справедливость? *Utinam sim falsus vates*⁶², но патеры эти фирлеевские еще на нас беду накличут...

– А капитан Шенберк на путь истинный не обратился? – спросил пан Михал.

– Какое там! Как жил, заблудшая душа, так и умер.

– И чего только люди коснеют в упорстве своем, отказывая себе во спасении! – вздохнул пан Лонгинус.

– Господь нас от насилия и казацких злых чар хранит, – продолжал Заглоба, – а они еще его оскорблять смеют. Известно ли вам, любезные судари, что вчера вон с того шанца клубками ниток по майдану стреляли? Солдаты говорили, куда ни упадет клубок, в том месте земля покрывается коростой...

– Известное дело: у Хмельницкого нечистая сила на побегушках, – сказал, осеня себя крестом, Подбипытка.

– Ведьм я сам видел, – добавил Скшетуский, – и, скажу вам, милостивые государи...

Дальнейшие его слова прервал Володы,вский, который, сжав локоть Скшетуского, шепнул вдруг:

– А ну-ка, тише!..

И, подскочив к самому краю вала, стал прислушиваться.

– Ничего не слышу, – сказал Заглоба.

– Тсс!.. Дождь заглушает! – объяснил Скшетуский.

Пан Михал замахал рукой, чтоб ему не мешали, и еще несколько времени простоял, насторожившись; наконец он вернулся к товарищам и прошептал:

– Идут.

– Дай знать князю! Он на позицию Остророга пошел, – так же тихо приказал Скшетуский, – а мы побежим предупредить солдат...

И друзья, ни секунды не медля, припустились вдоль вала, по дороге то и дело

⁶² Да буду я лжепророком (лат.).

останавливаясь и тихим шепотом оповещая бодрствующих воинов:

– Идут! Идут!..

Слова неслышной зарницею полетели из уст в уста. Спустя четверть часа князь, въехав верхом на валы, уже отдавал офицерам распоряженья. Поскольку противник, видно, рассчитывал застигнуть лагерь врасплох, во сне и бездействии, князь повелел его в этом заблуждении оставить. Солдатам приказано было держаться как можно тише и подпустить врага к самой подошве вала, а затем лишь, когда пушечным выстрелом будет дан сигнал, внезапно на него ударить.

Воинам не пришлось повторять дважды: дула мушкетов бесшумно были взяты на изготовку и настало глухое молчание. Скшетуский, пан Лонгинус и Володы,вский стояли рядом; Заглоба остался с ними, зная по опыту, что наибольшее число пуль ляжет посреди майдана, а на валу, рядом с тремя такими рубаками, всего безопасней.

Он только встал чуть позади друзей, чтобы избежать первого удара. Немного поодаль опустил на колено Подбипятка с Сорвиглавцем в руке, а Володы,вский примостился рядом со Скшетуским и шепнул ему в самое ухо:

– Идут, спору нет...

– Ровно шагают.

– Это не чернь, да и не татары.

– Запорожская пехота.

– Либо янычары – они маршируют отлично. С седла бы побольше уложить можно!

– Темно нынче слишком для конного боя.

– Теперь слышишь?

– Тсс! Тише!

Лагерь, казалось, погружен был в наиглубочайший сон. Нигде ни шороха, ни огонька – сплошь гробовое молчанье, нарушаемое лишь шелестом мелкого дождичка, сеющегося как сквозь сито. Помалу, однако, к шелестению этому примешался иной, тихий, но мерный и потому более явственный шорох, который все приближался, все отчетливее становился; наконец в десятке шагов ото рва показалась какая-то продолговатая плотная масса, различимая лишь оттого, что была темноты чернее, – показалась и застыла на месте.

Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь исщипал ляжку Скшетуского, таким способом выражая свою радость.

Меж тем вражеские воины подступили ко рву, спустили в него лестницы, затем сами слезли на дно, а лестницы приставили к внешнему склону вала.

Вал по-прежнему хранил молчание, будто на нем и позади него все вымерло – тишина стояла, как в могиле.

Но кое-где все же, сколь ни осторожен был враг, перекладыны стали потрескивать и скрипеть...

«Ох, и полетят ваши головы!» – подумал Заглоба.

Володы,вский перестал щипать Скшетуского, а пан Лонгинус сжал рукоять Сорвиглавца и напряг зрение – будучи ближе всех к гребню вала, он намеревался ударить первым.

Внезапно три пары рук высунулись из мрака и ухватились за гребень, а следом, медленно и осторожно, стали подниматься три мисюрки... Выше и выше...

«Турки!» – подумал пан Лонгинус.

В эту минуту оглушительно грянули тысячи мушкетов; сделалось светло как днем. Прежде чем свет померк, пан Лонгинус размахнулся и ударил – страшен был его удар, воздух так и взвыл под клинком Сорвиглавца.

Три тела упали в ров, три головы в мисюрках скатились к коленам литвина.

Тот же час, хотя на земле стался ад, над паном Лонгинусом отверзлись небеса, крылья выросли за спиной, ангельские хоры запели в душе и в груди райское разлилось блаженство – и дрался он, как во сне, и удары его меча были точно благодарственная молитва.

И все давно представившиеся Подбипятки, начиная от прародителя Стовейки, возрадовались на небесах, ибо достоин их оказался последний живущий на земле отпрыск рода Подбипятка герба Сорвиглавец.

Штурм, в котором со стороны неприятеля главное участие принимали вспомогательные

отряды румелийских и силистрийских турок и янычары ханской гвардии, отбит был жестоко – басурманской крови пролилось больше, чем в прошлых сраженьях, что навлекло на голову Хмельницкого страшную бурю. Гетман перед приступом поручился, что турок ляхи встретят с меньшим остервенением и, если их отряды с ним пойдут, лагерью быть взяту. Пришлось ему теперь улаживать хана и рассвирепевших мурз и умягчать их сердца дарами. Хану он преподнес десять тысяч талеров, а Тугай-бею, Кош-аге, Субагази и Калге отсчитал по две тысячи. Тем временем в лагере челядь вытаскивала трупы из рва, и ни единый выстрел с шанцев ей в этом не препятствовал. Солдатам дан был отдых до самого утра, поскольку ясно было, что штурм не возобновится. Все спали крепким сном, кроме хоругвей, назначенных в караул, и пана Лонгина Подбипятки, который ночь напролет крестом пролежал на мече, благодаря богу, дозволившего ему исполнить обет и такую громкую стяжать славу, что имя его в городе и лагере не сходило с уст. Назавтра его призвал к себе князь-воевода и хвалил от души, а воинство целый день шло толпою поздравить героя да поглядеть на три головы, которые челядь принесла и положила перед его наметом и которые уже почернели на воздухе. Одни восхищались, другие завидовали, а кое-кто глазам отказывался верить: до того все три головы в своих мисюрках со стальными маковками были ровно срезаны – будто ножницами.

– Лихой ваша милость sartor!⁶³ – дивилась шляхта. – Слыхали мы о твоих рыцарских доблестях, но такому удару и герои древности могли б позавидовать – искуснейшему палачу не суметь лучше.

– От ветру шапка так не слетит, как головы эти слетели! – говорили иные.

И всяк спешил позвать пану Лонгинусу руку, а он стоял, потупясь, и сиял, и улыбался застенчиво и кротко, как невинная девица перед венчаньем, и говорил, словно бы в свое оправдание:

– Очень уж удобно они стали...

Многим хотелось испробовать его меч, но ни одному этот двуручный крыжацкий кончар по руке не пришелся, не исключая даже ксендза Жабковского, хотя тот подкову переламывал, как щепку.

Возле намета делалось все шумнее: Заглоба, Скшетуский и Володыжский принимали гостей, потчuya их рассказами, поскольку больше было нечем – в лагере уже догрызали последние сухари, да и мясо давно перевелось, если не считать вяленой конины. Но воодушевление заменяло любые яства. Под конец, когда иные начали уже расходиться, пожаловал Марек Собеский, староста красноставский, со своим поручиком Стемповским. Пан Лонгинус выбежал старосте навстречу, а тот, ласково приветствовав рыцаря, молвил:

– Сегодня у тебя, сударь, праздник.

– Конечно, праздник, – вмешался Заглоба, – приятель наш обет исполнил.

– И слава богу! – ответил староста. – Что, брат, вскоре свадьбу сыграем? Есть у тебя уже кто на примете?

Подбипятка ужасно смешался и покраснел до корней волос, а староста продолжал:

– Конфузия твоя свидетельством, что я не ошибся. Святая вашей милости обязанность заботиться, чтобы такой род не угаснул. Дай бог, чтобы побольше на свет родилось витязей, подобных вам четверым.

И, сказавши так, каждому пожал руку, а наши друзья возликовали в душе, из таких уст похвалу услыша, ибо староста красноставский являл собой образец мужества, высокого благородства и прочих рыцарских достоинств. Это был воплощенный Марс; всевышний от щедрот своих одарил его всем в изобилие: необычайною красотой лица Марек Собеский превосходил даже младшего брата своего Яна, ставшего впоследствии королем, богатством и знатностью не уступал первейшим магнатам, а военные его таланты превозносил до небес сам великий Иеремия. Чрезвычайной яркости была б та звезда на небосводе Речи Посполитой, не случись волею providения, что блеск ее перенял Ян, младший, звезда же эта угасла прежде времени в годину бедствий.

Рыцари наши весьма и весьма были обрадованы похвале героя, однако тот вовсе ею не

⁶³ портняжка (лат.

ограничился и продолжал:

– Я о вас, любезные судари, премного наслышан от самого князя-воеводы, который больше, чем к другим, к вам благоволит. Потому и не удивляюсь, что вы ему служите, не помышляя о чинах, хотя на королевской службе скорее б могли получить повышение.

На это ответил Скшетуский:

– Все мы как раз к королевской гусарской хоругви причислены, за исключением пана Заглобы, который волонтером по врожденному призванию на войну пошел. А что при князе-воеводе состоим, так это прежде всего из сердечного к его светлости расположения, а кроме того, хотелось нам бранной жизни сполна вкусить.

– И весьма разумно поступаете, если таковы ваши побуждения. Уж наверно бы ни под чьей иной рукой пан Подбипятка так скоро зарок своего не исполнил, – заметил Собеский. – А что касается бранной жизни, то в нынешнее время все мы ею по горло сыты.

– Более, нежели чем другим, – вставил Заглоба. – Ходят тут все с утра к нам с поздравлениями, но нет чтобы пригласить на чарку горелки с доброй закуской, – а это была бы наилучшая дань нашим заслугам.

Говоря эти слова, Заглоба глядел прямо в очи старосте красновоставскому и глазом своим подмаргивал хитро. Староста же молвил с улыбкой:

– У меня самого со вчера крошки во рту не было, но горелки глоток, быть может, в каком поставце и отыщется. Милости прошу, любезные судари.

Скшетуский, пан Лонгинус и маленький рыцарь принялись отнекиваться и выговаривать Заглобе, который выкручивался, как мог, и, как умел, оправдывался.

– Не напрашивался я, – говорил он. – Мое правило: свое отдай, а чужого не тронь, но, когда столь достойная особа просит, невежливо было бы отказаться.

– Идемте, идемте! – повторил староста. – И мне приятно посидеть в хорошей компании, и время есть, пока не стреляют. На трапезу не прошу: с кониной и той плохо – убьют на майдане лошадь, к ней тотчас сто рук тянется, а горелки еще пара фляжек найдется, и уж наверное для себя я их сберегать не стану.

Друзья еще упирались и отнекивались, но, поскольку староста настаивал, пошли, а Стемповский побежал вперед и так расстарался, что нашлась и закуска к водке: сухари да несколько кусочков конины. Заглоба мгновенно повеселел и разговорился:

– Даст бог, его величество король вызволит нас из этой западни – тут уж мы не замедлим до ополченских возов добраться. Они страсть сколько разных яств всегда за собою возят, о брюхе пуще заботясь, чем о Речи Посполитой. Я б по нраву своему предпочел с ними застольничать, нежели воевать, хотя, быть может, пред королевским оком и они себя неплохо покажут.

Староста сделался серьезен.

– Раз мы друг другу поклялись, – сказал он, – что все до единого ляжем костьми, а врагу не уступим, так, значит, оно и будет. Всяк должен приготовить себя, что еще горшие времена настанут. Еда на исходе; хуже того, и порох кончается. Другим я бы не стал говорить, но перед вами могу открыться. Вскоре лишь отвага в сердце да сабля в руке у каждого из нас останутся и готовность умереть – ничего больше. Дай бог, чтобы король поскорее в Збараж пришел, на него последняя надежда. Воинствен государь наш! Уж он бы не пожалел ни трудов, ни здоровья, ни живота своего, дабы от нас отвести беду, – но куда идти с такой малою силой! Надо пополнения ждать, а вам не хуже моего известно, как мешкотно собирается ополчение. Да и откуда знать его величеству, в каких обстоятельствах мы здесь оборону держим и вдобавок последние доедаем крохи?

– Мы готовы на смерть, – сказал Скшетуский.

– А если б его уведомить? – предложил Заглоба.

– Кабы сыскался доблестный муж, – молвил староста, – что рискнет через вражеский стан прокрасться, вечную б себе славу стяжал при жизни, целое войско спас и от отечества отвратил катастрофу. Хотя бы и ополчение не в целости еще собралось – самая близость короля может развеять смуту. Но кто пойдет? Кто отважится, когда Хмельницкий так загородил все выходы и дороги, что и мыши из окопов не ускользнуть? Неминучей смертью грозит подобное – это ясно!

– А для чего нам голова дана? – сказал Заглоба. – У меня уже одна мыслишка в уме

сверкнула.

– Какая же? – спросил Собеский.

– А вот такая: мы ведь что ни день берем пленных. Что, если которого-нибудь подкупить? Пусть представится, будто от нас бежал, а сам – к королю.

– Надо будет об этом переговорить с князем, – сказал староста.

Пан Лонгинус во все время этого разговора сидел молча, глубоко задумавшись, даже чело его избороздились морщинами. И вдруг, поднявши голову, молвил со всегдашней своей кротостью:

– Я берусь между казаков пробраться.

Рыцари, услышав эти его слова, в изумлении повскакали с мест; Заглоба разинул рот, Володыжский быстро-быстро задвигал усами, Скшетуский побледнел, а староста красноватый, смяв рукою бархатные свои одежды, воскликнул:

– Ваша милость за это берется?

– А ты вперед подумал, чем говорить? – спросил Скшетуский.

– Давно думаю, – отвечал литвин, – не первый день среди рыцарей идут разговоры, что надо его величество известить о нашем положении. Я как услышу, так и подумаю про себя: дозволю ли всевышнему обету исполнить – сейчас бы и отправился, без промедленья. Что я, ничтожный червь, значу? Невелика будет потеря, даже если зарубят дорогой.

– И зарубят, можешь не сомневаться! – вскричал Заглоба. – Слышал, пан староста говорил: смерти не миновать!

– Так и что с того, братушка? – сказал пан Лонгинус. – Соизволит господь, то и проведет в невредимости, а нет – вознаградит на небе.

– Но сперва тебя схватят, мукам предадут и ужасную смерть измыслят. Нет, ты, однако, рехнулся! – сказал Заглоба.

– И все ж я пойду, братушка, – кротко ответил Подбипятка.

– Птице там не пролететь – из лука подстрелят. Они ж нас кругом, как барсука в норе, обложили.

– И все ж я пойду, – повторил литвин. – Всевышний мне позволил зарок исполнить – теперь я перед ним в долгу.

– Нет, вы только на него поглядите! – кричал в отчаянии Заглоба. – Уж лучше сразу вели себе башку отрубить и из пушки выпалить по казацкому стану – только одна туда и есть дорога.

– Дозвольте, окажите милость! – взмолился литвин, складывая руки.

– Ну, нет! Один не пойдешь, я пойду с тобою, – сказал Скшетуский.

– И я с вами! – подхватил Володыжский и по сабле рукою хлопнул.

– Чтоб вас черти! – вскричал, схватившись за голову, Заглоба. – Чтоб вам провалиться с вашим «и я! и я!», с геройством вашим! Мало им еще крови, мало пальбы, смертей мало! Не хватает того, что вокруг творится: нет, ищут, где бы скорее свернуть шею! Ну и катитесь к дьяволу, а меня оставьте в покое! Чтоб вам всем головы снесли...

И, вскочив, заметался по шатру как полоумный.

– Господь меня покарал! – кричал он. – Нет чтобы со степенными людьми водиться – с ветрогонами, старый дурак, спознался! И поделом мне!

Еще несколько времени он бегал взад-вперед точно в лихорадке, наконец, остановившись перед Скшетуским, заложил руки за спину и, уставясь ему в глаза, засопел грозно.

– Что я вам худого сделал, зачем толкаете в могилу?

– Упаси нас бог! – отвечал рыцарь. – С чего ты взял?

– Что пан Подбипятка такие несутости говорит, не диво! У него весь ум в кулаки ушел, а с тех пор, как три наипустейшие турецкие башки снес, и последнего соображенья лишился...

– Слушать гадко, – перебил его литвин.

– И этому я не дивлюсь, – продолжал Заглоба, тыча в Володыжского пальцем. – Он любому казаку за голенище вспрыгнет либо прицепится к шароварам, как репей к собачьему хвосту, и скорей всех нас пролезет куда угодно. Ладно, на этих двоих не сошел святой дух, но, когда и ты, сударь, вместо того чтобы от безумного шага удержать глупцов, только их подзуживаешь, заявляя, что сам пойдешь, и всех четверых нас на муки и верную смерть обречь хочешь, – это уж... последнее дело! Тьфу, черт, не ждал я такого от офицера, которого сам

князь уважает за степенство.

– Как это четверых? – удивленно переспросил Скшетуский. – Неужто и ты, сударь?..

– Да, да! – вскричал, колотя себя кулаком в грудь, Заглоба. – И я тоже. Если который-нибудь один отправится или все трое – пойду и я с вами. Да падет моя кровь на ваши головы! В другой раз буду глядеть, с кем завожу дружбу.

– Ну и ну! – только и сказал Скшетуский.

Трое рыцарей бросились обнимать старого шляхтича, но он, всерьез осердясь, сопел и отпихивал их локтями, приговаривая:

– Отвяжитесь, ну вас к дьяволу! Обойдусь без иудиних поцелуев!

Вдруг на валах загремели мушкеты и пушки. Заглоба прислушался и сказал:

– Вот вам! Идите!

– Обычная перестрелка, – заметил Скшетуский.

– Обычная перестрелка! – передразнил его шляхтич. – Подумать только! Им еще мало. Войско от этой обычной перестрелки истаяло вполовину, а для них все детские забавы.

– Не кручинься, сударь, – сказал Подбипятка.

– Помолчал бы, литва-ботва! – рявкнул Заглоба. – Больше всех ведь повинен. Кто затеял эту безумную авантюру? Глупей, хоть тресни, нельзя было придумать!

– И все ж таки я пойду, братушка, – отвечал пан Лонгинус.

– Пойдешь, пойдешь! А я знаю, почему! Нечего героя строить, тебя насквозь видно. Непорочность не терпит сбыть, вот и спешишь ее из крепости унести. Из всех рыцарей ты наихудший, а не наилучший вовсе, потаскуха, продающая добродетель! Тьфу! Наказанье господне! Так-то! Не к королю ты поспешаешь – тебе бы на волю да взбрыкнуть хорошенько, как на выгоне жеребцу... Полюбуйтесь: рыцарь невинностью торгует! Омерзение, как бог свят, чистое омерзенье!

– Слухать гадко! – вскричал, затыкая уши, пан Лонгинус.

– Довольно пререкаться! – серьезно проговорил Скшетуский. – Подумаем лучше о деле!

– Погодите, Христа ради! – вмешался староста красноставский, до тех пор с изумлением слушавший речи Заглобы. – Великое это дело, но без князя мы решать не вправе. Нечего спорить, любезные судари. Вы на службе и обязаны слушаться приказов. Князь сейчас должен быть у себя. Пойдемте к нему, послушаем, что он на вашу пропозицию скажет.

– То же, что и я! – воскликнул Заглоба, и лицо его осветилось надеждой. – Идемте скорее.

Они вышли на майдан, уже осыпaeмый пулями из казацких шанцев. Войско выстроилось у валов, которые издали казались уставлены ярмарочными ятками

– столько на них было развешано старой пестрой одежды, кожухов, столько понаставлено повозок, изодранных палаток и всяческого роду предметов, могущих служить заслоном от пуль, так как порой по целым неделям стрельба не утихала ни днем, ни ночью. И теперь над этими лохмотьями висела долгая голубоватая полоса дыма, а перед ними виднелись красные и желтые шеренги лежащих солдат, без устали стреляющих по ближайшим неприятельским шанцам. Сам майдан подобен был гигантской свалке; на ровной площадке, изрытой заступами, истоптанной копытами, даже травинки нигде не зеленелось. Только высились кучи свежей земли в тех местах, где солдаты рыли могилы и колодцы, да валялись там и сям обломки разбитых телег, орудий, бочек вперемешку с грудями обглоданных, выбеленных солнцем костей. А вот трупа конского нельзя было увидеть – всякий тотчас прибирался на прокормление войску, зато на глаза то и дело попадались горы железных, большей частью уже порыжелых от ржавчины пушечных ядер, которые каждый день обрушивал на этот клочок земли неприятель. Беспощадная война и голод на каждом шагу оставляли след. На пути рыцарям нашим встречались солдаты то большими, то малыми группами: одни уносили раненых и убитых, другие спешили к валам помочь товарищам, от усталости падающим с ног; лица у всех почернелые, осунувшиеся, заросшие, в глазах мрачный огонь, одежда выцветшая, изорванная, на голове зачастую вместо шапок и шлемов грязные тряпицы, оружие исковеркано. И невольно в уме возникал вопрос: что станет с этой горсткой неодолимых дотолем смельчаков, когда пройдет еще одна, еще две недели...

– Глядите, досточтимые судари, – говорил староста, – пора, пора оповестить его величество короля.

– Беда уже, как пес, щерит зубы, – отвечал маленький рыцарь.

– А что будет, когда лошадей съедим? – сказал Скшетуский.

Так переговариваясь, дошли до княжских шатров, стоящих у правой оконечности вала; возле шатров толпилось более десятка конных рассыльных, задачей которых было развозить по лагерю приказы. Лошади их, кормленные искрошенной вяленой кониной и от этого постоянно страдающие нутром, взбрыкивали и вставали на дыбы, ни за что не желая стоять на месте. И так все кони во всех хоругвях: когда кавалерия теперь шла в атаку, чудилось, стадо кентавров или грифов несется по полю, более воздуха, нежели земли касаясь.

– Князь в шатре? – спросил староста у одного из гонцов.

– У него пан Пшиемский, – ответил тот.

Собеский вошел первым, не доложившись, а четверо рыцарей остались перед шатром.

Но в самом скором времени полог откинулся и высунул голову Пшиемский.

– Князь незамедлительно желает вас видеть, – сказал он.

Заглоба вошел в шатер, полный радужных надежд, так как полагал, что князь не захочет лучших своих рыцарей посылать на верную гибель, однако же он ошибся: не успели друзья поклониться, как Иеремия молвил:

– Сказывал мне пан староста о вашей готовности выйти из лагеря, и я лишь одобрить могу это благое намерение. Ничто не есть слишком большая жертва для отчизны.

– Мы пришли испросить позволения твоей светлости, – отвечал Скшетуский, – ибо только ты, ясновельможный князь, животом нашим распорядиться волен.

– Так вы все четверо идти хотите?

– Ваша светлость! – сказал Заглоба. – Это они хотят – не я; бог свидетель: я сюда не похвалиться пришел и не о заслугах своих напоминать, а если и напомню, то для того лишь, чтобы ни у кого не закралось подозрения, будто Заглоба струсил. Пан Скшетуский, Володыжский и пан Подбипятка из Мышикишек – достойнейшие мужи, но и Бурляй, который от моей руки пал (о прочих подвигах умолчу), тоже великий был воитель, стоящий Бурдабута, Богуна и трех янычарских голов, – посему полагаю, что в искусстве рыцарском я им не уступлю. Но одно дело – храбрость, а совсем другое – безумье. Крыльями мы не наделены, а по земле не пробраться – это ясно как божий день.

– Стало быть, ты не идешь? – спросил князь.

– Я сказал: не хочу идти, но что не иду, не говорил. Раз уж господь однажды покарал меня, этих рыцарей в друзья предназначив, стало быть, я обязан сей крест нести до гроба. А тугο придется, сабля Заглобы еще пригодится... Одного только не могу понять: какой будет толк, если мы все четверо головы сложим, потому уповаю, что ваша светлость погибели нашей допустить не захочет и не дозволит совершить такое безрассудство.

– Ты верный товарищ, – ответил князь, – весьма благородно с твоей стороны, что друзей оставлять не желаешь, но уповал ты на меня напрасно: я вашу жертву принимаю.

– Все пропало! – буркнул Заглоба и в совершенное пришел унынье.

В эту минуту в шатер вошел Фирлей, каштелян бельский.

– Светлейший князь, – сказал он, – мои люди схватили казака, который говорит, что нынче в ночь штурм назначен.

– Мне уже известно об этом, – ответил князь. – Все готово; пусть только с насыпкой новых валов поспешат.

– Уже заканчивают.

– Это хорошо! – сказал князь. – До вечера переберемся.

И затем обратился к четверке рыцарей:

– После штурма, если ночь выдастся темная, наилучшее время выходить.

– Как так? – удивился каштелян бельский. – Твоя светлость вылазку приготовляет?

– Вылазка своим чередом, – сказал князь, – я сам поведу отряд; сейчас не о том речь. Эти рыцари берутся прокрасться через вражеский стан и уведомить короля о нашем положении.

Каштелян, пораженный, широко раскрыл глаза и всех четырех поочередно обвел взглядом.

Князь довольно улыбнулся. Была за ним такая слабость: любил Иеремию, чтоб восхищались его людьми.

– О господи! – вскричал каштелян. – Значит, еще не перевелись такие души на свете? Да прости меня бог! Я вас от этого смелого предприятия отговаривать не стану!..

Заглоба побагровел от злости, но промолчал, только засопел, как медведь, князь же, поразмыслив, обратился к друзьям с такими словами:

– Не хотелось бы мне, однако, понапрасну вашу кровь проливать, и всех четверых разом отпустить я не согласен. Поначалу пускай один идет; казаки, если его убьют, не преминут тот же час похвалиться, как уже сделали однажды, предав смерти моего слугу, которого схватили подо Львовом. А тогда, ежели первому не повезет, пойдет второй, а затем, в случае надобности, и третий, и четвертый. Но, быть может, первый проберется благополучно – зачем тогда других без нужды посылать на погибель?

– Ваша светлость... – перебил князя Скшетуский.

– Такова моя воля и приказ, – твердо сказал Иеремия. – А чтоб не было промежду вас спору, назначаю первым идти тому, кто вызвался первый.

– Это я! – воскликнул, просяив, пан Лонгинус.

– Нынче после штурма, если ночь выдастся темная, – повторил князь. – Писем к королю никаких не дам; что видел, сударь, то и расскажешь. А как знак возьми сей перстень.

Подбипятка с поклоном принял перстень, а князь сжал голову рыцаря обеими руками, потом поцеловал несколько раз в чело и сказал с волнением:

– Близок ты моему сердцу, словно брат родной... Да хранят тебя на пути твоём вседержитель и царица небесная, воин божий! Аминь!

– Аминь! – повторили староста красноставский, пан Пшиемский и каштелян бельский.

У князя слезы стояли в глазах, – вот кто истинный был отец солдатам!

– и прочие прослезились, а у Подбипятки дрожь одушевления пробежала по телу и огонь запылал во всякой жилке; возликовала эта чистая, смиренная и геройская душа, согретая надеждой скорой жертвы.

– В истории записано будет имя твое! – воскликнул каштелян бельский.

– *Non nobis, non nobis, sed nomine Tuo, Domine*⁶⁴, – промолвил князь.

Рыцари вышли из шатра.

– Тьфу, что-то мне глотку схватило и не отпускает, а во рту горько, как от полыни, – сказал Заглоба. – И эти вс., палят, разрази их гром!.. – добавил он, указывая на дымящиеся казацкие шанцы. – Ох, тяжело жить на свете! Что, пан Лонгин, твердо твое решение ехать?.. Да уж теперь ничего не изменишь! Храни тебя ангелы небесные... Хоть бы мор какой передушил этих хамов!

– Я должен с вами, судари, проститься, – сказал пан Лонгинус.

– Это почему? Ты куда? – спросил Заглоба.

– К ксендзу Муховецкому, братушка, на исповедь. Душу грешную надо очистить.

Сказавши так, пан Лонгинус поспешно зашагал к замку, а друзья повернули к валам. Скшетуский и Володыжский молчали как убитые, Заглоба же рта не закрывал ни на минуту:

– Ком застрял в глотке и ни взад ни вперед. Вот не думал, что так жаль мне его будет. Нет на свете человека добродетельнее! Пусть попробует кто возразить – немедля в морду получит. О боже, боже! Я думал, каштелян бельский вас удержит, а он только масла в огонь подлил. Черт принес еретика этого! «В истории, говорит, будет записано твое имя!» Пускай его имя запишут, да только не на Лонгиновой шкуре. Чего б ему самому не отправиться? Небось у кальвиниста паршивого, как у них у всех, на ногах по шесть пальцев – ему и шагать легче. Нет, судари мои, мир все хуже делается, и не зря, видно, ксендз Жабковский скорый конец света пророчит. Давайте-ка посидим немного у валов да пойдем в замок, чтобы обществом приятеля нашего хотя бы до вечера насладиться.

Однако Подбипятка, исповедавшись и причастившись, остаток дня провел в молитвах и явился лишь вечером перед началом штурма, который был одним из самых ужаснейших, потому что казаки ударили как раз в ту минуту, когда войска с орудиями и повозками перебирались на свеженасыпанные валы. Поначалу казалось, ничтожные польские силы не

⁶⁴ Не нам, не нам, но имени твоему, господи (лат.)

сдержат натиска двухсоттысячной вражеской рати. Защитники крепости смешались с неприятелем

– свой своего не мог отличить – и трижды так меж собой схватывались. Хмельницкий напряг все силы, поскольку и хан, и собственные полковники объявили ему, что этот штурм будет последним и впредь они намерены лишь голодом изнурять осажденных. Но все атаки в продолжение трех часов были отбиты с огромным уроном для нападающих: позднее разнесся слух, будто в этой битве пало около сорока тысяч вражеских воинов. И уж доподлинно известно, что после сражения целая гряда знамен была брошена к ногам князя, – то был в самом деле последний большой штурм, после которого еще труднее времена настали, когда осаждающие подкапывались под валы, похищали повозки, беспрестанно стреляли, когда пришли беда и голод.

Неутомимый Иеремия немедленно по окончании штурма повел падающих с ног солдат на вылазку, которая закончилась новым погромом врага, – и лишь после этого тишина объяла оба лагеря.

Ночь была теплая, но пасмурная. Четыре черные фигуры бесшумно и осторожно подвигались к восточной оконечности вала. То были пан Лонгинус, Заглоба, Скшетуский и Володыжский.

– Пистолеты хорошенько укрой, чтобы порох не отсырел, – шептал Скшетуский. – Две хоругви всю ночь будут стоять наготове. Выстрелишь – примчимся на помощь.

– Темно, хоть глаз выколи! – пробормотал Заглоба.

– Оно и лучше, – сказал пан Лонгинус.

– А ну, тихо! – перебил его Володыжский. – Я что-то слышу.

– Ерунда – умирающий какой-нибудь хрипит!..

– Главное, тебе до дубравы добраться...

– Господи Иисусе! – вздохнул Заглоба, дрожа как в лихорадке.

– Через три часа начнет светать.

– Пора! – сказал пан Лонгинус.

– Пора, пора! – понизив голос, повторил Скшетуский. – Ступай с богом!

– С богом! С богом!

– Прощайте, братья, и простите, ежели перед кем виновен.

– Ты виновен? О господи! – вскричал Заглоба, бросаясь ему в объятья.

И Скшетуский с Володыжским поочередно облобызали друга. В эту минуту рыцари не смогли сдержать рвущихся из груди рыданий. Один лишь пан Лонгинус оставался спокоен, хотя и был до глубины души растроган.

– Прощайте! – еще раз повторил он.

И, приблизившись к гребню вала, спустился в ров; через минуту его черная тень показалась на другом краю рва, и, в последний раз послав товарищам прощальный привет, пан Лонгинус скрылся во мраке.

Меж дорогой на Залощицы и трактом, ведущим из Вишневца, тянулась дубрава, пересекаемая узкими лужайками и переходящая в бор, старый, густой и бескрайний, уходящий куда-то далеко, дальше Залощиц, – туда и решил пробраться Подбипятка.

Путь этот был очень опасен: чтобы достичь дубравы, надлежало пройти вдоль всего казацкого стана, но пан Лонгинус намеренно выбрал эту дорогу, потому что в таборе ночью вертелось более всего людей и караульные меньше приглядывались к проходящим. Впрочем, на всех иных дорогах и тропках, в оврагах и зарослях были расставлены сторожевые посты, которые регулярно объезжали есаулы, сотники, полковники, а то и сам Хмельницкий. Идти же через луга и далее берегом Гнезны нечего было и думать: там от сумерек до рассвета на выгонах не смыкали глаз татарские конепасы.

Ночь была теплая, облачная и столь темная, что в десяти шагах не то чтобы человека, даже дерево разглядеть было трудно. Обстоятельство это было для пана Лонгинуса благоприятно, хотя, с другой стороны, идти приходилось очень медленно и осторожно, чтобы не угодить в какую-нибудь из ям или окопов, разбросанных по всему бранному полю, изрытому польскими и казацкими руками.

Так он добрался до второй линии валов, которые были оставлены лишь перед

наступлением ночи, и, переправившись через ров, пустился крадучись к казацким апрошам и шанцам. Вблизи них постоял и прислушался: шанцы были пусты. В последовавшей за штурмом вылазке Иеремия вытеснил оттуда казаков: кто не poleg, схоронился в таборе. На склонах и гребнях насыпей во множестве лежали трупы. Пан Лонгинус поминутно спотыкался о неподвижные тела, переступал их и шел дальше. Порой слабый стон или вздох давали знать, что некоторые из лежащих еще живы.

Обширное пространство за валами, тянувшееся до первого ряда окопов, вырытых еще региментариями, тоже было усеяно телами павших. Ям и канав тут было еще больше, и через каждые полсотни шагов стояли земляные прикрития, в темноте похожие на стога сена. Но и землянки эти были пусты. Повсюду царила мертвая тишина, ни огонька, ни живой души – лишь бездыханные тела там, где был когда-то майдан.

Пан Лонгинус шел вперед, шепча молитву за души polegших. Шумы польского лагеря, сопутствовавшие ему вплоть до вторых валов, затихали, терялись в отдалении, покуда не замерли совершенно. Рыцарь остановился и в последний раз посмотрел назад.

Но разглядеть он почти уже ничего не смог, потому что огней в лагере не было вовсе; одно лишь оконце в замке тускло мерцало, словно звездочка, которая то покажется, то спрячется за облаками, словно светлячок в ночь на Ивана Купалу, вспыхивающий и гаснущий попеременно.

«Братья мои, увижу ли вас еще в жизни?» – подумал пан Лонгинус.

И тоска тяжелым камнем легла на сердце, стеснила дыханье. Там, где дрожит этот мерцающий огонек, – свои, близкие: князь Иеремия, Скшетуский, Володыжский, Заглоба, ксендз Муховецкий; там его любят и готовы защитить, а здесь ночь, пустота, мрак, недвижные тела под ногами, вереницы душ и впереди стан проклятых кровопийц, враги, не знающие сострадания.

Еще тяжелее сделался камень на сердце – не под силу даже нашему исполину. И в душу пана Лонгинуса закрались сомнения.

Бледная тень тревоги прилетела из темноты и принялась нашептывать в ухо: «Не пройдешь, невозможно это! Возвращайся, пока не поздно! Выстрели из пистолета, и целая хоругвь бросится тебе на помощь. Через таборы эти, промежду дикого люда никогда никому не пройти...»

Польский лагерь, изо дня в день осыпaeмый пулями, где царили голод и смерть, а воздух был пропитан трупным зловоньем, в тот миг показался пану Лонгину тихой и безопасной гаванью.

Друзья ни словом не попрекнули его, если он вернется. Он скажет, что предприятие это превосходит людские силы, и они сами, послушав его, не пойдут и не пошлют никого другого – и далее станут ждать милости господней и королевской.

А если Скшетуский пойдет и погибнет?

«Во имя отца, и сына, и святого духа! Все это искуc сатанинский, – подумал Лонгинус. – Смерть принять я готов, а ничего горше меня не постигнет. Это дьявол насылает страх на слабую душу; мертвые тела, мрак, пустыня – сатана ничем не погнушается».

Неужто рыцарь позором себя покроет, славу свою позволит запятнать, обесчестит доброе имя – войско от гибели не спасет, пренебрежет венцом небесным? Нет, никогда!

И пошел дальше, вытягивая пред собою руки.

Вдруг опять ему послышался глухой шум, но уже не из польского стана, а с противной стороны – неясный пока, но густой и грозный, будто в темном лесу внезапно зарычал медведь. Однако тревога уже оставила душу пана Лонгина, тоска более не стесняла груди, а уступила место сладостным воспоминаниям о близких, и тогда, словно в ответ на угрозу, надвигающуюся из табора, он еще раз повторил в душе: «И все ж я пойду».

Спустя еще несколько времени он оказался на том самом побоище, где в день первого штурма княжеская конница разбила янычар и казаков. Дорога здесь выровнялась, меньше попадалось ровов, ям, землянок, и почти совсем не стало трупов – казаки успели прибрать тела павших в первых сражениях. И светлее немного сделалось, так как никакие препятствия не застили теперь пространства. Поле отлого спускалось к югу, но пан Лонгинус сразу свернул круто, намереваясь проскользнуть между западным прудом и казацким станом.

Теперь он шел быстро, без задержек и уже, казалось, достиг границы табора, когда новые звуки заставили его насторожиться.

Рыцарь тотчас остановился и после недолгого ожидания услышал приближающийся топот и фыркание лошадей.

«Казацкий дозор!» – подумал он.

Тут слуха его достигли людские голоса, и он стремглав кинулся вбок, а нащупав ногой первую же неровность почвы, упал на землю и замер, вытянувшись во весь рост, сжимая в одной руке пистолет, а в другой меч.

Между тем всадники подъехали еще ближе и наконец совершенно с ним поравнялись. Было так темно, что он не мог их пересчитать, зато слышал каждое слово из разговора.

– Им тяжело, но и нам не легче, – говорил какой-то сонный голос. – А сколько добрых молодцев грызет землю!

– Господи! – отозвался другой голос. – Говорят, король недалече... Что с нами будет?

– Хан разгневался на нашего батька, а татары грозятся нас повязать, коли больше некого будет.

– И на выгонах с нашими сцепляются то и дело. Батько заказал в ихние коши ходить – кто пойдет, обратно не ворочается.

– Говорят, среди торговцев, что за войском идут, переодетые ляхи есть. Чтоб уж ей конец пришел, войне этой!

– Пока только хуже стало.

– Король с ляшской ратью близко – вот он самый страх-то!

– Эх, то ли дело на Сечи – спал бы сейчас и забот не ведал, а тут шастай по ночам, как сіромаха.

– А здесь и впрямь, верно, сіромахи водятся: эвон как храпят кони.

Голоса помалу отдалялись и наконец совсем не стали слышны. Пан Лонгинус поднялся и пошел дальше.

Зарядил дождичек, мелкий, как осенняя морось. Сделалось еще темнее.

Слева от пана Лонгина, верстах в двух, сверкнул слабенький огонек, потом второй, третий, десятый. Теперь уже ясно было, что он на краю табора.

Огоньки были неярки и редки – видно, в лагере все уже спали, может, кое-где только пили либо стряпали еду на завтра.

– Благодарение господу, что я после штурма и вылазки вышел, – сказал себе пан Лонгинус. – Устали они, должно быть, смертельно.

Едва он так подумал, вдалеке снова послышался конский топот – второй дозор ехал навстречу.

Земля в том месте оказалась более горбиста, потому и спрятаться было легче. Караульщики проехали так близко, что чуть не зацепили пана Лонгина. К счастью, лошади, привыкшие к лежащим вокруг телам, не испугались. Лонгинус пошел дальше.

На протяжении какой-нибудь тысячи шагов он еще дважды натыкался на патрулей. Видимо, табор по всей окружности охранялся пуще глаза. Пан Лонгинус только радовался в душе, что не встречает пеших дозоров, которые обыкновенно выставлялись на подступах к лагерю, чтобы оповещать конную стражу.

Но радость его была недолгой. Не прошел он и версты, как впереди, не далее чем в десяти шагах, замаячила черная фигура. Сколь ни бесстрашен был пан Лонгинус, однако почувствовал словно бы легкую дрожь в крестце. Отступить или сворачивать было уже поздно. Фигура пошевелилась, должно быть, его приметив.

Минута растерянности была краткой, как вздох. Из тьмы раздался приглушенный голос:

– Это ты, Василь?

– Я, – тихо ответил Лонгинус.

– Горелка есть?

– Есть.

Пан Лонгинус подошел ближе.

– Чегой-то ты такой длинный? – испуганно спросил тот же голос.

Что-то взбурлило во мраке. Короткий, мгновенно захлебнувшийся вскрик: «Госп!...» –

вырвался из уст часового, и вот уже будто треск переламываемых костей раздался, тихое хрипенье, и казацкий стражник тяжело повалился на землю.

Пан Лонгинус продолжал свой путь.

Но теперь он оставил прежнее направление, так как оно, видно, совпадало с линией караульных постов, а взял ближе к табору, рассчитывая пройти между рядом телег и караульщиками – у них за спиною. Если второй цепочки постов не выставлено, рассудил пан Лонгинус, в этом пространстве ему могут встретиться лишь казаки, идущие из лагеря часовым на смену. Конным дозорным там нечего делать.

Минуту спустя стало ясно, что второго ряда сторожевых постов нету. Зато табор был не далее чем на расстоянии двух выстрелов из лука, – и, странное дело, казалось, все приближался, хотя пан Лонгинус старался идти вдоль вереницы возов.

Оказалось также, что не все в таборе спали. Подле тлеющих кое-где костров виднелись сидящие фигуры. В одном месте костер был побольше – и даже настолько ярок, что отблеск его чуть не упал на пана Лонгина, отчего рыцарю снова пришлось отступить к постам, чтобы не попасть в полосу света. Издали можно было разглядеть висящих близ огня на крестообразных столбах волов, с которых скотобой сдирали шкуры. Изрядно людей, собравшись кучками, наблюдало за их работой. Некоторые тихонько подыгрывали скотобоям на сопелках. Это была часть лагеря, занятая чабанами. Следующие ряды телег терялись во мраке.

Освещенный скупыми огнями край табора вновь как бы пододвинулся к пану Лонгину. Поначалу эта стена была только по правую от него руку, но вдруг он увидел ее и перед собою.

Тогда наш рыцарь остановился и задумался, что делать дальше. Он был окружен. Обозы, татарский кош и таборы черного люда точно кольцом обхватывали весь Збараж. Внутри этого кольца расставлены были посты и кружили дозорные, чтобы никто не мог проскользнуть незаметно.

Положение пана Лонгинуса было ужасно. Теперь ему оставалось либо пробираться среди телег, либо искать лазейки меж казацким станом и кошем. Иначе можно было до рассвета бродить по кругу – разве что он бы надумал вернуться в Збараж, но и в этом даже случае ничего не стоило попасть в руки стражи. Однако пан Лонгин понимал, что из-за неровностей почвы возы не могут стоять друг к другу вплотную. В их рядах должны оставаться промежутки, и немалые, чтобы можно было не только пройти наружу, но и конница свободно проезжала. Пан Лонгинус решил отыскать такой проход и с этой целью еще ближе подошел к телегам. Отблески горящих там и сям костров могли оказаться предательскими, но, с другой стороны, были ему полезны: иначе он бы не разглядел ни телег, ни дороги между ними.

И в самом деле, затратив на поиски не больше четверти часа, он нашел дорогу и легко ее распознал, потому что она черной лентой вилась между возами. Костров на ней не было, да и казаки не должны были быть – чтобы не загораживать коннице путь. Пан Лонгинус лег на живот и пополз в черную расщелину, как змея в нору.

Прошло еще пятнадцать минут, еще полчаса, а он все полз, шепча молитву, вверяя защите небесных сил свое тело и душу. Ему подумалось, что, быть может, судьба всего Збаража зависит сейчас от того, проберется ли он сквозь это ущелье, и потому просил всевышнего не только за себя, но и за тех, кто в ту минуту молились за него в окопах.

По обеим сторонам было все спокойно. Человек не пошевелился, конь не всхрапнул, пес не залаял – и пан Лонгинус вышел из табора. Теперь перед ним чернелся густой кустарник, за которым начиналась дубрава, а за дубравой бор, идущий до самого Топорова, а за бором король, избавление и слава за заслуги перед людьми и богом. Что были срубленные три головы в сравнении с этим деяньем, для которого требовалось нечто большее, нежели твердая рука!

Пан Лонгинус сам чувствовал, сколь велико отличие, но не исполнилось гордыни чистое его сердце, нет: точно сердце ребенка, исторгло оно слезы благодарности.

И поднялся он, и зашагал дальше. Дозоров позади телег уже не стояло, а если и стояли, то в малом числе, и избежать их было нетрудно. Между тем дождь разошелся и шелестел в зарослях, заглушая шаги рыцаря. Вот когдагодились длинные ноги пана Лонгинуса: где другой сделал бы пять шагов, ему одного хватало; только и трещали кусты под стопой исполина. Вереница возов все удалялась, дубрава приближалась, а с ней приближалось спасенье.

Вот наконец и дубы! Ночь под ними черна, как в преисподней. Но оно и лучше. Поднялся легкий ветерок, и дубы негромко шумят – можно сказать, бормочут молитву: «Великий боже, милосердный боже, охрани этого рыцаря, ибо се слуга твой и верный сын земли, на которой мы выросли тебе во славу!»

Вот уже от польских окопов добрых полторы мили отделяют пана Лонгина. Пот заливает ему чело, потому что в воздухе сделалось парно, похоже, будет гроза, но он идет вперед, не страшась грозы, так как в сердце его ангельские поют хоры. Дубрава редееет. Верно, сейчас покажется поляна. Дубы зашелестели сильнее, словно желая сказать: «Погоди, среди нас тебе безопасней», – но рыцарь не может медлить и вступает на открытую лужайку. Один лишь стоит посреди нее дуб, но всех других больше и выше. К нему и направляется пан Лонгинус.

Вдруг, когда до дуба остается какая-нибудь дюжина шагов, из-под развесистых ветвей исполина выскакивают два десятка черных фигур и кидаются к рыцарю, точно волки.

– Кто ты? Кто ты?

Язык их непонятен, на головах островерхие шапки – это татары, конепасы, которые схоронились здесь от дождя.

В эту секунду красная молния озарила поляну, дуб, узкоглазые зверские лица и шляхтича-великана. Дикая вопль всколыхнул воздух, и мгновенно закипела схватка.

Словно волки на оленя, бросились татары на пана Лонгина, вцепились в него жилистыми руками, но он только плечами повел, и нападающие все посыпались наземь, как с дерева спелые груши. Тот же час заскрежетал в ножнах страшный Сорвиглавец – и вот уже стон полетел к небу, вой, зов на помощь, свист меча, умирающих хрипы, ржание испуганных лошадей, треск ломающихся татарских сабель. Тихая поляна огласилась наижутчайшими звуками, какие только может исторгнуть человеческая глотка.

Татары еще дважды наваливались на рыцаря всем скопом, но он успел прислониться спиной к дубу, а спереди прикрылся бешеным круговращением меча – и страшны были его удары. Трупы зачернелись у его ног – оставшиеся в живых, охваченные паническим ужасом, отступили.

– Див! Див! – раздались дикие вопли.

И не остались без ответа. Получаса не прошло, как пешие и конные сплошь запрудили поляну. Казаки бежали и татары, с косами, кольями, луками, с пучками горящих лучин. Из уст в уста вперебой полетели торопливые вопросы:

– Что такое, что приключилось?

– Див! – отвечали конепасы.

– Див! – повторяли в толпе. – Лях! Див! Бей его! Живого бери! Живого!

Пан Лонгинус двоекратно выстрелил из пистолетов, но выстрелы эти уже не могли быть услышаны друзьями в польском стане.

Меж тем толпа надвигалась полукружьем, он же стоял в тени – исполин, прижавшийся к дереву, – и ждал, сжимая в руке меч.

Толпа подступала все ближе. Наконец прогремели слова команды:

– Взять его!

Все до единого бросились к дубу. Крики умолкли. Те, что не могли протолкнуться вперед, светили остальным. Людской водоворот забурился под деревом. Только стоны вылетали из этой завети, и долгое время ничего нельзя было разглядеть. Но вот вопль ужаса вырвался из груди нападающих. Толпа рассеялась в одну минуту.

Под деревом остался лишь пан Лонгинус, а под ногами у него – груда тел, еще содрогающихся в предсмертной агонии.

– Веревок, веревок! – раздался чей-то голос.

Верховые стремглав поскакали за веревками и мгновенно воротились. Тотчас человек по пятнадцать здоровенных мужиков ухватили с обоих концов длинный канат с намерением прикрутить пана Лонгина к дубу.

Но пан Лонгин несколько раз взмахнул мечом – и мужики попадали на землю. С тем же успехом маневр повторили татары.

Поняв, что всем скопом нападать – только мешать друг другу, и желая во что бы то ни стало схватить великана живым, попытали удачу еще десятка полтора смельчаков-ногайцев, но

пан Лонгинус раскидал их, как вепрь остервенелую собачью свору. Дуб, сросшийся из двух могучих стволов, имел в середине как бы впадину, дававшую рыцарю защиту, – всякий же, кто приближался спереди на длину меча, умирал, не издав даже вскрика. Нечеловеческая сила Подбипятки, казалось, только возрастала с каждой минутой.

Завидя такое, разъяренные ордынцы оттеснили казаков, и со всех сторон понеслись дикие крики:

– У-к! У-к!..

И тут, при виде луков и доставаемых из колчанов стрел, понял пан Подбипятка, что близится его смертный час, и начал молиться пресвятой деве.

Сделалось тихо. Толпа притаила дыханье, ожидая, что будет дальше.

Первая стрела свистнула, когда пан Лонгинус проговорил: «Матерь искупителя!» – и оцарапала ему висок.

Вторая стрела свистнула, когда пан Лонгинус вымолвил: «Преславная дева!» – и застряла у него в плече.

Слова литании смешались со свистом стрел.

И когда пан Лонгинус сказал: «Утренняя звезда!», стрелы уже торчали у него в плечах, в боку, в ногах... Кровь из раны на виске заливала глаза, и уже словно сквозь мглу видел он татар, поляну и свиста стрел уже не слышал. Чувствовал лишь, что слабеет, что ноги подламываются, голова упадет на грудь... и наконец рухнул на колена.

Еще он успел сказать со стоном: «Царица ангелов!» – и то были последние его слова на земле.

Ангелы небесные подхватили его душу и положили, словно светлую жемчужину, к ногам «царицы ангелов».

Глава XXVIII

На следующее утро Володыжский с Заглобой стояли на валу среди воинства, не спуская глаз с табора, откуда валила толпа черни. Скшетуский был на совете у князя, наши же рыцари, воспользовавшись передышкой, поминали вчерашний день и гадали, отчего оживился неприятельский стан.

– Не к добру это, – сказал Заглоба, показывая на близящуюся огромную черную тучу. – Верно, снова на приступ пойдут, а тут уже руки отказываются служить.

– Какой еще в эту пору, среди бела дня, приступ! – возразил маленький рыцарь. – Разве что вчерашний наш вал займут и под новый начнут подкопы да палить с утра до вечера станут.

– Хорошо бы пугнуть их из пушек.

На что Володыжский ответил, понизив голос:

– С порохом плохо. При таком расходе, боюсь, и на шесть дней не хватит. Но к тому времени король подоспеть должен.

– Эх, будь что будет. Только бы пан Лонгинус, бедолага наш, благополучно пробрался! Я ночью глаз не сомкнул, все о нем думал; только вздремну, тотчас его в презатруднительных обстоятельствах вижу – и такая меня брала жалость, прямо в пот бросало. Нет лучше его человека! Во всей Речи Посполитой днем с огнем не сыскать – хоть ищи тридцать лет и три года.

– А чего же ты вечно над ним насмешки строил?

– Потому что язык у меня сердца злее. Уж лучше не вспоминай, пан Михал, не бреди душу, я и так себя грызу; не дай бог с ним какая беда случится – до смерти не узнаю покоя.

– Излишне ты, сударь, себя терзаешь. Он на тебя никогда зла не держал, сам слышал, как говорил: «Язык скверный, а сердце – золотое!»

– Дай ему бог здоровья, благородному нашему другу! По-людски он, правда, слова сказать не умел, зато этот изъян, как и прочие, с лихвой высочайшими добродетелями возмещались. Как думаешь, прошел он, а, пан Михал?

– Ночь была темная, а мужики после вчерашнего погрома *fatigati* страшно. Мы надежной не выставили стражи, а уж они небось и подавно!

– И слава богу! Я еще пану Лонгину наказал про княжну, бедняжечку нашу,

порасспросить хорошенько, не случилось ли ее кому видеть: мне думается, Редзян должен был к королевским войскам пробиваться. Пан Лонгинус об отдыхе, конечное дело, и не помыслит, а с королем сюда придет. В таком случае можно о ней ожидать скорых известий.

– Я на изворотливость этого малого премного надеюсь: так ли, сяк ли, он ее спас, полагаю. Век буду неутешен, ежели ее какая беда постигнет. Недолго я знал княжну, но нимало не сомневаюсь, что, будь у меня сестра родная, и та б не была дороже.

– Тебе сестра, а мне-то она как дочка. От тревог этих у меня, того и гляди, борода совсем побелеет, а сердце от жалости разорвется. Не успеешь полюбить человека, раз, два – и уже его нету, а ты сиди, лей слезы, кручинься, поедом себя ешь да думай горькую думу, а вдобавок еще в брюхе пусто, в шапке дыра на дыре, и вода, как сквозь худую стреху, на лысину каплет. Собакам нынче в Речи Посполитой лучше живется, чем шляхте, а уж нам четверым всех хуже. Может, пора в лучший мир отправляться, как по-твоему, а, пан Михал?

– Я не раз думал рассказать обо всем Скшетускому, да одно меня удерживало: он сам никогда словечком ее не вспомнит, а если, часом, кто обмолвится в разговоре, вздрогнет только, будто его ножом укололи в сердце.

– Давай, выкладывай, колупай раны, подсохшие в огне сражений, а ее, может, татарин какой уже через Перекоп за косу тащит. У меня в глазах языки пламенные плясать начинают, едва я такое себе представляю. Нет, пора помирать, не иначе, – мучение сущее жить на свете. Хоть бы пан Лонгинус благополучно пробрался!

– К нему за его добродетели небеса более, чем к кому иному, должны благоволить. Однако взгляни, сударь любезный, что там сброд вытворяет!..

– Ничего не вижу – солнце в глаза светит.

– Вал наш вчерашний раскапывают.

– Говорил я, надо ждать штурма. Пошли, пан Михал, сколько можно так стоять!

– Вовсе не обязательно они штурм готовят, им и для отступления свободный путь нужен. А верней всего, башни, в которых стрелки сидят, туда затащат. Ты только посмотри, сударь: заступы так и мелькают; шагов на сорок уже заровняли.

– Теперь вижу, но ужасно что-то нынче солнце глаза слепит.

Заглоба стал всматриваться из-под ладони. И увидел, как в проем, сделанный в насыпи, рекою хлынула чернь и мгновенно запрудила пустое пространство между валами. Одни тотчас принялись стрелять, другие – грызть лопатами землю, возводя новую насыпь и шанцы, которым назначалось очередным, третьим уже по счету кольцом обхватить польский лагерь.

– Ого! – вскричал Володы,вский. – Что я говорил?.. Вон уже и машины катят!

– Ну, не миновать штурма, это ясно. Пошли отсюда, – сказал Заглоба.

– Нет, это совсем другие белюарды! – воскликнул маленький рыцарь.

И вправду, осадные башни, которые показались в проеме, отличались от обычных гуляй-городков: стенами их служили скрепленные скобами, увешанные шкурами и одеждой решетки, укрывшись за которыми самые меткие стрелки, сидевшие в верхней части башни, обстреливали неприятельские окопы.

– Пойдем, пусть они там сидят, пока не передохнут! – повторил Заглоба.

– погоди! – ответил Володы,вский.

И стал пересчитывать стрельни, одна за одной появляющиеся из проема.

– Раз, два, три... Видно, запас у них немалый... Четыре, пять, шесть... Эка, еще выше прежних... Семь, восемь... Да они нам всех собак на майдане перестреляют, стрелки там, должно быть, exquisitissimi...⁶⁵ Девять, десять... Каждую как на ладони видно – солнце прямо на них светит... Одиннадцать...

Вдруг пан Михал прервал подсчеты.

– Что это? – спросил он странным голосом.

– Где?

– Там, на самой высокой... Человек висит!

Заглоба напряг взор; действительно, на самой высокой башне, освещенное солнцем,

⁶⁵ отборные (лат.).

висело на веревке нагое тело, колыхаясь, словно гигантский маятник, в лад с движениями машины.

– Верно, – сказал Заглоба.

Вдруг Володы,,вский побледнел как полотно и прерывающимся от ужаса голосом крикнул:

– Господь всемогущий!.. Это же Подбипятка!

Шорох пролетел над валами, словно ветер в листве деревьев. У Заглобы голова поникла на грудь; закрыв руками глаза, он тихо простонал, едва шевеля посинелыми устами:

– Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!..

Шорох мгновенно сменился шумом многих голосов, нарастающим подобно гулу волны, набегающей с моря. Воины на валах узнали в человеке, висящем на позорном вервии, своего товарища по недоле, чистого, безупречного рыцаря – все узнали пана Лонгинуса Подбипятку, и от яркого гнева у солдат волосы на голове встали дыбом.

Заглоба оторвал наконец от глаз ладони; на него страшно было смотреть: на губах пена, глаза выкачены, лицо посинело.

– Крови! Крови! – рыкнул он голосом столь ужасным, что стоявших подле него прохватила дрожь.

И спрыгнул в ров. За ним бросились все – ни одной живой души не осталось на валах. Никакая сила, даже приказ самого князя, не могла бы сдержать этот взрыв. Из рва карабкались, вспрыгивая друг другу на плечи, хватаясь руками и зубами за край, а выкарабкавшись, бежали, не разбирая дороги, не глядя, бегут ли остальные следом. Осадные башни задымили, как смолокурни, и сотряслись от грянувших выстрелов, но и это никого не остановило. Заглоба мчался первым с обнаженной саблей, страшный, взъяренный, точно ошалелый бугай. Казаки с цепами и косами бросились навстречу нападающим: казалось, две стены столкнулись с адским грохотом. Но могут ли сытые цепные псы устоять перед остервенелыми голодными волками? На казаков навалились всем скопом, их секли саблями, рвали зубами, давили и били – не выдержав лютого натиска, они смешались и устремились обратно к проему. Заглоба неистовствовал; как львица, у которой отобрали львят, он кидался в самую гущу, хрипел, рычал, крошил, рубил, убивал, топтал! Пустота делалась вокруг него, а бок о бок с ним – другой всепожирающий пламень – дрался подобно раненой рыси Володы,,вский.

Стрелков, укрытых за стенами башен, вырезали всех до единого, остальных вытеснили за проем в валу и отогнали. Потом солдаты поднялись на белюарду и, сняв пана Лонгина с веревки, бережно спустили на землю.

Заглоба припал к его телу...

У Володы,,вского сердце рвалось на части, слезы хлынули из глаз при виде мертвого друга. Нетрудно было определить, какой смерти умер пан Лонгинус: на всем теле его пестрели следы от укулов железных жал. Только лица не тронули стрелы – лишь одна оставила длинную царапину на виске. Несколько капель крови засохло на щеке, глаза были закрыты, и на бледном лице застыла спокойная улыбка – если б не голубоватая эта бледность да сковавший черты холод смерти, могло показаться, пан Лонгинус безмятежно спит. Наконец товарищи подняли его и понесли на своих плечах к окопам, а оттуда в часовню замка.

К вечеру сколотили гроб, хоронили на збаражском кладбище ночью. Собралось все духовенство Збаража, не было лишь ксендза Жабковского, который, получив во время последнего штурма в крестец пулю, боролся теперь со смертью. Пришел князь, передав командование старосте красноставскому, и региментарии, и коронный хорунжий, и хорунжий новогрудский, и пан Пшиемский, и Скшетуский, и Володы,,вский с Заглобой, и товарищество из хоругви, в которой служил покойный. Гроб поставили над свежевырытою могилой – и началось прощанье.

Ночь была тихой и звездной; факелы горели ровно, бросая отблеск на свежеструганные желтые доски гроба, на фигуру ксендза и суровые лица стоящих вокруг рыцарей.

Дымки из каминов спокойно подымались кверху, разнося запах можжевельника и мирры: тишину нарушали лишь сдерживаемые рыдания Заглобы, глубокие вздохи, сотрясающие могучие груди рыцарей, и далекий гром перестрелки.

Но вот ксендз Муховецкий поднял руку, давая знак, что хочет говорить, и рыцари затаили дыханье, он же, помолчав еще с минуту, устремил взор к звездным высотам и так начал свою речь:

– «Что за стук в небесные врата слышу я среди ночи? – вопрошает седовласый ключник Христов, от сладкого сна пробуждаясь.

– Отвори, святой Петр! Это я, Подбипятка.

– А какие деяния, любезный пан Подбипятка, какие заслуги, какое высокое звание дает тебе смелость почтенного привратника тревожить? По какому праву хочешь ты войти в обитель, куда ни рождение, даже столь знатное, как твое, ни сенаторское достоинство, ни коронные должности, ни высокий сан королевский сами по себе еще не открывают доступа? Куда не по широкому тракту в карете, запряженной шестерней, с выездными гайдуками въезжают, а крутым тернистым путем добродетели взбираться должно?

– Ах! Отвори, святой Петр, отвори поскорее – именно такой крутою стежкой шел соратник наш и верный товарищ пан Подбипятка, покуда не пришел к тебе, истомлен, словно голубь после долгого перелета; нагой пришел, аки Лазарь, аки святой Себастьян, пронзенный стрелами неверных, пришел, как бедный Иов, как не познавшая мужа дева, чистый, как смиренный агнец, тихий и терпеливый, не запятнанный никакими грехами, с радостью кровь проливший во благо своей земной отчизны.

Впусти его, святой Петр; ежели не пред ним – пред кем еще открывать врата в нынешние времена всеобщей безнравственности и безбожья?

Впусти же его, святой ключник! Впусти сего агнца; пусть пасется на небесных лугах, пусть щиплет траву, ибо голоден из Збаража пришел он...»

Так начал слово свое ксендз Муховецкий, а затем столь выразительно живописал житие пана Лонгина, что всяк осознал свою ничтожность подле этого тихого гроба, упокоившего останки рыцаря, чистого, как слеза, скромнейшего из скромных, добродетельнейшего из добродетельных. И каждый бил себя в грудь, и все глубже в печаль погружался, и все яснее понимал, какой страшный отечеству нанесен удар, сколь невосполнима потеря в рядах защитников Збаража. А ксендз все более воспарял духом и, когда наконец дошел в своем рассказе до ухода и мученической кончины пана Лонгина, совсем позабыл о правилах риторики и неперменных цитатах, когда же стал прощаться с усопшим от имени духовенства, полководцев и войска, сам расплакался, как Заглоба, и далее продолжал, рыдая:

– Прощай, брат, прощай, наш товарищ! Не земному владыке, а небесному, высочайшему нашему заступнику, препоручил ты стенанья наши, голод, тяготы и невзгоды – у него ты скорее испросишь для нас спасенье, но сам никогда уже не вернешься на землю, посему мы скорбим, посему обливаем твой гроб слезами – ты был нами любим, милый брат наш!

Вместе с почтенным ксендзом плакали все: и князь, и региментарии, и воинство, а безутешней всех друзья покойного. Когда же ксендз запел:

«Requiem aeternam dona ei, Domine!»⁶⁶ – никто уже не мог сдержать рыдания, хотя у гроба собрались люди, свыкшиеся со смертью за время долгого и повседневного с ней общения.

Уже и веревки просунули под гроб, но Заглобу никак нельзя было от него оторвать, точно хоронили его отца или брата. Наконец Скшетуский с Володы, вским его оттащили. Князь, приблизясь, взял горсть земли; ксендз начал читать «Anima eius»⁶⁷, зашуршали веревки, и посыпалась на крышку гроба земля – из рук, из шлемов; вскоре над бранными останками пана Лонгинуса Подбипятки вырос высокий могильный холм, и луна озарила его бледным печальным светом.

* * *

Трое друзей возвращались из города на майдан, откуда беспрерывно доносились

⁶⁶ "Вечный покой даруй ему, господи!" (лат.)

⁶⁷ "Душа его" (лат.). – Последние слова, произносимые над гробом.

отголоски перестрелки. Шли в молчании – ни одному не хотелось первое проронить слово; другие же рыцари, напротив, толковали меж собой о покойном, согласно воздавая ему хвалу.

– По чести устроили похороны, – заметил какой-то офицер, поравнявшийся со Скшетуским, – у самого пана писаря Сераковского не лучше были.

– Он это заслужил, – ответил другой. – Кто б еще взялся к королю пробиться?

– А я слышал, – добавил третий, – что среди офицеров Вишневецкого еще несколько охотников было, да страшный этот пример, верно, теперь у всех отбил охоту.

– Невозможное это дело! Там и змея не проползет.

– Поистине! Сущее было б безумье!

Офицеры прошли вперед. Снова настало молчание. Вдруг Володы,вский сказал:

– Слышал, Ян?

– Слышал. Сегодня мой черед, – ответил Скшетуский.

– Ян! – серьезно сказал Володы,вский. – Мы с тобой давно знакомы, и ты знаешь, я последний откажусь от рискованного дела, но риск – это риск, а тут – чистейшее самоубийство.

– И это ты говоришь, Михал?

– Я, потому что друг тебе.

– И я тебе друг: дай же слово рыцаря, что не пойдешь третьим, если я погибну.

– О! Даже и не проси! – воскликнул Володы,вский.

– А, видишь! Как же ты можешь требовать от меня того, чего бы сам не сделал?

Доверимся воле божьей!

– Тогда позволь идти вместе с тобою.

– Князь воспретил, не я. А ты солдат и должен быть послушен приказу.

Пан Михал умолк, так как в самом деле прежде всего был солдат, только усиками быстро зашевелил в лунном свете и наконец молвил:

– Ночь уж очень светла – не ходи нынче.

– И я б предпочел, чтобы была потемнее, – ответил Скшетуский, – но промедление невозможно. Погода, как видишь, установилась прочно, а у нас порох кончается, провизия на исходе. Солдаты уже майдан изрыли копьями – корешки ищут; у иных десны гниют от пакости, которую они едят. Сегодня же пойду, немедля, я уже и с князем простился.

– Вижу, ты просто погибели ищешь.

Скшетуский усмехнулся печально.

– Побойся бога, Михал. Не так уж мне моя жизнь и в радость, это верно, но по доброй воле я смерти искать не стану – это грех; да и речь идет не о том, чтоб погибнуть, а чтобы из лагеря выйти и до короля дойти и спасти осажденных.

Володы,вскому вдруг нестерпимо захотелось рассказать Скшетускому о Елене, он даже рот было раскрыл, но подумал: «Еще от такой новости повредится в уме – тем легче его по дороге схватят», – и прикусил язык, спросив вместо этого:

– Как идти собираешься?

– Я князю сказал, что пойду через пруд, а потом по реке, пока табор далеко позади не оставлю. Князь согласился, что этот путь всех других вернее.

– Ничего, вижу, не поделаешь, – вздохнул Володы,вский. – Один раз умереть дано, и уж лучше на поле брани, нежели в своей постели. Помогай тебе бог! Помогай тебе бог, Ян! Если не придется встретиться на этом свете, свидимся на том, а я тебя вовек не забуду.

– Как и я тебя. Воздай тебе господь за все доброе! Слушай, Михал: если я погибну, они, возможно, меня не выставят на обозрение, как пана Лонгина, – слишком дорого им это обошлось, – но какой-нибудь способ похвалиться, верно, изыщут: в таком случае пусть старый Зацвилюховский поедет к Хмельницкому за моим телом – не хочется, чтоб меня по ихнему табору псы таскали.

– Будь спокоен, – ответил Володы,вский.

Заглоба, который вначале не вникал в суть разговора, понял в конце концов, о чем идет речь, но не нашел уже в себе сил ни удерживать, ни отговаривать друга, только глухо простонал:

– Вчера тот, сегодня этот... Боже! Боже!..

– Доверься провидению, – сказал Володы,вский.

– Пан Ян!.. – начал было Заглоба.

И не смог больше ничего сказать, лишь опустил седую свою, поникшую голову другу на грудь и притулился к нему, как беспомощный младенец.

Час спустя Скшетуский погрузился в воды западного пруда.

Ночь была очень ясная, и середина пруда сверкала, как серебряный щит, однако Скшетуский мгновенно скрылся из виду, потому что у берега пруд густо зарос камышами, тростником и осокой; далее, где тростник редел, в изобилии росли кувшинки, рдест и кубышки. Это сплетение широких и узких листьев, ослизлых стеблей, крюковатых отростков, в которых запутывались ноги, а иногда и туловище, необыкновенно мешало движению, но, по крайней мере, рыцарь укрыт был от глаз стражи. Переплыть через освещенную середину нечего было и думать: всякий темный предмет с легкостью мог быть замечен. Поэтому Скшетуский решил обойти пруд вдоль берега и добраться до болотца на другой стороне, по которому протекала впадающая в пруд речка. По всей видимости, там стояли казацкие либо татарские караулы, но зато рос целый лес тростника, лишь по краям срезанного на шалаши чернью. Достигнув болотца, можно будет дальше идти в зарослях тростника даже по дну, если только оно не окажется чересчур топким. Но и этот путь был весьма опасен. Под дремлющей водой, у берега едва доходившей до щиколоток, скрывалась трясина глубиною в локоть, а то и поболее. При каждом шаге Скшетуского вслед ему со дна всплывало множество пузырьков, и бульканье их претотлично можно было в тиши расслышать. Вдобавок, несмотря на всю медленность его движений, от него кругами расходились волны и, достигнув свободного от камышей пространства, переломляли на себе свет луны. Пойди сейчас дождь, Скшетуский просто-напросто переплыл бы пруд и спустя какие-нибудь полчаса уже бы шагал по болотцу, но на небе не виднелось ни облачка. Целые потоки зеленоватого света низвергались на водную гладь, превращая листья кувшинок в серебряные блюда, а метелки тростника – в серебряные султаны. Ветра не было; по счастью, бульканье пузырей заглушалось громом выстрелов. Заметив это, Скшетуский подвигался вперед, лишь когда учащались залпы в окопах и шанцах. Но тихая и погожая эта ночь создавала еще одно затруднение. Тучи комаров, подымаясь из зарослей очерета, клубились у рыцаря над головою, садились на лицо, на глаза, больно кусаясь, звеня и распевая над ухом жалобные свои псалмы. Скшетуский, выбирая этот путь, не обольщался его простотою, но все трудности не мог предвидеть. И уж меньше всего предполагал он, какие его станут одолевать страхи. Всякий водоем, будь он даже вдоль и поперек известен, ночью представляется таинственным и страшным, отчего невольно начинаешь думать: а что он на дне скрывает? Збаражский же пруд был просто ужасен. Вода казалась в нем гуще обыкновенной и издавала трупное зловонье: в ней гнили сотни татар и казаков. Обе стороны, правда, старались вытаскивать трупы, но сколько их еще оставалось среди тростника, густого стрелолиста и рдеста? От воды тянуло холодом, но по лбу Скшетуского градом катил пот. Что, если какие-нибудь скользкие руки обхватят его внезапно или зеленоватые очи глянут вдруг из-под ряски? Длинные стебли кувшинок опутывали его колени, а у него волосы вставали дыбом: уж не утопленник ли это стиснул его в своих объятиях, дабы никогда не выпустить? «Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!» – только и шептал на каждом шагу рыцарь. Временами он обращал глаза ввысь и при виде луны, звезд и царящего в небесах покоя испытывал облегчение. «Есть бог!» – повторял он вполголоса, чтобы самому себя услышать. Порой он кидал взгляд на берег, и тогда ему казалось, что на родимую божью землю он смотрит из какого-то проклятого потустороннего мира – мира болот, черных глубей, бледных отсветов, духов, мертвецов и непроглядной ночи, – и такая его охватывала тоска, что хотелось немедля вырваться из камышовой западни на волю.

Но он продолжал идти зарослями и настолько уже отдалился от лагеря, что в полусотне шагов от берега на божьей этой земле увидел верхового татарина; остановившись, чтобы получше его разглядеть, Скшетуский – судя по тому, что всадник раскачивался мерно, клонясь к лошадиной гриве, – решил, что татарин дремлет.

Странная то была картина. Татарин покачивался безостановочно, словно молча кланялся Скшетускому, а тот не мог от него оторвать глаз. Что-то пугающее во всем этом было, но Скшетуский вздохнул облегченно: от реальной опасности в прах рассеялись стократ более гнетущие страхи – вымышленные воображеньем. Мир духов исчез куда-то, и к рыцарю сей же

час вернулась хладнокровность; в голове замелькали совсем иные вопросы: спит или не спит, обождать или идти дальше?

В конце концов он пошел дальше, движения его стали еще бесшумней, еще осторожнее, чем вначале. Он был уже на полпути к болотцу и речке, когда почувствовал первый порыв легкого ветра. Тростник внезапно заколыхался, стебли его, цепляясь друг за дружку, сильно зашелестели, а Скшетуский обрадовался, так как, несмотря на всю осторожность, несмотря на то, что порой он по несколько минут затрачивал на каждый шаг, невольная неловкость, неверное движение, всплеск легко могли его выдать. Теперь он шагал смелее под громкие пересуды очерета, наполнившие весь пруд шумом, – и все вокруг него заговорило, даже вода забормотала, ударяя волной о берег.

Но движение это, как видно, не только прибрежные заросли разбудило: перед Скшетуским немедленно возник какой-то черноватый предмет и неуклонно стал на него надвигаться, подрагивая, точно к броску готовясь. В первую секунду рыцарь едва не вскрикнул, но омерзение и страх лишили его голоса и одновременно от ужасного смрада перехватило горло.

Однако минуто спустя, когда первая мысль, что это утопленник, злонамеренно заступивший ему дорогу, покинула его, оставив лишь отвращенье, Скшетуский двинулся дальше. Тростник не умолкал, шушуканье даже становилось громче. Сквозь колышущиеся метелки рыцарь увидел второй татарский сторожевой пост, потом третий. Он их миновал, миновал и четвертый. «Должно быть, я уже полпруда обошел», – подумал Скшетуский и высунул голову из очерета, пытаясь понять, в каком находится месте. Вдруг что-то его толкнуло – обернувшись, он увидел у самых своих колен лицо человека.

«Это уже второй», – отметил про себя рыцарь.

Но на сей раз не испугался, так как плывущее на спине второе тело в оцепенении своем не обнаруживало никаких признаков жизни. Скшетуский только ускорил шаг, чтобы избежать головокруженья. Заросли становились все гуще: с одной стороны, теперь он был надежно укрыт, но, с другой, это чрезвычайно затрудняло движение. Прошло еще полчаса, час, рыцарь шел, не замедляя шага, хотя усталость все больше его одолевала. В некоторых местах было настолько мелко, что вода и колен не доставала, зато кое-где он погружался почти по пояс. А еще мучительно трудно было вытягивать ноги из ила. Пот катился по лбу, хотя время от времени дрожь с ног до головы пробегала по его телу.

«Что это? – в страхе думал Скшетуский. – Неужто delirium? Болотца все нет и нет, вдруг я его не разгляжу в камышах и пройду мимо?»

Это грозило страшной опасностью: так можно было целую ночь кружить по берегу пруда и наутро оказаться там же, откуда вышел, либо где-нибудь в ином месте попасться казакам в руки.

«Неверный я выбрал путь, – думал Скшетуский, и в душу его начал закрадываться страх. – Через пруды не пройти, надобно возвращаться; отдохну до завтра и пойду той же дорожкой, что Лонгинус».

Но упрямо шел дальше, так как понимал, что, надеясь возвратиться и отдохнуть перед продолжением пути, обманывает сам себя; к тому же ему приходило в голову, что, подвигаясь столь медленно, с остановками на каждом шагу, он не мог еще достигнуть болотца. Однако желание отдохнуть преследовало его все неотступней. Временами ему хотелось улечься для передышки хоть в самую грязь. Но он шел, противясь собственным мыслям и неустанно читая молитвы. Дрожь все сильнее его пробирала, все трудней было вытаскивать из тины ноги. Каждое появление татарских дозоров отрезвляло сознание, но он чувствовал, что и дух утомлен не меньше тела, а ко всему начинается лихорадка.

Прошло еще полчаса – болотце так и не показалось.

Зато тела утопленников попадались все чаще. Ночь, страх, трупы, шум тростника, бессонница и усталость сделали свое дело: у Скшетуского стали путаться мысли. Перед глазами заройлись виденья. Вот Елена в Кудаке, а они с Редзяном плывут вниз по Днепру на дубасах. Камыши шуршат, а ему слышится песня: «Гей, то не пили пилили... не тумани вставали». Ксендз Муховецкий их пред алтарем ожидает, пан Кшиштоф Гродзицкий приглашен быть посаженным отцом. Княжна день-деньской смотрит со стен на реку – того и гляди, всплеснет

руками, закричит: «Едет! Едет!»

– Ваша милость! – говорит Редзян и за рукав его тянет. – Барышня вон стоит...

Скшетуский приходит в себя. Это перепутавшиеся камышины загородили ему дорогу. Наваждение рассеивается. Возвращается сознание. Теперь он уже не чувствует такой усталости – горячка придает ему силы.

Эй, а не болотце ли это уже?

Но нет, вокруг все тот же тростник, словно он и не сдвинулся с места. Возле устья реки вода должна быть чистой – значит, это еще не болотце.

Рыцарь идет дальше, но перед мысленным его взором с неотвязным упорством встает милая сердцу картина. Напрасно противится Скшетуский, тщетно начинает шептать молитву, тщетно пытается сохранить ясность ума – опять перед ним Днепр, дубасы, чайки... Кудак, Сечь... только на сей раз видение более беспорядочно, множество лиц в нем смешалось: подле Елены и князь, и Хмельницкий, и кошевой атаман, и пан Лонгинус, и Заглоба, и Богун, и Володы, вский – все принаряженные по случаю их венчанья, но где же само-то венчанье будет? Не поймешь, что за место: то ли Лубны, то ли Разлоги, а может, Сечь или Кудак... Вода кругом отчего-то, волна бездыханные тела качает...

Скшетуский во второй раз пробуждается, вернее, его будит громкий шорох, доносящийся с той стороны, куда он идет, – и вот он уже прислушивается, замерев на месте.

Шорох приближается, слышно поскрипывание, всплески – это челн.

Его уже можно разглядеть сквозь тростник. В нем двое казаков – один отталкивается веслом, у второго в руке длинный шест, издали отсвечивающий серебром, – он им водоросли раздвигает.

Скшетуский по шею погружается в воду, чтобы только голова над ситовником оставалась, и смотрит.

«Что это – обычный дозор или они уже идут по следу?» – думает он.

Но тотчас же по спокойным и ленивым движениям молодцев понимает, что это обыкновенная стража. Вряд ли этот челн единственный на пруду – если б казаки напали на его след, на воду спустили бы с дюжину лодок да кучу людей туда насажали.

Между тем челн проплыл мимо – шум тростника заглушил слова сидящих в нем людей; Скшетуский уловил лишь обрывок разговора:

– Чорт би ...х побрав, і це... смердячо... води казали пильнувати!

И лодка скрылась за тростниками – казак на носу так же мерно колотил по воде шестом, словно всех рыб на пруду всполошить затеял.

Скшетуский побрел дальше.

Спустя недолгое время он снова увидел у самого берега татарский сторожевой пост. Свет луны падал прямо на лицо ногойца, похожее на собачью морду. Но Скшетуский теперь уже не столько дозорных боялся, сколько опасался потерять сознание. И потому напряг всю волю, чтобы не утратить представления, где он и куда идти должен. Однако боренье с собой лишь усугубило усталость, и вскоре он обнаружил, что всякий предмет у него в глазах двоится и троится, что пруд порой кажется лагерным майданом, а купы камышей – шатрами. В такие мгновенья ему хотелось кликнуть Володы, вского, позвать с собою, но рассудок его не настолько еще был затуманен, и он сдерживал пагубное желанье.

«Не кричи! Не кричи! – повторял он себе. – Это погибель».

Но бороться с собой становилось все труднее. Скшетуский вышел из Збаража, изнуренный голодом и мучительною бессонницей, которая не одного уже воина свалила с ног. Ночное бдение, холодная купель, зловонный запах воды, единоборство с вязкой грязью, с цепляющимися за ноги корнями вконец истощили его силы. К этому добавилось раздражение против одолевающих его страхов и боль от комаров, которые так изжалили ему лицо, что оно все было залито кровью. Скшетуский чувствовал: если в скором времени не покажется болотце, он либо выйдет на берег – и пусть быстрее свершается то, чему суждено свершиться, – либо рухнет прямо среди тростников и захлебнется.

Болотце и устье реки спасительной гаванью теперь казались, хотя на самом деле там должны были начаться новые препятствия и опасности.

Борясь с лихорадкой, он шел, все меньше соблюдая осторожность. К счастью, тростник

шумел не переставая. В его шуме Скшетускому слышались голоса людей, обрывки разговоров; казалось, это о нем толкует пруд. Дойдет он до болотца иль не дойдет? Выберется или останется тут навечно? Комары тоненько распевали над ним жалобные свои песни. Пруд делался глубже – вода уже до пояса, а местами до подмышек доходила. И подумал рыцарь, что, если придется плыть, он запутается в этих густых тенетах и утонет.

И вновь на него напала неодолимая, безудержная охота позвать Володы, вского, он даже руки сложил и поднес ко рту, чтобы крикнуть: «Михал! Михал!»

К счастью, какая-то милосердная камышина ударила его по лицу мокрой прохладной кистью. Он опомнился – и увидел впереди себя, несколько справа, слабенький огонечек.

Теперь он уже не сводил глаз с этого огонька и некоторое время упорно шагал прямо к нему.

И вдруг остановился, заметив перед собой чистую полосу воды, и вздохнул облегченно. То была река, а слева и справа от нее – болотце.

«Хватит кружить по берегу, можно сворачивать», – подумал рыцарь.

С обеих сторон водяного клина тянулись ровные ряды тростника – Скшетуский пошел, держась ближайшего к нему ряда. Еще минута – и он понял, что на верном пути. Оглянувшись: пруд был позади, а вперед уходила узкая светлая полоска, которая не могла быть ничем иным, кроме как рекою.

И вода здесь была холоднее.

Однако очень скоро им овладела страшная усталость. Ноги дрожали, перед глазами клубился черный туман. «Сейчас, только дойду до берега и лягу, – думал рыцарь. – Дальше не пойду, отдохну сначала».

И, упав на колени, нащупал руками сухую кочку, поросшую мохом, – островком лежала она среди очерета.

Севши на эту кочку, Скшетуский утер окровавленное лицо и вздохнул полной грудью.

Мгновение спустя ноздри ему защекотал запах дыма. Рыцарь обернулся: на берегу, в сотне шагов от воды, горел костер, вокруг которого кучкой сидели люди.

Сам он находился прямо против этого костра и в те минуты, когда ветер раздвигал камыши, мог видеть все как на ладони. С первого же взгляда Скшетуский распознал татарских конепасов, которые сидели подле огня и ели.

И тут в нем пробудился ужасный голод. Утром он съел кусочек конины, который не насытил бы и двухмесячного волчонка, и с тех пор во рту у него не было и маковой росинки.

Стал он срывать растущие обок круглые стебли кувшинок и жадно их высасывать. Так разом утолялись и голод, и жажда, потому что жажда тоже его терзала.

При этом он неотрывно смотрел на костер, который помалу бледнел и меркнул. Люди вокруг костра как бы заволоклись туманом и, казалось, все отдалялись.

«Ага! Сон меня одолевает! – подумал рыцарь. – Что ж, посплю прямо здесь, на кочке!»

Меж тем у костра поднялось движение. Конепасы встали. Вскоре слуха Скшетуского достигли крики: «Лош! Лош!» Им ответило короткое ржанье. Брошенный костер стал медленно гаснуть. Еще через короткое время рыцарь услышал свист и глухой топот копыт по росистому лугу.

Скшетуский не мог понять, почему уехали конепасы. Вдруг он заметил, что метелки тростников и широкие листья кувшинок как будто поблекли и вода сверкает иначе, нежели под лунным светом, а воздух затягивается легкой дымкой.

Он огляделся – светало.

Вся ночь ушла на то, чтобы обогнуть пруд и достичь реки и болотца.

Он был почти в самом начале пути. Теперь предстояло идти рекою и при свете дня пробираться через табор.

Лучи встающего солнца пронизывали воздух. На востоке небо стало бледно-зеленого цвета.

Скшетуский опять спустился с кочки в болотце и, добравшись вскоре до берега, высунул голову из очерета.

Шагах, быть может, в пятистах от него виднелся татарский дозор, луг же был совершенно пустынен, только неподалеку на сухом бугорке светился догорающим жаром костер; рыцарь

решил ползти к нему под прикрытием высоких трав, кое-где перемежающихся камышами.

Доползши, он кинулся искать, не найдется ли каких остатков съестного. И нашел: свежеебглоданные бараньи кости, на которых остались еще жир и жилы, да несколько печеных репок, позабытых в теплой золе, – и ел с прожорливостью дикого зверя, пока не заметил, что дозоры, расставленные вдоль всего пути, который он проделал, возвращаясь той же дорогой в табор, приближаются к его кострищу.

Тогда он пополз назад и через несколько минут скрылся за стеной тростника. Отыскав свою кочку, бесшумно на нее опустился. Караульщики меж тем проехали мимо. Скшетуский немедленно принялся за кости, которые захватил с собою и которые затрещали теперь в его могучих челюстях, словно у волка в пасти. Он обгрыз жир и жилы, высосал мозг, разжевал что сумел – утолил немного голод. Такого роскошного завтрака в Збараже ему давненько есть не приходилось.

И сразу как бы обрел новые силы. Его подкрепили как пища, так и встающий день. Делалось все светлее, восточная сторона неба из зеленоватой превратилась в розово-золотую, утренний холодок, правда, был весьма докучлив, но рыцарь утешался мыслью, что вскоре солнце согреет его натруженные члены. Он внимательно огляделся. Кочка была довольно большая, округлая и коротковатая, правда, но зато достаточно широкая, чтоб на ней могли свободно улечься двое. Тростники обступали ее со всех сторон как стеною, совершенно скрывая от людских взоров.

«Здесь меня не найдут, – подумал Скшетуский, – разве что за рыбой кто сунется в камыши, а рыбы нет – от падали вся издохла. Тут и отдохну, и поразмыслю, что делать».

И стал раздумывать, идти ему дальше по реке или нет; в конце концов решил, что пойдет, если подымется ветер и взбаламутит тростник: в противном случае колыхание и шелест стеблей могут его выдать, к тому же проходить, вероятно, придется неподалеку от табора.

– Благодарю тебя, господи, что я еще жив! – тихо прошептал он.

И возвел очи к небу, а затем мыслями перенесся в польский лагерь. Замок, позолоченный первыми лучами восходящего солнца, с его кочки виден был преотлично. Может, кто-нибудь там оглядывает с башни в зрительную трубу пруды и тростник, а уж Заглоба с Володы, вским непременно до самой ночи станут высматривать с валов, не увидят ли где его висящим на осадной башне.

«Теперь не увидят!» – подумал Скшетуский, и грудь его переполнилась блаженным чувством освобождения.

«Не увидят, не увидят! – повторил он еще и еще раз. – Малую часть пути я прошел, но ведь и ее надо было проделать. И далее господь мне поможет».

И уже глазами воображения видел себя за неприятельским станом, в лесах, где стоит королевское войско, – там ополчение, собравшееся со всей страны, гусары, пехота, чужеземные полки; земля гудит под тяжестью пушек, людей, лошадей, и среди этого многолюдья – сам его величество король...

Потом ему представилась упорнейшая битва, разбитые таборы – и князя увидел он, летящего со всею своею конницей по гудам тел, и увидел встречу войск...

Глаза его, воспаленные, опухшие, смыкались от яркого света, а голова клонилась от избытка мыслей. Какое-то сладостное бессилие охватывало рыцаря, наконец он растянулся во весь рост на мху и тотчас уснул.

Тростник шумел. Солнце высоко поднялось в небе и горячим своим взором согревало его, сушило одежду – он же спал не шевелясь, крепким сном. Всякий, завидя его распростертым на мху с окровавленным лицом, подумал бы, что на кочке лежит труп, выброшенный водою. Час проходил за часом – Скшетуский не просыпался. Солнце достигло зенита и начало клониться на противоположную часть небосвода – он все еще спал. Разбудило его лишь пронзительное ржанье грызущихся на лугу жеребцов и громкие окрики конепасов, разгоняющих лошадей кнутами.

Он протер глаза, огляделся, вспомнил, где находится. Посмотрел вверх: на красном от догорающего заката небе мерцали звезды – он проспал целый день.

Но ни отдохнувшим, ни набравшимся сил Скшетуский себя не чувствовал – напротив, все кости его болели. Однако он подумал, что новые испытания возвратят крепость телу, и, спустив

ноги в воду, без промедления двинулся дальше.

Теперь он шел вдоль самого края зарослей, по чистой воде, чтобы шелест тростника не привлек внимания табунщиков, на берегах пасущих лошадей. Последние отблески дня погасли, и было довольно темно – луна еще не показалась из-за лесу. Река стала много глубже: местами, теряя дно из-под ног, Скшетуский волей-неволей пускался вплавь, что было нелегко в одежде, да и течение, встречу которому он плыл, сколь ни ленивое, все же тянуло его обратно к прудам. Зато самый зоркий татарский глаз не мог бы различить на фоне темной стены тростника голову человека.

Поэтому подвигался он достаточно смело, иногда вплавь, но большей частью брел в воде по пояс, а то и по плечи, пока наконец не добрался до места, откуда глазам его представились тысячи и тысячи огней по обеим сторонам реки.

«Это таборы, – подумал он, – помоги мне теперь, боже!»

И прислушался.

Слитый гул множества голосов достигнул его ушей. Да, то были таборы. На левом берегу реки, если глядеть по течению, раскинулся казацкий лагерь со своими бесчисленными палатками и возами, а на правом – татарский кош; шум и говор неслись с обеих сторон, человеческие голоса мешались с дикими звуками сопелок и бубнов, ревом волов, верблюдов, выкриками, лошадиным ржаньем. Река разделяла таборы и служила помехой для раздоров и кровавых стычек: татары не могли спокойно стоять близ казаков. В этом месте речное русло расширялось, а быть может, было расширено специально. Впрочем, если судить по огням, возы по одну сторону и тростниковые шалаши по другую располагались примерно в полусотне шагов от реки – у самой же воды, вероятно, стояли сторожевые посты.

Камыш и ситовник редели – видно, против лагерей берега были песчаные. Скшетуский прошел еще шагов пятьдесят – и остановился. Какою-то грозной силой повеяло на него от этих людских скопищ.

В ту минуту почудилось рыцарю, что все настороженное внимание, вся ярость тысяч живых существ обращены против него, и он ощутил полное свое перед ними бессилие, полную беззащитность. И одиночество.

«Здесь никому не пройти!» – подумал он.

Но все-таки двинулся дальше, влекомый каким-то неодолимым, болезненным любопытством. Ему хотелось поближе взглянуть на эту страшную силу.

Вдруг он остановился. Лес тростника оборвался, как будто срезанный под корень. Возможно, его и впрямь посрезали на шалаши. Впереди открылась ровная гладь, кроваво-красная от костров, глядящихся в воду.

Два из них высоким и ярким пламенем горели каждый на своем берегу над самой рекою. Подле одного стоял татарин на лошади, подле второго – казак с длинной пикой. Оба посматривали то на воду, то друг на друга. Вдалеке виднелись еще дозорные, тоже не спускавшие глаз с реки.

Отблески костров перекидывали через реку как бы огненный мост. У берегов стояли рядами лодчонки, на которых караульщики плавали по пруду.

– Нет, это невозможно, – пробормотал Скшетуский.

Его вдруг охватило отчаяние. Ни вперед нельзя идти, ни назад возвращаться! Вот уже скоро сутки влечется он по болотам и топям, дышит зловонными испарениями, мокнет в воде – и все лишь затем, чтобы, достигнув наконец таборов, через которые взялся пройти, убедиться, что это невозможно.

Но и возвращение было столь же невозможно; рыцарь понимал, что тащиться вперед у него, быть может, еще найдутся силы, но они иссякнут, вздумай он повернуть обратно. К отчаянию примешивалась глухая ярость; в какое-то мгновение ему захотелось вылезти из воды и, уложив дозорных, врезаться в гущу толпы и погибнуть.

Снова ветер невнятно зашептался с тростником; одновременно он принес из Збаража колокольный звон. Скшетуский начал жарко молиться; он бил себя в грудь и взывал к небесам, прося о спасении со страстью и отчаянной надеждой утопающего; он молился, а кош и казацкий табор гомонили зловеще, словно в ответ на его молитву; черные и красные от огня фигуры сновали взад-вперед как сонмища чертей в пекле; дозорные стояли недвижно, а река

несла вдаль кровавые свои воды.

«Когда настанет глубокая ночь, костры погаснут», – сказал себе Скшетуский и принялся ждать.

Прошел час, второй. Гомон стихал, костры и впрямь помалу начали меркнуть – кроме двух сторожевых: эти разгорались все ярче.

Часовые сменялись: ясно было, что дозорные простоят на постах до рассвета.

Скшетускому пришло в голову, что, возможно, днем проскользнуть мимо них будет легче, но он быстро расстался с этой мыслью. Днем к реке ходят по воду, поят скотину, купаются – берега полны будут народом.

Вдруг взгляд его упал на челны. У обоих берегов их стояло по полсотне в ряд, а с татарской стороны ситовник подходил к ним вплотную.

Скшетуский погрузился по шею в воду и потихоньку стал подвигаться к лодкам, не спуская глаз с татарского часового.

По прошествии получаса он подобрался к первому челну. План его был прост. Лодчонки стояли, задрав корму, отчего над водой образовалось некое подобие свода, под которым легко могла поместиться голова человека. Если все челны стоят вплотную друг к другу, татарский стражник не заметит под ними движенья; опаснее был казацкий дозорный – но и тот мог головы не увидеть, поскольку под челнами, несмотря на костер напротив, царила кромешная темнота. Впрочем, иного пути не было.

Скшетуский отбросил колебания и вскоре оказался под кормом ближайшего челна.

Он подвигался на четвереньках, а вернее, полз: в том месте было довольно мелко. Татарин стоял на берегу так близко, что Скшетуский слышал, как фыркает его лошадь. Остановившись на минуту, он прислушался. Челны, к счастью, соприкасались бортами. Теперь рыцарь не сводил глаз с казацкого караульщика, который виден был как на ладони. Но тот глядел на татарский кош. Миновав челнов пятнадцать, Скшетуский вдруг услышал над самой водой голоса и шаги и мгновенно замер. В крымских походах рыцарь научился понимать по-татарски – и теперь по телу его пробежала дрожь, когда он услышал слова команды:

– Садись и отчаливай!

Скшетуского бросило в жар, хотя он стоял по колено в воде. Если кто-нибудь сядет в тот челн, который сейчас служит ему прикрытием, он погиб; если же в один из передних – все равно это конец, так как впереди его появится пустое освещенное место.

Каждая секунда казалась часом. Меж тем загудело под ногами людей деревянное днище лодки – татары сели в четвертый или пятый челн из тех, что остались у него за спиной, оттолкнулись и поплыли к пруду.

Но движение возле лодок привлекло внимание казацкого часового. Скшетуский с полчаса, не меньше, простоял не шелохнувшись. Лишь когда дозорного сменили, он осмелился идти дальше.

Так добрался он до конца ряда. За последним челном опять начинался ситовник, а затем и тростник. Достигнув зарослей, рыцарь, тяжело дыша, обливаясь потом, упал на колени и возблагодарил господу от всего сердца.

Теперь он шел немного смелее, пользуясь каждым порывом ветра, наполнявшим берега шумом. Время от времени оглядывался назад. Сторожевые костры стали отдаляться, их огни пропадали из виду, колебались, тускнели. Заросли ситовника и очерета становились все чернее и гуще, потому что все болотистее делалась у берегов почва. Стража не могла подходить близко к реке; затихал и несущийся из таборов гомон. В рыцаря вселилась какая-то сверхчеловечья сила. Он продирался сквозь тростник и водоросли, проваливался в тину, захлебывался, плыл и снова вставал на ноги. На берег пока не решался выйти, но чувствовал себя едва ли уже не спасенным. Сколько он так шел, брел, плыл, сказать трудно, когда же вновь обернулся, сторожевые огни показались ему далекими светлячками. Еще несколько сот шагов, и они совершенно скрылись. Взошел месяц. Кругом было тихо. Вдруг послышался шум – куда отчетливее и громче шелеста очерета. Скшетуский чуть не вскрикнул от радости: к реке с обеих сторон подступали деревья.

Тогда он свернул к берегу и высунулся из зарослей. Прямо за тростником и ситовником начинался сосновый бор. Смолистый запах ударил в ноздри. Кое-где в черной чащобе, точно

серебряные, светились папоротники.

Рыцарь во второй раз пал на колени и целовал землю, шепча молитву.

Он был спасен.

Глава XXIX

В топоровской усадьбе, в гостинном покое, поздним вечером сидели, запершись для тайной беседы, трое вельмож. Несколько свечей ярким пламенем освещали стол, заваленный картами, представляющими окрестность; подле карт лежала высокая шляпа с черным пером, зрительная труба, шпага с перламутровой рукоятью, на которую брошен был кружевной платок, и пара перчаток лосиной кожи. За столом в высоком кресле с подлокотниками сидел человек лет сорока, невысокий и сухощавый, но крепкого, видно, сложенья. Лицо он имел смуглое, желтоватого оттенка, утомленное, глаза черные и черный же шведский парик с длинными буклями, ниспадающими на плечи и спину. Редкие черные усы, подкрученные на концах, украшали верхнюю его губу; нижняя вместе с подбородком сильно выдавалась вперед, сообщая всему облику характерное выражение львиной отваги, гордости и упрямства. Лицо это, отнюдь не красивое, было весьма и весьма необыкновенно. Чувственность, указывающая на склонность к плотским утехам, странным образом совмещалась в нем с какою-то сонной, мертвенной даже неподвижностью и равнодушием. Глаза казались угасшими, но легко угадывалось, что в минуты душевного подъема, во гневе или веселии, они способны метать молнии, которые не всякий взор мог бы выдержать. И в то же время в них читалась доброта и мягкость.

Черный наряд, состоящий из атласного кафтана с кружевными брыжами, из-под которых выглядывала золотая цепь, подчеркивал своеобразие сей примечательной особы. Несмотря на печаль и озабоченность, сковывавшие черты лица и движения, весь его облик означен был величием. И не диво: то был сам король, Ян Казимир Ваза, около года назад занявший престол после брата своего Владислава.

Несколько позади его, в полутени, сидел Иероним Радзеувский, староста ломжинский, низкорослый румяный толстяк с жирной и наглой физиономией придворного льстеца, а напротив, у стола, третий вельможа, опершись на локоть, изучал карту окрестностей, время от времени подымая взор на государя.

Облик его не столь был величествен, но отмечен признаками достоинства едва ли не более высокого, чем монаршее. Изборожденное заботами и раздумьями холодное и мудрое лицо государственного мужа отличалось суровостью, нисколько не портившей его замечательной красоты. Глаза он имел голубые, пронизательные, кожу, несмотря на возраст, нежную; великолепный польский наряд, подстриженная на шведский манер борода и высоко взбитые надо лбом волосы придавали сенаторскую внушительность его правильным чертам, словно высеченным из камня.

То был Ежи Оссолинский, коронный канцлер и князь Римской империи, оратор и дипломат, восхищавший европейские дворы, знаменитый противник Иеремии Вишневецкого.

Недюжинные способности с юного возраста привлекли к нему внимание предшествующих правителей и рано выдвинули на самые высокие должности; данною ему властью он вел государственный корабль, который в настоящую минуту близок был к окончательному крушению.

Однако канцлер словно создан был для того, чтобы такого корабля быть кормчим. Неутомимый трудолюбец, умный и прозорливый, умеющий глядеть далеко вперед, он спокойной и уверенной рукой провел бы в безопасную гавань всякое иное государство, кроме Речи Посполитой, всякому другому обеспечил бы внутреннюю крепость и могущество на долгие годы... если бы был самовластным министром такого, например, монарха, как французский король либо испанский.

Воспитанный вне пределов страны, завороченный чужими образцами, несмотря на весь свой прирожденный ум и смекалку, несмотря на многолетний практический опыт, он не смог привыкнуть к бессилию правительства в Речи Посполитой и за всю жизнь так и не научился считаться с этим обстоятельством, хотя то была скала, о которую разбились все его планы, намерения, усилия; впрочем – в силу этой же причины – он сейчас уже видел впереди крах и

разорение, а впоследствии и умирал с отчаянием в сердце.

Это был гениальный теоретик, не сумевший стать гениальным практиком,

– оттого и попал он в заколдованный безвыходный круг. Увлеченный какой-нибудь мыслью, обещающей в будущем принести плоды, он стремился к ее воплощению с упорством фанатика, не замечая, что спасительная в теории идея на практике – при имеющемся положении вещей – может быть чревата роковыми последствиями.

Желая укрепить правительство и государство, он разбудил страшную казацкую стихию, не предусмотрев, что дикая ее сила не только против шляхты, богатейших магнатов, злоумышлений и шляхетского самодовольства обратится, но и против насущнейших интересов самого государства.

Поднялся из степей Хмельницкий и вырос в исполина. Речь Посполитая терпела поражение за поражением. Желтые Воды, Корсунь, Пилявцы. Первым делом Хмельницкий соединился с враждебной крымской ратью. Удар обрушивался за ударом – ничего иного, кроме как воевать, не оставалось. Прежде всего надлежало обуздать страшную казацкую стихию, чтобы использовать ее в дальнейшем, а канцлер, увлеченный своими замыслами, все еще вел переговоры и медлил. И все еще верил – даже Хмельницкому!

Действительность в прах разбила его теорию: с каждым днем ясней становилось, что результаты усилий канцлера прямо противоположны ожидаемым, – и самое красноречивое тому доказательство явила осада Збаража.

Канцлер согнулся под тяжким бременем забот, горьких разочарований и всеобщей ненависти.

И потому поступал так, как поступают во дни неудач и крушений люди, чья вера в себя не угасает даже в преддверии полного краха: искал виноватых.

Виновата была вся Речь Посполитая и все ее сословия, ее прошлое и ее государственное устройство; однако известно, что тот, кто из опасения, как бы лежащий на склоне обломок скалы не рухнул в пропасть, не рассчитавши сил, захочет вкатить его на вершину, лишь ускорит его паденье. Канцлер же этим не ограничился, хуже того: призвал на помощь казацкую рать – страшный, бурлящий поток, – не подумав, что бешеное его течение может только разрыхлить и размыть почву, на которой покоится камень.

Но король еще верил в него, и вера становилась крепче по мере того, как общественное мнение, не щадя монаршего достоинства, и его самого обвиняла наравне с канцлером.

Итак, они сидели в Топорове, удрученные и печальные, не зная толком, что делать, потому что у короля было всего двадцать пять тысяч войска. Вицы были разосланы слишком поздно, и лишь часть ополчения к тому времени успела собраться. Кто был причиной промедленья, не было ли это очередной ошибкой неуступчивой политики канцлера – сия тайна осталась меж королем и министром; так или иначе, в ту минуту оба чувствовали свою незащищенность перед мощью Хмельницкого.

И самое главное: не имели точных о нем сведений. В королевском лагере до сих пор не знали, вся ли ханская рать соединилась с войском гетмана или казаков поддерживает только Тугай-бей с несколькими тысячами ордынцев. Вопрос этот был равнозначен вопросу: жить или умереть. С одним Хмельницким на худой конец король мог бы попытать счастья, хотя мятежный гетман располагал вдесятеро большею силой. Чары королевского имени много значили для казаков – страх перед ним, пожалуй, был сильнее, нежели страх перед ополчением, сборищем своевольной и необученной шляхты, – но если и хан примкнул к Хмельницкому, безрассудством было тягаться с такою силищей.

Между тем вести приходили самые разноречивые, наверное же никто не знал ничего. Предусмотрительный Хмельницкий собрал всех своих людей в одном месте, умышленно не выпуская ни единого казацкого или татарского разъезда, чтобы не дать королю случая захватить «языка». Мятежный гетман такой вынашивал замысел: оставив часть войска под осажденным Збарожем, доживающим последние дни, самому с почти всею казацкой и татарской ратью неожиданно напасть на королевское войско, окружить его и предать короля в руки хана.

Так что не без причины лик короля в тот вечер был мрачнее тучи: ничто больней не ранит монаршего достоинства, нежели сознание собственного бессилья. Ян Казимир откинулся в

изнеможении на спинку кресла, уронив руку на стол, и молвил, указывая на карты:

- Бессмысленно это, бессмысленно! Достаньте мне языков.
- Ничего большего и я не желаю, – ответил Оссолинский.
- Разъезды вернулись?
- Вернулись ни с чем.
- Ни одного пленного?
- Окрестные только крестьяне, которые ничего не знают.
- А пан Пелка вернулся? Он ведь непревзойденный охотник за языками.
- Увы, государь! – отозвался из-за кресла староста ломжинский. – Пан Пелка не вернулся и не вернется – он погиб.

Воцарилось молчание. Король уставил мрачный взор на горящие свечи и забарабанил пальцами по столу.

– Неужто вам нечего посоветовать? – промолвил он наконец.

– Надо ждать! – торжественно произнес канцлер.

Чело Яна Казимира избороздились морщинами.

– Ждать? – переспросил он. – А тем временем Вишневецкий и региментарии побеждены будут под Збаражем!

– Еще немного они продержатся, – небрежно заметил Радзе,,вский.

– Помолчал бы, любезный староста, когда ничего хорошего сказать не можешь.

– А я как раз хотел дать совет, ваше величество.

– Какой же?

– Отправить надобно кого-нибудь под Збараж будто к Хмельницкому на переговоры.

Посол и узнает, там ли хан, а по возвращении расскажет.

– Нельзя этого делать, – ответил король. – Теперь, когда Хмельницкий объявлен мятежником и за его голову назначена награда, а запорожская булава отдана Забускому, не гоже нам с Хмельницким вступать в переговоры.

– Значит, к хану надо послать, – сказал староста.

Король обратился вопрошающий взор на канцлера, который поднял на него свои строгие голубые глаза и сказал:

– Совет недурен, да Хмельницкий, вне всякого сомнения, посла задержит и все старания пропадут напрасно.

Ян Казимир махнул рукой.

– Мы видим, – медленно произнес он, – что вам предложить нечего – выслушайте тогда наше решение. Я прикажу трубить поход и поведу все войско на Збараж. Да свершится воля божия! Так и узнаем, там ли хан или нет его.

Канцлер знал, сколь безудержной отвагой обладал король, и не сомневался, что сказанное исполнит. С другой стороны, из опыта ему было известно, что, если государь что-нибудь замыслит и станет на своем упорствовать, никакие отговоры его не поколеблют. Потому он и не стал сразу противиться, даже похвалил самую мысль, но спешить не посоветовал, доказывая, что можно то же самое сделать завтра или день спустя, – а тем временем вдруг да придут добрые вести. С каждым днем должен усугубляться разброд среди черни, напуганной неудачами под Збаражем и слухами о приближении королевского войска. Смута растает от сияния имени его величества, как снег от солнечных лучей, – но на это требуется время. В руках же монарших судьба всей Речи Посполитой, и, будучи перед богом и потомками за нее в ответе, он не вправе подвергать себя опасности, тем паче что, случись беда, збаражским войскам уже неоткуда будет ждать спасенья. Канцлер говорил долго и выразительно: образцом краснословия могли бы послужить его речи. И в конце концов он убедил короля, хотя и утомил. Ян Казимир опять откинулся на спинку кресла, пробормотав нетерпеливо:

– Делайте, что хотите, лишь бы завтра у меня был язык.

И снова настало молчанье. За окном повисла огромная золотая луна, но в покое потемнело – свечи успели обрасти нагаром.

– Который час? – спросил король.

– Скоро полночь, – ответил Радзе,,вский.

– Не буду сегодня ложиться. Объеду лагерь, и вы со мною. Где Убальд и Арцишевский?

– В лагере. Пойду скажу, чтобы подали лошадей, – ответил староста.

И направился к двери. Вдруг в сенях сделалось какое-то движение, послышался громкий разговор, торопливые шаги, наконец дверь распахнулась настежь, и вбежал запыхавшийся Тизенгауз, королевский стремянный.

– Всемиловейший король! – воскликнул он. – Гусарский товарищ из Збаража пришел!!

Король вскочил с кресла, канцлер тоже поднялся, и из уст обоих вырвалось одновременно:

– Быть не может!

– Истинно так! Стоит в сенях.

– Давай его сюда! – вскричал король, хлопнув в ладоши. – Пусть снимет с души тяжесть!

Тизенгауз скрылся за дверью, и через минуту вместо него на пороге показалась незнакомая высокая фигура.

– Подойди, любезный сударь! – восклицал король. – Ближе! Ближе! Мы рады тебя видеть!

Рыцарь подошел к самому столу; наружность его была такова, что король, канцлер и староста ломжинский попяtilись в изумление. Перед ними стояло страшное существо, более похожее на призрак, нежели на человека: изодранные в клочья лохмотья едва прикрывали его истощенное тело, посинелое лицо измазано было в крови и грязи, глаза горели лихорадочным блеском, черная всклокоченная борода закрывала грудь; трупный запах распространялся вокруг него, а ноги так дрожали, что он принужден был опереться о стол.

Король и оба вельможи смотрели на него широко раскрытыми глазами. В эту минуту дверь отворилась и гурьбою вошли сановники, военные и гражданские: генералы Убальд и Арцишевский, подканцлер литовский Сапега, староста жечицкий, каштелян сандомирский. Все, остановясь за спиной короля, уставились на пришельца, король же спросил:

– Кто ты?

Несчастный раскрыл было рот, попытался ответить, но судорога свела ему челюсть, подбородок задрожал, и он сумел прошептать только:

– Из... Збаража!

– Дайте ему вина! – раздался чей-то голос.

В мгновение ока подан был полный кубок – незнакомец с усилием его опорожнил. Между тем канцлер сбросил с себя плащ, подбитый мехом, и накинул ему на плечи.

– Можешь теперь говорить? – спросил король спустя некоторое время.

– Могу, – немного увереннее ответил рыцарь.

– Кто ты?

– Ян Скшетуский... гусарский поручик...

– В чьей службе?

– Русского воеводы.

Шепот пробежал по зале.

– Что у вас? Что слышно? – с лихорадочной торопливостью вопрошал король.

– Беда... голод... сплошь могилы...

Король закрыл глаза рукою.

– Господи Иисусе! Господи Иисусе! – тихо повторял он.

Потом продолжил расспросы:

– Долго еще сможете продержаться?

– Пороха нет. Враг у самых валов...

– Много его?

– Хмельницкий... Хан со всеми ордами.

– И хан там?

– Да...

Наступило глухое молчание. Присутствующие лишь переглядывались, растерянность рисовалась на всех лицах.

– Как же вы выстояли? – спросил канцлер, не скрывая недоверия.

Услышав эти слова, Скшетуский вскинул голову, словно новые обретая силы, горделивое выражение сверкнуло на его лице, и он ответил с неожиданной силой в голосе:

– Двадцать отбитых штурмов, шестнадцать выигранных сражений в поле, семьдесят пять

вылазок...

И снова настало молчанье.

Внезапно король расправил плечи и встряхнул париком, словно лев гривой; на желтоватом его лице проступил румянец, глаза блеснули.

– О господи! – вскричал он. – Довольно с меня этих советов, этого топтанья на месте – нечего больше медлить! Есть хан или нету, собралось или не собралось ополчение – хватит, клянусь богом! Сегодня же идем на Збараж!

– На Збараж! На Збараж! – повторило несколько решительных голосов.

Лицо прибывшего просияло, как ясная зорька.

– Милостивый король, государь мой! – сказал он. – С тобою на жизнь и на смерть!..

От этих слов как воск растаяло благородное монаршье сердце, и, не гнушаясь отталкивающим обликом рыцаря, он обхватил его голову обеими руками и молвил:

– Ты мне милее иных, что в атласах. Господи! За меньшие заслуги некоторые получают староства... Знай, подвиг твой не останется без награды. И не спорь! Я должник твой!

И остальные вслед за королем тотчас начали восклицать:

– Не было еще рыцаря доблестней!

– Этому и среди збаражских не найдется равных!

– Славу бессмертную ты стяжал!

– Как же меж татар и казаков сумел пробраться?..

– В болотах прятался, в камышах, лесом шел... блуждал... без еды...

– Накормить его! – крикнул король.

– Накормить! – повторили прочие.

– Одеть его!

– Завтра получишь коня и платье, – сказал король. – Ни в чем не будет тебе недостатка.

Следуя примеру короля, все наперебой принялись превозносить рыцаря. Снова на него посыпались вопросы, на которые он отвечал с превеликим трудом, потому что все большую чувствовал слабость и едва не терял сознания. Принесли еду; в ту же минуту вошел ксендз Цецишовский, королевский духовник.

Вельможи расступились: ксендз был премного учен, уважаем, и слово его для короля значило едва ли не больше, чем слово канцлера, а с амвона, бывало, он таких вещей касался, о которых и на сейме осмеливался говорить не всякий. Его тотчас обступили со всех сторон и стали рассказывать, что из Збаража пришел рыцарь, что князь, несмотря на лишения и голод, продолжает еще громить хана, пребывающего там собственной персоной, и Хмельницкого, который за весь минувший год не потерял столько людей, сколько в збаражскую осаду, наконец, что король желает идти на выручку осажденным, даже если ему со всем войском суждено погибнуть.

Ксендз молча слушал, беззвучно шевеля губами, и поминутно обращал взор на изможденного рыцаря, который меж тем занялся едою; король повелел ему не смущаться своим присутствием и еще приглядывал сам, чтобы тот ел хорошенько, да время от времени отпивал за его здоровье глоток из небольшого серебряного кубка.

– А как зовется сей рыцарь? – спросил наконец ксендз.

– Скшетуский.

– Не Ян ли?

– Ян.

– Поручик князя воеводы русского?

– Так точно.

Ксендз поднял к небесам морщинистое лицо и опять углубился в молитву, а потом промолвил:

– Восславим имя господя нашего, ибо неисповедимы пути, коими он ведет человека к покою и счастьем. Аминь. Я этого рыцаря знаю.

Скшетуский, услыша эти слова, невольно обратил взгляд на ксендза, но лицо того, весь облик и голос были ему совершенно незнакомы.

– Стало быть, ты один из всего войска взялся пройти через вражеский лагерь? – спросил его ксендз.

– Передо мной пытался один благородный рыцарь, но погиб, – ответил Скшетуский.

– Тем больше твоя заслуга, раз после такого дерзнул пойти. Судя по виду твоему, страшный ты путь проделал. Господь оценил принесенную тобой жертву, тронут был молодостью и добродетелями твоими и не оставил своей защитой.

Внезапно ксендз обратился к Яну Казимиру.

– Милостивый король, – сказал он, – стало быть, ты тверд в своем решении идти князю воеводе русскому на помощь?

– Твоим молитвам, отче, – ответил король, – вверяю отечество, себя и войско, ибо знаю, что огромен риск, но нельзя позволить, чтобы князь-воевода смерть нашел в этой злосчастной крепости и с ним пали такие рыцари, как сей, что сидит перед нами.

– Господь пошлет нам викторию! – воскликнуло несколько голосов.

Ксендз воздел руки к небу, и в зале воцарилась тишина.

– Benedico vos, in nomine Patris et Filii, et Spiritis sancti⁶⁸.

– Аминь! – промолвил король.

– Аминь! – повторили остальные.

Спокойствие пришло на смену озабоченности, до этой минуты не сходявшей с лица Яна Казимира, лишь глаза его светились необычайным блеском. Меж собравшимися затеялся негромкий разговор о предстоящем походе

– многие еще сомневались, что король выступит немедля, – он же взял со стола шпагу и сделал знак Тизенгаузу, чтобы тот ее ему прицепил.

– Когда ваше королевское величество изволит выступить? – спросил канцлер.

– Бог дал погожую ночь, – ответил король, – кони не устанут. – И добавил, обращаясь к обозному стражнику: – Прикажи трубить поход, сударь.

Стражник не мешкая вышел из залы. Канцлер Оссолинский осмелился негромко заметить, что не все еще к походу готовы и что возы не отправить раньше наступления дня, но король, не задумываясь, ответил:

– Кому возы дороже отечества и монарха, тот пускай остается.

Зала начала пустеть. Всяк спешил к своей хоругви, чтобы людей «на ноги поднять» и снарядить в дорогу. В комнате остались лишь король, канцлер, ксендз да Тизенгауз со Скшетуским.

– Всемиловитейший государь, – сказал ксендз, – что мы хотели узнать от этого рыцаря, то узнали. Надобно ему дать покой – он едва на ногах держится. Позволь, я возьму его к себе на квартиру – там и переночует.

– Хорошо, отче, – ответил король, – справедливы твои слова. И пусть Тизенгауз с кем-нибудь его проводят, одному ему, боюсь, не дойти. Иди, иди, друг любезный, никто здесь более тебя не заслуживает отдыха. И помни, я твой должник. Скорей о себе, нежели о тебе позабуду!

Тизенгауз подхватил Скшетуского под руку, и они вышли. В сенях им встретился староста жечицкий, который поддержал пошатывающегося рыцаря с другой стороны; впереди шел ксендз, а перед ним слуга с фонарем. Но напрасно светил слуга: ночь была ясной, тихой и теплой. Большая луна, точно золотой ковчег, плыла над Топоровом. С лагерного майдана доносился говор, скрип телег и голоса труб, играющих побудку. Вдалеке, перед костелом, облитым лунным светом, уже собирались солдаты – конные и пешие. В селе ржали лошади. К скрипу возов примешивалось звяканье цепей и глухое громохание пушек – и гомон становился все громче.

– Уже выходят! – сказал ксендз.

– К Збаражу... на помощь... – прошептал Скшетуский.

И неизвестно, то ли от радости, то ли от тяжких трудов, а скорее ото всего вместе, ослаб совершенно, так что Тизенгауз и староста жечицкий почти тащили его на себе.

Между тем по дороге к дому ксендза они попали в толпу солдат, собирающихся перед костелом. Это были хоругви Сапеги и пехота Арцишевского. Еще не получившие приказа

⁶⁸ Благословляю вас во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).

строиться, солдаты стояли в беспорядке, в иных местах сбиваясь в кучки, загораживая путь идущим.

- С дороги! С дороги! – восклицал ксендз.
- Это кому там уступать дорогу?
- Рыцарю из Збаража!
- Привет ему! Привет! – вскричало множество голосов.

Одни расступались немедля, другие, напротив, старались подойти поближе, желая поглядеть на героя. И смотрели с изумлением на изможденного оборванца, на страшное лицо, озаренное лунным светом, и, пораженные, шептали:

- Из Збаража, из Збаража...

С великим трудом довел ксендз Скшетуского до дома местного приходского священника. Там он приказал отмыть его от крови и грязи и уложить в хозяйскую постель, а сам поспешил к выступавшему в поход войску.

Скшетуский был в полубеспамятстве, но лихорадка не позволяла ему уснуть. Однако он не понимал уже, где находится и что с ним случилось. Слышал только говор, топот копыт, скрип возов, тяжелые шаги пехотинцев, крики солдат, голоса труб – все это сливалось в его ушах в неумолчный гул... «Войско идет», – пробормотал он про себя... Меж тем гул помалу стал отдаляться, ослабевать, затихать, рассеиваться, пока наконец тишина не объяла Топоров.

И чудилось Скшетускому, что он вместе со своим ложем летит в какую-то пропасть без дна...

Глава XXX

Спал он несколько дней кряду, но и после пробуждения не оставляла его злая лихоманка – долго еще бредил Скшетуский, поминал Збараж, старосту красноставского, князя, беседовал с паном Михалом и Заглобой, кричал: «Не туда!» – Лонгинусу Подбипятке – лишь о княжне не вспомнил ни разу. Видно, строжайший тот запрет, который он однажды и навсегда наложил на всякое о ней воспоминанье, не терял силы, даже когда болезнь его изнурила. Зато ему казалось, что он видит над собой щекастую физиономию Редзяна – будто воротилось то время, когда князь после староконстантиновской битвы отправил его с хоругвями в Заслав громить разбойные шайки, и Редзян неожиданно явился в хату, где он остановился на ночлег. Видение это путало его мысли: ему мерещилось, что время остановило свой бег и ничего с той поры не переменялось. Он снова у Хомора и спит в хате, а пробудившись, поведет хоругви в Тарнополь... Разбитый под Староконстантином Кривонос бежал к Хмельницкому... Редзян приехал из Гущи и сидит у его постели... Скшетускому хочется заговорить, хочется приказать слуге седлать лошадей, но нет мочи... И снова мелькает мысль, что не у Хомора он, что после того был уже Бар взят, – но тут опять тело пронзает боль и бедная его голова окутывается мраком. Ничего уже не знает он, ничего не видит. Однако минуту спустя из хаоса и кромешной тьмы новое проступает виденье: Збараж... осада... Значит, это не Хомор? А откуда же взялся Редзян? Сквозь прорезанные в ставнях сердечки в комнату пробивается пучок яркого света, и он отчетливо видит лицо слуги, исполненное сочувствия и заботы...

- Редзян! – вдруг восклицает Скшетуский.

– Ой, сударь вы мой! Наконец-то меня узнали! – кричит парень и припадает к ногам своего господина. – Я думал, никогда уже не проснетесь...

Настала тишина – только слуга тихо рыдал, обнимая хозяину ноги.

- Где я? – спрашивает Скшетуский.

– В Топорове... Ваша милость из Збаража к его величеству королю пришел... Слава богу! Слава богу!

- А где король?

- Повел войско на выручку князю-воеводе.

Опять наступило молчание. Слезы радости текли по лицу Редзяна; помолчав с минуту, он пробормотал голосом, прерывающимся от волнения:

- Довелось-таки вашу милость живым увидеть...

Потом встал и открыл ставню, а затем и окошко.

Свежий утренний воздух ворвался в комнату, а с ним и свет белого дня. Сей же час к Скшетускому полностью вернулось сознание...

Редзян присел в ногах кровати...

– Так это я из Збаража вышел? – спросил рыцарь.

– Да, сударь мой... Никто не мог содейть того, что ваша милость содейл; только благодаря вашей милости король поспешил князю на помощь.

– Пан Подбипятка раньше меня пытался, да погиб...

– О господи! Пан Подбипятка погиб! А какой был щедрый да благонравный!.. Ух, аж дыханье сперло... Как же они такого силача перемочь сумели?

– Из луков его застрелили...

– А пан Володы,вский что и пан Заглоба?

– Живы-здоровы были, когда я уходил...

– Слава тебе господи! Лучше нет у вашей милости друзей, сударь... Только ксендз наказал помалкивать...

Редзян прикусил язык и на несколько времени погрузился в размышления. Работа мысли явственно отразилась на толстощеком его лице. Наконец он вновь заговорил:

– Ваша милость!..

– Чего тебе?

– А что же станется с пана Подбипятки богатством? Говорят, у него деревень и превсякого добра без счету... Ужель друзьям не отписал хоть какую малость – родных-то, я слышал, у него нету?

Скшетуский ничего не ответил, и Редзян, смекнув, что вопрос хозяину не по нутру, перевел разговор на другое:

– Слава богу, что пан Заглоба и пан Володы,вский в добром здравии; я думал, они к татарам попались... Ужась сколько мы вместе горя хлебнули... Да только ксендз говорить не велел... Эх, сударь вы мой, я уж думал, никогда больше их не увижу: нас орда так прижала, что ни взад, ни вперед...

– Погоди: выходит, ты был с паном Володы,вским и паном Заглобой? Они мне ничего не сказали.

– Так ведь они и сами не знали, погибнул я или жив остался...

– Где ж это вас орда настигла?

– А за Проскуровом, по дороге в Збараж. Мы, сударь мой, далече, за самым Ямполем побывали... Только ксендз Цецишовский рассказывать воспретил строжайше...

На короткое время настало молчание.

– Да вознаградит вас господь за добрые ваши намерения и старанья, – промолвил Скшетуский, – зачем вы туда ездили, теперь мне понятно. Я и сам прежде вас побывал там... Да напрасно...

– Эх, сударь вы мой, кабы не ксендз этот... Он мне так сказал: я теперь с их королевским величеством в Збараж еду, а ты – это он мне наказывал – присматривай за хозяином, только не говори ни слова, а то еще отдаст богу душу.

Скшетуский так давно и бесповоротно расстался со всякой надеждой, что и эти слова Редзяна малейшей даже искорки в его сердце не заронили... Несколько времени он лежал недвижно, но потом возобновил расспросы:

– А ты откуда взялся, с каких пор при ксендзе Цецишовском состоишь и при войске?

– Меня пани Витовская, супруга каштеляна сандомирского, из Замостья сюда прислала – оповестить пана каштеляна, что в Топоров к нему придут... Отважная женщина, скажу я вам, сударь, беспрерывно желает при войске находиться, чтобы не разлучаться с паном каштеляном... Ну, я и приехал в Топоров, днем лишь вашей милости раньше. Пани Витовская, того и гляди, здесь будут... Со дня на день ждем... Только вот ведь беда: супруг-то ее с королем уехал!..

– Не пойму, как ты в Замостье мог оказаться, если с паном Володы,вским и паном Заглобой за Ямполь ездил? Почему же в Збараж не пришел с ними вместе?

– А вот почему, сударь: когда нас ордынцы настигать стали, иного способа не было, кроме как им двоим заступить путь чамбулу, я ж ускакал – и прямо в Замостье.

– Счастье, что они не погибли, – сказал Скшетуский. – Но я о тебе лучше думал. Как же совесть тебе позволила их в беде кинуть?

– Эх, сударь, сударь, кабы нас только трое было, я б их ни в жизнь не покинул, у меня и так сердце на куски разрывалось, но ведь мы вчетвером ехали... Они, стало быть, на ордынцев напали, а мне сами приказали... спасать... Знать бы мне, что радость не убьет вашу милость... Мы-то за Ямполем... отыскиали... Да вот ксендз...

Скшетуский уставился на слугу и заморгал глазами, будто только что пробудившись ото сна; вдруг, можно сказать, что-то в нем оборвалось: страшно побледнев, он сел на постели и громовым голосом вскрикнул:

– Кто с тобой был?

– Ваша милость! Эй, ваша милость! – закричал слуга, испугавшись перемены в лице рыцаря.

– Кто с тобой был? – кричал Скшетуский и, схвативши Редзяна за плечи, принялся трясти его, сам дрожа точно в лихорадке, однако железной хватки не ослабляя.

– Так уж и быть, скажу! – воскликнул Редзян. – Пусть ксендз делает со мной что хочет: барышня с нами была, а теперь она при пани Витовской.

Скшетуский оцепенел, веки его сомкнулись, и голова тяжело упала на подушки.

– Святый боже! – еще пуще завопил Редзян. – Того и гляди, дух испустит! Черт побери, что ж я наделал!.. Лучше б помалкивал. Ваша милость, сударь наидражайший, ради бога, скажите словечко... Царица небесная! Правильно заказывал ксендз... Ваша милость! Эй, ваша милость!..

– Ничего! – проговорил наконец Скшетуский. – Где она?

– Слава тебе господи, ожил... Лучше уж я ничего говорить не стану. При супруге каштеляна сандомирского она... Вскорости здесь будут... Слава богу!.. Только б ваша милость не помер... Вот-вот приедут... Мы в Замостье пробрались. Тамошний ксендз барышню к пани Витовской пристроил... Так оно пристойней... Да и в войске безобразников немало... Богун-то ее уважил, а и здесь всяко могло случиться... Страх я намыкался, пока не догадался солдатам говорить: «Это родственница князя Иереми!..» – тут уж они отступались... Да и в дороге я немало поиздержался...

Скшетуский лежал не шевелясь, но глаза его были открыты, обращены к потолку, и лицо имело серьезное выражение – видно, он молился. Закончив же молитву, вскочил, сел на кровати и приказал:

– Неси платье и вели седлать лошадей!

– Куда ж это ваша милость ехать собрался?

– Платье давай быстрее!

– Вам еще невдомек, сударь мой, сколько у вашей милости теперь всякой одежды: и король надарил перед отъездом, и разные другие вельможи. Да три отменных лошадки стоят в конюшне. Мне б хоть одну такую!.. А вашей милости, сударь мой, лучше полежать да в себя прийти, силы-то ведь никакой нету.

– Я в порядке. В седле могу держаться. Поторопись бога ради.

– Да уж знаю, у вашей милости тело железное. Будь по-вашему! Только замолвите за меня перед ксендзом Цецишовским словечко... Вон, одежды лежат... Лучших и у армянских купцов не найти... Одевайтесь пока, а я скажу, чтобы принесли винной похлебки: ксендзов слуга должен был для меня приготовить.

С этими словами Редзян занялся завтраком, а Скшетуский стал торопливо облачаться в платье, полученное в дар от короля и придворных. Но то и дело заключал малого в объятия и прижимал к своей преисполненной чувств груди, а тот рассказывал ему все ab ovo: как Богуна, посеченного паном Михалом, но уже оправившегося, во Влодаве встретил и выведал все про княжну и получил пернач. Как потом отправились они с паном Михалом и паном Заглобой в валадынские овраги и, убивши ведьму и Черемиса, увезли княжну, наконец, их подстерегало множество опасностей, когда они от Бурляевых людей убегали.

– Бурляя пан Заглоба зарубил, – поспешил вставить Скшетуский.

– Вот уж кто воинственный муж, – заметил в ответ Редзян. – Мне такие еще не встречались – обыкновенно оно как бывает: один храбр, другой речист, третий пройдошлив, а у

пана Заглобы все вместе соединилось. Но хуже всего, сударь мой, нам пришлось в лесах за Проскуровом, когда ордынцы за нами погнались. Пан Михал с паном Заглобой остались, чтобы их на себя отвлечь и задержать погоню, а я вбок и к Староконстантинову – Збараж, думаю, лучше обойти стороною: справившись с маленьким паном и паном Заглобой, они как раз к Збаражу за нами и поскачут. Уж не знаю, каким там способом господь в милосердьи своем спас маленького пана и пана Заглобу... Я думал, их зарубят. Мы ж тем часом с барышней удирали между войском Хмельницкого, который от Староконстантинова шел, и Збаражем, куда понеслись татары.

– Не скоро они туда добрались, их пан Кушель потрепал изрядно. Да ты не тяни, рассказывай дальше!

– Кабы я знал! Но мне и невдомек было, вот мы и пробирались с барышней, как по ущелью, промежду татар и казаков. По счастью, край тамошний весь будто вымер, мы души живой не встречали ни в деревнях, ни в местечках, все, куда кто мог, от татар разбежались. Да я все равно помирал со страху: только бы, думаю, в лапы разбойникам не попасться, однако и сия чаша нас не миновала.

Скшетуский даже одеваться перестал и спросил:

– Это как же?

– А вот так, сударь мой: наткнулись мы на казацкий разъезд, который вел Донец, брат той самой Горпыны, что барышню в яру укрывала. Одно счастье, я его хорошо знал – он меня при Богуни видел. Передал я ему от сестры поклон, показал Богунов пернач и разобъяснил все: что Богун меня, мол, за барышней посылал и теперь ждет подле Влодавы. А он, как Богунов приятель, знал, что сестра барышню стережет, оттого и поверил. Я думал, отпустит, да еще подкинет чего на дорогу, а он вдруг ко мне с такими словами: «Там, говорит, собирается ополчение, еще попадешься ляхам в руки; оставайся, говорит, со мною, вместе поедем к Хмельницкому, в лагере для девушки наилучшее место, гетман сам приглядит, чтобы в целости Богуна дождалась». Как он мне это сказал, я прямо обмер: ну, что на такое ответишь? Говорю, мол, Богун барышню ожидает, а я животом поклялся, что без промедления ее доставлю. А он мне на то: «Мы Богуна оповестим, а тебе туда ехать ни к чему, там ляхи». Стал я спорить, он на своем уперся и говорит вдруг: «Дивно мне, что ты боишься к казакам идти. Эй, а ты случаем не изменник?» Тут уж я смекнул, что другого пути нет, кроме как ночью удрать, раз он меня подозревать начал. Ох, и страх меня взял, сударь мой, семь потов прошибло. Стал я, однако, в дорогу приготовляться, но в ту ночь с отрядом королевских войск подоспел пан Пелка.

– Пан Пелка? – переспросил, задержав дыхание, Скшетуский.

– Он самый, сударь мой, тот, что погиб недавно, – память ему небесная! Непревзойден был в набегах – под носом у врага что хотел, то и делал. Не знаю, кто лучше его сможет водить разъезды – разве что пан Володы,вский. Так вот, нагрянул пан Пелка, от Донцова отряда живой души не оставил, а самого Донца скрутил и увез с собою. Недели две, как его к волам привязали и на кол – и поделом вражьему сыну! Но и с паном Пелкой я нахлебался немало – больно охоч был до нежного пола... Упокой, господи, его душу! Неужто, думаю, барышня, от казаков зла избежавши, от своих хуже потерпит... Благо догадался сказать пану Пелке, что она в сродстве с нашим князем. А он, надобно вашей милости знать, говоря о нашем князе, шапку, бывало, снимал и давно уже на службу к нему целил... С того часу он с барышней почтителен сделался и сопровождал нас прямо к его величеству королю в Замостье, а там ксендз Цецишовский (воистину святая душа, скажу я вам, сударь) взял нас под свою опеку и барышню определил ко двору пани Витовской.

Скшетуский вздохнул глубоко и бросился Редзяну на шею.

– Другом ты мне отныне будешь, братом, не слугой! – воскликнул он. – Но теперь... едем скорее. Когда пани Витовская обещалась быть?

– Спустя неделю после меня – а я уже десять дней как приехал... Из них ваша милость восемь без памяти пролежал.

– Едем, едем, – повторил Скшетуский, – а то у меня сердце от радости разорвется.

Не успел он договорить, во дворе послышался конский топот и за окнами, застая свет, замаячили люди и лошади. Скшетуский различил сперва старого ксендза Цецишовского, а рядом с ним увидел исхудалые лица Заглобы, Володы,вского, Кушеля и других знакомых в

окружении княжеских драгун в красном. Раздались веселые восклицанья, и в горницу следом за ксендзом гурьбой ввалились рыцари.

– Под Зборовом заключен мир, осада снята! – возгласил ксендз.

Но Скшетускому довольно было бросить взгляд на збаражских своих товарищей, чтобы самому обо всем догадаться. Мгновение спустя Заглоба и Володыжский, распростерши объятия, бросились к нему, отталкивая друг друга.

– Нам сказали, что ты жив, – кричал Заглоба, – но тем отраднее видеть тебя в добром здравии и к тому же столь скоро! Мы намеренно приехали сюда за тобой... Ян! Ты и не представляешь, какую стяжал славу и какая тебя ждет награда!

– Король тебя отметил, – сказал ксендз, – но король королей его превзошел.

– Я уже все знаю, – ответил Скшетуский. – Награди вас господь! Редзян мне открылся.

– И ты не задохнулся от радости? Тем лучше! *Vivat* Скшетуский, *vivat* княжна! – воскликнул Заглоба. – Что, Ян! А мы тебе ни словечка, потому как не знали, жива она, нет ли. Но слуга твой молодец, в целости ее доvez. Ох, *vulpes astuta*!⁶⁹ Князь ждет вас обоих... Ха! Мы к самому Ягорлыку за ней ездили. Я дьявольского монстра, что ее стерег, своею рукой зарубил... Двенадцать мальчонков припоздали малость, но ничего, вы свое наверстаете! Внучата у меня пойдут, любезные судари! Рассказывай, Редзян, неужто у тебя все сошло гладко? А мы с паном Михалом, представь, вдвоем целую орду сдержали! Я первый на чамбул бросился, так-то! Басурманы от нас только что не прятались под землю – да все без толку! Пан Михал тоже не оплошал... Где моя доченька? Давайте сюда мою девочку!

– Дай тебе бог удачи, Ян! Дай тебе бог удачи! – твердил маленький рыцарь, вновь бросаясь к Скшетускому в объятия.

– Да вознаградит вас господь за все, что вы для меня сделали. Мне слов не хватает. Жизнь моя, кровь – малая для вас плата! – ответил Скшетуский.

– Забудь об этом! – кричал Заглоба. – Мир заключен! Худой мир, конечно, да что поделывать. Хорошо, хоть мы в этом заклятом Збараже не сидим больше. Теперь, судари любезные, поживем в покое. Это все нашими стараньями, и моими тоже. Да-да, когда бы Бурляй жив остался, не видать бы нам перемирья. А теперь можно и за свадьбу. Нос кверху, Ян! Держись, дружище! Ни за что не догадаешься, какой тебе к свадьбе князь приготовил подарок! При случае расскажу, а пока... тысяча чертей! Где же моя дочурка? Давайте скорей сюда мою доченьку! Теперь ее Богуну не видать как своих ушей – разве что уши поперед головы отрежут! Где моя доченька дорогая?

– Я как раз собрался навстречу супруге каштеляна сандомирского – уже на коня садился, – сказал Скшетуский. – Едем скорее, едем, не то я с ума сойду.

– За мной, милостивые господа! Поехали с ним, нечего время терять! Живее!

– Пани Витовская, верно, уже неподалеку, – заметил ксендз.

– Едем! – подхватил Володыжский.

Скшетуский был уже за дверью и вскочил в седло так легко, словно и не был только что прикован к одру болезни. Редзян, предпочитая не оставаться с ксендзом с глазу на глаз, следовал за хозяином неотступно. Володыжский с Заглобой к ним присоединились, и вот уже друзья скакали во весь опор по топоровскому тракту, а за ними и вся толпа шляхтичей и драгуны в красном – казалось, ветер подхватил и несет по дороге алые лепестки мака.

– Айда! – кричал Заглоба, колотя пятками лошадь.

Так проскакали они верст десять, покуда за поворотом тракта не увидели прямо перед собой вереницу вожов и колясок, окруженных полсотней наряженных по-турецки выездных лакеев; несколько из них, заметя вооруженных всадников, стремглав бросились им навстречу – спрашивать, кто такие.

– Свои! Из королевского войска! – крикнул Заглоба. – А это кто едет?

– Супруга каштеляна сандомирского! – прозвучало в ответ.

Скшетуский от волнения так растерялся, что, сам не сознавая, что делает, сполз с лошади на землю и встал, пошатываясь, на краю дороги. Шапку он снял, по вискам его обильно

⁶⁹ хитрая лиса (лат.).

струился пот; так стоял наш рыцарь на пороге счастья и... дрожал всем телом. Володы,вский тоже соскочил с кульбаки и поддержал ослабевшего друга.

Остальные, обнажив головы, остановились подле них на обочине; вереница возов и колясок меж тем приблизилась и, не задерживаясь, последовала дальше. Пани Витовскую сопровождало не менее пятнадцати разных дам, которые с удивлением взирали на рыцарей, не понимая, что означает появление на дороге вооруженного отряда.

Наконец в череде прочих показалась карета, пышностью ото всех отличающаяся; окошки ее были открыты, и рыцари увидели достойный лик седовласой дамы, а возле нее – прелестное личико княжны Курцевич.

– Доченька! – бросаясь к карете, вскричал Заглоба. – Доченька! Скшетуский с нами!.. Доченька!

С разных сторон понеслись крики: «Стой! Стой!» Сделалось общее замешательство. Между тем Кушель с Володы,вским вели, а верней, волокли Скшетуского к карете, он же, совершенно лишившись сил, казалось, сейчас упадет на землю. Голова его поникла на грудь; не в состоянии сделать ни шагу, он опустился у подножки кареты на колени.

Но уже в следующее мгновение сильные и нежные руки княжны поддержали бессильно склонившуюся голову изнуренного рыцаря.

Заглоба же, видя недоумение пани Витовской, крикнул:

– Это герой Збаража, Ян Скшетуский! Тот, что сквозь вражеский стан пробился, спаситель войска, князя, всей Речи Посполитой! Да благословит их господь!

– Vivat! Vivant! Да здравствуют! – подхватила шляхта.

– Да здравствуют! – повторили княжеские драгуны, и громовое эхо прокатилось по топоровским полям.

– В Тарнополь! К князю! На свадьбу! – выкрикивал Заглоба. – Что, доченька? Конец твоим бедам!.. А Богуна – палачу и на плаху.

Ксендз Цецишовский стоял, возведя очи к небу, а уста его повторяли чудесные слова вдохновенного проповедника:

– «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью...»

Скшетуского усадили в карету рядом с княжной, и все двинулись в путь. День выдался дивный, погожий, поля и дубравы нежились под лучами солнца. В самых низинках и повыше, над перелогам, и еще выше, в воздушной голубизне, уже плавали там и сям серебристые нити паутины, к концу осени словно снегом покрывавшей тамошние поля. Великое спокойствие царило окрест, лишь лошади бодро пофыркивали на дороге.

– Пан Михал! – говорил между тем Заглоба, цепляя носком сапога стремя Володы,вского. – Чего-то у меня опять комок застрял в глотке, как в тот день, когда пан Подбиытка – царство ему небесное! – из Збаража вышел: но едва подумаю, что эти двое наконец обрели друг друга, до того радостно делается на сердце, будто кварту хорошего вина залпом выпил! Ежели и тебе не придется связать себя узами брака, будем на старости лет ихних детишек нянчить. Всякому свое предназначено, пан Михал, мы же с тобой, пожалуй, для войны рождены, а не для семейной жизни.

Маленький рыцарь ничего не ответил, только усиками зашевелил быстрее обычного.

Друзья решили ехать в Топоров, а оттуда в Тарнополь, чтобы соединиться с князем Иеремией и вместе с его хоругвями отправиться во Львов на свадьбу. Дорогою Заглоба рассказывал пани Витовской о событиях последнего времени. Так она узнала, что король в Зборове после кровопролитной битвы, не принеся ни одной стороне победы, заключил договор с ханом – не слишком благоприятный, однако на какое-то хотя бы время обеспечивающий покой Речи Посполитой. Хмельницкий в силу этого договора по-прежнему оставался гетманом и получал право из бесчисленного множества своих сторонников отобрать сорок тысяч реестровых казаков, а за эту уступку присягнул королю и сословиям в верности и послушанье.

– Всякому ясно, – говорил Заглоба, – что с Хмельницким новая война неизбежна, но если только булава опять не обойдет нашего князя, все иначе совсем обернется.

– Что же ты пану Скшетускому главного-то не скажешь, – вмешался, подскакав к карете, маленький рыцарь.

– Ах, да! – воскликнул Заглоба. – Я с этого и хотел начать, да что-то мы все растерялись. Ты ведь не знаешь, Ян, что после твоего ухода случилось: Богун попал в плен к князю.

Скшетуского и Елену эта неожиданная новость так поразила, что они не могли вымолвить ни слова: княжна лишь развела руками, и настало молчание, которое первым нарушил Скшетуский.

– Как? Каким образом? – спросил он.

– Это перст божий, – ответил Заглоба, – перст божий, ничто иное. После заключения договора выходим мы из Збаража этого, будь он проклят... Князь с кавалерией на левом фланге – на случай, ежели нападут ордынцы... Они ведь сплошь да рядом договора нарушают... И вдруг ватага, коней эдак в триста, бросается на конницу князя.

– Один Богун мог такое учинить! – воскликнул Скшетуский.

– Он и был. Да не по зубам казачью збаражские солдаты! Пан Михал мигом их окружил, никого в живых не оставил, а Богуна два раза полоснул саблей – тут его и скрутили. Не везет ему с паном Михалом, верно, он и сам это понял, – трижды как-никак схватывался. Да и не искал он ничего другого, кроме как смерти.

– Мы потом уже узнали, – добавил Володы, вскны, – что Богун вознамерился с Валадынки попасть в Збараж, да не поспел – путь-то неблизкий, – а когда услышал, что мир заключен, от ярости, видать, умом повредился, и все ему нипочем стало.

– Кто меч возьмет, от меча и погибнет, так уж фортуна распорядилась,

– сказал Заглоба. – Безумец он, а от отчаяния сделался еще безумней. Ох, и заварилась по его милости каша – сброд освиrepел, да и мы тоже. Я думал, снова война начнется: князь уже объявил, что трактат нарушен. Хмельницкий хотел было Богуна отбить, но тут хан взъярился. «Он, говорит, слово мое и присягу мою опозорил!» И войной Хмельницкому пригрозил, а к нашему князю прислал гонца, через которого передал, что Богун самовольно полез в драку, и еще попросил князя об истории этой позабыть, а с Богуном обойтись, как с простым бунтовщиком. Наверно, у хана и своя была корысть: чтобы татары могли ясырей увести спокойно – они их столько набрали, что теперь небось в Стамбуле мужика за два гвоздя купишь.

– И что же князь с Богуном сделал? – с тревогой спросил Скшетуский.

– Приказал было немедля колышек для него остругать, да потом раздумал и так сказал: «Дарю его Скшетускому, пусть делает с ним, что хочет». Сидит теперь казачина в Тарнополе в темнице; цирюльник ему башку перевязывает. Господи, сколько же раз от него душа отлететь хотела! Ни одному волку собаки так, как мы ему, не испортили шкуры. Сам пан Михал кусал трижды. Но это твердый орешек, хоть и несчастливец, сказать по правде. Пошли ему легкую смерть, боже! Я на него зла уже не держу, хоть он и моей крови возжаждал, – а на мне никакой вины нету: я и пил с ним, и дружбу водил, как с ровней, пока он на тебя, доченька, руки не поднял. Я ведь тоже его ножом мог пырнуть в Разлогах... Эх, давно известно, что нет благодарности на свете и добром за добро мало кто платить умеет. Бог с ним!..

И Заглоба долго качал головою...

– Что же ты с ним, Ян, будешь делать? – спросил он спустя некоторое время. – Солдаты говорят, на запятки поставишь – благо он мужик видный, – только мне верить не хочется, что ты таково поступишь.

– Конечно, нет, – ответил Скшетуский. – Великой отваги это воин и вдобавок несчастлив – тем более я его не принижу холопской работой.

– Да простит ему господь все его прегрешенья, – сказала княжна.

– Аминь! – добавил Заглоба. – Он смерть, словно мать, молит, чтобы прибрала его... И, верно б, ее нашел, если бы не опоздал в Збараж.

Все умолкли, размышляя об удивительных превратностях судьбы, и ехали в задумчивости, пока в отдалении не показалась Грабова, где был устроен первый привал. Там уже собралась часть воинства, возвращающегося из Зборова, в том числе пан Витовский, каштелян сандомирский, со своим полком поспешавший навстречу супруге, и пан Пшиемский, и множество шляхты из ополчения, которая этим путем возвращалась домой. Усадьба в Грабовой была сожжена дотла, как и прочие строенья, но день был чудесный, теплый и тихий, и путники, не нуждаясь в крыше над головой, расположились в дубраве под открытым небом. В

съестных припасах и напитках не было недостатку, и челядь живо взялась готовить ужин. Каштелян сандомирский приказал разбить в дубраве десяток шатров для вельмож и слабого пола: получился как бы настоящий лагерь. Рыцари толпились перед шатрами – всем хотелось поглядеть на Скшетуского и княжну Елену. Иные беседовали о недавней войне: те, что возвращались из Зборова, а под Збаражем не побывали, в подробностях выспрашивали у княжеских воинов об осаде. Шумно было и весело, к тому же и день господь подарил прекрасный.

Среди шляхты, конечно же, выделялся Заглоба, в тысячный раз рассказывавший, как зарубил Бурляя. Редзян тоже не сидел в стороне – он командовал челядью, готовившей трапезу. Все же ловкий малый улучил удобную минуту и, отведя Скшетуского в сторону, смиренно поклонился в пояс.

– Сударь мой, – сказал он, – хочу и я попросить о милости.

– Проси, – ответил Скшетуский, – разве могу я тебе в чем-либо отказать, когда всем лучшим в жизни обязан твоим заботам?

– Я сразу подумал, – признался слуга, – что ваша милость вознаградить меня пожелает.

– Говори: чего хочешь?

Пухлое лицо Редзяна потемнело, а глаза зажглись ненавистью и злобой.

– Не хочу я никакой награды, – сказал он, – об одном прошу: чтобы ваша милость мне Богуна уступил.

– Богуна? – переспросил удивленно Скшетуский. – Что же ты с ним делать станешь?

– Уж я, сударь мой, придумаю, чтоб и себя не обидеть, и ему с лихвой воздать за то, как он со мной в Чигирине обошелся. Ваша милость, конечно, смерти его предать велит – дозвоьте же, сперва я с ним расквитаюсь!

Скшетуский нахмурился.

– Не будет этого! – сказал он твердо.

– О господи! Лучше бы мне погибнуть, – жалобно вскричал Редзян. – Неужто я затем только жив остался, чтобы до конца своих дней не избыть позора!

– Проси, чего хочешь, – сказал Скшетуский, – ни в чем не получишь отказа, но этому не бывать! Опомнись, спроси родительского совета, что есть больший грех: сдержать такой зарок или от него отказаться. Не пособляй своею рукой божьей карающей деснице – как бы самому не досталось. Стыдись! Человек этот и так у всевышнего смерти просит, к тому же изранен и лишен свободы. Кем же ты для него стать собираешься? Неужто катом? Ужели над связанным готов надругаться, раненого добьешь? Ты кто, татарин или лиходей казацкий? Я, пока жив, этого не допущу. И не вспоминай больше.

В голосе рыцаря прозвучали такая сила и твердость, что слуга сразу потерял всякую надежду и только проговорил, чуть не плача:

– В полном-то здравии он с двумя такими, как я, играючи справится, а больному, выходит, мстить не пристало – когда ж мне платить за свои обиды?

– Мечь предоставь богу, – промолвил Скшетуский.

Парень разинул рот, собираясь еще что-то сказать или спросить о чем-то, но пан Ян поворотился и пошел к шатрам, перед которыми собралось многолюдное общество. Посредине сидела пани Витовская, рядом с нею княжна, а вокруг толпились рыцари. Несколько впереди их стоял Заглоба с непокрытою головой и рассказывал об осаде Збаража тем, кто вернулся из-под Зборова. Слушали его, затаив дыханье, бледнея от волнения, и те, кому в Збараже не довелось быть, горько о том сожалели. Пан Ян сел подле княжны и, взяв ее ручку, поднес к губам – и так сидели они тихо, прижавшись друг к другу. Солнце уже покидало небесный свод, на землю спускался вечер. Скшетуский тоже заслушался, словно что-то новое для себя мог узнать. Заглоба только пот утирал со лба – и все более повышал голос... У одних в памяти вставали, а другим воображение рисовало недавние кровавые сцены: точно своими глазами, видели рыцари окопы в окружении несметных полчищ и ожесточенные штурмы, слышали вой и вопли, гром пушек и самопалов, и на валу, под градом пуль, видели князя в серебряных доспехах... И как потом пришли беда и голод, какие багровые стояли ночи, когда смерть громадной зловещей птицей кружила над валами... Как уходили из лагеря Подбипятка, Скшетуский... Слушая, рыцари то очи возводили к небу, то хватались за рукояти сабель, Заглоба же так закончил свой

рассказ:

– И оставили мы там одни могилы, один огромный курган, а если под курганом тем не покоится гордость Речи Посполитой и цвет рыцарства, и князь-воевода, и я, и все мы, от самих казаков получившие прозвание збаражских львов, – его заслуга!

И с этими словами Заглоба указал на Скшетуского.

– Так и есть, воистину! – вскричали Марек Собеский и пан Пшиемский.

– Честь ему и слава! Благодарствуй! – загремели со всех сторон зычные голоса рыцарей. – Vivat Скшетуский! Vivant молодая чета! Да здравствует герой! – все громче и громче раздавались восклицания.

Воодушевление охватило всех собравшихся. Одни побежали за чарками, другие подбрасывали вверх шапки. Зазвенели сабли в руках у солдат – и вскоре все звуки и голоса слились в единый возглас, грому подобный:

– Да здравствует! Слава! Слава!

Скшетуский, как истый рыцарь-христианин, смиренно опустил голову, княжна же поднялась, откинула косы – на щеках ее вспыхнул румянец, во взоре светилась гордость, ибо этот рыцарь должен был стать ее мужем, а мужняя слава для жены все равно, что солнечный свет для земли.

* * *

Поздней уже ночью разъехались собравшиеся в разные стороны. Чета Витовских, пан Пшиемский и староста красноставский отправились с полками в Топоров, а Скшетуский с княжной и хоругвью Володы,вского – в Тарнополь. Ночь была такой же погожей, как минувший день. Мириады звезд зажглись на небе. Луна, взойдя, осветила поля, покрытые паутиной. Солдаты затянули песню. Вскоре с лугов поднялся белый туман, и окрестность сделалась похожей на огромное озеро, залитое лунным светом.

Такою же ночью выходил недавно Скшетуский из Збаража, а теперь чувствовал, как бьется подле его сердца сердце княжны Курцевич.

Эпилог

Величайшая в истории трагедия не закончилась ни под Збаражем, ни под Зборовом – даже первый ее акт там не завершился. Прошло два года, и все казачество вновь восстало на бой с Речью Посполитой. Поднялся Хмельницкий, более могущественный, чем когда-либо прежде, и с ним хан всех орд и те же самые полководцы, что осаждали Збараж: неистовый Тугай-бей, и Урум-мурза, и Артим-Гирей, и Нурадин, и Калга, и Амурат, и Субагази. Дымы пожаров, людские стоны сопутствовали им, тысячи воинов рассеялись по полям, заполонили леса, полмиллиона уст исторгали воинственные кличи – и казалось людям, настал последний час Речи Посполитой.

Но и Речь Посполитая пробудилась из оцепененья, отвергла прежнюю политику канцлера, отказалась от переговоров и перемирий. Ни у кого не осталось сомнений, что сколько-нибудь долгий мир лишь мечом завоевать можно, и, когда король двинулся против неприятельских полчищ, с ним шли сто тысяч войска и шляхты, не считая челяди и обозной прислуги.

И, конечно, были среди них все герои нашего повествованья. Князь Иеремия Вишневецкий со всей своею дивизией, в которой по-прежнему служили Скшетуский и Володы,вский и – волонтером – Заглоба; оба гетмана, Потоцкий и Калиновский, к тому времени уже выкупленные из татарского плена. И полковник Стефан Чарнецкий, будущий победитель шведского короля Карла Густава, и пан Пшиемский, командовавший всей артиллерией, и генерал Убальд, и Арцишевский, и староста красноставский, и брат его, староста яворовский, впоследствии король Ян III, и Людвиг Вейгер – воевода поморский, и Якуб – воевода мальборский, и хорунжий Конецпольский, и князь Доминик Заславский, и епископы, и коронные сановники, и сенаторы – вся Речь Посполитая во главе с верховным своим полководцем, королем.

На полях под Берестечком встретились наконец два огромных войска, и там произошло

одно из величайших в истории мира сражений, отголоски которого прогремели на всю тогдашнюю Европу.

Три дня оно длилось. Первые два дня чаша весов колебалась – на третий состоялся решающий бой, который принес победу Речи Посполитой. Начал этот бой князь Иеремия. День первой встречи был днем, когда восторжествовала политика страшного Яремы, – и ему первому довелось ударить на врага.

Его видели на левом крыле: без доспехов, с непокрытой головою, как ураган, мчался он по полю навстречу несметной рати, объединившей запорожскую конницу, крымских, ногайских, белгородских татар, силистрийских и румелийских турок, урумов, янычар, сербов, валахов, периеров и других диких воинов, собранных с разных концов света – от Урала, Каспийского моря и Меотийских болот до самого Дуная.

И, как река исчезает из глаз в пенных морских волнах, так канули княжьи полки во вражеское море. Пыль, бешено взвихрясь, смерчевой тучей повисла над равниной и скрыла сражающихся...

На это нечеловеческое единоборство смотрело все воинство, включая и короля, а подканцлер Лещинский, подняв распятие, благословлял умирающих.

Меж тем на другой фланг королевского войска двинулся весь двухсоттысячный казачий табор, ошетилившийся пушечными дулами, извергающий огонь, точно сказочный змий, медленно разворачивающий на краю леса свои огромные кольца.

Но прежде чем на равнину выползло все громадное туловище змия, из облака пыли, поглотившего полки Вишневецкого, стали вырываться сперва одиночные всадники, затем десятки, сотни, тысячи, и вот уже десятки тысяч конников понеслись к холмам, на которых стоял хан в окружении отборных отрядов своего войска. Охваченные безумной паникой толпы в беспорядке бросились бежать – польские полки погнались за ними.

Тысячи казаков и татар устлали своими телами поле брани – меж ними лежал, надвое рассеченный кончаром, заклятый враг ляхов и верный союзник Хмельницкого, неистовый и бесстрашный Тугай-бей.

Грозный князь торжествовал.

Король опытным взором полководца увидел успех князя и решил смять басурман, прежде чем подспеет казачье войско.

В бой были брошены все силы, все орудия грянули разом, сея смерть и смятение; одним из первых пал с пуль в груди великолепный Амурат, брат хана. Горестный вопль прокатился по рядам ордынцев. Устрашенный, раненный в самом начале боя хан окинул поле сражения взглядом. Вдалеке, в огне и пороховом дыму, показались Пшиемский и сам король с рейтарами, а слева и справа от них земля гудела под тяжестью вступающей в бой кавалерии.

И не устоял Ислан-Гирей – дрогнул и обратился в бегство, а за ним кинулись врассыпную все татарские орды, и валахи, и улумы, и запорожская конница, и силистрийские турки, и потурченцы – и рассеялись, словно туча, гонимая ветром.

Убегающих догнал повергнутый в отчаяние Хмельницкий – он хотел умолить хана вернуться на поле боя, но хан при виде его гневно взревел и, приказав татарам схватить гетмана и привязать к коню, увлек за собою.

Остались только казачьи отряды.

Предводитель казаков, кропивенский полковник Деяла, не знал, что с Хмельницким, но, видя разгром и позорное бегство ордынцев, остановил своих людей и, отступив, расположился табором в болотистой развилке Плешовой.

Меж тем разразилась гроза и дождь хлынул с небес неудержимым потоком «Господь омыл землю после справедливой битвы».

Дожди шли безостановочно несколько дней, и несколько дней отдыхало королевское войско, измотанное в предыдущих сраженьях; казаки же тем временем окружили свой табор валами, уподобив его гигантской подвижной крепости.

Едва прекратились дожди, началась осада – самая удивительная из всех, какие когда-либо случались.

Стотысячное королевское войско окружило вдвое более многочисленную армию Деялы.

Королю не хватало пушек, провизии, боевых припасов – у Деялы пороха и прочих

запасов было в избытке, а сверх того, семьдесят тяжелых и легких орудий.

Но во главе королевского войска стоял король – казакам же доставало Хмельницкого.

Королевские воины одушевлены были недавней победой – казаки усомнились в себе.

Миновало несколько дней – надежда на возвращение Хмельницкого и хана исчезла.

Тогда начались переговоры.

Казацкие полковники пришли к королю и били челом и просили оказать снисхождение; обходя шатры сенаторов, за одежды цеплялись, обещая хоть из-под земли достать и выдать королю Хмельницкого.

Сердцу Яна Казимира не чуждо было сострадание – он пообещал отпустить по домам черный люд и простых воинов с тем условием, что задержит старшин, пока ему не будет выдан Хмельницкий.

Однако такое решение старшин никак не устраивало: за бессчетные свои проступки они не надеялись получить прощение.

Пока шли переговоры, не прекращались отчаянные вылазки и схватки, польская и казацкая кровь каждый день лилась рекою.

Днем казаки бились с отвагой и упорством отчаяния, но ночью толпами бродили вокруг королевского лагеря, угрюмо моля о милосердии.

Дедеяла готов был принять условия короля и даже пожертвовать своей головой, чтобы спасти народ и войско.

Но в казацком таборе начались раздоры. Одни хотели сдаться, другие – защищаться до последнего, и все искали способа выбраться из лагеря.

Впрочем, даже отважнейшим из них это казалось невыносимым.

Табор заперт был двумя рукавами реки и бескрайними болотами. Обороняться в нем можно было годами, путь же к отступлению был только один: через королевское войско.

Об этом пути никто в таборе и не помышлял.

Переговоры, прерываемые схватками, тянулись лениво; раздоры среди казачества вспыхивали все чаще. Во время одной такой вспышки Дедеяла был смещен и на его место выбран новый предводитель.

Имя его вселило отвагу в павших духом казаков и, пронесясь громким эхом по королевскому стану, оживило в сердцах нескольких рыцарей смутные воспоминания о недавних страданиях и бедах.

Нового предводителя звали Богун.

Он и раньше занимал высокое положение среди казацкой старшины, верховодил в боях и на радах. В нем видели преемника Хмельницкого, которого он даже превосходил в ненависти к ляхам.

Богун первым из казацких полковников одновременно с татарами привел под Берестечко пятидесятитысячное войско. Он участвовал в трехдневном конном сражении и, будучи вместе с ханом и ордынцами разгромлен Иеремией, сумел вывести живыми большую часть своих людей, с которыми и нашел убежище в таборе. Теперь, после свержения Дедеялы, партия непримиримых избрала его верховным военачальником, веря, что ему одному по силам будет спасти табор и войско.

И в самом деле, новый полководец слышать не хотел о переговорах – он жаждал боя и пролития крови, даже если ему самому суждено было в этой крови захлебнуться.

Однако вскоре он убедился, что с его отрядами нечего и думать с оружием в руках пройти по трупам королевских воинов, и ухватился за другое средство.

История сохранила память о тех беспримерных усилиях, которые современникам казались по плечу гиганту, – но только так можно было спасти чернь и войско.

Богун решил перейти бездонные болота Плешовой, а вернее, построить через них такую переправу, чтобы вывести всех осажденных.

Целые леса стали валиться под топорами казаков и утопать в трясине, в болото летели телеги, палатки, кожухи, свитки – и мост с каждым днем удлинялся.

Казалось, для этого вождя невозможного не существует.

Король медлил со штурмом, желая избежать кровопролития, но, видя кипевшую в таборе работу, понял, что иного выхода не остается, и приказал трубачам оповестить войско, чтобы к

вечеру все были готовы к решающему сражению.

Никто в казацком таборе не знал о намерениях врага – мост наращивали всю предыдущую ночь, и на рассвете Богун со старшинами отправился осматривать проделанную работу.

Был понедельник седьмого июля 1651 года. Утро в тот день занялось бледное, словно испуганное, заря на востоке была цвета крови, солнце вставало недужное, ржавое, кидая кровавый отблеск на леса и воды.

Из польского лагеря выгоняли пастись лошадей; казацкий табор наполнился голосами пробуждающихся ото сна людей. Осажденные, разведя костры, готовили завтрак. Все видели, как уезжал Богун со своею свитой и конницей, с которой он собирался отогнать воеводу брацлавского, расположившегося у табора в тылу и пушечным обстрелом препятствующего работам у переправы.

Чернь глядела на их отъезд спокойно и даже несколько приободрилась. Тысячи глаз провожали молодого военачальника, и тысячи уст ему вослед повторяли:

– Благослови тебя бог, сокол!

Предводитель, старшины и конница, медленно отдаляясь от табора, достигли лесной опушки, мелькнули напоследок в лучах встающего солнца и стали исчезать меж деревьев.

Вдруг кто-то у ворот лагеря крикнул – и не крикнул даже, а диким, испуганным голосом завыл:

– Люди, спасайтесь!

– Старшина бежит! – закричали десятка два голосов разом.

– Старшина бежит! – повторили сотни и тысячи людей.

Гул прокатился по всему табору, словно под ударами вихря зашумели в бору деревья, – и тотчас же из двухсот тысяч глоток вырвался душераздирающий, нечеловеческий вопль: «Спасайтесь! Спасайтесь! Ляхи! Старшина бежит!»

Толпа взбурлила, как весенний поток. Костры были затоптаны, телеги, палатки опрокинуты, рогатки снесены, люди давились, душились; страшная паника всех лишила рассудка. Горы тел в мгновение выросли на дороге – живые карабкались по трупам среди рева, воя, визга, стонов. Толпа выплеснулась с майдана, кинулась на мост – одни других сталкивали в болото, утопающие судорожно хватались друг за друга и, взывая к небесам о милосердии, проваливались в холодную зыбкую трясину. На мосту началась рукопашная и резня из-за места. Воды Плешовой наполнились телами. Немезида истории определила Берестечку стать страшною платой за Пилявцы.

Ужасные вопли достигли слуха молодого вождя, и он сразу понял, что случилось. Но напрасно сей же час повернул он к табору, напрасно помчался навстречу толпам, воздев к небесам руки. Голос его потерялся в реве тысяч глоток, неукротимый поток бегущих подхватил его вместе с лошадьёю, старшинами и всею конницей и повлек навстречу гибели.

Коронные войска ошеломлены были открывшимся зрелищем и поначалу приняли эту сумятицу за отчаянную попытку прорваться – однако трудно было не поверить своим глазам. Каких-нибудь несколько минут спустя, едва миновало удивление, все хоругви, не дожидаясь приказа, бросились на казаков; впереди как ураган летела драгунская хоругвь, возглавляемая маленьким полковником с обнаженной саблей в руке.

И настал день гнева, поражения и суда... Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны: непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, в сумятице люди давили друг друга, и сталкивали в воду, и шли ко дну... Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого: казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода брацлавский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи – такая резня, какой не доводилось видеть и старым, бывалым солдатам; при воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились.

Когда же наконец тьма окутала землю, сами победители уstraшились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Те Деум» и не радости слезы, но слезы печали и сострадания катились из благородных королевских очей.

Так был разыгран первый акт драмы, авторство которой принадлежало Хмельницкому.

Но Богун в тот страшный день не сложил головы вместе с иными. Одни говорили, что, увидя неизбежность разгрома, он первый спасся бегством, другие – что ему сохранил жизнь знакомый рыцарь. Правды так никто и не узнал.

Одно лишь мы доподлинно знаем: в последующих войнах имя его часто упоминалось среди имен наиславнейших казацких вождей. Посланная чьей-то мстительной рукой пуля настигла его несколькими годами позже, но и тогда еще закончить земной путь ему не настало время. После кончины князя Вишневецкого, не выдержавшего трудов бранной жизни, когда лубенская его держава была отторгнута от Речи Посполитой, Богун завладел большей частью этих земель. Говорили, что под конец он и Хмельницкого над собой признавать отказался. Сам Хмельницкий, сломленный, проклинаемый собственным народом, искал покровительства на стороне, гордый же Богун отказывался ото всякой опеки и готов был саблей защищать свою казацкую вольность.

Говорили также, что улыбка никогда не показывалась на лице этого необыкновенного человека. Жил он не в Лубнах, а в деревушке, которую отстроил на пепелище и которая называлась Разлоги. Там как будто и умер.

Междоусобные войны пережили его и тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки были на развалинах городов; цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть выросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

али молодого военачальника, и тысячи уст ему вослед повторяли:

– Благослови тебя бог, сокол!

Предводитель, старшины и конница, медленно отдаляясь от табора, достигли лесной опушки, мелькнули напоследок в лучах встающего солнца и стали исчезать меж деревьев.

Вдруг кто-то у ворот лагеря крикнул – и не крикнул даже, а диким, испуганным голосом завыл:

– Люди, спасайтесь!

– Старшина бежит! – закричали десятка два голосов разом.

– Старшина бежит! – повторили сотни и тысячи людей.

Гул прокатился по всему табору, словно под ударами вихря зашумели в бору деревья, – и тотчас же из двухсот тысяч глоток вырвался душераздирающий, нечеловеческий вопль: «Спасайтесь! Спасайтесь! Ляхи! Старшина бежит!»

Толпа взбурлила, как весенний поток. Костры были затоптаны, телеги, палатки опрокинуты, рогатки снесены, люди давились, душились; страшная паника всех лишила рассудка. Горы тел в мгновение выросли на дороге – живые карабкались по трупам среди рева, воя, визга, стонов. Толпа выплеснулась с майдана, кинулась на мост – одни других сталкивали в болото, утопающие судорожно хватались друг за друга и, взывая к небесам о милосердии, проваливались в холодную зыбкую трясину. На мосту началась рукопашная и резня из-за места. Воды Плешовой наполнились телами. Немезида истории определила Берестечку стать страшною платой за Пилявцы.

Ужасные вопли достигли слуха молодого вождя, и он сразу понял, что случилось. Но напрасно сей же час повернул он к табору, напрасно помчался навстречу толпам, воздев к небесам руки. Голос его потерялся в реве тысяч глоток, неукротимый поток бегущих подхватил его вместе с лошадей, старшинами и всею конницей и повлек навстречу гибели.

Коронные войска ошеломлены были открывшимся зрелищем и поначалу приняли эту сумятицу за отчаянную попытку прорваться – однако трудно было не поверить своим глазам. Каких-нибудь несколько минут спустя, едва миновало удивление, все хоругви, не дожидаясь приказа, бросились на казаков; впереди как ураган летела драгунская хоругвь, возглавляемая маленьким полковником с обнаженной саблей в руке.

И настал день гнева, поражения и суда... Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны: непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, в сумятице люди давили друг друга, и сталкивали в воду, и шли ко дну... Дух убийства

пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого: казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода брацлавский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи – такая резня, какой не доводилось видеть и старым, бывалым солдатам; при воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились.

Когда же наконец тьма окутала землю, сами победители уstraшились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Te Deum» и не радости слезы, но слезы печали и сострадания катились из благородных королевских очей.

Так был разыгран первый акт драмы, авторство которой принадлежало Хмельницкому.

Но Богун в тот страшный день не сложил головы вместе с иными. Одни говорили, что, увидя неизбежность разгрома, он первый спасся бегством, другие – что ему сохранил жизнь знакомый рыцарь. Правды так никто и не узнал.

Одно лишь мы доподлинно знаем: в последующих войнах имя его часто упоминалось среди имен наиславнейших казацких вождей. Посланная чьей-то мстительной рукой пуля настигла его несколькими годами позже, но и тогда еще закончить земной путь ему не настало время. После кончины князя Вишневецкого, не выдержавшего трудов бранной жизни, когда лубенская его держава была отторгнута от Речи Посполитой, Богун завладел большей частью этих земель. Говорили, что под конец он и Хмельницкого над собой признавать отказался. Сам Хмельницкий, сломленный, проклинаемый собственным народом, искал покровительства на стороне, гордый же Богун отказывался ото всякой опеки и готов был саблей защищать свою казацкую вольность.

Говорили также, что улыбка никогда не показывалась на лице этого необыкновенного человека. Жил он не в Лубнах, а в деревушке, которую отстроил на пепелище и которая называлась Разлоги. Там как будто и умер.

Междоусобные войны пережили его и тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки были на развалинах городов; цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть вросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение».